

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

№ 355 / 3 3·2014

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири
Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»
Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
и Администрации города Иркутска
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

К 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина

А.С. Пушкин. Клеветникам России 3

Проза

Александр Донских. Божий мир. Рассказ 10
Александр Шербаков. Бьют по глазам. Рассказы 40
Владимир Шавёлкин. Святое имя. Рассказы 57
Зинаида Осокина. Синие подснежники. Автобиографическое повествование 85
Владимир Журавлёв. Ожидание. Рассказы 122
Светлана Шегебаева. Эдна. Фантастический рассказ 143

Поэзия

Василий Попов. Слышу гул, как будто ветер сильный 5
Геннадий Аксаментов. Ночь в музее 34
Владимир Корнилов. Какое согласие в природе 52
Геннадий Скарлыгин. У заветного дальнего камня 79
Владимир Скурихин. Диктуется чувствами слово 115
Владимир Скиф. «Я всех простить меня прошу...»: вступительная статья к стихам Дениса Цветкова 129
Денис Цветков. Я на земле на этой не был лишним 133

Мастерская художественного очерка «Судобы российские»

Оксана Гордеева. Живое слово. Очерк 164

Исторические чтения

Римма Михеева. Иркутск — Крым: имён связующая нить 189

В дороге

Владимир Максимов. По Европам. Записки путешественника 207

Год культуры. События

Анатолий Байбородин. «Ливень». Путевые заметки 225
Ольга Олёкминская. Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» - 2014 229

Жизнь литературы и жизнь в литературе

Владимир Скиф. Байкальское Переделкино. Главы из книги 240

Имя России

Виктор Воронов. Праздник души на родине Фатьянова 251

Год культуры. Памято

Иван Колокольников. «Город мой, город на Ангаре...» 252

Год культуры. Писатели – детям

Эдуард Анашкин. Мир, который построим мы (О новой книге Светланы Вьюгиной «Рыжий снег») 257
Уроки любви (О книге Любви Московенко «Дедушкины уроки») 259

Дата России

Виктор Воронов. БАМу — 40 лет! 262
Полустанок с названием БАМ. (Из книги Виктора Воронова «Пригоршни из тусков памяти») . . 263

Литературная учёба

Ирина Гладких. Исходы (О книге Андрея Антипина «Житейная история») 266
Лидия Юрьева. Главное — чувство ответственности 272
Татьяна Суровцева. Когда сорвётся времени стрела. (О «несоюзных» литераторах и их произведениях последних лет. Поэзия. Проза. Драматургия) 274

Сибиряда. Критика

Владимир Бондаренко. Алданские скитники 285
Александр Донских. Тяжёлый хлеб поэзии и прозы Александра Никифорова 289

Год культуры. Дела литературные

Александр Обухов. Бамовские встречи-2014 292
Александр Донских. «Есть русский мир, и он огромен!» 295

Поздравляем со славным юбилеем – 80-летием!

Валентина Семёнова. Не упускать из виду гармонии мира. (О некоторых произведениях Альберта Гурулёва) 297

Главный редактор **АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ**

Заведующий отделом поэзии **ВЛАДИМИР СКИФ**

Заведующий отделом прозы **АЛЬБЕРТ ГУРУЛЁВ**

Заведующий отделом критики и публицистики **АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ**

Ответственный секретарь редакции **СВЕТЛАНА ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

А.Г. Байбородин, Ю.И. Баранов, В.В. Барышников, В.К. Забелло, В.П. Комлев, И.И. Козлов,
Р.Г. Михеева, Н.А. Озерникова, В.Г. Распутин, Т.Н. Суровцева, В.Н. Хайрюзов, М.И. Яковенко

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Оформление обложки С. Бурчевская. Комп. верстка А. Гордиевских. Корректор Л. Заступова

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600.**

Адрес редакции: 664025. г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Тел.: 20-37-86. Рукописи принимаются в распечатанном виде.
E-mail: sve-t-lana@mail.ru. Справки по тел.: 34-20-77 (ответств. секретарь).
(Рукописи по e-mail не принимаются, за исключением особо оговоренных случаев).
Подписано в печать 15.11.2014.
Формат 70x108/16. Усл.-печ. л. 22. Тираж 1250. Цена свободная.
Изготовлено в ООО «Репроцентр А1». 664047, г. Иркутск, ул. А. Невского, 99/2, тел. 540-940.

К 215-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина



Клеветникам России

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бесмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык!
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России
Среди нечуждых им гробов.

1831

ПОЭЗИЯ



ВАСИЛИЙ ПОПОВ



Слышу гул, как будто ветер сильный

* * *

А снегу, снегу намело
До самых окон!
В избе просторно и тепло,
И кот под боком.

На печке варежки лежат,
Унты и шапка.
По потолку, огнём дрожа,
Бежит лошадка.

А где-то в небе далеко
Луна, как перстень.

А в доме пахнет молоком
И мокрой шерстью.

Мороз наплавил на стекло
Свои узоры.
И все беседы за столом
Да разговоры.

Зима лютует, точит меч,
Кует доспехи.
И щёлкает старуха-печь
Во рту орехи.

ПОПОВ Василий Николаевич — поэт, член Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России. Родился 3 апреля 1983 г. в г. Ангарске Иркутской области. Окончил Сибирский институт права, экономики и управления (2005), Литературный институт им. А.М. Горького (2010). Автор пяти поэтических сборников. Публиковался в журналах: «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Сибирь» (Иркутск), «Русское эхо» (Самара), «Новый енисейский литератор» (Красноярск), «Дон» (Ростов-на-Дону), а также в еженедельнике «Литературная газета» и многих других изданиях страны. Лауреат Всероссийской поэтической премии «Соколики Русской земли» (2009), победитель ежегодного конкурса «Молодые таланты Москвы» (2011), лауреат Малой Бунинской премии (2012), обладатель Гран-при III Литературного форума «Золотой Витязь» (2012), лауреат премии им. М.Ю. Лермонтова в номинации «Молодое дарование» (2014) и др. Живёт в Москве.

* * *

С.Д. Евсееву

Какая ранняя весна!
Уже и снег почти растаял.
Как рыболовная блесна,
Сверкает лёд среди проталин.

Сырая чёрная земля,
С сухими листьями, травой.
Поёт, кукует березняк
Вдали и машет мне рукою.

О, этот гул, весенний шум
Волной подымет зелень вскоре.
Я вышел в лес, и я дышу
Сосновым запахом и морем.

Иди, иди, иди в поля!
Боюсь, не вспомнят, не узнают.
Ты узнаёшь меня, земля?..
В ответ подснежники кивают.

* * *

Слышу гул, как будто ветер сильный,
За окном пустая болтовня...
Всё шумит, шумит моя Россия,
Серебром и золотом звеня.

По земле поплыли пароходы,
Берегов не чувствует река.
Для хорошей, праздничной погоды
Расстреляли в небе облака.

Блики, стёкла, звёздная реклама,
Витражи, витрины, зеркала.
Всё блестит кругом, а света мало,
Всё горит огнём, но нет тепла.

Эй, ребята, запевайте песню!
Надоело слушать дураков.
Каблуком четыре раза тресну
И пойду плясать без каблуков.

Помоги мне, русская гармошка!
Что нам их заморский дивиденд!
С нашею смекалкой даже ложка —
Тоже музыкальный инструмент.

Многое от нас уже уплыло,
Многое земля себе взяла.
Пой, душа, ведь ты не позабыла
Родину, которая была!

* * *

Как я хотел бы возле речки
Поставить домик небольшой
И отогреться в русской печке
Своей озябшую душой.

Хотел бы на руки взять кошку,
Сесть на широкую скамью,
Смотреть всего в одно окошко
И видеть землю нашу всю.

Чтоб рано утром на рассвете
Кричал петух под небеса,
Гулял по полю свежий ветер,
Ложилась сладкая роса.

На берег выйти, сесть на берег
И ждать, когда начнётся клёв.
Мы до сих пор ещё не верим,
Что это всё и есть любовь.

И лай собаки на прохожих,
И ржанье лошади в хлеву,
И тень, что дерево положит
На бирюзовую траву.

Пускай вода бежит, смеётся —
И станет вдруг совсем светло...
Как я хотел бы видеть солнце
И принимать его тепло!

* * *

Я помню сухую дорогу,
Всю в трещинах, в красной пыли,
И как я ладонями трогал
Горячие камни земли.
Я помню, садился и плакал
На дальнем крутом берегу.
А рядом садилась собака
С кривым языком на боку.
И долго мы, долго глядели
На поле, на реку, на лес,
И над головою летели
Молочные перья небес...

Теперь я сижу на балконе
И вижу, как падает лист.
А много ли я ещё помню,
А так же душой ли я чист?
И синие, синие дали
Кричат мне и снова зовут.
Неужто мы всё обменяли
На праздный комфорт и уют?
Качнётся на дереве ветка,
И солнце глаза мне зальёт.
Порыв налетевшего ветра,
Как за руку, штору ведёт.

* * *

На сухой травинке
Муравья кручу.
Бабочка в косынке
Ходит по плечу.

Я сижу, мечтаю...
Золотой рассвет.
А о чём — не знаю,
Просто мыслей нет.

Далеко-далёко
И на все века

Высоко-высоко
В небе облака.

Лес такой зелёный
Пляшет и поёт.
Розовый телёнок
Облако жуёт.

Достаю баранку,
Откушу кусок.
И тихонько в банку
Набегает сок.

* * *

Брёвнышко к брёвнышку, крыша, труба,
Будто рукой машет дымом изба.
Лавка широкая, печка, окно,
Крутится-вертится веретено.

Досточка к досточке — длинный забор,
Дверь открывается прямо во двор.
Курицы роются в серой золе,
Гуси сугробом лежат на земле.

Солнышко, солнышко рано встаёт,
Красный петух на заборе поёт.
Стайка, сарай, сеновал, огород,
Поле, река... и земли поворот.

Небо высокое, синий простор,
Звёзды серебряный ткнут разговор.
Там на краю ойкумены темно...
Крутится-вертится веретено.

* * *

Тишину разорвали собаки в окне,
Мы приткнули носы к окошку.
Кто-то приехал верхом на коне,
Хлещет копытами лошадь.

Боком идёт, сверкает, храпит,
Не хочет стоять на месте.

Голова запрокинута, рот открыт,
Землю ногами крестит.

Что-то случилось, рыдает ночь,
Тенью стоим на пороге.
— Люди, поехали, надо помочь!
Всё расскажу по дороге.

* * *

Как мудро и просто устроена жизнь,
И всё мне понятно и ясно.
Листва на деревьях от ветра дрожит,
И солнце горит не напрасно.

Ты мне говоришь, что проходят года,
И веришь в разлуку сердечно.
А я говорю, никогда, никогда
Ничто не исчезнет навечно.

По небу летят высоко облака,
И птицы летают высоко.
И так же река на земле глубока,
И рыба гуляет глубоко.

А если и вправду исчезнет земля
И солнце над миром погаснет,
То прежде вернётся пророк Илия
И всех позовёт нас на праздник.

* * *

Расцвела под окнами сирень,
Полетел на двор медовый запах.
Как медведи — избы деревень
Память сжали в деревянных лапах.

Обнялись забор и огород
И пошли по полю до обрыва.
Сколько было пройдено дорог —
Всё трава зелёная укрыла.

Спи, деревня, спи, не умирай.
День придёт, и я приду — открою
И амбар твой низкий, и сарай,
И глаза, забитые доскою.

И увидишь ты, как мир хорош,
И услышишь ты звучанье мира,
Но, очнувшись вдруг, ты не поймёшь,
Что же это, что же это было.

Ярмарка

А вчера ещё здесь на поляне
Только травы вели хоровод.
Кто же думал, что в гости нагрянет
К нам на праздник весь этот народ.

Запестрели ряды и дорожки,
Зазвенел бубенец под дугой.
Заходи, покупатель хороший,
Выбирай, не скупись, дорогой!

И у каждой палатки играют,
Зазывая, как в свадебный дом,
И товары свои предлагают,
И хмельным угощают вином.

Тут и лён, и платки, и кадушки,
Туеса и рябиновый мёд.
И мужик вырезает игрушки,
И детишкам их так раздаёт.

У кого-то малина поспела,
У кого-то совсем недород.
Где-то тонко свистулька запела,
А гармошка пошла в огород.

На ходулях повисли ребята,
Соревнуясь, кто дальше пройдёт.
И смеются, смеются девочки —
Кто же первый из них упадёт?

Долго, долго ходил я и слушал,
И заезжим гостям подпевал.
Даже колокол как-то на службу
По-особому всех нас позвал.

Облетит и застынет аллея —
Скоро осень, но в сердце весна.
И как облако в небе белеет
Монастырская наша стена.

* * *

Я вернулся домой, здравствуй, поле!
Стой, шофёр, я пойду напрямик!
Будет в доме сегодня застолье,
Заливается песней родник.

Посижу, отдохну и увижу
То один, то другой лепесток.
И подходят всё ближе и ближе
То лиловый, то жёлтый цветок.

Сколько их зацвело на рассвете!
А какие, никак не пойму.
Соберу я сибирский букетик,
Небольшой, по цветку одному.

Как поют медоносные пчёлы
И горят золотые жарки!
Колокольчик играет весёлый,
Голубые стучат каблучки.

Лейся, песня родная, по свету!
Хорошо мне идти и гулять.
Вот и рыжий цветок незаметный
Попросил его на руки взять...

И встречает меня жеребёнок,
И за пряслом мычанье коров.
На плече, как уснувший ребёнок,
Отдыхает охапка цветов.

* * *

Вот это поле и деревья
Уже который год свистят.
Когда-то здесь была деревня,
Дворов, наверно, пятьдесят.

И этот злостный свист повсюду,
То ли в трубу, то ли в окно,

То ли в разбитую посуду,
То ли в трухлявое бревно.

Взлети хоть птица в небо что ли!
Но никого, ни ветерка.
Откуда свист? Всё поле, поле,
Деревья голые, река...

* * *

В лесу наткнулся на поляну
С густой высокою травой.
Иду по этому бурьяну
Со стрекозой над головой.

Штаны промокли, ветер в спину,
Ругаю всех и всё подряд.
Ищу пропавшую скотину,
Что в лес угнали, говорят.

Осой жужжит моё терпенье.
Я отдохнуть на землю сел.
Как вдруг какое-то сопенье
Услышал рядышком совсем.

Траву раздвинул так тихонько —
А там, как заводь у реки,
И в ней лежит моя бурёнка
С телёнком рыженьким таким.



АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ



Божий мир

РАССКАЗ

*Это было недавно,
Это было давно.*

М. Матусовский

Эту историю из довоенных и последующих лет прошлого века поведала мне старшая родственница моя Екатерина. А я расскажу вам. Как смогу.

1

Молоденькая в ту пору Екатерина, родом из поангарской деревни, окончила в начале пятидесятых институт культуры и по распределению была направлена в библиотеку Глазковского предместья. Там же, по ходатайству райотдела культуры, она снимала и жильё — две уютные комнатки в деревянном, совершенно деревенском домике с резными наличниками, с маленьким огородом, с двориком. Стоял он на крутояре, почти что на берегу Иркутта, неподалёку от слияния его с Ангарой. А ещё ближе два моста через Иркут — приземистый бревенчатый, а над ним величаво высилась геометрическая стальная повесть железнодорожного. И день и ночь газуют автомобили, трубят паровозы, скрежещут вагоны, отстукивают на стыках колёсные пары.

ДОНСКИХ Александр Сергеевич. Родился в 1959 г. в с. Малая Хета Красноярского края. Окончил филологический факультет ИГПИ. Автор книг прозы «Человек с горы» (Иркутск, 1999), «В дороге» (М., 2012), «Родовая земля» (М., 2013) и др. Член Союза писателей России.

Но близкота великой Транссибирской магистрали не утомляет и не сердит Екатерину, потому что она понимает — это трудится страна, это народ поднимается к новой жизни, избавляясь мало-помалу от горечи великих потерь. И она верит, что жизнь через годы — да, может быть, уже в следующей пятилетке! — будет только лучше. Только лучше, потому что страна великая и народ великий!

Снимала она эти комнатки у затаённой старушки Евдокии Павловны, бывшей учительницы начальных классов. Та приняла её неласково — молчаливо-мрачно, колкой приглядкой заплутавших в морщинах мерклых глаз. Но глаза, догадывалась чуткая Екатерина, не были отражением недоброй души, скверного характера; в них сукровичной коросточкой выросла какая-то застарелая печаль. Видела — старушка совершенно одинока: никого из родных и близких рядом с ней не было, никто её не навещал, даже соседи вроде как чурались. Месяц, второй, третий прожила у неё — никаких разговоров, расспросов, хотя бы внешней душевности, а общение — в обрывочках фраз. И, нередко бывало, насторожена старушка вся до последней жилки, будто опасалась чего-то чрезвычайно, жила ожиданием неприятностей.

За собой она оставила одну комнату, скорее, чуланчик, и, заложившись на щеколду, часами пребывает там тихонько, лишь изредка доносятся оттуда какие-то шепотки, бормотания, но распознавалось — молится. Во всём доме — мёртво, хотя вполне чисто, очень даже пристойно. Евдокия Павловна при всей своей замкнутости и нелюдимости — услужлива, предупредительна, преисполнена какой-то тонкой внутренней культурой. Если в комнатах становится прохладно, тотчас протапливается печь, за небольшую доплату Екатерина столуется у неё, и еда всегда вкусна и свежа, в разнообразии припасов со своего огорода. Из обстановки — хотя и стародавняя, что называется, дореволюционная, но приличная, в утончённой резьбе мебель — комоды, шифоньеры, буфет, стол, стулья, и Екатерина поняла, что они ручной работы и сделаны, как говорится, для себя — мастеровито, любовно. В кадках растут немолоденькими дородными деревьями фикусы и пальмы; на окнах — понедельно сменяемые чистейшие белые занавески, на полу — постиранные и, тоже понедельно, протрясаемые домотканые половики. Повсюду уют, благообразие, обстоятельность. Но отчего же столь странна, угрюма, недоверчива и, похоже, глубоко несчастна хозяйка? Почему она совсем одна, ведь её прекрасный дом-усадебка — чаша полная, для большой семьи? И, судя по кроватям и комодам, здесь жила по несколько человек. Почему же теперь дом пустой, омертвелый? Да и сама хозяйка хочет быть в нём только одна: Екатерину к ней, официально бессемейной, имеющей лишнюю жилплощадь, подселили почти что принудительно, решением комиссии райсовета.

Екатерина уже подумывала, не съехать ли, коли чем-то, кажется, неуютно, неприятно. И стала подыскивать другое место, да однажды произошёл случай, задержавший её в этом доме на долгие, долгие годы.

Вечером в тихое патриархальное Глазковское предместье ворвался ветер с дождём и снегом, а к ночи непогода уже буйствовала, завывая в трубах, ломая ветви, крения заборы. Ни днём ни ночью, ни в будни, ни в праздники к старушке никто не приходил, а тут вдруг — стук. Ладно бы разок-другой постучались — колотят наступательно, властно. Екатерине кажется — дверь расшибут. А за окном ужасное промозглое октябрьское предночь, темь жуткая, рокот урагана; к тому же света нет, видимо, проводы перехлестнуло или столб повалило.

Екатерине страшно: стучат, стучат. Что и думать: недобрые люди или с кем-то беда, за помощью прибежали?! Зажгла керосинку, в ночнушке стоит в коридорчике перед дверью в сени, не знает, что делать. Надо бабушку разбудить.

Но тут и она сама: ковыляя на больных опухающих ногах, выбрела в коридорчик. В её руках плотно набитая котомка.

— Не трудно догадаться: за мной пожаловали. Мужа, сыночков моих извели, а про

меня забыли? Непорядок! Что ж, казните, режьте на куски — я готова. Пожила — хватит. Пора к моим родненьким. К чему мне в этой жизни одной прозябать?

— Евдокия Павловна, что с вами? Кто за вами пришёл?

Старушка спешно надела боты, натянула на плечи дошку, повязалась пуховым платком, взяла котомку:

— Прощай, жилища, — обратилась она к Екатерине. — Если не прогонят тебя отсюда — живи, пользуйся всем, что есть. Нам не дали жить и радоваться, так, может, тебя судьба обласкает. — И направилась к сеним.

Но Екатерина за локоток придержала её:

— Погодите, погодите! — приоткрыла дверь: — Эй, кто там? — Густая тишина ответом, но по двери по-прежнему отбивают. — Вы чего тарабаните и пугаете людей? У нас ружьё: выйду — пальну! Убирайтесь прочь!

Очередной наскок ветра — дощатые сени сотрясло, стекло в оконце звякнуло, а двери затрещали, будто хватили по ним кувалдой. Но Екатерина решительно вошла в сени, сбросила с петли наружной двери крючок, распахнула её и тотчас поняла с благословением и отрадой — ветром сорвало деревянный жёлоб водослива, и тот тряпичей мотается на проволоке, шибает по двери. Сдёрнула его и отбросила в кусты. Заложив дверь, заскочила в коридор.

— За мной? — отрешённо-тускло осведомилась старушка.

— Успокойтесь, Евдокия Павловна. Никого нет. Жёлоб швыряло. Если бы люди вошли в наш двор, Байкалка изошёлся бы в лае, а так, слышите, молчит, затаился в будке. И как мы с вами сразу не догадались!

— Снова не пришли за мной, — тяжело вздохнула старушка. — А я уж обрадовалась: заберут и убьют, чтоб не изводиться мне.

Екатерина помогла старушке снять дошку, став на колени, стянула с неё боты, под локоть завела в каморку, усадила на топчан, служивший кроватью. Первое, что увидела в углу, — осиянный киот с горящей лампадкой, следом, в нарушаемой светом керосинки затеми, — портреты на стене над топчаном: вихрастого, озорновато прищурившегося паренька и солидного молодого человека со значком спортивного разрядника на лацкане пиджака. Ещё один портрет выхватила из потёмок: молодая Евдокия Павловна и статный мужчина с квадратами на гимнастёрке — офицер Красной Армии, плечом к плечу сидят, смотрят пристально, как вдаль; и оба очень хороши этими своими выхуданными, загорелыми, но свежими лицами единой на двоих устремлённости.

— На портретах ваши дети? А на том вы с мужем?

— Мы... мы... мы все. А теперь я одна. Только одна... — помолчала, подобрала воздуха, выдохнула в придушенном шепотке: — Как я хочу к ним!

— Куда, Евдокия Павловна?

— Куда, спрашиваешь? Туда... — мотнула она головой к небу.

Екатерина хотела было спросить: «Они умерли?», но не посмела. Помогла старушке прилечь, накрыла её одеялом, направилась к выходу, пожелав спокойной ночи.

— Ты хотела спросить, живы ли они? Живы, живы... в моём сердце. А на земле их уже нет.

— Простите, Евдокия Павловна.

— Присядь рядышком, Катюша. Сердце разбередилось — поговорить охота с живым человеком. Давно уж я ни с кем не общалась. Как узнала, что Сашу, старшего сына, арестовали и убили, так и стали для меня обрываться мои ниточки с людьми. Что ни человек, то злыднем мне кажется, наушником, иудой. Все мне стали плохи, что там, противны. Озлилась я на жизнь и судьбу, даже молитвы не всегда ослабляют и смиряют моё сердце. И даже тебя, такую славную девушку, приняла сначала за их посланницу. Должно, потихоньку, но верно схожу с ума: думала, подослали тебя,

чтобы ты вызнала, чем дышит старуха, которая взрастила врага народа, а мужем её был японский шпион. Раньше-то ко мне на постой не направляли, сама же я никого не хотела видеть, а проситься приходили. Даже от соседей отъединилась. Но тут — ты... Славная, славная ты девушка. Уж прости меня, старую, что сразу не признала в тебе душу. Вон какая ты красавица! А коса твоя — богатство истое. Береги её. А глаза твои хотя и черны, как дёготь, но сияют ангельским светом любви и привета. Но больше всего душу свою сберегай: она поможет тебе выстоять самой, а потом и людям помогать. Минут нынешние лихолетья, очнётся народ, а кто ж подойдёт к человеку с человечьим, а то и с Божьим словом? Такие, как ты, — чистые сутью своей, ясные и бесхитростные помыслами и делами.

Помолчав, сказала строже, с выговором каждого слова:

— Я, Екатерина, не долго протяну: не столько стара я, сколько, как видишь, безвременно немощна и вымотана. И сердце — не сердце уже, а окаменелость какая-то. Что кровь всё ещё проталкивает по жилам — непонятно. Да, скоро помру...

— Ну что вы, Евдокия Павловна!..

— Молчи, слушай! Не хочу, чтоб дом... наш дом... достался каким-нибудь злыдням. На тебя перепишу.

— Ну что вы, Евдокия Павловна!..

— Молчи, сказала! Ты сначала послушай, какие здесь люди жили, а потом отказывайся. Нельзя, чтоб сюда кто случайный въехал. А ты останешься — совьёшь гнездо. Мы же с неба будем смотреть на тебя и на твоих деток с благоверным твоим, как живёте-можете вы в этом нашем всеобщем и, несмотря ни на что, Божьем, да, да, Божьем мире. И будем радоваться, радоваться...

Волнение перебило дыхание старушки, и она замолчала, полежала с прикрытыми глазами.

— Наш мир разве Божий? — невольным шепоточком спросила Екатерина, словно бы у тишины этой комнаты с фотографиями и иконами.

— Верь: мир наш Божий, и все человеки Земли боговы, — сурово, но и ласково одновременно посмотрела на неё старая женщина. — Говорю тебе потому так, что я несломленная, а убитая. А кому, как не мертвецам, знать больше правды, чем вам, живым?

— Что вы такое говорите!..

— Я знаю, что говорю. Я пока ещё здесь... телом своим бранным и больным... но душа моя уже давно не здесь, а там, высоко-высоко, далеко-далеко.

Обе долго, но легко помолчали.

Наконец, старая женщина заговорила, и голос её звучал хотя и тихо, с трещинками, но ясно и чисто.

2

— Слушай, дочка, и запоминай крепко: когда-нибудь кому-нибудь, может быть, расскажешь или только сердце твоё будет знать и помнить.

Жили-были здесь мы — простая русская семья Елистратовых: муж мой, офицер, батальонный командир из Красных казарм, Платон Андреевич Елистратов, в прошлом Георгиевский кавалер, участник Японской и Первой мировой войн, я, учительница, хотя и крестьянского происхождения, но выпускница Девичьего института Восточной Сибири имени Императора Николая Первого, или ещё его называли Институтом благородных девиц. А потому, поясню тебе, я туда попала, что батюшка мой, Павел Саввич Конюхов, был зажиточным, как говорили и писали в официальных бумагах —

многомочным... И наши детки с нами жили — доченька Марьюшка, двух лет от роду умерла от кори, да два сыночка — Сашенька, Александр, старший, студентом был Ленинградского технологического института, на инженера учился, мечтал строить гидростанции, и Пашенька, младший, наш поздненький, заскрёбьш, в сорок третьем на фронт ушёл и — не вернулся. Вот они все надо мной... На тебя смотрят. Смо-о-отрят, ро-о-одненькие. Видать, приглядываются: кто ты такая, чем дышишь, доброй ли будешь здесь хозяйкой.

Слушай ты, Катя... и они с нами... послушают. А начну, как говаривали у нас в деревне, издаля-издалеча: мой батюшка мученически погиб в Гражданскую от рук чехословаков, а матушка следом с горя слегла и померла. Ещё одна родная душа — единственный братка мой Федя не вернулся с Германской, остался навеки лежать в Галиции после знаменитого Брусиловского броска. С Платоном Андреевичем мы встретились в революционную пору, оба были к тому времени уже не очень молоды, намыкались по жизни, а потому, уставшие и одинокие, потерявшие всех своих близких, потянулись друг к дружке и мало-помалу зажили душа в душу. У меня до него, к слову, был муж Николай, но прожили мы с ним вместе совсем маленечко, так как ушёл он в четырнадцатом по мобилизации, и с той поры я его уже ни разу не видала, только десяток писем получила с фронтов, то есть женой-то по-настоящему и не побывала с ним, семейного счастья не изведала. Сгинул он в переломном двадцатом где-то в донских степях. Но, возможно, и жив остался: уплыл с остатками Добровольческой армии за море, в неведомые зарубежья. Так я стала, почитай, круглой сиротой, совсем одинокой. Дитя с Николаем мы хотя и успели прижить, да умерла наша девочка, потому как квёлой родилась, не спасла я её. К фельдшеру прибежала с ней в другое село, а она уже мёртвая...

Батюшка мой числился в нашей притрактовой Кудимовке кулаком, и сельчане недолюбливали его, завидовали, но побаивались, потому как строг он был, взыскующего норова. А чего завидовать-то было? Трудился денно и ночью, любил землю, любил строить и построил на своём не шибко длинном веку много чего, в том числе срубил новую церковь взамен сгоревшей. С людьми делился чем мог: зерном, вялками, упряжью, всем-всем, жадности — ни крошки в нём не было. А потому со всякими докуками люди шли к нему, и он мало кому отказывал. Строгим же и взыскующим бывал только лишь тогда, когда сталкивался с чьей-нибудь недобросовестностью да ленью. И меня с Федей держал в строгости, и выросли мы в трудах, всему обученные. Жить бы да жить и ему, и матушке, ведь совсем молодыми ушли в мир иной — слегка за пятьдесят перевалило обоим. Ох, чего уж теперь об этом, Катенька!..

В нашу деревню однажды вошёл отряд чехословаков: они гонялись за партизанами, а те накануне отбили у них обозы с боеприпасами и провиантом. Вошли они в село и-и-и — давай рыскать, злобствовать самыми растреклятыми злыднями. Пристрелили нескольких мужиков — те заартачились, забуянили. Потом согнали всех жителей на площадь перед церковью, выставили пулемёты и стволы винтовок и говорят: «Всех перестреляем и перевешаем, если не скажете, где скрываются партизаны. Ну, говорите!» Мы — молчим, хотя известно было, наверное, каждому про партизан: по Хоринским балкам они кроются. Молчим, крепко молчим. Бах выстрелы! Первыми в переднем рядке двух баб и мужика скосило замертво. «Ну! — говорят эти злыдни. — Молчать будете? Добро! Получайте ещё!» Падают люди, корчатся. Ужас. Дети, бабы заголосили, кто-то кинулся наутёк — срубили пулемётной очередью... Не могу не сказать, Катя: вот тебе и культурная Европа, вот тебе и братья-славяне!.. А чуть позже эта же Европа породила Гитлера... Да что хаять Европу: здесь у нас, в нашей матушке-России, что мы породили и набедокурили?..

Стоим мы перед чехословаками этаким овечьим гуртом. И Пресвятая Богородица: что же делать, что же делать?! Но тут вижу: мой батюшка выдвинулся из-за спин, к

чехословакам пошёл, а их командир уж руку поднял для отмашки, ну, чтоб гвоздили по нам. «Я скажу!» — слышим мы. «Будь ты проклят!.. — зашипели наши кудимовцы. — В отряде мой братка... И муж мой тама... Супостат... Кулачье отродье...» — сыпали страшными словами. И во мне ворохнулась неприязнь к отцу. Но если бы мы тогда знали, если бы знали!..

О чём-то поговорил он с чехословаками, и отряд тронулся в путь. Отец — впереди. Мне показалось — он махнул мне рукой, понимаю теперь — прощался, и таким маленьким торопливым знаменем осенил и меня, и село родное с его лесами, полями и небом.

Народ разбредается и всё шипит, клокочет: «Отродье... Иуда...» А мальчишки шпыняют и щипают меня, как гадкого утёнка.

Но не прошло и полусуток — и тот самый партизанский отряд вошёл в нашу деревню, а командир, Савва Кривонос, наш кудимовский мужик, рассказал, как погиб мой батюшка.

Вывел он чехословаков к большим, распахнутым во все пределы еланям перед самыми Хоринскими балками, хотя мог провести, как бывалый охотник и грибник, утайными тропами через леса наши дремучие, чтобы подкрасться к отряду и с холмов и скальников перестрелять, точно рябчиков, весь отряд. А батюшка — видишь, как оно задумано им было! — вывел на самое открытое-разоткрытое место, и наверное знал, что в дозорах круглосуточно сидят мужики. Дозорные живёхонько скумекали: посыльных — за отрядом. И партизаны с трёх краёв вмиг навалились, обхватили чехословаков и давай понужать их из винтовок и гранатами. Враз положили с половиной, говорил Савва. Остатние чехословаки кинулись в дебри, побросали и лошадей, и повозки, и пулемёты с лентами. Но батюшку, злыдни, уволокли за собой. Говорили потом, он уже ранен был, наверное, наши угодили. Партизаны — в погоню, но в наших глухоманях не шибко-то развоюешься. Однако всех изничтожили. А дальше вот что... извини, слёзы давят, горечь жжёт грудь... Батюшку обнаружили распятым на листовене: руки-ноги штыками пригвождены... и весь, весь исколот... выходит, долго не умирал. Он был, как говорили у нас в деревне, живущий, настоящим силачом, за десятерых работал, если надобность случалась... Что принял, что принял!..

Похоронили мы с мамой отца. Всё село собралось на вынос, плакало навзрыд, и друзья и недруги его едино стояли у гроба. А следом, недельки через три, я схоронила и маму: сердечко её не совладало с потрясениями: и сына и мужа потерять... Так я стала круглой сиротой, хотя уже была взрослым человеком.

Вскоре по Сибири прошла 5-я армия, наводила всюду порядок. И с тем людским потоком, возвращаясь в родной ему Иркутск, заворотил на передых с тракта в нашу Кудимовку со своим стрелковым взводом Платон мой Андреевич. Но тогда, конечно же, он ещё не был моим... Как сейчас вижу его: низкоросл хотя, но бравый, видный мужчина. Усы пышные, с такими подкруточками. Шинелишка, сапожки, картуз — хотя и не новёхонькие, с дорог да с боёв, но в содержании безупречном. И такие же солдатики у него: никакой расхлябанности, разнузданности, в отличие от многих всяких других, тоже завёртывавших в наше село.

Встретились мы с ним невзначай на улице — я по воду на Ангару с коромыслом шла, а он на завалинке покуривал свою самокруточку — козью ножку... Будь они неладны, эти самокруточки из газетной осьмушки! Пристрастился он к ним на фронтах, потому как удобно: кiset с махоркой, газетный клочок, а не пачка папирос или сигарет, которую и сомнёшь, и изломаешь. Портсигары же как-то не прижились в простонародье. Ведь эти растреклятые завёрточки и сгубили его в тридцать седьмом, лютном году. Но о том, Катя, ещё скажу... и поплачу... а может, и ты со мной... Так вот, словила его взгляд на себе, но, как и положено нам, бабам-чертовкам, притворяюсь, что не примечаю. Однако ж сердце моё уже — вверх-вниз, вверх-вниз. То есть с

первого полвзглядочка-то и попалась вся. Назад иду с тяжестью вёдер, а не чую их. Словно бы скользну по земле. Боюсь: ушёл, поди? И правда, что ж он будет поджидать меня, обычную деревенскую бабу, к тому же не молодую да и не красавицу. Ан нет! Увидал меня, оправился, крикнул в кулак, подошёл с улыбкой... Ах, какой же он был херувим и молодец! Я, Катенька, тогда подумала: генерал. Он чего-то с таким любезным наклоном спросил, а я и полсловечка не могу вымолвить в ответ: Ключня Ключней, деревня деревней стою перед ним, почтительным, с саблей на боку, с этими богатыми усами, а глаза, глаза-то — голубыми искорками рассыпались передо мной. Ну, сущий генерал Скобелев с лубочных картинок! Наконец, распознала в его голосе: «Позвольте помочь, барышня!» И без согласия берёт коромысло. Спросил о постое: можно ли? Я снова дура душой. Повторил вопрос. Докумекала, в конце концов. Но в горле пересохло у меня, лишь хрипнуть смогла: «Милости просим», — и вспыхнула огнём от стыда и досады.

Крепко, Катенька, мы друг дружку полюбили и безо всяких свадеб — да и каким тогда отмечинам быть, коли мыкались впроголодь да под пулями — стали жить-поживать вместе. Он, к слову сказать, был сиротой сыздетства: родители его со старшим сыном сгинули на Бодайбинских приисках, и обе сестры тоже направились искать фарт на стороне, да тоже потом весть чёрным вороном прилетела: на каторге сахалинской померли. Платон Андреевич грустно говорил мне, что все они сгинули потому, что бросили родную землю и дом, а ведь всё было у семьи — живи, трудись, радуйся. Он верил: фартовым и гожим будешь там, где ты родился и вырос. И вот он, мальчонкой, подранком, остался один-одинёшенек. Правда, была у него бабка по отцу. Жил он с ней в скудости великой, по ярмаркам да всеям побирались они. Бабка однажды настыла и вскорости опочила. Благо, у Платона Андреевича призывной возраст подоспел, и он с лёгким сердцем ушёл на свою первую, но не последнюю войну, а дальше и вовсе остался в войсках. Потихонечку дослужился до младшего офицерского чина, а следом, после революции, и выше вскарабкался. Голова! Без образования, но статью — дворянинского — ей-богу! — образа. И этакого молодчагу да умнягу, конечно же, не могли оставить в каких-нибудь там фельдфебелях, унтер-офицерах. И красавец, и умница, повторюсь, ан, знаешь, простая-простецкая русская душа. Кто попросит чего — на, кто нагадит ему чем — подуется, подуется, конечно, да извинит. Но по службе строгонек был, а устав армейский его библией стал. Однако солдаты никогда не обижались на него: правду и душу за ним чужали, человечность нашу русскую. А человечность-то, Катя, не просто к человеку приходит, да и не к каждому. Но человеческого люда, слава Богу, много на Руси.

Революция грянула — он с народом. В партию большевиков вступил ещё на Германском фронте. Знаешь, был шибко идейным, хотел всем беднякам и немощным всяческих благ и послаблений, потому что сам хлебнул горечи с лихвой, помытарствовал с малолетства. В Гражданскую в плену побывал у Колчака. В концлагере под Омском чуть не помер от голодухи. Бежал, изловили. Пытали. А узнала, что пытали, не от него самого, а ненароком — от его боевого товарища Севы Весовичного, с которым они в плен угадали и бежали. На расстрел повели обоих, а он, Платон-то мой Андреевич, изловчился и конвойных лоб об лоб столкнул — они и грохнулись наземь без чувств. Вот такой силищи был он человек, хотя измождённым к тому времени. Но главное, духу, великого духу был мужчина!.. Утекли оба в тайгу, а дело-то приключилось поздней осенью, уже снегу намело по колено, они же чуть не голяком, без шинелей, хорошо, что обутые. Сева-то, признался мне, раскис, замерзать стал, а Платон Андреевич ему: «Не сидеть! Бежать, бежать!..» И — выбрали-таки к деревушке, приютили их промысловики из староверов. Вот оно что такое дух человеческий... Про эти героические дела мне тоже Сева рассказал, а Платон Андреевич у меня был человеком скромным, малоречивым.

Ну, вот, стали мы жить-поживать вместе, семьёй. В Кудимовке я, конечно, уже оставаться не могла: мужа определили взводным в Красные казармы. Через год-другой, к слову, произвели в ротные. С кудимовским хозяйством жаль было расставаться: отцом-матерью, дедушкой-бабушкой скопленное, взлелеянное добро. Землица наша пахотная была наилучшей в волости, а луга безбрежные — тучные, потому как ежегодно сдабривались по бурятскому обычаю навозом, утугами они такие-то прозывались. Что продали за бесценно: народ-то наш сибирский хотя и работающий, бережливый, да страсть как пообнищал после воин и революций. А что так раздали-раздали — всё людям нашим чтобы легче жилось.

Стали обустроиваться в Иркутске. Сначала по людям мыкались, по казармам. Я в начальной школе учительствовала — люблю, знаешь, возиться с ребяташками. Платон Андреевич в полку служил. Всё чинно, ладно, радуемся жизни, хотя и бедненькой, да мирной и мало-мало устойчивой к той поре. До тридцать седьмого не жили своей радостью. И за себя радовались, и за новую власть радовались. Мы простые люди — нам много-то не надо. Чтоб войны не было да чтоб народ вокруг сытно и порядком жил-был, — а чего ещё надо, если понимаешь, что мир сущий — Божий? А мы с Платоном Андреевичем крепко это понимали, хотя он и был коммунистом-атеистом. Но знаешь что, хотя русский человек и отталкивает Бога сознанием и головой, да всё равно душа-то нам всем милована Богом и к Нему, хозяину сего добра неразменного, потом возвращается.

3

Обживались мы, Катенька, стало быть, мало-помалу. Дом этот наш — чтоб ты знала — построил Платон Андреевич сам. Да-а, самолично! Кругляка напил в местных лесах за Поливанихой: там произрастает наилучшая корабельная, да к тому же неподсоченная сосна. Спасибо, красноармейцы его взвода подсобили: скопом за неделю с хвостиком сруб подняли, потолок, полы настилили, стропила с матицей сработали, кровельное железо пришили, а уж потом мы потихоньку сами «копотошились», как у меня любила приговаривать мама. Досочку к досочке, стёклышко к стёклышку — и домок, глядим, народился наш, заиграл на солнце. Сама видишь, наверное, славный вышел. Бывало, подходишь к нему под вечер со школьных занятий — люблю-у-у-ешься, шаг ускоряешь, как бы ни измоталась за день. Оконца мигают-посвёркивают, крыша — точно бы наполненный ветрами парус, труба пробеленная — флажком, заборчик палисадника тоже пробеленный, с черёмуховым кустом под окном, а недалече под укосом голубо горит родимый наш Иркут, чуть же далее и правее — чудо наш мост Иркутный, с царских времён трудится на нас всех, выдерживает и паровоз, и состав вагонов — силище-мост! Сама видишь, чего только по нему не провозят! Мы зачастую по вечерам с Платоном Андреевичем посиживали на лавочке у калитки и смотрели на проходящие составы. И радовались, радовались за страну, как дети радуются за своих родителей, когда они молоды, сильны, работающи и ласковы.

Зажили мы в доме ладком. Вскоре, как и должно тому быть, детки пошли. Первой девочка родилась, да прожила всего четыре дня. Потом у меня выкидыш случился. Я ведь к тому времени уже немолоденькой была, испугалась: не рожу вовсе — бросит меня, старую клячу, Платон мой Андреевич! Не бросил — жалел. И вскоре радость долгожданная: Сашенька родился. Здоровенький, прекрасный ребёнок. Потом — Мария, Марьюшка, наша принцесса. Но, уже говорила тебе, в два года от кори умерла. Последним родился Пашенька.

Обустроились мы, живём-поживаем, детки подрастают — всё как у людей, ни лучше, но и не хуже. Страна живёт, по мосту нашему — локомотивы, грузы, Иркут

бежит к Ангаре, Ангара — к Енисею-батюшке, а Енисей — в окияны-моря. Казалось, ну что может сдвинуть жизнь и пустить её под откос?

Уже говорила тебе: любил до страсти Платон мой Андреевич самокрутки. Осьмушку заранее сложенной газеты, бывало, оторвёт, желобок в ней пальцем продавит, накрутит, щепотку табака из кисета натрусит, скрутит всё это добро, этак ловконько промахнёт языком по краешку — готово, склеилось. Вот тебе мужичья забава — козья ножка. Чиркай спичкой, закуривай. А курил Платон Андреевич с наслаждением великим, в задумчивости философической, как пишется в старых книгах. Казалось, табак мысли и чувства какие-то важные пробуждал в нём. Не куренка, знаешь, была — це-ре-мо-ни-ал!

В тот злыдень-год он так же у себя на службе в Красных казармах в кругу офицеров после рапортов в штабе, свернул козью ножку, прикурил, затянулся, пыхнул дымком и привычно задумался. А когда сворачивал осьмушку да насыпал табаку, не обратил внимание на своего взводного, Новикова, — о подробностях мне уже после рассказали товарищи Платона Андреевича. Так вот этот самый Новиков, говорят, томился на своей маленькой должности и шибко хотел продвижения по службе. Не любил его Платон Андреевич, слизняка однажды в разговоре со мной назвал... Покуривает, подымливает, значит, Платон Андреевич, поглядывает в дали наши таёжные, офицеры вокруг тоже курят, разговаривают о своих армейских делах, а слизняк этот Новиков — хоп, и пропал куда-то. Да никто и не обратил внимания: ну, ушёл да ушёл человек по своим надобностям.

Однако через минуту-другую подходят к Платону Андреевичу трое офицеров из спецотдела штаба (а этот слизняк Новиков, замечено было, маячил, как стервятник перед поживой, невдалеке) и говорят моему мужу: «Покажи-ка, командир, козью ножку». И — хватить её изо рта его. Она уже наполовину выгорела, однако текст читается: Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) да портрет аж самого... «Сдать оружие!» — «Вы чего, братцы?» Платон-то мой Андреевич, говорили, почернел вмиг, а был ведь не робкого десятка, стреляным и ломаным. Вырвали у него из кобуры наган и с подтыками в спину повели в карцер. Следующим днём, к слову, слизняка назначили на место моего мужа ротным. Да ещё, забегая вперёд, скажу: через год, через полтора ли слизняка тоже арестовали, и на Колыме, случаем узнала я, он и сгинул. Но я не радуюсь, не подумай чего, Катюша. Мне и его, слизняка-то этого, жалко, потому как на веки веков загубил он свою душу и потерял для Бога и Божьего мира нашего... Хотя... хотя... Богу судить, а не нам, грешным.

Японо-немецко-троцкистским агентом — вот кем объявили моего мужа. Попробуй выговорить. А прикуренные осьмушки газетные со статьями и портретами больших людей были, растолковали, условными знаками для бешеных собак — троцкистов и шпионов: мол, конспирация у них, врагов народа, такая. Ведь если не вдумываться — смех и только. А если вдуматься? Эх, да чего уж тут вдумываться! Нет Платона моего Андреевича и сыновей наших нет! Вот и думка вся. И одна я чего-то мыкаюсь. Уж скорей бы, скорей...

Старушка помолчала, призакрыв глаза землистым комочком век. За стеной дома выла и билась пурга, в прощелях ставен — тьма всё та же, хотя по времени уже зажечься рассвету надо бы. Екатерине кажется, что покою и свету белому никогда не наступить, что теперь господствовать в мире только ночи и ненастью. Душе её, скованной и жалостью, и страхом, было невыносимо тяжело дышать.

— О чём я, Катя, говорила? Да, да, помню... А лучше бы обеспамятеть, разом уйти в землю. Но коли начала рассказывать, надо доканчивать. Так вот, началось следствие. Недолгое. Да что там! — коротенькое, как ехидный смешок за спиной исподтишка. Три-четыре дня, что ли, длилось оно. Платона моего Андреевича перевели в главную нашу тюрьму в Знаменском предместье. И я наверняка так ничего и не узнала бы о его

судьбе страшной, как миллионы других родственников остались в неведении, да мой дальний сродственник, Гоша Дубовицкий, служил там в следственном отделе делопроизводителем. Я — к нему домой. «Скажи, Гоша, что, как?» «В списках...» — шепнул. И понурился, спрятался от меня глазами. «В каких таких списках?» — пытаю. Молчит. Молчит и сопит. «Господи, да говори же, идол!» Прощешил, кажется, даже губ не разжал: «В расстрельных». «Что, что?!» Я слов не нахожу и задыхаюсь. Как, Платона моего Андреевича, красного командира, большевика, героя Гражданской, бежавшего из-под расстрела от самого Колчака... — и такого человека могут расстрелять, что он по глупости или простоте своей природной покуривал козьи ножки?! «Знаешь, сколько их там! — наконец, говорит Гоша. И скрежещет зубами. — Камеры набиты битком. Стеллажами народ в них. Духота, вонь, блохи, клопы. Кормёжка — баланда из картофельных очисток и протухшая селёдка. С допросов людей заволакивают охранники покалеченными, в кровище, а кого уже и не возвращают. Ещё страшнее, шепнул мне один человек, в подвалах УНКВД. Там стены обшили металлом, на пол насыпают опилки и всю ночь во дворе тархтит трактор. А зачем? Чтоб криков жертв и выстрелов не было слышно. Кровища стекает на опилки, — их вынесли, ещё посыпали. Так, помню, у нас дома борова осенью кололи — опилки насыпали. Следующая ночь — снова расстрелы. Трупы забрасывают в ЗИСы под тент, в два-три часа ночи, в волчье время, везут в спецзону НКВД под Пивовариху, там у них полигон, что-то вроде кладбища. Закапывают в траншеи, говорят, они пятиметровой глубины, а длиной — десятками метров. Сбросили очередную партию — немного землицей присыпали, да не сами чекисты, а живых арестантов с собой привозят. Живяками их называют. Те закопают трупы — и их тут же убивают, в ту же яму сбрасывают. Рядом со спецзоной — поля местного совхоза. Так вот один механизатор во время уборочной видел не из шибкой дали, как землица над теми траншеями дышала утром, то есть и живьём закапывают людей, недобируют, патронов, видать, жаль, не знаю. Я, когда бываю по служебным делам в УНКВД, встречаю в коридорах этих убийц. С виду, знаешь, обычные люди: две руки, две ноги, голова... но что, что творят!.. Нет, от других всё же отличаются: у всех у них сытые лощёные рожи — ведь отовариваются не как мы, простые смертные, в обычных магазинах, где доброго товару не встретишь, но в самом торгсине, где всё самое наилучшее и по сходной цене. И одеты с оголочки: щеголяют бекешами, фетровыми бурками, носят регланы, чего другим не позволяют. А сапоги какие — нежнейшая монголка, а влитые гимнастёрки — из наиплотнейшего коверкота, а на рукавах горит чекистский герб, кажется, из золота он. Постреляют людей, увезут в Пивовариху, сбросят в ямы, а потом до утра гулеванят на Даче лунного короля...» Гоша замолчал, у него захрип и срезался голос. Обхватил голову руками и раскочивался, как пьяный.

Слушала я его и — не верила. Не верила! Да как же так: ведь мы — советские люди. Самые гуманные, человеколюбивые на земле люди! Строим самое справедливое общество всех времён и народов. А Сталин... Сталин... гениальный вождь наш, отец всех народов... Как же... что же... почему же?..

Через день-два Гоша пришёл в наш дом, утайкой самой утаистой, впотьмах, и передаёт мне скомканную пропотелую бумажку. Записка от мужа моего роднёнького Платона Андреевича! Читаю карандашные закорючки, захлёбываюсь словами: «Евдокиюшка, береги наших сынов. Вытяни их к свету и правде. Тяжело тебе будет, но не сдавайся. А что бы кто ни говорил обо мне, знай: я чист. Прощай. Твой супруг Платон Андреевич Елистратов». Вцепилась я в Гошину тужурку, трясу его, а не могу слова вымолвить — каменюка в горле. Гоша зубы стиснул и телепается, как тряпичная кукла. Он крепковатый мужик, нашенский деревенский, но тут обмяк весь.

«Устрой встречу со следователем!» — прошу в отчаянии. «Ты что, безумная? — шипит он. — Какие там теперь следователи! Я же тебе рассказывал: там нелюдь суд

вершит. Никому там нет дела до следствия и правосудия». «А его, его увидеть хотя бы краешком глазочка?» — «Тоже невозможно». На колени опустилась перед ним, заглядывая, как собака, в глаза его: «Христом Богом прошу: помоги, Гоша!»

Он помолчал и сказал тщательно, будто отслеживал каждое своё слово: «Сегодня после полуночи повезут их на полигон под эту живодёрню Пивовариху. Вот и вся моя помощь, не обессудь. Что ещё тебе сказать?»

Слышала я слово «полигон» и раньше до Гоши. От мужа, когда рассказывал он про свою службу, про стрельбище Красных казарм, которое находится возле Пивоварихи. А раньше, к слову, мы её называли Теребеевкой, потому что в тех местах проходит дорога на Байкал в Большое Голоустное, и на дороге той разбойнички грабили, то есть теребили, а зачастую и убивали купцов-промысловиков. Страшные места, столько историй о них. А коли под Пивовариху везут, я, наивная душа, потому и спрашиваю у Гоши... А почему, Катя, так спрашиваю-то? Потому что верить не хочу и не могу, и всё ты тут! Спрашиваю: «Что, на учения... на стрельбы?» «Эх, дура ты баба!» — выругалась Гоша, а у самого глаза слезами забиты, губы холодцом дрожат.

Выдавил, точно яд: «Убивать... Уж сколько народу туда отписано и чекистами, и моим ведомством... мать моя расхристанная!..»

Замолчал, заозирался зверьком, похоже, испугался, понятно, что в сердцах сорвалось с языка лишнее. Наверное, не надо было такое-то убитой горем бабе сообщать.

Я крикнула: «Не верю! Не может быть!.. Сталин... как же Сталин?..» И — завывала, завывала, Катенька. Распласталась по полу. Понимаю, хрястнуться бы об плаху головой, вышибить мозги, да сил нету: как срубило меня поперёк туловища шашкой-невидимкой под названием судьбина, не чую тела своего — ни рук, ни ног, ни головы, даже сердце онемело, захолонуло.

Гоша повздыхал надо мной, сказал на придушенном полусшёпоте: «Теперь хоть знать будешь день смерти мужа и где могила его, хотя и братская. Другие так и этого не знают...»

Правильно сказал, по-человечески. Потихоньку ушёл, и — тишина гробовая, будто и не было никого, а я не слышала о страшной участи моего мужа.

Лежу, умираю. Ничего не знаю, ничего не понимаю хорошенько. Внутри и горит, и смерзается разом, сердце то замрёт, то дёрнется, как для прыжка. Что делать, что делать?! Сегодня убьют моего мужа. Куда бежать, кому в ноги кинуться? А кинусь к какому начальнику в ноги — не посадят, не убьют ли и меня следом? С кем останутся наши сыновья, какая судьба ждёт их? Слышала и видела воочию — семьи врагов народа разоряют: малолетних детей в детские дома отдают, жён и других взрослых родственников в лучшем случае взашей прогоняют из жилища их родного, хоть на улице под забором живи-помирай, а то — лагеря, неволя каторжная. Саша в тот год ещё учился в Ленинграде, и — цепляюсь за обрывочки разума — как узнают про отца его — арестуют, убьют, ведь он уже совершеннолетний. Может, про отца не узнают — ведь далеко-далёко Ленинград от Сибири. А вот если я кинусь куда с просьбами да мольбами (хотя — куда, ночью-то!) — зацепятся, и пропал мой Сашенька! А потому — сидеть, сидеть тихонько, мышкой в норке — вот чего я стала продумывать да соображать мало-помалу.

Уже хотела встать, подойти к Паше, посмотреть на него, спавшего в соседней комнате, потом — к иконе Богородицы: заступу испросить, вышнюю милость, да вдруг — кто-то подтолкнул меня в плечо. «Мама, мама, вставай! Пойдём», — слышу, будто из тумана и далека, из какого-то уже другого для меня мира. Пашенька, сыночек, надо мной стоит. Через силу поднимаюсь на колени, вцепляюсь в него. Жму, притискаю к себе ватными руками. Мальчонка он ещё, только тринадцать исполнилось, а смекалистый, решительный, бойкий такой рос у нас. Хорошо учился, барабанщиком был в пионерском отряде, юный, а уже со значком ворошиловского стрелка, в лыжники-

разрядники пробился ещё десятилетним. Радовались мы на него с Платоном Андреевичем. Мечтали, в военные пойдёт, академию окончит, в генералы, глядишь, выйдет.

«Куда, сынок, пойдём?» — спрашиваю. С трудом поднялась на ноги полностью. А покачивает меня, точно пьяную. «Одевайся, в Пивовариху пойдём. Папу спасём. Я слышал твой разговор с дядей Гошей. А про полигон тот мне известно: нынешним летом, когда я с папой и его ротой ездил на стрельбища, то лесной дорогой проезжали мы мимо одного дома, папа шепнул мне: «Смотри, вон за черёмухами большой бревенчатый дом, это Дача лунного короля. Тут спецзона и полигон НКВД. Страсть, что брешут про эти места!» «А что брешут?» — спросил я. Но папа промолчал, козью ножку стал свёртывать. Километрах в пяти от Дачи — стрельбище Красных казарм... Ну же, вставай, мама! Одевайся. Часа за три доберёмся. Спасём папу. Там кругом леса — легко пробраться к полигону. Забора я не заметил, только колючка болтается от дерева к дереву. Патруль, правда, ходит, но собак с ними я не заметил. Айда же, мама! Спасём, обязательно спасём!»

«Но как спасём, сынок, если под стражей он теперь?» — машинально думаю я, но не спрашиваю у него, потому что помню и верю: устами младенца глаголет истина. Не хочу и не могу поколебать его веру и желание. Торопит, подталкивает меня, и всё одно по одному: пойдём да пойдём, скорее да скорее, надо торопиться. Наконец, оделись мы, вышли на улицу.

4

Что ж, идём. Но то идём, то бежим. А куда, что? — минутами не пойму, не соображаю. И ведь вдуматься бы тогда: сумасшествие, сумасбродство, гибель наша! Ночь, пустынно, ни огонька, город вымерший и тихий, как кладбище. Только раз, другой пронеслась машина. Мы поняли: воронок. Жуть. Кого-нибудь ещё арестовали и везут на бойню. Собаки, слыша наши шаги, просыпаются, брешут, рвутся с цепи, подлые. Страшно, не дай бог, кто заметит, — скрутят, вызовут воронок и — пропали мы. Я-то, ладно, уж пожила, порадовалась свету Божьему, а вот Пашу, мальчонку, загубят почём зря.

Морозно, зазимки инея и ледка под ногами шуршат и хрустят, ведь уже октябрь. Но жарко, вся горю, вся в огне. Как прошли улицами и заулками Иркутска, даже как минули этот наш огромный мост через Ангару, а потом за Знаменским монастырём двинулись тропами и прогалинами по берегу Ушаковки, не вполне помню. Будто не сама я шла, а какая-то неведомая сила меня несла на крыльях. В пути припомнились мне давнишние разговоры про Дачу лунного короля. Народ уже наслышан был о Даче, о спецзоне, но как-то верилось не верилось, что людей там убивают, ни за что ни про что убивают, казнят. А прозвание, к слову, она такое получила ещё до революции: в тех краях после якутской каторги обосновался, кажется, в семидесятых годах прошлого века, ссыльный поляк-революционер, знатный дворянин, по фамилии, если память не изменяет, Огрызко. Дом основательный построил и долгие годы прожил в нём. Потом, говорят, на родину в Польшу всё-таки уехал. Какое-то у него было сложное заболевание глаз: на дневном свету ему совсем нельзя было находиться, и он лишь потемну выходил на свежий воздух, прогуливался. Полноценно жил, можно сказать, по ночам. И вот теперь снова здесь началась ночная, но уже чёрная, безобразная жизнь. По словам Гоши, «скотобойню» открыли: привозят — убивают, привозят — убивают. И трупами привозят, в подвалах убив, и живыми везут, но путь всем один — в землю, в братскую могилу. Да, только наличием могил люди и отличались от скота. Уму непостижимо, деточка моя Катя...

Голос старушки ссекло, она замолчала. Однако Екатерине показалось, что голос всё же звучит, своевольно продолжая страшный рассказ. Но Екатерина догадывается, это её сердце слышит сердце несчастной женщины — матери и жены.

— Ну вот, опять я замолчала. Но надо досказать, обязательно надо. Ты — молодая, тебе жить дальше и... помнить. Обязательно помнить... Так идём мы, идём... Тёмный, незнакомая округа, то леса чащобников, то распахи еланей, каких-то вырубков, торфяных ям. Уж начинало казаться: и здесь были, и там были. Думала, заблудились, кружим, и никакой Дачи лунного короля не отыщем.

Ан нет! Сынок мой вдруг останавливается, всматривается, указывает рукой и шепчет: «Вон Дача лунного короля!» Я обмерла, хотя самого дома разглядеть не могу — кусты и мрак утаивают его, только горбину кровли угадываю. «Так вот они где гулеванят», — думаю.

Стоим, долго стоим, перетапываемся. Куда идти-брести — неведомо, что делать, как поступить — не знаем. Но вдруг чуем — в отдалении голоса. Кто-то вышел из Дачи лунного короля и — немного позже я поняла — направился туда... на сам, как значится в их государственных бумагах, полигон. Слово-то какое подобрали хитромудрое, криводушное, а ведь попросту, по-русски-то — бойня. Приседаем на корточки за куст, затаиваемся. «...Опять эту ночь не поспим, — говорит кто-то и зевает. — Хорошо, сегодня скот забитым привезут, а не живяком. С этими вертлявыми живяками намучаешься, пока угомонишь их... навечно», — хохотнул голос. А кто-то другой с позевотами отзывается: «Да, вошкотни, кажись, не много будет: свалим в траншею, живяки присыпят землёй, потом забьём и их. И — дёру дрыхнуть». — «Скорей бы уж доставили, что ли...»

«Скот... забьём... живяк... угомонить...» — понимаю и не понимаю. А если понимать как надо — как жить в ту минуту надо было бы?

«Пашенька, Пашенька, сыночек...» — шепчу одеревеневшими от страха и ужаса губами. Но что хочу сказать и что нужно сказать — не понимаю. Не понимаю ни на грамм. Уже немеют мозги, стынет кровь, сердце мертво, будто сама оказалась в могиле, а надо мной земля, и она дышит.

Голоса и шаги отдалились, вовсе сгасли. Легко догадаться: то был патруль, обслуживания полигона. «Скотозабойщики».

Сидим на корточках за кустом. Что делать, куда бежать-идти или ползти — не знаем. «Скот... забьём... живяк...» Страх меня одолевает, но страх другого рода: страх того, понял ли Паша? Нельзя, чтоб понял. Нельзя, никак нельзя. Маленький он ещё, душа его детская неокрепшая — погибель ей, если даже выживет физически. Что делать?.. Чувства, Катенька, жгут меня сейчас так же, как и тогда...

Ещё постояли бы мы минуту-другую — и я потянула бы сына назад, домой. Бегом, скорее бы от этого ужасного места! Я поняла: мужа, любезного супруга моего Платона Андреевича, не спасти никакими силами, и, возможно, он уже мёртв, убит, но мы-то ещё можем выжить. И мне, как никогда, нужно выжить и жить, потому что завещал же он мне: береги наших детей, вытяни их к свету и правде, тяжело тебе будет, но не сдавайся.

Однако ни минуты, ни другой минуты нам не оставалось про запас, потому что внезапно по тьме от земли полоснуло, как грозowymi молниями, огнями. Неподальку затарахтели машины. Понятно было: со стороны Большеголовуштенского тракта, от Теребеевки-дороги, не доезжая Пивоварихи и чуть левее Дачи лунного короля, въехали на просёлочную дорогу машины, явно, целая колонна. Мы тогда не знали, но догадались: это — та колонна, и в одной из машин — он, живой или мёртвый. В своё волчье время они и приехали.

«Идём туда!» — скомандовал, но шепотком, Паша. Он был решительным, он был смелым, он был прекрасным моим сыном. И — пошёл. Без меня. Видимо, почувство-

вал, что я хочу отступить, вернуться, сдаться. Он понял, что где-то рядом отец, и не мог, да и, понимаю теперь, не смог бы отступить.

Догнала. Потянула назад, повисла на его плече. Он вырвался. И мне остаётся только лишь просить его, шепотком: «Таись, таись!..»

Наткнулись на колючую проволоку, она от ствола к стволу протянута в четыре-пять струн. Паша в мгновение ока поднырнул в жухлую траву, изогнулся и — там уже. Говорит: «Мама, вернись. Я — сам, один». И — нырк во тьму, как в омут. Я обезумела. Ни мыслей, ни чувств. Навалилась всем телом, будто каким посторонним предметом, на колючку, нажимом промяла её и рывком, перехватившись с противоположной стороны за нижнюю проволоку, перекувырнулась. А почему я таким манером поступила, Катя? Да потому, что под проволокой я не пролезла бы, а Паша, ясно, не помог бы. Побежала во весь дух, и потом уж поняла — разорвала, искорябала себе лицо, изранила грудь и ладони, но боли и крови не чувала. Лишь много позже обнаружила на себе напитанное кровью бельё, а про лицо думала, когда заливало глаза, что это пот. Смахивала ладонью. Сына догнала какими-то невероятными прыжками. «Мы — вместе, — говорю ему. — Тише, сынок, тише. Умерь шаг. Не услышали бы: вдруг здесь посты и засады». Но его было не остановить, не укротить. И я бесповоротно смирилась. С судьбой смирилась.

Наверное, с километр прошагали мы, держались света фар и рокота двигателей.

За облаком молодых сосен увидели три-четыре крытых брезентом ЗИСа. Они стояли на довольно просторной поляне, разномастно, по-всякому были повёрнуты, и две машины освещали всю поляну. Видим — строй НКВД. Фуражки ярко горят красными околышами и синим верхом. Бежевые бекешки. Сапоги начищенные сверкают. Ружья, пистолеты на изготовке. Как на параде. Пригибаю сына, валю его наземь. «Тише, тише!..»

«Папа!» — осиплым шёпотом вдруг вскрикнул он.

Я вдавила в его губы ладонь, повалила на землю, шепчу, а может быть, уже и рычала, как самка зверя: «Тише, тише...» Он сильный у меня, не по возрасту развитой, однако не может в моих руках даже ворохнуться, поднять голову. Неизвестно, отчего во мне в те секунды между жизнью и смертью мощь силы невероятно возросла, стала необоримой. «Тише, тише, — всё шепчу. — Я отпущу тебя, но ты не двигайся, лежи, головы не поднимай. Хорошо?» Он смаргивает мне: мол, согласен, отпусти. И я пытаюсь разжать руки, раздвинуться плечами, туловищем, ан не могу: я вся окостенела.

Через силу и на чуток приподнимаю голову из-за кочки с сухотравьем и вижу с неожиданной для себя холодной отчётливостью: да, воистину Платон мой Андреевич, муж мой любезный и отец наших детей. Вместе с другими арестантами — а все они полусогнутые, в кровоподтёках, ковыляющие доходяги — таскает за руки за ноги из кузова трупы и сбрасывает их в яму.

Вдруг — чудо: слышу от кузова, но едва различимо, его голос родной: «Товарищи, тут живой человек, ещё дышит». «Тащи, сбрасывай!» — с этакой хамоватой небрежностью отвечают ему. «Да как же, братовья, живого-то — в яму?» И я вроде как радуясь: узнаю живую душу родненького Платона моего Андреевича — где несправедливость, неправда, там он горяч бывал, непримирим. «Сбрасывай, падла!» — гавкают. И — прикладом винтовки по спине Платону моему Андреевичу. А вдогон — пинками, пинками, а ещё прикладами, прикладами. Двое, трое вояк орудовали. Упал мой родненький, стал кровью харкать. «Живее, падлы!» И арестантов, что замешкались невольно, приостановились, тоже — буцкать сапогами, прикладами куда попадая.

Приподнялся мой, кой-как выпрямился, сплюнул кровь, стал снова таскать.

А я одно накрепко понимаю: не надо выпускать Пашу. Держать его из последних сил, не дать взглянуть на смертоубийство, на изуверство недочеловечье. Если выпущу — потерю навеки. Он бурчит, я, конечно же, понимаю: отпусти, мол, или, наверное, по-

ослаб хватку, дышать тяжело. «Потерпи, Пашенька, потерпи», — шепчу ему в самое ухо. Он понимает, соглашается и минутами замирает вовсе — шуметь нельзя, потому как смертынька рядом бродит.

Всё, перетаскали, сбросили. Всучили им лопаты: «Закапывайте!» Но взмахнули они лопатами с десяток раз каждый — команда: «Стоп!» Да, как и говорил Гоша, в несколько пластов набрасывали трупы, чуть присыпали землёй. И следующую партию «забитого скота» — сверху.

Арестантов, наверное, человек двенадцать, так вот где-то так восьмерым из них связали руки за спиной, поставили на колени, а остальным велели взять лопаты. Стоят те, связанные, понуро. И все они вместе, и связанные, и несвязанные, ещё, думаю, не знали, чему дальше случиться, хотя могли и догадываться. Но таков любой человек: до последнего вдоха верит и уповаёт. А дальше вот что началось: «Построиться в шеренгу! — распоряжается командир тем, несвязанным. — Живее, падлы!» Сам командир-то этот, видно, что молоденький, и юркий, бегучий такой, а лицо гаденькое — маленькое, недоразвитое, скомканное в морщины, как у старичка. Зверёк, одним словом... старичок-то — то человек. Тем, что несвязанные, а среди них оказался и Платон Андреевич, велит взять лопаты: «По команде «Коли!» наносите этим врагам народа удар по шейному позвонку или черепку. Прикончите их — останетесь жить сами. Коли! Ну!» Те, что связанные, закричали, и закричали-то как страшно, ка-а-ак страшно: и по-детски жалостливо, и — безобразно так. Оборачиваться стали, кто-то рванулся было бежать, но им молниеносно — по голове, в шею, в горло, в лицо, куда попадало. Слышала, слышала жуть эту жуткую: кости, черепа трещали. А сама до того сжала Пашу, что он стал задыхаться.

Вижу: мой-то Платон Андреевич лопаты не поднял, не ударил жертву. Командир этот мерзкий к нему подбежал, ударом кулака повалил наземь, пинал, топтал. В троих поочерёдно ткнул пальцем: «Коли, коли, коли!» И те... и те... Радые — ведь жизнь им обещана!

Я не смогла смотреть, уткнулась в Пашу. Но ни рыдать, ни дышать невозможно было. Он понял, что отца уже нет, — затих, но не размяк — в нечеловечьей натуге отвердел каждым мускулом, стал, казалось мне, больше, даже могучим, словно бы в секунды превратился во взрослого мужика. Ведь мог бы, думаю, лишь шевельнуться — и сбросил бы меня, как куклу, освободился бы. Но — лежал. А держала ли я его в те минуты — не знаю. Наверное, уже не было во мне сил. Ни физических, ни духа.

А что же эта нелюдь тем временем? Велели арестантам самым доброхотным тоном побросать трупы в яму, присыпать землёй. Сказали им: «Сейчас на машинах вернёмся в управу и вас с ходу освободят по амнистии. К врагам народа вы беспощадны, доказали свою преданность советскому народу. Молодцы! К бабам своим вернётесь, к детям — эх, заживёте! Но руки в дорогу вам надо связать: так положено по инструкции, товарищи. Вы ведь всё ещё арестованные», — похохатывает этот зверёк.

Те, наивные души, и дались им, да ещё лопотали: «Вот, вот она, справедливость. Спасибо, спасибо, товарищи...» И только связали их — налетела эта нелюдь с лопатами и молотками. Хрусть-хрусть, хрусть-хрусть, ей-богу, я слышала, как хрипел и скрежетал даже сам воздух.

Всех забили. Как скот. Хотя со скотом-то на живодёрне помиосерднее обходятся. Сбросили в яму, чуть присыпали землёй.

«Эй, Луценко! — говорит этот мозглявый, этот зверёк... Господи, да зачем я сравниваю его со зверьком? Зверёк-то, оно и звучит ласково. Но с чем сравнить, чтоб уяснить всю жуткость этих злодеяний?.. Снимает фуражку, рукавом гимнастёрки вытирает пот со лба. Говорит запыхавшимся голосом: «Бойцам по пачке махорки выдать: как-никак патронов двадцать — двадцать пять сегодня сберегли». «Слушаюсь! Прошлый-то раз, товарищ лейтенант, вас не было, так «скот» брыкаться начал, трое

драпанули в кусты, пришлось потратиться на патроны. Шуму понаделали, страсть. От начальства нагоняй схлопотали. А нонче ловко мы их с вами. Ай, ловко и хитро! Может, внеочередной отпуск дадут, как думаете, товарищ лейтенант?» — и угодливо похихикивает.

«Дадут, потом поддадут, — пошучивает это мозглявое создание. — Будя, Луценко, чесать языком, дуй-кась на Дачу: пушай столы накрывают. Да водку чтоб остудили: в прошлый раз мочу подали. Ну, живо!» — «Слушаюсь, товарищ лейтенант!» — «Эй, Хаврошин, лопаты схоронить под кустом, не надо их на Дачу тащить: завтра работёнки ещё поболее будет, четырьмя автоколоннами голов под пятьдесят пригонят».

Наконец, машины тронулись. Некоторые из этого нелюдя запрыгнули в кабины — и под тенты, а другие тропой направились лесом в сторону Дачи. Посмеивались, подначивали друг друга, словно бы с танцев да с гулянок шли. Минута-другая — и тишина. Тишина, ночь, октябрьский морозец, занявшаяся над лесом луна и — жуть. Жуть несутная, жуть обыденности этого мира, когда миру сему уже, быть может, нельзя существовать. Но он... но он и по сей день существует, перемогши самую кровавую на свете войну.

5

Я не заметила, как и когда мои руки разжались. Перевалилась на спину, но с великим трудом, потому что чувствовала себя окоченевшим трупом, бревном. Лежу, слушаю, а что слушаю, зачем слушаю и зачем понимаю — непостижимо было. Да и лежу зачем, и дышу зачем, и живу зачем — неведомо. Никчемностью представилась сама жизнь, наши человечьи радости и горести, наши умные и глупые слова. Тьма кромешная, хотя луна светит, всё ярче разгорается. Нет ни земли, ни неба, ни лесов вокруг. Но тьма, конечно же, Катя, установилась внутри меня. И мне не надо было ни земли, ни неба, ни солнца с луной — ничего, ничего не надо было. Только одно чувствовала и как-то осознавала: мне не надо жить. Вот прямо сейчас и прервать жизнь, остановить работу рассудка! Наверное, я потеряла сознание на какое-то, наверное, очень короткое, время, провалилась в глубокую яму своего горя и только что пережитого страха.

— Мир Божий? — тихонько спросила Екатерина.

Старушка, не медля ничуть, ответила:

— Мир Божий. Бог и нелюдей посылает на нас, чтобы мы ужаснулись грехам своим и чужим, а потом притиснулись по отдельности или общинами, или даже целыми народами к Богу и святым отцам нашим. Где помнят о Боге всечасно, там и человек как человек, там и народ как народ: духовно опрятны, чинны. Но без испытаний и памяти горестной об этих испытаниях человеком не стать, в народ не сложиться, а быть стадом быдлярчим, да у пастуха какого-нибудь залётного да каверзного.

Старушка строго, но коротко помолчала.

Екатерина шепнула, неволью: «Простите».

А Евдокия Павловна продолжила рассказ, казалось, и не прерывалась, не говорила высоким слогом:

— Очнулась я: батюшки! нет рядом Паши! Кровь страха во мне закипела, ринулась по жилам, ожгла душу. И она, родимая, ожила. Я вскочила, устремилась в ночь, не разбирала дороги. Крикнула в отчаянии: «Сынок!» И вдруг то, что я впотьмах приняла поначалу за бугор, поворачивается ко мне. И я вижу освещённое луной лицо. Лицо незнакомое мне, лицо, будто высеченное из камня.

Я не сразу поняла: он, сыночек мой! Сидел Паша над траншеей, по самому по-накраю. Знаешь, Катя, как глыба памятная на могиле.

— Мама, мы его здесь не оставим, — шершаво и лязгающе, так, будто внутри

каменя перетряхивались, сказал он. — Они его как собаку... — Он помолчал и вдруг произнёс, и цедил даже не столько слова, а буквы, звуки, подвздохи: — Если я вырасту... я... им... — И он замолчал, и молчал, думаю, потому, что не мог разжать зубы. И больше — ни слова, ни вздоха. Он весь стал камнем. И внешне, и внутри.

Да, он превратился в другого человека. В те летучие десятки минут до и после казни отца он и изменился столь разительно: можно сказать, что вырос, возмужал, но одновременно и постарел. Ссутулило, даже сгорбило его, как старца. Потом, уже дома, я обнаружила, что он ещё и поседел. А если бы он увидел вживе саму казнь!..

Я спрыгнула в траншею. Металась: разгребала руками землю и тут и там. В какое-то мгновение поняла ладонями: это его лицо, родное, единственное, в пышноте его роскошных усов. Оно было ещё мягким и, почудилось мне, тёплым, а потому я в каком-то порыве позвала: «Платоша, слышишь, Платоша?»

Паша вскрикнул, как бывало, когда он, после томительного поджидания, встречал отца со службы, бежал к нему, повисал на шее: «Папа, папа!»

Вот так вот по-детски, вроде как радостно, позвал он отца и спрыгнул в яму.

Я в какое-то мгновение поверила: живой Платон мой Андреевич, живой мой родненький супруг. С Пашей, как безумные, тормозили его. Но уже через секунды поняли воочию — никогда, никогдашеньки-то его не будет с нами.

«Полезай вверх, — велела я Паше. — Я приподниму его и буду подталкивать, а ты перехватывай, упирайся ногами и тяни вовсю».

Еле-еле вырвали из ямы. Он же у нас был крепышом, тяжёлехоньким. Лежит перед нами, изрубленный, но по-прежнему могучий, мощью своей живой, не убитый, не сломленный. Мы же на коленях склонились над ним, а что дальше делать — не подумали ведь. Где же захоронить его? Ни до какого кладбища не донесём, не дотянем, попутку или подводу остановить на Голоустненском тракте? — что подумают люди, не заявят ли на нас. Да и скоро уже светать будет: узрят нас эти изверги рода человеческого — беда, погибель.

«Потянули», — сказал Паша. «Куда?» — спрашиваю. «Хоть куда. Давай — туда», — мотнул он головой. Что ж, потянули туда. Проволока-колючка на пути. Тут уж Паша помог мне поднырнуть под неё: придержал нижнюю струну. Вытянули-вытолкали. Вот так попал он, наш родненький, на свободу, в руки семьи своей. «Прихвати пару лопат, — говорю Паше. — Мало-помалу утянем в тот лесок, всё человечья могилка ему будет. После потихоньку в темноте приходиться можно, а если когда-нибудь случится наступить на Руси нашей святой добрым временам, так честь честью поступим: перезахороним на погосте, отпоём».

Евдокия Павловна помолчала, приопустив вычерненную плёночку век.

— Но когда им наступить, Катенька, когда? — тихонько вздохнула, покачнувши сухонькой головой. Ответа не стала дожидаться. — Долго, тяжело волокли мы, час, два, — не понять было, время и чувства в голове перепутались. Горько-солёным потом исходили, аж глаза жгло, ладони и колени кололо и резало камнями, наростами льда по мерзловатой земле, в рытвины с льдистой водой проваливались, густую жёсткую траву или кустарники одолевали. Измаялись вусмерть, порой отчаивались. Но след не забывали тотчас замечать руками, охапками листву да быльё насыпали.

Когда же, наконец, принялись копать могилку в укрытом кустами местечке, зорька брызнула. Орудую я лопатой и взглядываю на небо: не выдай, Господи! Ведь патрули злыдневские могут шариться где-нибудь поблизости. Спешили что было сил. А сил физических уже, кажется, и не было вовсе. Но дух держал нас на ногах и черенку лопаты не давал вывалиться из рук.

Поглядываю на Пашу: штык лопаты врывает в грунт, а сам лицом — камень, зубы давит, молчит сосредоточенно, будто задумал чего. До самого его ухода на фронт в сорок третьем я ни разу не увидела, Катенька, улыбки на его лице.

Земелька наша таёжная тяжела, норовиста, сама знаешь. Благо, что ещё немерзлой была. Глубиной в пол моего роста всё же выкопали мы кое-как. Постояли перед дорогим нашим человеком на коленях — нет сил ни на что: ни на слёзы, ни на слова. Да и что говорить было! «Хороним, а омыть бы надо, хотя бы лицо», — сказала я. Так сказала, не подумавши: воды-то где взять? Лужи — лёд, а подо льдом — полосочка грязной водицы. Да и не водица то, а взвесь, жижа. Паша встал с колен, легонько раздробил лопатой ближайшую лужу, набрал в горсть льда, над лицом отца попытался в ладонях натаять. Не получилось, потому как руки у нас застыли, сами ледышками стали. Расстегнул он свою рубашку, приложил лёд к груди — влагой, каплями омыл отца.

Я осенила родное лицо крестным знаменем, поцеловала в лоб. Кое-как опустили-скатели. Да старались, чтоб не упал он, а прилично, благообразно лёг. Закопали, махонький холмик нагребли, листовы-травы натрусили сверху — пойми, что могила. Лопаты сбросили в какой-то ров, закидали ветками и листвою и — бегом, бегом к городу, но уже другой дорогой, не той окаянной, кровавой, на которой нас могли заметить и сцапать. Уже по дневному свету вошли в первую улицу Иркутска. Умылись, обчистились мало-мало у первой встреченной колонки, побрели, родимые, домой. Не помню хорошенько, как дошли, потому как свет белый и людей видеть тяжело было.

Через сутки, через полтора ли являются к нам два милиционера. Один хамоватый, развязный такой, а второй — серьёзный и строгий, но вежливый, одним словом, приличный человек. «Выселяйтесь, — заявляет этот хамоватый, — потому как вы родственники врага народа». «Куда же, — спрашиваю, — выселяться?» «Да хоть куда. На, читай постановление, расписывайся и выметайся». А сам зенками рыщет, уже, верно, приглядывает, чего ему перепадёт при дележе. Они, эти злыдни, богатели в те годы на таких, как мы, горемычных, оболганных, и жилища, и имущество наши присваивали себе. «У меня малое дитё. Куда же мы по холоду?» — спрашиваю внешне хладнокровно, а сама — и в огне, и в холоде, не понять было ощущений. «Будка собачья во дворе — можешь утащить с собой», — хохотнул, подлец.

«Мой отец мученически погиб за советскую власть от рук белочехов. Не имеешь права выселять дочь героя Гражданской войны!» Заговорила-то я, Катенька, смело, а поджилочки-то дрожали. Вижу, смутился этот злыдень. И я — давай, давай наступать: «Пойду в райком партии — всыпят тебе, а то и во враги народа сам угодишь! Ишь, чего удумал: дочь и внука героя Гражданской войны выселять да вышвыривать на улицу!» — указываю я на Пашу. Сын сутуло стоит особняком в сторонке, зубы стиснул, лицом тёмн, как старый мужик. «И супруг мой, — всё наступаю я, — никакой не враг народа: пришла весточка из следственных органов, что завтра или послезавтра освободят его из-под ареста. Ошибка вышла! Партия разобралась!» Вот такую вот, Катя, закорючину я выдала со страху. Выдумывала — страсть! Что откуда бралось! Вижу, заюлил злыдень, малёшко даже растерялся, помалкивает и сопит. А этот, серьёзный, спрашивает: «Бумага имеется, что он герой?» «На руках нет, но мне её выпишут в Кудимовке, где он погиб. Сейчас же помчусь туда». — «Ладно. Завтра со справкой зайдите в райотдел НКВД». И назвал мне кабинет и своё имя.

Ушли. Этот, хамоватый, фырчал и ощеривался, как озлётный пёс. В окно подсмотрела: во дворе и на улице размахивал руками, должно, что-то доказывал напарнику. Но тот не отвечал, шёл твёрдо и стремительно, будто хотел побыстрее отвести от нашего дома этого злыдня.

Я шапку в охапку и бегом на большую дорогу — ловить попутку. К утру на десяти перекладных, наконец, добралась до родной моей таёжной Кудимовки, в сельсовете заскакиваю к Савве Кривоносову, бывшему нашему партизанскому командиру, а теперь председателю сельсовета. Так и так, говорю, Савва Петрович, муж мой пострадал, а меня с семьёй хотят выселить из дому, выпиши, добрая душа, справку с гербовой печатью, что мой отец героически погиб за советскую власть. «Погиб-то он

погиб, конечно, но ведь кулаком был», — поразмыслив и порасспросив меня поподробнее о муже и всех обстоятельствах (я и ему врал, всей правды не говорила), ответил мне Савва. «Если бы не мой отец, сидел бы ты сейчас здесь живёхоньким и здоровёхоньким?» — «Оно, конечно, Евдокия, так, ежли по совести. Да времена-то нонче какие — сама видишь. Выпишу тебе бумагу, а начнут органы ковыряться, и меня следом сгребут — мол, кулака перевозносишь, падла». — «А ещё партизан, командир наш! Трус ты, вот кто ты!» — не шажу я его, злю, можно сказать. Но он мужик, Катя, простодушный, честный, совестливый. Вижу, неловко ему жутко, аж заёрзал на лавке. И чую, вот-вот душой откроется, а потому наступаю, терблю: «По-всюду с храмов кресты посбивали, устроили внутри склады да жилища, а в нашей Кудимовке хотя и закрыта церковка, да с крестом красуется. Значит, есть в тебе, Савва, что-то святое». — «Да не дави ты совесть, не вывёртывай мою душу! Будет тебе справка, но знай: и вокруг меня уже воронё вьётся, не сегодня, так завтра нагрянут». Нацарапал он бумагу, хотя и полуграмотно, но искренно, по-человечьи сказал в ней о моём отце, что «и жись и именье своё отдал рабоче-крестьянской власти нашей родной». Печатью шлёпнул по бумаге, всунул её мне: «Иди, выручай своего благоверного. Может, и обо мне кто-нибудь похлопочет, ежли чего...» Не досказал, отмахнулся рукой, притворился хмурым да занятым.

Я поясню поклонилась ему, сказала: «Христос тебя спаси, Саввушка». «Да нужны ли мы Богу... такие-то?» — спросил он. «Нужны, — ответила я, — потому как все мы Его дети». «Все?» — «Все». — «Хм», — хмыкнул он и отмахнул мне рукой: мол, уходи скорее.

Через полгода, раньше ли, узнала я, что и Савву сграбастала лютующая нечисть. Жив ли он — неизвестно. Может быть, недалече от Платона моего Андреевича лежит.

Ну так вот, взяла я эту заветную бумагу и полетела назад. Воистину, не шла, не бежала, не ехала, а, наверное, летела на каких-то волшебных крыльях, потому что как оказалась в Иркутске, в нашем родном Глазковском предместье, да в нужном кабинете райотдела — не помню, хоть убей. Передала бумагу тому отзывчивому милиционеру, а сама, ждучи ответа, вся горю палящим огнём. Прочитал он въедчиво, с прищуркой, сказал: «Про то, что вашего мужа оправдали, вы нам соврали». «Да, соврала, — сказала я. — Но что же мне оставалось делать? У меня на руках ребёнок». «А вы знаете, что с ним?» — после долгого молчания спросил он и неожиданно, как мальчик, отвёл глаза, не смог смотреть в мои. Да, он конечно же, уже знал, выяснил, что с Платоном Андреевичем. «Мой муж скоро выйдет на свободу», — ответила я. Он пристально, но коротко посмотрел на меня: «Ладно, пусть будет так. Добьюсь, чтобы постановление о выселении отменили. Тем более что отзывы с места вашей работы, из школы, очень даже положительные. Что ж, идите. — И уже когда я вышла из кабинета, но ещё не закрыла дверь, он произнёс вполголоса: — Берегите обоих сыновей. Впереди большая чудесная жизнь, и нам непременно надо до неё дожить. Мы построим коммунизм и в нём всем нам славно будет житься».

Знаешь, Катя, как-то так по-особенному сказал он «чудесная». Я оглянулась и увидела в его глазах блеск. Нет, конечно, он не плакал. Но что-то было, Катенька, в его глазах, что-то было такое, понимаешь, по-особенному трогательное: и по-детски наивное и светлое, и одновременно по-стариковски печальное и тёмное. Мне его стало жалко, как сына. Наверное, молодого человека ждала непростая судьба.

Старушка помолчала, неопределённо покачивая головой, прибавила:

— Как бы нас ни мучили и ни казнили, а людей хороших всё одно не убывает на Русской земле. Верь, Катенька, в людей, как бы тяжело тебе ни было.

Екатерина в бледной напряжённой улыбке сморгнула, не найдя ни одного настоящего слова, а произносить что-либо случайное не хотела, или даже не смела.

— Но, как говорят, пришла беда — отвори ворота. Пробегают, Катенька, дни, не-

дели, минул уж месяц, а вестей от Саши, от старшего сына, нет. Раньше в неделю, в две письмецо получали, бывали и звонки из Ленинграда — отцу в Красные казармы, а тут — молчание полное. Затревожилась я. Не пострадал ли за отца? Ведь злыдни могли направить бумагу в Ленинград: проверьте-ка сынка врага народа. Те своей бевсовской прытью проверили, арестовали, выбили какие-нибудь абсурдные показания и... и... — женщина оборвалась, её лицо повело, но она, одолевая тяготу чувств, продолжила рассказ: — Что делать? Звоню в институт, в приёмную ректора. Спрашиваю, могу ли я узнать, что с моим сыном Александром Платоновичем Елистратовым. Письма исправно писал, звонил, а теперь почему-то тишина. Слышу, там пошуршали бумагами, полистали чего-то, пошептались. Неожиданно — гудки. Боже, что такое?! Чует моё сердце, беда стряслась. Но понимаю с горечью и отчаянием: начну настырничать, выяснять — ведь куда следует сообщат, и снова возьмутся за нас, ещё живых.

День, два, неделю терпела. Но как же сердцу матери выдержать? Снова позвонила. Ответили скороговоркой и чуть не шёпотом: «Прекратите звонить. Это в ваших интересах». И снова — обрыв. А гудки — как сильные вздохи из глубокой ямы. Я осознала неумолимый ужас случившегося — Саши, моего сыночка, моей кровиночки, больше нет в живых. И его замучили и убили. Можно было, конечно, предположить, что осудили и отправили в лагерь... но я-то видела, куда и как отправляют их. И теперь уже столько лет прошло — ни весточки о нём. После войны я направляла запрос в официальные органы — молчание. Но я, Катя, скоро со всеми моими родными встречусь, наперекор всем злыдням и преградам. Знаешь, обнимемся, поговорим, поплачем и, может быть, посмеёмся и — навсегда, навечно будем вместе. Скорей бы.

6

Екатерина взяла её руку и поцеловала. Обе молчали и слушали вьюгу, упорно бившуюся в стены дома и ставни. Но сила остервенения ветра уже ослабла, непогода, очевидно, угасала, смирялась. В щёлку ставни стал просачиваться свет раннего утра, пока ещё тусклый и неверный. Екатерина остро и желанно почувствовала: ночи конец, впереди день, и никакая ночь и непогода не могут быть вечными. Конечно же, хотелось узнать, что случилось с Павлом, но она не смела спрашивать. Ей показалось, что Евдокия Павловна, лежавшая с закрытыми глазами, задремала, и хотела было встать и уйти к себе, тем более через час-полтора нужно будет собираться на работу, однако услышала:

— Я не сплю, Катя, я немножко передохнула. Мне уже не нужны силы по жизни, но они мне нужны сейчас, чтобы тебе досказать. Я должна досказать, чтобы ты знала и помнила. И если кому-нибудь когда-нибудь расскажешь — чтобы и они знали и помнили. Ты же хочешь узнать, что стряслось с Пашей? Слушай... пока я могу и хочу говорить.

Горевала я страшно — Саши нет! Нет! Саши не будет с нами, он не построит дома и заводы, как мечтал в юности, потому и пошёл на инженера, не создаст семьи, не родит для меня внуков. Бывало, во время урока я неожиданно замолкала, опускалась на стул, но потом не помнила, что со мной было. А детишки после перебивали друг дружку и рассказывали мне: сидела, мол, как статуя, и глядела в одну точку. «Стра-а-а-ш-ш-шно было!» — говорили они. Очнусь — вижу не вижу, слышу не слышу. Не осознаю, кто и что передо мной. Знаешь, Катя, если бы не Паша, я ушла бы из жизни легко и просто, не задумываясь, так было горько, до того невыносимо стало осознавать, что я всё ещё живу, а он — нет.

Приходила домой — Паша, роднёнький мой сыночек, дожидается меня. Значит, я должна шевелиться, жить. Ещё жить. Всё же жить.

И ему несладко жилось: в школе его дразнили «вражиной», «ублюдком шпионским». Он дрался с мальчишками. Насмерть дрался. Именно насмерть, а не чтобы победить, что-то доказать. Он был сильный, решительный и расправлялся с обидчиками довольно легко, но в каком-то угаре, вроде как в состоянии бессознательности, безумия. Я видела, он ожесточался, становился беспощадным, неистовым. Иногда мог сказать мне: «Все вокруг сволочи». А любимым его словом стало — «ненавижу». Однажды спросил меня, а до-о-олго, знаешь, не осмеливался: «Они и Сашу забили?» Он не сказал «как скот», но я поняла. Не ответила, промолчала, погладила его по голове, поцеловала в темечко. И он больше не спрашивал.

Я чаще и чаще замечала за ним привычку, а она там зародилась, в расстрельной зоне, он вроде как без видимых причин вдруг сжимал зубы, аж челюсть дрожала, а кадык выпирало колом. И так со сжатыми подолгу молчал, не отзывался, если я обращалась к нему. Понимала, недетские мысли и чувства угнетали его. Привлекала к себе, гладила, но чувствовала, что он по-особенному, непривычно неподатлив становился — весь какой-то тугой, стянутый, точно бы пружина. Да, он рано повзрослел, годам к четырнадцати уже не был ребёнком, и внешне — мужичок, хмуристый.

После очередной стычки или драки меня вызывал директор школы, Иван Семёнович Недогайло, к слову, добрейший, интеллигентнейший человек. Корил своим тоненьким, вкрадчивым голоском старенького дядька (да он, поговаривали, и был церковнослужителем до революции): «Ну, что же, ей-богу, растёт он у вас, Евдокия Павловна, жестокосердным и нелюдимым? Чуть что — вспыхивает, лютует. Его уже никто не трогает, не обзывает (мы, педагоги, проводим надлежащую работу!), а он, чуть что ему не понравится, набрасывается и набрасывается на детей с кулаками, да и нам, взрослым, дерзит направо. Настоятельно рекомендую, осмотритесь и сыну объясните: жить-то стало хорошо, жить-то стало веселее! Скоро, слава богу, в коммунизме окажемся, Евдокия Павловна. И как же вашему сыну с его пещерными наклонностями жить в светлом будущем человечества? Уж, пожалуйста, примите меры, милейшая Евдокия Павловна...» И так — из раза в раз. И говорил убеждённо, очевидно, верил своим словам.

Ну что, Катенька, я могла ответить этому божьему человеку с его святой верой в светлое будущее, с его вечно сверкающей, как ёлочная игрушка, лысиной? Стояла перед ним, хлопала глазами, поддакивала.

«Смирись, Паша! Смиренному и Бог, и люди пособляют», — с глазу на глаз увещевала я сына.

Он не отзывался, но я знала, понимает, что значит смириться, стать смиренным. Я никогда с ним не говорила о вере нашей православной, о вероучении отцов Церкви, он, к слову, ни разу не был и в храме, и даже, кажется, не доводилось ему видеть священника, в наши дни, сама знаешь, они редки на улицах, тем более в священническом убранстве, но моё «смирись», уверена, он понимал правильно. Но понимал умом, а не сердцем.

Сердце же Пашино не способно уже было смириться, потому что жизнь своими клещами изранила его, такое ещё детское, неискушённое, да что там! — изувечила, превратила в болочий комок, который мучит и гнетёт каждую секунду. И как зачастую бывает с очень сильными, норовистыми людьми? Они уж лучше совершат какое-нибудь чудовищное безрассудство, а то и примут безвременную смерть, но не встанут на колени — ни перед людьми, ни перед Богом. Думаю, таким и был мой сын, Катенька. Горжусь им, но и скорблю. Скорблю о его душе, виной гибели которой не он сам. Молиться буду о спасении его души до тех пор, пока дышу. Мне повезло, у меня есть дом — моя катакомба с иконами и келейной тишиной. Здесь и умру с молитвой. Христианкой умру.

Евдокия Павловна помолчала. Екатерина невольно, по какому-то безотчётному

желанию повторила про себя: «Христианкой». Необыкновенно ново и необыкновенно загадочно прозвучало в ней это редко звучащее в окружающей жизни слово.

— Хотя и тяжело было душевно сыну, — продолжила Евдокия Павловна, — учился он всё же хорошо. Ходил в отличниках, был прекрасным гимнастом, ворошиловским стрелком, шахматистом-разрядником, знаешь, всюду поспевал, был жаден до жизни. Ум-то и силы природные, если они дарованы человеку, никак не утаишь от людей, согласишься. Однако из пионеров Павла исключили, ещё в том, окаянном 37-м. Позже в комсомол, как он ни рвался, сколько заявлений — ох, до чего же он был настырен! — ни писал в школьную ячейку и даже в райком комсомола, не приняли. А ему, юному, деятельному, такому, о ком говорят, что семи пядей во лбу, хотелось участвовать в ребячьих делах, в общей жизни школы и страны, как бы к нему ни относились. И если бы, Катенька, его не отгаликивали, не обижали, он столько мог бы сделать для людей! И сейчас, когда, наконец-то, мира и блага вволю пришло на нашу землю, сколько он делал бы для всех нас, сколько, родненькая моя, делал бы, страсть!

После школы поступил в техникум, и до войны успел поработать мастером на заводе и даже стал победителем в соцсоревновании ремонтных участков. Хвалили, грамоту вручили. Сам начальник цеха звонил мне в школу, благодарил за сына. В сорок третьем его могли бы и не призвать — возраст-то хотя и подошёл, да у него была бронь, потому что на оборонном заводе работал. Но он сказал мне: «Отец — не сможет, я за него пойду на войну». Я отговаривала, ведь единственный он у меня остался. Но он добился-таки в военкомате, чтоб призвали.

Война в том году, как старуха, уже привалилась на уклон, захромала, закашляла, и страна почуяла её скорую смерть. Наши колотили врага по всем фронтам, а потому надеялась я, Паша вернётся живым, тем более что его сначала направили на офицерские курсы. Верила, жизнь и судьба его потихоньку выправятся, вольётся он в так желаемые им общие дела, — и его оценят, как надо. Но... но...

Получила похоронку — погиб в бою за какую-то Старогеоргиевку. Скупые были на бумаге слова. Я видывала другие похоронки — писали матерям или жёнам, что, мол, выполняя боевое задание, верный воинской присяге, проявляя стойкость и мужество, погиб, примите искреннее соболезнование и сочувствие. Или так отписывали: проявил геройство и мужество, похоронен с отданием воинских почестей. И неизменно добавляли, сама, наверное, Катя, знаешь, что настоящее уведомление является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Вот так оно, по-человечески-то. А про Пашу — погиб да погиб, никакого сострадания и почтения. Ну да что теперь!..

В сорок седьмом после демобилизации вернулся в Иркутск и зашёл ко мне его однополчанин, однокашник и друг детства Миша Золотоверхов, и узнала я от него вот какую историю. Оказывается, Паша незадолго до своей гибели попал в штрафную роту, а мне в письмах — ни слова. После офицерских курсов направлялись они со своим полком на фронт. Ехали на открытых платформах с пушками, тягачами и всяким снаряжением. Знаешь, Катя, с молодыми людьми, когда они собираются вместе, всякое ведь может случиться. И тут случилось: некий майор, батальонный командир Анисимов, стал приставать к связистке, совсем ещё девчонке. Зажимал её где в стороне, и всё одного от неё донимался, подлец. Та как могла отбивалась, придушенная, попискивала, а солдаты и младшие офицеры посматривали издали со смешочками да шуточками. Миша признался: между собой, конечно, осуждали майора, да что же скажешь старшему по званию?

Однажды из брезентового шалаша связистки услышали истошный крик: «Уйдите, товарищ майор, оставьте меня! Какой вы негодяй! Выброшусь!» Миша рассказывал: Паша вмиг померк лицом, сжал зубы и кинулся к шалашу. За шиворот выволок наружу майора, рывком взметнул его над собой и — швырнул с платформы. Склонился к лазу в шалаш, но полог не раздвинул, сказал девушке: «Вас, Валя, больше никто не тронет».

Ясное дело, тотчас подняли тревогу, эшелон остановили, отыскивали майора. Слава богу, оказался жив, угодил в кусты, только сломал ногу, вывихнул руку да морду расцарапал. Пашу взяли под стражу и вскоре судили трибуналом. Направили в штрафное подразделение. О дальнейшей его судьбе Миша не знал, и вот, зашёл ко мне спросить. Сказала, погиб. Покачал головой: «Я так и думал, Евдокия Павловна. Штрафников всегда бросали в пекло, мало кто из них выжил. Паша, если бы остался в полку, мог бы выжить, если бы не этот негодяй майор». Я не стала переубеждать Мишу, мог бы выжить мой сын или нет, если бы в его жизнь не встрял этот майор и связистка, потому что я знала, Катя, мой сын не мог поступить иначе... потому что... потому что он не смирился. И не мог смириться.

Помолчав, прошелестела губами едва слышно, возможно, только для себя: «Не мог».

Она замолчала. Её веки опустились, и Екатерине показалось, что на месте глаз образовались провалы, так темна была кожаца. Дышала женщина напряжённо и как-то укороченно: воздух вбирала в себя вполвдоха, словно бы с неохотой. «Да, она не хочет жить», — подумала Екатерина. Она только сейчас заметила, что огонёк в лампадке погас, однако не стало темно. Напротив, посветлело, потому что сквозь щели в ставне по комнате разливался свет утра, свет нового дня.

Надо собираться на работу.

Когда вышла из сеней во двор, невольно зажмурилась — ярко горели снега. Округа разительно переменялась: серая, сырая, унылая вечером и празднично убранная, преобразённая до неузнаваемости сейчас. Буран уже отбушевал, небо было прочищено до звонкой синевы, и хотя солнце ещё лежало за изгородями и домами, было светло и ясно как днём. Земля, щедро застеленная коврами снегов, в своём сверкании, сиянии, лучистости была восхитительно прекрасна. С вечера дождём накидывало, и если бы не снег — быть бы жуткой слякоти, сплошному неуютю. Но, похоже, новое время года — зима одолела-таки нынешнюю затяжную в своей промозглости и хмури осень с неизменно низким, изодранным небом. Надо ждать не сегодня-завтра заморозка, а то и настоящего, уже зимнего мороза. «Зима. Мороз. Снеговик. Ёлка. Новый год. Дед Мороз...» — кружатся в голове Екатерины слова и образы, а душа наполняется каким-то свежим и лёгким чувством. Но ей неловко, ей совестно: за стенами этого дома неизбывная печаль и скорбь. Однако изменить свои чувствования девушка не в силах, как, конечно же, не в силах остановить восход солнца, наступление этого нового дня жизни.

Захваченная своим новым, столь неожиданным состоянием, она не сразу замечает, что возле её ног вьётся, виляя пушистым хвостом, ощериваясь очевидной улыбкой, клочковато-лохматый дворовый пёс Байкалка.

— Наверное, натерпелся за ночь, бедолага ты наш? — обращается к нему Екатерина. Она гладит его, треплет за шерсть, богато наполнившуюся в последние недели подшёрстком, шелковистой мякотью. Сбегала в сени с его миской, половником щедро наложила в неё с вечера приготовленного варева.

— Уплетай, наш доблестный охранник! — поставила перед ним миску. Но ему, очевидно проголодавшемуся, оказывается, не еда нужнее — порезвиться, поласкаться бы.

— Ешь же, ешь, Байкалка! — призывает Екатерина, но пёс подпрыгивает, тянется к ней лапами, тычется в лицо мокрым носом — явным признаком отменного собачьего здоровья и бодрости.

По щиколотку, а то и на весь голень проваливаясь в сугробы, Екатерина пробралась за калитку. Надо спешить на работу, не опоздать бы, — волнуется, понимая, что идти по заваленным снегом и размокшим после затяжных осенних дождей немощным глазковским улицам будет непросто. Однако — снова остановилась. Отсюда, с крутояра над Иркутом, обзор неохватно широк, дали беспредельно глубоки. Екатерина очарована: и небо беспредельно, и земля беспредельна. Озирается, как в незнакомом месте, всматривается в белые равнинные просторы.

По деревянному приземистому мосту через Иркут едут автомобили и гужевые повозки. Неподаляку — другой мост, железнодорожный; он высок, громаден, ажурен. По нему промчалась передача — паровоз с весёлыми красными ободьями колёс, тянущий за собой четыре вагона. В них, по-видимому, рабочие и инженеры авиазавода и депо Иркутска-Сортировочного направляются на смену. Только умчалась передача, следом вкатился на мост гулкий длинный состав вагонов; урчливо протрубил, будто пожурил за что-то округу и всё живое в ней, бокастый, со звездой «во лбу» локомотив «Иосиф Сталин». «Все спешат на работу, все трудятся», — удовлетворённо думает Екатерина.

За Иркутом дымит печными трубами деревня Селиваниха, подле неё курится паром петляющая речка Сарафановка. «Проснулся народ», — думает Екатерина и старается взглядом проникнуть дальше, глубже. Угадывается застланное дымкой Монастырское озеро, а недалеко от него — Иннокентьевская роща и Спасо-Иннокентьевский храм. Екатерине кажется, что слышны колокольные звоны. «Наверное, утренняя закончилась, — подумала. — Люди молились, обращались к Богу». Распознаются развалины Михайло-Архангельского скита, разрушенного после революции. «Там земля намоленная» — вспомнились ей слышанные в детстве слова матери, но о какой-то другой намоленной земле. Но ни храма, ни рощи, ни озера, ни тем более развалин скита она не видит явственно или даже вовсе не видит их в этом сплошном снежном водополе, однако почему-то уверена, что и видит, и слышит, и даже что-то такое неуловимое, но желанное осязается всем её существом. Ей хочется смотреть в эти дали, за которыми ещё и ещё дали, и что-нибудь ещё разглядеть, распознать в них или угадать. «Увидеть бы Москву», — неожиданно и как-то по-детски думается ей. Улыбнулась.

Но тут же вспоминается в тревоге: ой, надо спешить на работу! Да сдвинуться с места не может. Какая-то неведомая сила не пускает её, словно бы что-то ещё надо увидеть и понять. Душа полна сладким, но одновременно подгарчивающим чувством. Кажется, что прежняя жизнь или чувствование, осознание этой жизни и самой себя в ней для неё уже невозможны. Она догадывается, что нынешняя ночь и утро переверотили её душу. Но — какая возможна жизнь? Какая — кто скажет? — возможна жизнь прямо с сегодняшнего дня, с этих минут и потом — на долгие годы? Какие пути в этих пугающе-грандиозных, монотонно-белых далях земли и жизни могут открыться для неё и куда, к кому и для чего в итоге привести?

«Дали, дали... Снега, снега...» — звучит перезвонами и эхами в её душе. И новые, но разнородные и даже противоречивые ощущения беспокоят её, смущают, настораживают. «Божий мир» — вспомнилось, и она понимает, что не могло не вспомниться.

— Божий мир, — шепнула она, словно бы для того, чтобы кто-нибудь услышал её, хотя бы воздух и снег.

Ещё раз, но уже полным голосом произнесла:

— Божий мир.

Но зачем произнесла, для кого — не понимала. Стояла у калитки перед ещё нетронутой ничьим следом дорогой и приглядывалась и прислушивалась к жизни округи с этими её мостами-тружениками, с этими её безмерными, но затаёнными далями. Догадывалась: ожидала какого-то слова или знака. Но — откуда, от кого, наконец, зачем?

— Божий мир.

Не поняла: вновь сама сказала или — кто-то.



ГЕННАДИЙ АКСАМЕНТОВ



Ночь в музее

*...Память, превращённая в музей,
в залах одинокий зритель.*

Вступление

Брожу по залам, тихая обитель,
все без обид,
 незримый мой водитель
любезен и спокойно отрешён,
а если и бывал взбешён
когда-то,
 Бог ему судья.
Назад, назад, друзья!

АКСАМЕНТОВ Геннадий Васильевич, поэт (род. в 1945 г. в г. Иркутске). Автор книг стихов: «Поэтические акварели» (Иркутск, 1997); «Прохожий» (Иркутск, 2001); «В ритме шага» (Иркутск, 2005); «Одна жизнь» (Иркутск, 2009) и др. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

* * *

Друзьям юности

Теперь я понимаю: мы летели,
у юности один закон — полёт,
и не причины, поводы и цели,
а крылья устремляли этот лёт.

И прошлое ещё нас не пытало,
а вот теперь сдавило и достало,
увы, как неотступное тягло, —
так глубока и властна тень его.

Перемогу, по шагу и по слогу,
и по всему, дороги нет иной.
Я разгребаю память понемногу,
и странности случаются со мной:

желание прибрать квартиру,
вернуть разбросанные свет и тень
владельцам их, а сумрачному миру —
его апрельский день.

* * *

Свет тяжёл, остужен, скован,
обескровлен лик,
чудом спасшееся слово
антикварных книг
на ладони прилегло,

в горле ком, в коленях вата...
брат на брата...
а оно
сквозь стальной кулак текло
тонким ароматом.

Мастер

Он соловей, но не из рая,
и я глаза на это закрываю,
и песню вторю, и творю,
и вслушиваюсь, и по каплям пью.
Из самых фантастичных далей
в ней монстры дивные живали,
а в калькуляции деталей
был совершеннейший мастак,
и всё для легкости, не просто так.

Не уследить, как он умеет
свои неожиданные затеи
переместить из грязи в храм,
где благостен последний хам,
где солнце пользуется легко
то запотевшее стекло,
то лупу на минуту,
и лучший костюмер при этом —
заведует теплом и светом.

Глядишь порой — темно и смутно,
но что-то вызволить подспудно
живот светло,
а наяву, как рассвело,
Моне и Писсарро.

* * *

Кузьмин Владимир*
запечатлел Иркутск:
пригорок, спуск
и дворики, набитые домами
с террасами и крытыми крыльцами,
снега в вечерне-синей стуже,
распутица и глянцево-лужи,
и тополя, конечно, тополя —
какая же без них Иркутская земля —
калитки, ставенки, герани,
а если и чего-то не найдём —
дополним сами,
как я в сегодняшних стихах
раздул пятидесятых прах.

И юные всплывают лица,
им удастся воплотиться
без имени
и даже без примет.
Когда-то по сусекам лет,
по закоулкам сёл и городов
я их раскидывал, увы,
как мальчик-с-пальчик камешки свои,
а нынче собираю по крупицам,
как петельки полуслепая кружевница,
хоть сбивчиво и невпопад,
но я другой не знаю путь назад.
Иду, иду в полотна Кузьмина
за вами, дорогие имена.

Фигурки

Вот за витриною фигурки.
Я поиграю с ними в жмурки,
верней, попробую — ведь безответен ход,
а это — не простой народ.
Фигурки, пленные фигурки,
от самой величавой и до урки,
и умники, и полные придурки,
но глаз не отвести:
та слева — просто травести,
нежна и в золотых кудряшках,
и руки гибкие, и гибкий стан,
а рядом, как дуэт на промокашке,
M. prima, M. secunda, — **
о них известно очень скудно —
но каждая в дуэте — соло.
Такой вот стол из разносолов
(спустя полвека этот клан
перебёрется в ресторан).
Фигурка X в роли невесты,
фигурка Y в роли жениха,
кто знал, что на Земле им тесно,

но выглядело всё прелестно,
хоть и не без греха.
А эти пятеро недолго
пылили шлях
по пустыкам и с толком,
они давно в иных краях,
но память всё равно фигурна,
как вальс,
и трогательна, и амурна,
весёлое, живое с ними время,
петух ещё не клюнул в темя.
Забавные и милые фигурки,
притворные я ваши шкурки
спалил и каждой пьедестал
рукою дружеской сваял.
Какие уж тут жмурки!
Был праздник наш, был ранний час,
и, как бывает, он для нас
останется предвестьем,
предчувствием...
Но здесь я поставлю точку.

Пустяки

Забавный пустячок, когда-то бывший раной...
Включаю ткань остывшего экрана,
смотрю не рассмотрю —
и радость давняя, и маленькая грусть.
Ну, чем одаришь, память-повитуха? —

хозяин важный,
как явление духа,
случайностей нелепых переключка
солонки с солнцем, пальчика с привычкой,
четырёхзначный номер телефона

и неудачный росплеск от сифона.
Какие древности...
но памяти видней,

зачем ей пустяки минувших дней,
мелькнувшие с ожившего экрана.
А как же рана?

* * *

Я слышу внятное «постой».
И вот зеркальный глянец хвой
вдруг вспыхнул — это лунный луч,
как чей-то вестник из-за туч,
и моря северный прибой
мой слух волной
настиг,
и *decrecendo* стих ***,
остались обветшавший стульчик,
клеёнка и вельветка в рубчик.
Я вглядываюсь, сторонясь,
есть тут незыблемая связь
души и непогоды,

и неприкаянной свободы,
и быта, и твоей судьбы.
Я угадал — ведь это ты,
хоть и не отделим от тьмы,
лишён всего, чем тешит сон,
и для меня уже не ты, а он.
Я никогда об этом не узнал:
он медленно и долго настывал
и должен был неспешно греться,
чтобы уверенность вернулась в сердце
и стало бы оно опять готово
принять любовь и ласковое слово.
Я никогда об этом не узнал.

* * *

Севера, гольцы, болота.
Шла утиная охота,
оставалось ждать финала,
минул срок — тебя не стало.

До свиданья, дух таёжный,
возвращайся в мир надёжный

памяти и претворенья
в раннее стихотворенье.

А в глазах твоих открытых,
словно в зеркалах разбитых,
ключья неба, ключья сосен,
зелень-просинь, зелень-просинь...

Занимательная диалектика

Я и никто — два антипода,
два представителя народа,
что, как слагаемые, сами
легко меняются местами.

Я и никто, по счёту двое,
или один в другого встроен?
так и идём всегда бок о бок
от дня рождения до гроба.

Я и никто — и повсеместно,
заблудшим в мире, нам не тесно,
не странным кажется и то,
что в этом мире я никто.

Такая вот идёт возня:
я есмь никто, никто есть я,
и получается, как ни взглянуть,
я и никто едины суть.

Прости мне, Бог, игривость эту,
она не свойственна поэту,
я разболтался невпопад,
и этот временный разлад
навеян кратким разговором
в том заведении весёлом
спустя полвека tet-a-tet ****
с подружкой юношеских лет
под лёгким розовым хмельком
постмодернистским языком.

Письмо

Я получил письмо издалека,
почти что раритет.

Рука
и трепетна, и терпелива.
Вскрываю аккуратно — ткань стиха
проникновенна и тиха,
и, показалось, чуть пуглива,
а в анонимной зоне риска
post scriptum сделана приписка: *****

живём вне поля, на меже,
дела и подвиги уже
в сторонке, значит, всё взаимно,
а что до исполненья гимна —
мелодия его своя,
берёз и рек привычные края,
и прошлое сложилось, слава Богу,
без лишнего и понемногу,
как у людей.

Рондо'*****

Рондо со мной. Конечно, не впервые
мне повторять пути чужие
и ощущать неуловимый строй
петляний разума, пленённого мечтой.
Ошибки юности — скорлупки золотые,
о них ломались зубки молодые,
и мельница похмелила мукой.
Я жизнь свою писал своей рукой,
рондо со мной.
Бегут по кругу стрелки часовые,
и в срок возобновляется прибор,
а у обновы образ не совсем земной —
об этом знает Горбунов седой — *****
и я иду искать пути иные,
рондо со мной.

Эпилог

Ночь на исходе.

Тишина с полей
ко мне приходит свечи потушить
и высветить уход теней.
Спасибо ей.

Но тени будут жить
на закоулках дня,
то огорчать, то радовать меня
музейной поступью и ароматом лет,
заботливо составленных в букет.
Бог с ними.

Мы же одногодки,
надеюсь, посидим ещё за рюмкой водки.

2013–2014 гг.

*Кузьмин Владимир Александрович — иркутский художник.

***prima* — первая, *secunda* — вторая (лат.).

****decrescendo* — убывающий (звук) (итал.).

*****tet-a-tet* — с глазу на глаз, наедине (фр.).

******post scriptum* — после написанного (лат.).

******рондо*, от *ronde* — круг (фр.) — поэтическая форма с двумя рифмами и повторением начальных слов в 9-й и 15-й строках.

*****Горбунов Анатолий Константинович — иркутский поэт.

ПРОЗА



АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



РАССКАЗЫ

Бьют по глазам

В предзимнюю пору, когда на жнивьях и в лесах уже утвердился снежок, один знакомый начальник районного масштаба пригласил меня, командировочника, на охоту «по белотропу».

— Сперва постреляем глухарей с подъезда, а в сумерках попробуем пофарить зайцев или косуль, если попадутся, — сказал он.

Первая охота мне была знакома. Я даже сам однажды стрелял «с подъезда». Правда, не глухарей, а тетеревов. И даже добыл один трофей. Но, помнится, меня обескуражили лёгкость добычи и смешанное чувство вины и разочарования: «Только и всего?»

О второй же охоте я был лишь наслышан как о «захватывающей потехе», но самому участвовать в ней не доводилось. Я, разумеется, прекрасно понимал всю браконьерскую подоплёку этого предприятия, однако после некоторых колебаний приглашение принял. Грешен, любопытство взяло верх...

ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович — потомственной сибиряк, родился в селе Таскино Красноярского края, в старообрядческой крестьянской семье. По образованию — учитель словесности и журналист. Работал учителем, корреспондентом, возглавлял краевое отделение Союза писателей России. Издал более двадцати книг в Красноярске и Москве, в числе прозаических — «Свет всю ночь», «Деревянный всадник», «Душа мастера», поэтических — «Трубачи весны», «Глубинка», «Хочу домой». Печатался во многих журналах России — «Нашем современнике», «МГ», «Уральском следопыте», «Сибирских огнях», «Сибири», «Дальнем Востоке» и др. Член СП России. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Красноярске.

И вот на склоне дня вылетели мы на новеньком «уазике» за сельскую околицу. Солнце приближалось к горизонту. Холодало. Колёси просёлка поблёскивали слюдянистым ледком. Вскоре начальник приказал шофёру свернуть с дороги, и мы поехали прямо по снежной целине, держась кромки сжатого поля. Снег был мелким и сухим. Сильная машина почти не чувствовала его сопротивления. Так же бойко взбежала она на увал и здесь, у гребешка прозрачных берёз, по мановению начальника остановилась. Перед нами открылась широкая лощина со смешанным лесом в отлогий вершине.

— Смотрите внимательно, — почему-то шёпотом сказал начальник, указывая на этот лес.

Я припал к стеклу, но ничего примечательного не увидел.

— На ту старую осину, — скорректировал начальник.

— Да там же глухари! Самец и две копалухи, — хлопнул в ладоши заволновавшийся шофёр.

Теперь и я увидел один чёрный и два серых кома на коряжистой осине. Но птицы вдруг поднялись и потянулись к вершине лога. Мы молча наблюдали за ними, пока они не скрылись, словно бы нырнув за кромку леса.

— По хребтику следом! — скомандовал начальник.

Он намётанным жестом выдернул винтовку из-за сиденья и поставил её между колен. Машина побежала по гребню косогора. Молодой шофёр, заражаясь охотничьим азартом, с цирковой ловкостью лавировал между пнями и деревьями, объезжая какие-то канавы и кучи хвороста, припорошенные снегом. Солнце быстро опускалось за дальнее редколесье. В лощины, погружённые в тень, уже пролилась сумеречная синева, но косогоры ещё сияли розоватым закатным светом. Длинная тень от машины то расстилалась по снегу, то изломом взлетала на бугры и металась по деревьям, точно стремясь вырваться вперёд, но потом снова ложилась на отлогий склон, отставала от нас, повисала сзади «уазика» и, надуваясь, тянулась за ним, словно трал за катером.

Наконец мы достигли вершины лога. Пошёл мелкий березняк. Шофёр сбавил обороты. А когда рука начальника легла ему на плечо, совсем затормозил машину и выключил мотор. В тридцати шагах от нас было сжатое поле, и на его обочине, у соломенной кучи, сидели две копалухи и глухарь. Вернее, они стояли среди сухих былинки и словно прислушивались к чему-то. Похоже, это были те самые птицы, которых мы видели на осине.

Начальник беззвучно приоткрыл дверцу, выставил дуло тозовки и, тщательно прицелившись, выстрелил. Птицы не шелохнулись. Передёрнув затвор, начальник выстрелил ещё раз, но птицы по-прежнему стояли в стерне, недоумённо вытягивая шеи.

И тут произошло неожиданное. Шофёр вдруг привстал, резко выхватил тозовку из рук шефа, рванул дверцу и, всем корпусом высунувшись из кабины, выстрелил. Две птицы — глухарь и копалуха — тотчас поднялись, взвихривая снег, а вторая, серая, глухарка, неловко откинув крыло, уткнулась в быльё. Шофёр прямо с винтовкой в руках бросился к добыче. Мы последовали за ним. Меня удивило, что начальник никак не отреагировал на вероломство подчинённого. Даже напротив, он, кажется, был доволен поворотом дела и ликовал едва не больше удачливого стрелка. Именно он первым сгрёб трофей в охапку и потащил ещё бьющуюся в судорогах птицу к машине.

«Только и всего?» — подумал я, невольно вспоминая давнюю охоту на косачей. Схема рутинно повторялась: подъезд на машине к доверчивой птице, комфортабельная стрельба из кабины по неподвижной мишени, трофей, падающий почти к ногам... Разница только в весе трофея.

Представилось, как, должно быть, горячо обсуждали старинные охотники — пса-ри, ловчие, доезжачие и прочие — травлю какого-нибудь вепря или волка, как ди-карски самозабвенно плясали вокруг туши поверженного зверя, напевая что-нибудь

залихватское вроде «Выпьем, други, на крови!» Мы же, бросив вздрагивающую глухарку за сиденья в «бичёвку», молча закурили, развернулись и поехали дальше. Обсуждать, в сущности, было нечего. И не было особых волнений в душе, кроме, может быть, полусознанного чувства разочарования.

Когда машина скатилась в ложину, сумерки сгустились настолько, что шофёру пришлось включить свет.

— Приготовиться к главному! — скомандовал начальник и вытащил из-под сиденья фару на длинном проводе. Он щелчком включил её, и в окно ударил пронзительный луч, осветив в сумеречной дали белый частокол березняка.

— Бьёт, как лазер, — засмеялся шофёр и, остановив машину, в пять минут снял переднюю дверцу со стороны начальника.

В кабину дохнуло холодом, но проём вскоре был завешен куском брезента. По тому, как споро совершались эти операции, нетрудно было догадаться, что мои спутник в «лучении» не новички.

— Вперёд на Манзовку! — ернически скомандовал начальник, и машина рванула по ложине без всяких ориентиров.

Наступила настоящая предзимняя ночь, тёмная, глухая. В боковое окно уже ничего нельзя было различить, кроме чёрно-синего сумрака. Всё моё внимание сосредоточилось на бегущем светлом пятне, которое дрожало перед лобовым стеклом. Брезентовый фартук был неплотен. В щели дуло пронизывающим холодом. Подпрыгивая на ухабах, я сидел боком к дверце, но это не спасало от ледящего сквозняка, приходилось прикрывать грудь рукавицами.

Когда замелькали редкие берёзы, в полосу света вдруг ворвался заяц, взявшийся неведь откуда, и заскакал впереди машины.

— Держи его! — заорал шофёр, прибавляя газу.

Машина запрыгала по мёрзлым кочкам. Раздалось несколько выстрелов. Начальник, откинув брезент, стрелял прямо на ходу, но всякий раз мазал. Заяц суетливо кидался то влево, то вправо, однако, достигнув кромки темноты, словно упирался во что-то твёрдое и снова возвращался на светлую полосу. Силы явно изменяли ему. Длинные уши его были плотно прижаты. Расстояние между ним и наседающей машиной всё сокращалось. Но в тот момент, когда его, казалось, вот-вот заденет колесом, он вдруг сделал отчаянный прыжок и вырвался-таки за пределы светлого пятна. Шофёр сбавил скорость и спешно стал разворачивать машину. Начальник включил свой «лазер» и зашарил лучом по сторонам, но всё было напрасно — зайца и след простыл.

— Э-э, раз-зьява, — протянул начальник, адресуя упрёк не то шофёру, не то себе. — Поедем к озимым, там могут быть козы.

И снова началась отчаянная болтанка. Снова задуло в щели полога, так что пришлось прижимать руки к горлу и втягивать голову в плечи, прячась от сквозняка. Не знаю, сколько продолжалась эта суматошная ночная гонка по логовам, полям и буеракам, но мне уже стало казаться, что мы заблудились и в этой кромешной тьме никаких озимей нам не найти, если они вообще здесь существуют. Меня лихорадило. Бока мои ныли от постоянных толчков в борта, и я уже подумывал, как поддипломатичней намекнуть начальнику, мол, «барин, не прикажешь ли воротиться», но он, наконец, отдал команду «малый ход» и, выставив фару за брезентовый фартук, стал шарить дальнобойным лучом по бескрайнему полю.

Однако поле было пустынно. Прорезая густой мрак, луч высвечивал только редкие прошвы звериных следов. Но вот в дальнем правом углу, где маячили какие-то кустики, словно бы в ответ зеркально сверкнули две звёздочки, потом ещё две.

— Кто там? — невольно оживился я, удивлённый этим далёким фосфорическим свечением невидимых предметов в пустынной ночи.

— Козы, — коротко бросил начальник.

— Где козы? Не вижу.

— Козьи глаза, — уточнил начальник не без раздражения. И обратился к шофёру: — Выруби свет. Попробуем подкрасться втёмную.

Несколько минут проехали в абсолютной темноте. Потом начальник снова, высунув фару на вытянутой руке, щёлкнул выключателем — и в ответ на луч опять сверкнули вдали сине-зеленоватые огоньки. Однако тех, кому они принадлежали, по-прежнему не было видно.

— Может, это волки? — спросил я, не сумев скрыть нарастающей тревоги от загадочного свечения этих неопознанных движущихся объектов.

Начальник не удостоил меня вниманием. Промолчал и шофёр. Видимо, вопрос мой был слишком наивным и неуместным. Да и в самом деле, наступивший момент мало подходил для сомнений и рассуждений. Продолжая ощупывать лучом обширное поле, начальник свободной рукой толкнул шофёра под бок, тот, словно по долгожданной команде, нажал на тормоза, расчехлил вторую винтовку, лежавшую у меня под ногами, открыл дверцу и, привстав с сиденья, стал стрелять по блуждающим вдали огонькам. И когда во время очередной перезарядки винтовки я попытался выяснить, как можно стрелять невидимых коз, он небрежно обронил в ответ:

— Бьют по глазам.

Не знаю, сколько раз палил он в свет, как в копеечку, скажу только, что выстрелов было много, они раздавались один за другим. Мерцающие зеркальца задвигались, заметались и потом понеслись, полетели через поле, как трассирующие пули. И, наконец, скрылись во мгле, куда уже не доставал дальнобойный «лазер» начальника. Теперь в снежной пустыне снова высвечивались только жидкие кустики на окраине поля. Стрельба смолкла. Луч погас.

— Отбой! Задрать люки! — скомандовал начальник, уже не в первый раз щеголяя морской терминологией. Видимо, в решительные минуты в нём поднималась старая флотская закваска.

Шофёр сунул винтовку в чехол, включил фары, вынул из «бичёвки» дверцу и пошёл ставить её на место.

— Может, посмотрим подранков? — спросил он, срывая брезентовый полог.

— Пустой номер. Заворачивай оглобли, — сказал начальник.

Сказал вроде тихо и спокойно, однако от моего слуха не ускользнули сердитые нотки, прозвучавшие в голосе.

«Завернув оглобли», мы потряслись какое-то время по обочине поля, а потом выехали на дорогу, не торную, но довольно гладкую. Болтанка прекратилась. Дверца была вставлена, печка включена, и вместо холодного дыхания ко мне теперь текли приятные тёплые волны. Однако меня по-прежнему била внутренняя дрожь. Увиденное потрясло меня. Повторяю, я был наслышан об этой браконьерской охоте с прожекторной фарой, но и догадываться не мог о такой, казалось бы, малосущественной детали, что косуль зачастую бывает не видно во мглистой дали и их бьют по сияющим в ночи глазам, точно по зеркальным зайчикам.

Я не знаю, как объясняется это странное люминесцирующее свечение, столь коварно выдающее косулю и делающее её совершенно незащитной перед моторизованным браконьером. Впрочем, только ли око быстроногой косули отвечает на прожекторный свет этим звёздным мерцаньем в ночи?

Таёжная буржуйка

1

Только на третий день к вечеру добрались мы, наконец, до этого заповедного, до этого желанного, до этого треклятого порога по имени Кукшин.

Районному охотоведу Михаилу Андреевичу Медведеву стало известно, что в верховьях таёжного Амыла «балуют» любители сохатинки, залетевшие туда вертолётном из Абакана. Естественно, без лицензий. Поскольку у охотоведов пока нет авиации на вооружении, Михаил собрался «в верха» на самодельной дощанке с мотором и пригласил меня с собою. Так сказать, от общественности. Выпавшему случаю я обрадовался несказанно. Побывать на Кукшине хотя бы раз в жизни удаётся далеко не каждому. А на тех, кому посчастливилось увидеть истоки Амыла в самом сердце Саян, в наших местах смотрят с почтением и завистью.

В первый день часов пятнадцать кряду летели мы на «Вихре» почти без остановок. Река была пока достаточно глубокой, с обилием плёсов, мотор тянул ладно, и моторист Иван Якимов ещё не чувствовал усталости. Лишь в потёмках приткнули мы лодку к галечной косе, наскоро пожевали хлеба с луком и салом, чуток прикемарили у костерка и утром снова, ещё до солнца, дёрнул Иван за поводок своего ретивого «Вихря», и тот зафыркал, заржал радостно и опять понёс нас вверх по стеклянной реке.

Правда, в этот день мне уже не пришлось сиднем сидеть в носу лодки для противовеса и меланхолично созерцать вереницы облаков, бесконечный строй лесного воинства, подступавшего к самой воде, и стайки непуганых уток, покачивавшихся на волнах. Берега становились всё выше и круче, река сужалась, точно сжимаемая ими, и всё более походила на бурный горный ручей. Иван то и дело сбавлял обороты, поднимал мотор, обнажая винт, и мы с Михаилом тотчас вскакивали, хватали длинные шесты и работали ими, пока не проталкивали лодку между камней и мелей. Но подчас на шиверах и перекатах река была столь мелкой, что днище скоблило по гальке, и тогда я, расправив голенища болотных сапог, прыгал в воду, кидал на плечо причальную цепь и тащил лодку по-бурлацки, а Михаил изо всей мочи налегал на шест.

К вечеру второго дня, вконец измочаленные, добрались мы до безымянного подпорожка, предваряющего грозный Бесинский порог, вошли в бухточку чуть ниже впадения речки Бесь в Амыл, и Иван напоследок с удовольствием поддал «Вихрю» оборотов, так что лодка, словно пришпоренная, кинулась к берегу и выскочила на песчаный откос сажени на две. Видно было, что здешние места ему хорошо знакомы. Он много лет работал нештатным охотником в райпотребсоюзе, по Беси простирался его промысловый участок, а в устье речки, на стрелке, стояла охотничья избушка. В неё-то и пригласил нас Иван широким жестом гостеприимного хозяина.

Избушка оказалась довольно новой, бревенчатой, со светлым оконцем под тесовой крышей. Она скорее напоминала дачный домик, чем охотничье зимовье. Особенно внутренней чистотой и уютом: лежанка, стол — всё было сделано добротно, обстоятельно. Правда, хозяйский глаз тотчас обнаружил следы незваного гостя, побывавшего здесь не столь давно. Опрокинута железная печка, разворочены дрова, свалена под лавку нехитрая посуда... Но запас провианта, подвешенный к потолку, остался цел. Медведь не дотянулся до лакомого мешка. Видимо, ростом не вышел.

В избушке мы славно поужинали горячим супом, выпались вольготно, как дома. И кстати. Ибо третий день похода оказался самым трудным и изнурительным. Мотор теперь запускался лишь изредка, когда позволяла глубина. Большей же частью приходилось орудовать шестами, держась ближе к берегу. Уклон реки теперь был виден

невооружённым глазом, и она все больше напоминала стремительный вешний поток. В конце дня пошёл дождь, частый в этих вершинных местах.

В довершение ко всему у Михаила сломался шест, и теперь он, беспомощно тыкая обрубком в кипящую воду, все громче отдавал команды держаться то «к берегу», то «речнее», но сквозь нарочитую бодрость его голоса явно проступали тревожные нотки. Лодку всё чаще ударяло о невидимые камни. Мы с Иваном работали шестами, как галерные рабы.

Лес по берегам становился всё угрюмее, тучи нависали всё ниже и беспросветнее. Стужались сумерки. Мы шли почти ощупью. Иван предложил было пристать к берегу, чтобы заночевать под первым кедром, но Михаил и слушать его не захотел. По его расчётам, недолго оставалось тянуть до старой охотничьей избушки, где можно будет подсушиться и по-человечески отдохнуть. Однако мы гребли, а её всё не было.

Наконец, когда за очередной излучиной река ещё круче стала забирать вверх, вдали как бы рассыпаясь на ручьи меж валунов, а ближе к нам свиваясь в мощный бурав, Михаил трубно закричал, указывая обломком шеста на камни, торчащие из воды, точно идолы на острове Пасхи:

— Кук-ши-ин! Гребки к берегу, к большой пихте!

Шест сам ожил в моих руках. Чувство обрётённого спасения, испытываемого мною в эту минуту, придало сил.

2

Избушка оказалась жалкой развалюхой, ушедшей по колено в землю. Напологой крыше, поверх жердей и бересты, прикрытой дёрном, вымахала огромная трава. Чутьок оконце было выбито. Приставленная дверь, заросшая бурьяном, с трудом открылась. Из избушки, как из бросовой норы, потянуло сыростью и гнилью. Иван щёлкнул фонариком. Узкий луч высветил в пустоте только чёрные с плесенью стены, низкие нарты из щербатых жердинок и колченогую, до дыр изъеденную ржавчиной железную печку.

Но всё же это было убежище. Мы внесли рюкзаки, растопили неказистую «буржуйку», выведя короткую трубу прямо в оконце, согрелись, подсушили обувь и одежду, сварили чайку... Жить стало куда веселее. И шум дождя, полоскавшего во мраке за ветхими стенами избушки, теперь казался даже приятным, умиротворяющим. Нас обогрела, накормила и развеселила поистине чудо-печка, занесённая в эти крошечные глухие места Бог знает откуда. Мы были благодарны и тому, кто смастерил её когда-то, и тому, кто затащил сюда за сотни километров по тайге, по горам, по порогам.

Когда расположились на ночлег на шатких нарцах, мне выпало место с краю, со стороны печки, в которой ещё постреливали дрова, припасённые кем-то по доброму таёжному обычаю и оказавшиеся так кстати. Несмотря на усталость и отступившие волнения, я уснул не сразу, а ещё довольно долго лежал, наслаждаясь теплом и покоем, и пристально смотрел на огонь, который пульсировал за тонкой дверцей печки. Вспоминалось детство, зимний вечер в отцовском доме... Весело топится голландка. От неё волнами идёт тепло по тёмной горнице. Кругом ходит пламя в оконце поддувала. На полу пляшут отблески огня...

И вдруг светящийся ряд небольших фигурных отверстий по низу печной дверцы, служащих поддувалом, показался мне очень знакомым. Я уже видел где-то эти уголки и овалы, при внимательном рассмотрении образующие буквы. Но где? И откуда мне памятно это слово, проступившее вдруг светом в тёмной лесной избушке на курьих ножках, — С Е Л И Н? Неужели, Андрей? Тот самый, по кличке Ас?

Неисповедимы пути Господни...

Где-то, наверное, лет сорок назад, когда хлынула сельская молодёжь на заводы и стройки, уехал из нашего Таскино Гриня Кистин, живший наискосок от нас, в далёкий Красноярск и поступил там в ФЗУ при «Красмаше». На первые же каникулы он прибыл домой не один, а с новым городским приятелем Андреем Селиным. Это был тёмноволосый кудреватый паренёк небольшого роста, но крепкий в кости, жилистый и подвижный. Собственно, он не был городским. Родом из соседнего посёлка, Андрей вырос сиротой, живя то в детдоме, то у дядьки-бобыля, а после школы без раздумий подался в «ремеслуху». Она решала все проблемы неприкаянного подростка — давала стол и кров, и обмундирование, а главное — ремесло.

Андрей в Таскино как-то сразу пришёлся ко двору. Его даже не отлупили местные парни, когда он впервые появился в клубе. А это было большой редкостью, ибо всякого приезжего новичка, в особенности — городского, по неписаным законам деревни для начала обязательно проверяли «на кулак». Андрей же обошёлся без «крещения». И не потому, что находился под опекой авторитетного Грини, а просто не подал ни малейшего повода для раздражения местных драчунов. Он не выглядел смиренной овцой, но и не был ни выскочкой, ни задавалой. Держался со всеми просто и доброжелательно. Не козырял жаргоном, танцевал без «финтов». А когда подпитый гармонист куражливо отложил хромку, сославшись на усталость, Андрей молча взял её в руки и сыграл фокстрот и вальс, да так, что к хозяину разом вернулась бодрость.

Словом, деревня Андрея приняла. Мне, приятелю младшего Грининово брата Кольки, в эти дни случалось бывать у Кистиных. Там я впервые в жизни увидел, как под человеческой рукой на плоском листочке бумаги могут появляться невероятно выпуклые, точно живые, картинки — скачущие лошади, танцующие барышни, плывущие по волнам корабли. А в альбоме своей сестры я вскоре нашёл такую Коломбину с пышными волосами и горячими глазами, что не мог оторвать от неё взгляда. Впрочем, в альбомах других деревенских девушек появились Коломбины ничуть не хуже.

Но не это было главное, чем прославился Андрей на селе. Приехав погостить и отдохнуть к товарищу, он, однако, не стал лежать с книжкой на сеновале, а на другой же день занялся полезным делом. Как-то Гринина мать, тётка Таля, заикнулась в разговоре, что надо бы, мол, заказать к зиме новую буржуйку для горницы, и Андрей тотчас вызвался помочь:

— Сами попробуем на досуге...

Таля сперва отнеслась к его словам с недоверием, мол, зелен ещё парень для столь серьёзного дела, как бы не испортил припасённую жесьть. Но Гриня заверил, что его друг-жестящик хоть куда, сам заводской мастер хвалит его руку.

С великодушного разрешения Кольки мне довелось посмотреть вблизи на Андрееву работу. С утра до вечера я проторчал под навесом, где, склонившись над кобылиной, усердно гнул и резал жесьть молодой мастеровой, и так примелькался ему, что он стал дружелюбно беседовать со мной. А когда Гриня, ходивший в подмастерьях, отлучался на время, даже просил меня подать то молоток, то бородок. Печку он сделал и впрямь что надо: аккуратную, со скошенными углами, с выгнутыми, как у венского стула, ножками, с конфоркой, закрываемой не простым кружком, а сложной крышкой-заглушкой с бортиком и ручкой крендельком.

Но с особенной ловкостью и фантазией была сделана дверца печки. Навешивалась она на прочном сплошном шарнире, вроде рояльной петли, закрывалась изящной щеколдой, заводимой за крючок с хоботком. А ось рычажка была украшена жестяной ромашкой. Поддувалом служили уголки и полукружия по основанию дверцы. Признаться, я не сразу понял, что это — буквы, пробитые в жести. Но когда догадался,

тотчас сложил их в слово — С Е Л И Н. Это была фамилия Андрея — подпись мастера под своим изделием и своеобразное личное клеймо.

Печка та вызвала в деревне много толков. Андрей, наверное, уж и не рад был, что показал своё ремесло. Заказы посыпались один за другим. Сначала решила воспользоваться случаем Талина родня, потом — ближние соседи, а там и дальние. Тем более, что платы за работу Андрей не брал, даже злился, когда ему навязчиво совали деньги или предлагали «на худой конец» бутылку. Особый разряд заказчиков составили наши деревенские охотники, после того как одному из них мастер сделал «походную буржуйку», небольшую, удобную, легко укладываемую в рюкзак вместе с набором труб и патрубков. В таёжной избушке такой печке цены нет. Да и в простой палатке она при случае не лишняя...

Все каникулы провёл Андрей во дворе под навесом с молотком и зубилом в руках. Круг жестяных работ его всё расширялся. Он мастерил и самоварные трубы, и печные — со «шлемами» для украшения крыш, и водостоки, и противни, и заслонки, и лейки, и маслénки, и воронки... И на каждом из этих изделий тоже ставил своё клеймо. Правда, в сокращённом варианте — «АС», употребляя «развёрнутый» лишь для буржоек, остававшихся его главными изделиями.

Он мастерил их и на второе лето, когда снова приезжал к Грине погостить, и потом, уже работая слесарем на заводе, даже если на считанные дни заглядывал к нам. Но с годами он наезжал всё реже, хотя деревня наша ему стала, как своя, и все люди с ним здоровались, как со старым знакомым, с уважаемым мастером.

Тому охлаждению было своё оправдание. Прежде парня тянули к нам не только Гринины полати да благодарные заказчики на жестяные изделия, а была у него в селе тайная зазноба, о которой, разумеется, все прекрасно знали. Хотя бы потому, что бесчисленные Коломбины, нарисованные им в альбомах таскинских девок, определённо смахивали на Машу Болотную, сельповского экспедитора дочь. Маша была и вправду хороша собой, и хотя с прохладцей относилась к робким ухаживаниям Андрея, но, говорили подруги, оставляла ему известные надежды. А потом вдруг, вернувшись с курсов продавцов из Абакана, выскочила за Федю Спирина, механизатора, назначенного бригадиром, хотя прежде была к нему вроде вообще равнодушна...

Словом, Андрей, уязвлённый непостоянством женского сердца, забыл дорогу в Таскино. Но село о нём помнило долго. Да и теперь ещё вспоминает. Если попадётся кому под руку старое жестяное изделие с чуть приметными буквами «АС», он внимательно осмолит его, ощупает и скажет с уважением: «О, Андреево клеймо! Добротная штука!» Да если даже и стёрлось оно совсем, это клеймо, знающий человек по виду вещи определит руку мастера-аса.

4

Всё это вспомнил я, лежа на приземистых нарах в тесной охотничьей избушке, заброшенной за многие сотни вёрст не только от Красноярска или Таскино, но от всякого человеческого жилья, и глядя с радостным удивлением на сквозившую из темноты желанным светом и теплом фамилию знакомого мне мастерового человека.

Прикинув пролетевшие годы, я невольно усомнился в том, чтобы жестяная печурка смогла сохраниться с тех теперь уже далёких дней. Оставалось предположить, что она была сработана Андреем не в ранний «таскинский период», а много позже и попала сюда неведомыми путями каких-нибудь пять-шесть лет назад. Значит, ещё живёт и трудится где-то Андрей Селин, артист жестяного дела, творец оригинальных «походных буржоек» для нашего таёжного промыслового люда, и всё так же искусна и тверда его рука.

Впрочем, вполне возможно, что он уже давным-давно не жестянщик-художник, а какой-нибудь «человек с положением» или, по нынешним дням, «с капиталом», и печку эту сделал просто ради забавы, собираясь сюда, к знаменитому Кукшину, в отпускное путешествие на охоту, на рыбалку со знакомым таёжником. Но всё же по-прежнему поставил своё клеймо на печной дверце как знак того, что ручается за качество изделия и гордится своим изначальным ремеслом не меньше, а, может, даже больше, чем всеми нынешними портфелями и капиталами.

Шухарнул Максим

В тот день в селе отжинки праздновали. Дым стоял коромыслом.

Обычно по нашей смурной погоде уборка затягивалась до белых мух, последние клинья комбайнеры дожинали в шапках и валенках, а то и под снег колосья пускали, чтоб уже весной их вытеребить с грехом пополам. Но тут осень выдалась на удивление: тёплая да сухая, долгая да звонкая! Считай, впервые убрались к Дню работника сельского хозяйства, а то всё его в борозде да в загонке встречали. Только по радио и слышали, как добрые люди в других краях празднуют.

Накануне, субботним вечером, торжественное собрание в клубе провели, а наутро председатель ещё раз поздравил односельчан с праздником по местному радио и пожелал им хорошо отдохнуть от трудов праведных.

Отдыхать, как водится, некоторые ещё с вечера взялись — в клубе буфет работал, да и чайная — рукой подать — гудела до полуночи. Но всё равно это была ещё как бы репетиция. Настоящее представление началось днём в воскресенье. С утра тишина стояла, непривычная для осеннего села: ни тракторного гуда, ни кузнечного звона. Коровы только прошли за деревню без пастуха, самопасом, помычали, пощёлкали копытами — и снова всё стихло.

Потом лишь, поближе к обеду, улицы помаленьку оживать стали. Мотоцикл протрочил пулемётной очередью, легковые замелькали, прогремел на тарантасе дед Егор, бывший конторский конюх, а теперь сторож в механических мастерских и по совместительству осеминатор в поредевших колхозных конюшнях. Он вывел на утренний моцион своего лучшего в серых яблоках жеребца Вырубка. Парни прошли с гитарами наперевес. Гармошка взвизгнула в конце деревни. Захлопали заложками ворота. Народ стал расходиться по гостям, разбираться по честным компаниям.

Тракторист Максим Воронов, важный после вчерашнего премирования, прошёл под руку со своей Нюсей в дом наискосок, к Фёдору Спирину — бригадиру второй бригады, своему давнему дружку. Когда-то вместе на тракторе работали, и была у них привычка вместе отжинки справлять. Максим по случаю праздника надел всё новое, с иголочки — коричневый кремпленовый костюм, пальто табачного цвета, такую же шляпу с короткими, по моде, полями. Выходная одежда казалась ловкой, а зеркальные штиблеты непривычно лёгкими, после того как он два месяца не снимал пыльного комбинезона, стёганой фуфайки и кирзачей. Шагать было приятно и весело, вот только галстук петлёй сдавливал горло, так что даже мешал свободно дышать. Максим терпеть не мог галстуков, но не рискнул послушаться Нюски, которая говорила, что в галстук он похож на учителя.

Когда Максим шагнул к Спириным во двор, там уже народу порядочно было. День выдался хоть и прохладный, даже с утренним инейком, но зато тихий, солнечный, и мужики повысыпали на крыльцо. Сидели на ступеньках в приятном ожидании, курили, травили анекдоты. А женщины в избе суетились вокруг стола — угощение гото-

вили. Максим поздоровался с мужиками за руку, перекинулся двумя-тремя словами, потом зашёл в избу, чтобы женщин поприветствовать, и даже удивился, какие все они сегодня были свежие, нарядные, весёлые, с накрашенными губами, с высокими городскими причёсками.

Особенно выделялась Люська Барсова — механикова жена, счетоводка, и ещё Нинка Сайкина, молодая разведёнка, тоже конторская работница. У Нинки под шёлковым платьем так соблазнительно выпирали округлости и на щеках пылал такой румянец, что Максим аж сглотнул слюну и невольно покосился на Нюську — не перехватила ли та его взгляда. Но Нюська окунулась в кухонные дела, и ей было не до мужниных взглядов. А вот Нинка поняла сразу, что Максим на неё глаз положил. Такое женщины на лету ловят. Она лукаво подмигнула ему и как бы нарочно потянулась вальяжно, повернувшись к нему тугой спиной и всем, что пониже, и стала протирать рюмки расшитым полотенцем.

Вскоре подкатил Фёдор на своём мотоцикле — он в магазин за «резервом» сгонял — и стал всех приглашать за столы. Поскольку жена его Маша работала продавщицей и не могла сегодня до срока оставить прилавка, хозяйничала сестра её Тамара. Она распорядилась, чтобы гости садились не семьями, а все вперемешку, и когда стали занимать места, то Максиму случайно выпало сидеть рядом с Нинкой.

Гостей прибывало, приходилось сдвигаться всё теснее, и всё острее чувствовал Максим тугое и вроде даже горячее Нинкино бедро. А может, это уж водка горячила его, потому что под холодную закуску — соленья, селёдку, студень и прочее — уже подали дважды, почти подряд, «сдвоенным валком», как объявил Фёдор под общий смех. Зашумела компания, застрочила языками, замахала руками. Кто-то радиолу подкрутил погромче. Стали наливать по третьей.

— Почему за соседкой не следишь? — пропела Нинка возле уха Максиму и метнула зелёными глазищами на свою рюмку.

Максим смутился и начал торопливо наливать ей вина, подкладывая закуску, хлеб и при этом невольно касался её горячих, обнажённых выше локтя рук со смуглой шелковистой кожей. Чувствуя волнение крови, он нет-нет да боязливо взглядывал на Нюську, но она не обращала на него внимания, она умирала со смеху над болтовней Егора, самого забавного старика в деревне, проворного на язык, и, кажется, ничего больше не видела и не слышала.

Гулянка покатилась проторённой дорожкой, всё пошло своим чередом. Вспомнили, что надо выпить за хозяйку (она только что подошла), потом принесли жаркое, которое тоже, как известно, всухомятку на Руси не естся...

А там уж и запевала нашёлся. Сперва подтянули проигрывателю, перебиравшему эстрадные песенки, но вскоре перешли на свои, народные, и когда грянули «По Муромской дороге» да «Ой, мороз, мороз», радиола словно заглохла: сквозь мощный хор слышалось только, как подрагивают стекла в двойных рамах, ещё не законопаченных и не заклеенных на зиму.

Смочили горло после тягучих песен — на танцы потянуло. Хозяина поставили пластинки менять, сдвинули столы — понеслась родная... Максим было пригласил свою Нюську для приличия, но она теперь беседовала с бабкой Бродничихой и уже не смеялась, а напротив — слёзы вытирала платочком и шмыгала покрасневшим носом, разговор у них шёл, должно быть, душещипательный.

— Отстань, вон баб много, танцуй, — сказала Нюська, и Максим отошёл от неё.

Отошёл и увидел, что у порога стоит незанятая Нинка, скрестила руки над высокой грудью и улыбается, смотрит на прыгающих в кругу гостей. Максим протиснулся к ней и галантно пригласил на танец. Нинка охотно отозвалась. Максим сначала осторожно, двумя пальцами придерживал её за талию, но она в тесноте, лавируя между парами, так прильнула к нему раз да другой всем своим жарким и тугим телом, что

партнёру невольно пришлось облапить её сзади всей пятернёй и приспустить для удобства руку чуть пониже.

Потом танцевали ещё и ещё, и Максим уже не молчал, как вначале, а говорил и говорил напропалую, наклоняясь к самому Нинкиному уху. Её развевающиеся волосы щекотали ему лоб, а парной запах духов и пота щекотал ноздри. Максим всё откровенней прижимался к Нинке, и она, кажись, была не против того, хитро улыбалась ему в самые глаза и призывно хлопала своими зелёными фарами. После одного томительного танго, в котором танцующие почти не двигали ногами, а просто раскачивались и в тесноте терлись друг о дружку, Максим не выдержал, порывисто сдвинул Нинке руку повыше локтя и выдохнул:

— Выйдем?

— Куда это ещё? — лукаво пропела томная Нинка.

Эта игривость её глубокого воркующего голоса совсем опьянила Максима, и он, сам не узнавая себя, наступательно и горячо зашептал:

— Выйди в кладовку. Подожди. Я скоро приду.

— Когда придёшь-то? — вскинула брови Нинка.

— Минут через пяток, — задохнулся от волнения Максим.

Оставив Нинку, он выдернул сигарету из кармана, вылетел на крыльцо в одной рубашке и нервно закурил. Чтобы успокоиться немного и прийти в себя, пошатался по широкому двору.

Уж совсем стемнело. На небе вызвездило. Стало по-осеннему свежо. Все предвещало наступление устойчивых заморозков, недалёкого зазимка. Максим постоял у голого, облетевшего сада, потряс зябко плечами, сделал несколько боксёрских движений, тыча тяжёлыми кулаками в густеющую темноту. Дрожь вроде улеглась. Он посмотрел на звёздное небо, раздавил новым ботинком окурочек и, заправив рубаху, решительно двинул в сумрачные сени. В сенях постоял, приглядываясь к темноте, пока, наконец, не заметил, что дверь в кладовку чуть приоткрыта. И хотя ждал этого, от догадки почувствовал в спине тревожный озноб. Он торопливо толкнул дверь ногой, шагнул в проём, протянул руки и оторопел, наткнувшись во тьме на протянутые навстречу объятия.

«Она уже здесь», — подумал он с удовлетворением, однако и не без некоторого страха. А эти невидимые руки повлекли его в глубину кладовки, он подался вперёд, по-мужски грубовато и цепко повернул и, взяв в кольцо, прижал к себе послушное женское тело.

— Ни-но-чка... — прошептал он с удивившей его самого нежностью.

Резко придвинул бедром какую-то кадучку к двери и стал наступательно целовать свою неожиданную возлюбленную в глаза, в нос, в губы. Странно, что она ничего не говорила в ответ, не проявляла встречных порывов, приличествующих создавшейся ситуации, но и не сопротивлялась. Максим, несколько обескураженный этой холодноватостью, сжал её в объятиях так, что хрустнула спина, но и на это Нинка ничего не сказала.

«Блудлива, а со страху язык отнялся», — подумал он с некоторым раздражением.

У него даже мелькнула мысль: не лучше ли отступить, рассмеяться, свести всё к шутке, пока не поздно? Тем более что он остыл и Нинка сейчас уже не казалась ему такой соблазнительной, как в танце. Она вроде бы похудела, стала заметно жиже телом и отвечала на все его преувеличенно страстные поцелуи и объятия лишь зябким вздрагиванием — не то от холода, не то от волнения. Но именно эта нервная дрожь близко ощущаемой женщины подхлестнула Максима на решительные действия...

Всё произошло на удивление просто и быстро. И когда Максим отстранился с некоторым разочарованием, его щёку вдруг обжёг резкий удар. В тишине чулана шлепок раздался так гулко, что у Максима зазвенело в ушах. Не успел он инстинктивно

прикрыть загоревшую щёку, как вторая оплеуха угодила ему в переносье — блеснули перед глазами красно-зелёные искры.

— Ты чего! — изумился Максим, обороняясь руками от следующей затрещины, и в этот миг его оглушил поистине, как гром среди ясного неба, голос жены Нюльки:

— А ничего, кобель ты окаянный!

Ещё не сообразив толком, что же всё-таки случилось, Максим понял, однако, что произошло нечто непоправимое, ужасное, и пробкой вылетел из кладовки, пахнувшей мукой и мышами.

А случилось и впрямь такое, что хуже не придумаешь. Когда Максим выходил, разгорячённый, покурить на крылечко, Нинка, задетая бесцеремонным обращением с собой (разведёнки к подобным вольностям относятся особенно болезненно), решила подкузьмить его. И подкузьмила. Известное дело, женщины народ коварный. Отвела она Нюльку от Бродничихи в сторону и выложила всё как на духу. С потрохами продала Максима. Нюлька сперва не поверила даже, потом было всплыла на Нинку за её флирт с чужим мужиком, но, наконец, согласилась, что та, собственно, ни в чём не виновата, и закусила удила — задумала неверному Максиму страшную месть. Сама вместо Нинки пошла она в кладовку на свидание с мужем, коварным изменником...

Одним словом, шухарнул Максим здорово, так шухарнул, что вот уже сколько лет минуло после тех отжинок, а вся деревня до сей поры дразнит его Нинкиным ухажёром. И Максим молчит, покорно несёт свой крест. А что поделаешь? На чужой роток не накинешь платок.

ПОЭЗИЯ



ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ



Какое согласие в природе

* * *

Нынче день прибавил света,
Неги и тепла.
Скоро станет вся планета
Сказочно мила...

Всюду смех и говор вешний,
Гомон ребятни.
Заселили все скворешни
Птицы в эти дни...

С крыш срываются сосульки
В ноздреватый снег.
...Птицы в звонкие свистульки
Славят новый век.

Радость в души так и льётся,
Вытесняя грусть.
Солнце весело смеётся:
«Пробуждайся, Русь!»

КОРНИЛОВ Владимир Васильевич, поэт (род. в 1947 г. в с. Октябрьском Челябинской обл.) Автор книг: «Я всегда удивляться буду» (Иркутск, 1984); «Лирический полдень» (Иркутск, 1990); «Наедине с сердцем» (Иркутск, 1993); «Я в Сибирь навек командирован» (Братск, 1997); «Верю, боль моя в храмы войдёт» (Иркутск, 2004); «Родниковый мёд» (М., 2003); «Отпусти на волю музыку души» (М., 2009) и др. Член Союза писателей России. Живёт в г. Братске.

Праздник Зимний Никола

Народному хору «Русское поле»

Тонкие снежные блёстки
Ангелы сеют с небес.
В инее белом берёзки
Сгрудились кучкой невест.

Музыкой горней* влекомы,
Люди к молебну спешат,
Чтобы у Божьей иконы
Вновь освятилась душа...

Всюду узоры в оконцах.
Весел и праздничен день.
Зимний Никола под солнцем
Льёт колокольную звень.

Возле церковной ограды
Много нарядных старух,
Крестятся — празднику рады
Глянешь — заходится дух.

...Господи! Господи! Господи!
Как это сердцу сродни!
В звоне малиновом, Господи,
Благостью полнятся дни!

...Значит, ещё не померкли
Радость людская и грусть,
Если толпится у церкви
Наша исконная Русь.

Зимняя свадьба

Скачут звонко кони синие,
Ленты ярко развеваются.
Свадьба вытянулась в линию —
С небом санный путь сливается...

И с поклонами, побасками
В рушнике ей солнце вынесла.

А зима, сверкая красками,
Озаряет свадьбу вымыслом —

...Мчится! Мчится свадьба зимняя!
В колокольчиках, бубенчиках! —
Это Русь-невеста в инее
С Рождеством в мороз обвенчана.

* * *

Веками слыл превыше ценностей
На поте выращенный хлеб.
...И всё же вирус праздной лени
Закрался в души и окреп...
И там, где сеяли озимые,
Цвела гречиха, зрела рожь, —
Теперь поля необозримые
Позаросли бурьяном сплошь.
...Ужель крестьянское радение,
Что к нам от прадедов дошло, —
Настигло общее затмение,
Порушив русское село?..
...Но память злой недуг тот вызывает —
Вернёт из обмороков нас.
На пашнях снова колос вызреет.
И слышим станет Божий глас.

*Горний — небесный.

В августе

Какое согласие в Природе —
Умиротворения дух?!
Недаром у нас в огороде
Расцвёл в эту пору лопух.
...Отшельник, отвергнутый всеми,
Познал он и тяпку, и плуг...
Но в августе гордое семя —
Лазоревым вспыхнуло вдруг.
И эту улыбку Природы
Случайно увидел поэт,

В заросшем углу огорода
Заметив лазоревый цвет.
И он восхитился растением —
Хоть с виду лопух неказист,
Но нежное в бликах цветенье
Стихами просилось на лист.
...И пасынок жизни суровой —
Земли горемычная соль —
Восславлен был праведным словом
За все его муки и боль.

Барышня-осень

Небо бездонно от просини.
Смехом искрится река.
...Барышня, нам не до осени,
Мы Вас не ждали пока.
Что же Вы лету перечите,
Если ещё зелены
Сопки на всём междуречии,
Женщины счастьем пьяны.
Если блестящими нитями
Марево веет с полей.

...Барышня, Вам по наитию
Чудится крик журавлей.
Зреет их грусть над болотами
В зареве солнечных вьюг.
Ими ещё не налётаны
Первые стёжки на юг.
Это приснился Вам давнишний
В золоте весь окоём?
...Осень, откуда Вы, барышня,
В ярком наряде своём?

В сентябре

Не встречал я осенью нигде
Красочней и трепетней картин:
Лучезарен каждый божий день
С серебристой дрожью паутин.
Золотые свечи сентября
Придают торжественность лесам.
Всякий миг такой боготворя,
Свой восторг дарил я небесам.

...Храм осенний светел и велик —
Благодатью Вышней сотворён.
Как прекрасен он и огнелик,
Солнцем осиян со всех сторон!..
Чуть поодаль купола церквей
С ярко-жёлтым пламенем берёз —
Это образ Родины моей —
Дорог мне и памятен до слёз.

* * *

Остывает душа у поэта,
Всё мрачней и безрадостней сны.
Не пьянят её запахи лета,
Ни цветущие зори весны.
...Вот и женщина мнится иначе —
Не сгорающей в страстном огне:
Тот напиток, хмельной и горячий,
Он всё реже вскипает во мне...

Видно, сердце сполна отлюбило
И, сгорев, превратилось в труху.
Но ведь помню, как душу знобило!
Как безумства дарил я стиху!
...Может, это всему передышка —
Осмысленье судьбы и грехов,
И в душе оказалось не слишком
Новых сил для бессмертных стихов?

* * *

Жизнь моя, не заблудись в дороге...

Владимир Добин

Жизнь моя, не заблудись в дороге...
А случится — духом не робей!
Чтоб в часы нахлынувшей тревоги
Ты прошла с достоинством по ней!..
Путь к душе постигнешь ты не сразу:
Сколь дорог судьба с тобой сроднит?!

...Радуйся весне зеленоглазой,
Жаворонку, взмывшему в зенит!..
У судьбы не клянчи снисхожденья,
Лёгких троп у Бога не проси!
...Все познай невзгоды и сомненья
На дорогах матушки-Руси!

Русский говорок

Зимним утром — снег певуч и звонок,
Каждый шаг озвучен каблуком.
Жители сутулятся спросонок,
Освежая души холодком,
И, вливаясь в зарево проспектов,
Потекут безудержной рекой,

Тут порою — не до интеллекта,
Окунувшись в кипяток людской...
Кто-то обожжётся грубым хамством,
Кто-то преподаст ему урок.
...Целый день морозное пространство
Оживляет русский говорок.

Зимняя элегия

Восхищаться перестали мы,
Словно плёнкой застит взгляд.
...В пышных шубах горностаевых
Нынче ёлочки стоят...
Русь зимой щедра подарками.
В лес войди — и удивись!
За серебряными арками
Здесь совсем иная жизнь...

Плюнь на мысли оголтелые!
Прочь о деньгах разговор! —
И берёзок шали белые
Озарят твой мрачный взор.
Зазвонят лесные звонницы
О величье бытия,
И душа добром наполнится
Вновь по самые края.

Пасхальные стихи

Молясь светозарным иконам,
Воскресшего славя Христа,
С пасхальным малиновым звоном
Слились православных уста.

...Бессмертную жизнь воспевая
В соборах святыми людьми,
Ликуй, моя Русь горевая!
Обретшего в муках прими!

* * *

Вся жизнь наша в поисках смысла,
Чтоб стать и мудрей, и сильней.
А возраст — абстрактные числа,
Цифири в сумятице дней...
И как бы нас бури ни гнули,

И кто бы ни правил страной,
Мы солнышку рады в июле
И звонким капелям весной.
...Прямой иль тернистой дорогой
Очерчены дни бытия —

Зависит, пожалуй, от Бога,
Но каждому — доля своя...
Пусть рай мы в глаза не видали,
Не всякий был сыт и одет,
Но русской души не продали
Ни я, ни отец мой, ни дед...
И мы не искали бессмертья,

Нам ближе земные дела.
Но в вечной людской круговерти
Нам компасом совесть была.
...И как бы нас бури ни гнули,
Ни грабил страну олигарх,
Весёлые песни июля
Звучат на родных берегах.

Русская земля

Выйду на крылечко, а вокруг — тайга.
Вдаль струится речка — звонки берега.
А за нею горы, житные поля,
Милые просторы — Русская земля!

Русская до боли, даже в сердце дрожь.
В эту пору в поле вызревает рожь.
Налилась пшеница, колосист ячмень.
Синекрылой птицей распластался день.

Сердцем обмираю я среди полей:
Нет конца и края Родине моей!
...Звякаю уздечкой, тороплю коня —
Казаки за речкой в поле ждут меня.

Скинули папахи и сошлись на круг.
Белые рубахи вспенились вокруг.
То собрались вместе внуки Ермака
Славить в новых песнях удаль казака.

Их подхватят горы, реки и поля,
Отчие просторы — Русская земля...

Это образ родины моей

Анатолию Горбунову

Не встречал я осенью нигде
Красочней и трепетней картин:
Лучезарен каждый божий день
С серебристой дрожью паутин.

Золотые свечи сентября
Придают торжественность лесам.
Всякий миг такой боготворя,
Свой восторг дарил я небесам.

...Храм осенний светел и велик —
Благодатью Вышней сотворён.
Как прекрасен он и огнелик,
Солнцем осиян со всех сторон!..

Чуть поодаль купола церковей
В ярко-жёлтом пламени берёз —
Это образ Родины моей —
Дорог мне и памятен до слёз.



ВЛАДИМИР ШАВЁЛКИН



РАССКАЗЫ

Святое имя

— Любил, оказывается, я свою тётку, — сказал он на кладбище, куда приехал помянуть недавно легшую в эту землю родную тётю Аню.

— И она тебя любила, — тихим эхом откликнулась Людмила, двоюродная сестра, средняя дочка Анны.

Когда в погожий майский день зять тёти, случайно встреченный, сказал: «Бабка-то умерла», Володя сначала не понял: «Кто?!» До сознания ещё не дошла плохая весть, а душа уже всё поняла...

— Приходи вечером, я тебя отвезу на кладбище, — добавил Серёга. — Как раз надо Людке кое-что передать.

И вот они по мелким и большим колдобинам трясутся на «Москвиче» по Голуметскому тракту. Мелькают деревни с серыми домами, сараями и белеющими невдалеке

ШАВЁЛКИН Владимир родился 23 августа 1963 г. Окончил Иркутский госуниверситет, филологический факультет, отделение журналистики. Рассказы и стихи выходили в коллективных сборниках Союза писателей, а также в газетах и журналах Иркутской области, Красноярска, центральной прессе, за рубежом. Лауреат региональной конференции «Молодость. Творчество. Современность», дважды входил в шорт-лист фестиваля «Литературная Вена», отмечен на литературном фестивале «Хрустальный родник» в Орле, конкурсе «Народный автор» интернет-журнала «Народный», награжден дипломом литературного портала «Что хочет автор» Международного союза писателей «Новый современник» 2012 г. Член союза журналистов России.

фермами — Жмурово, Ныгда, Бажей... Володя глядит за пыльное стекло машины на зеленеющие траву, деревья, а в сердце горестно жмётся комок. Нечасто же он навещал тётю. Так вот и не хоронил. Родня телеграмму не дала. Около Бажей машина проскочила по небольшому бетонному мостку через мелкую, летом тёплую, заросшую сочной зелёной осокой речку Голуметку. В тёмном сосняке справа от реки погост. Там похоронен дед Пётр. Поди и могилы его не осталось. Дочери и сын разъехались по деревням, посёлкам, городам. Ну а внуки и не были здесь ни разу. Может, только двоюродные братовья блюдут последний приют Петра. «Царство Небесное тебе, дед», — Володя крестится незаметно на сосны. Крутой, говорят, своенравный был старик. Жену гонял, дочек в страхе держал. Только к единственному сыну благоволил. И тот таскал из сарая продукты, которые ты запирал от большого и голодного семейства. Для мамы и сестёр. Однажды этот сарай сгорел. Будто сам дед и запалил.

Володе жалко бабку Анну, бывшую жену Петра. Сморщенное жёлтое личико на старой фотографии с болью и страданием в немного раскосых глазах, тунгусский овал-линия худых втянутых щёк. Может, и примешалась нерусская кровь к Бойковской. Деревни в этом околотке смешанные, половина бурят, половина русских. Рожала она без передыху. В живых осталось только пять. Сашку вроде дед застудил, бросив на него холодный тулуп, придя домой пьяный с гулянки. Умер Сашенька, не дожив до года. Старшая, Надежда, всё ногой маялась, горемычная. Только-только войдя в девичий цвет, от неё и умерла. Родились ещё и Дуня, Катя, Константин... Где теперь их души? Должно, в раю — Господь любит невинных и чистых.

А тётку Анну Бог сохранил. Родилась она на Сретенье. Володя заметил, что родные, появившиеся на свет в Божьи праздники, обычно самые светлые, святые почти в роду. В Евангелии сказано, что Христа в храме — чему и посвящён праздник Сретенье, по-русски встреча, — встретили праведный Симеон и пророчица Анна, вдова лет восьмидесяти четырёх, постом и молитвою служившая Богу. В честь пророчицы и наречена тётя Анною. Имя святой отразилось в судьбе — осталась вдовой.

В голубеющем небе с лёгкими вольными облачками показались и плывут косяком-вереницею, меняя плавные очертания стаи, журавли. Наверное, они курлычут, но за шумом машины не слышно.

— О, прилетели! — замечает Серёга.

Вот и Иреть, большая деревня, прижавшаяся одним боком, с прозвищем Боково, к холодной, быстрой и светлой реке Иретке. У реки и за нею чёрные пики высоких ёлок, лес. По правую сторону тракта пологий холм с густым сосняком. Там кладбище. А за ним совхозные поля, сейчас зеленеющие, а по осени жёлтые. Новая дорога разрешила холм почти у ограды погоста. Старая серой лентой асфальта тянется через деревню мимо тёмных от времени бревенчатых изб с обомшелюю из досок крышею. Встречаются и новые дома, светлеющие свежим деревом, крытые шифером. Магазин, почта, детский сад, фельдшерский пункт окрашены в голубое и белое.

У Людмилы, хлебнувшей в жизни горяшка, поменявшей трёх мужей и родившей пятерых детей, лицо хорошее, доброе. В морщинках шурящихся глаз теплится сострадание к людям. На дом и детей она громкая и шумная хозяйка.

— У тебя, Людка, дом весёлый, — говаривала ей мать, видя вечную суету, шум, толкотню и возню в доме. Тут ни минуты тишины, покоя, разве только ночью.

Не очень-то боятся дети шума-ругани мамани, проворной по хозяйству и до гулянки охочей. Чуть не умер тогда Володя-горожанин от поминок на кладбище, где водку хлестали рюмками, похожими на маленькие стаканы. Деревенским-то ничего, у них подкожный слой толстый. А с городских харчей не зажиреешь...

Из тумана детских лет наплыли горячие, как любовь и слёзы, воспоминания. Ше-стаково. Первый дом за деревянным, бренчащим от машин мостом — тёткин. Высокий, чёрный, из тяжёлых брёвен, словно крепостная стена, торчащий на юру. Тыльной

стороной и боковиной без окон обращённый на северо-запад, откуда встречает зимой сильные снега и метели. Окна в голубых ставнях глядят на восток, на дорогу за палисадником, где берёза и черёмуха, и внутрь двора. Иногда в старые окна с белыми занавесками и широкими подоконниками, на которых стоят цветы, стучит шоферня:

— Есть, мать, самогон? Продай...

Летом за заплотом кричит-усердствует петух, бродят по двору, иногда вылезая под ворота, квохчут, роются в пыли куры. Драчливый петух не даёт спокойно гулять по двору. А на улице по-змеиному шипят гуси, угрожающе вытянув белые шеи с жёлто-оранжевым плоским клювом. Нападают, набегая, неуклюже переваливаясь перепончатыми лапами. Гуси громко гогочут и удаляются плавать на Иретку. Она струит ледяные воды под холмом в пятидесяти шагах от дома. Володя, оседлав лавочку, сквозь щели забора вместе с младшей Валею, тёткиной дочкой, глазеез на улицу-дорогу, где редко проносятся грузовые и легковые автомобили, поднимая густую мутно-белую пыль. Володя получил по первое число от тётки за капризы и обиженно сопит. Он один у мамы и ещё не понимает, что размашистость и строгость тётки, резкие слова — от вдовства. Побудь-ка с шестью душами добренькой, когда хозяйство надо обиходить, всех обушь, одеть, накормить. Тётке не до обид. Подоив корову, она отправляет старших выгнать её в поле. Володя думает, как бы скорей отсюда уехать. Только вот кормят вкусно — молоко тёплое, парное, хлеб белее городского. И творог жирный, желтеет, посыпанный сахаром. И мясо, и сало, и яйца! Когда подростком приехал сюда, тётка уж не была так размашиста с ним, хоть по-прежнему не церемонилась. Разодрались они с двоюродной сеструшкой Любой. Тётя разобралась, кто начал.

— Люба начала первая, — канючит Володя.

— Я правду люблю, чтоб по правде было! — грозно искрятся тёткины глаза. И жалко ей Любу, сирота, и всё же чехвостит племяшку: — Ишь, какая ндравная выискалась!..

Дядя Миша, Любин отец, сосед, уже привык к нападкам Анны:

— Зимы без мороза не бывает. Так вот и живём. То ругаемся, то миримся.

А вот соседка слева, Адамовна, той палец в рот не клади. Так они с тётёй подружки, но как-то сцепились на глазах Володи, схлестнулись из-за какой-то безделицы. Тут было не понять, кто больше глотку дерёт. Тётка Анна нападает:

— Ишь ты, бесстыжая, задарма отъелась!

Адамовна, как и тётя, в русском платке, подвязанном под подбородком. В юбке и кофте, надетыми для работы по хозяйству, не уступает:

— Да иди ты к едрене-фене отсель, я тебя не звала.

Крик, стук калитки. Тётка пулей вылетает из двора Адамовны. И уже в своём дворе, не успокоясь, костерит подругу, так что слышно через забор, да, пожалуй, и на ползаимки.

— Курва... Я те дам, курва! Ты у меня пообзывается, попросишь ещё сепаратор. Я те налью сепаратор по самый нос.

— А кто ты есть? Ты и есть курва! — кричит Адамовна в своём углу. — Раз хороших слов не понимаешь.

Дня через три, неделю соседки мирятся. Куда им друг без друга! Одна вечно толчётся около другой. То за оградой дело есть, на речку ль по воду или бельё стирание прополоскать. Адамовна тоже вдова. И дети у неё выросли, разъехались.

— Ладно уж, Анна, — вступает, встретив на тропинке у реки Адамовна. — Чево кобылиться? Заходи вечером снедать.

— Зайду, как управлюсь, — поставив вёдра с коромыслом на обочину с мелкою травой, подорожником, обтирая лицо концами платка, соглашается тётя.

И уже вечер за рюмкою самогонки, просит:

— Ты прости меня, дуру. Знаешь, чё горячка я.

— Чево балаболить, — всхлипывает Адамовна, сидя по другую сторону деревянного самодельного стола со старой ссохшейся клеёнкой. — И меня ктой за язык дёрнул, почла обзывать, ни стыда ни совести.

— Сепаратор надо?

— Да сѣдни уж не, завтра забегу.

И Адамовна затягивает печально на малороссийский манер песню родной Украины. Сибирячка-тѣтя подпевает, подтягивает. И вьются тоскующие женские голоса в вечернем воздухе, похолодавшем, засыревшем от Ирети. Толкается в нём и мошка-гнус, облачками нависая над дорогой. Адамовна вдруг резко обрывает тоску, встряхивается, и уже буняют на полдеревни голоса поседевших подруг.

С утра тѣтя споро крутит сепаратор, и из разных дырочек-отверстий текут струйки. Большая белая — молока, пожелтее — сливки, и самая тощая, худая — медленно капает сметана-масло. Слышно стукнула металлическим кольцом дверь в дому, разувается, кряхтит на крыльце Адамовна, снимая резиновые, обрезанные до щиколоток сапоги в навозе и курином помѣте. Скрипят половицы в избе, холодные летом и через шерстяной носок.

— Привет, подруга, как почивала? — хитро смеются узкие глазки Адамовны.

— Да ничѣ, ты не приснилась.

Дети ещё спят, поэтому разговоры ведутся вполголоса.

Летом Володя приехал на свадьбу. Замуж выходила племянница Агаша, тѣтина внучка. Собралась, съехалась через много лет вся родня по маминой линии. Пять дочерей тѣтки Анны — Вера, Люба, Люда, Надя, Валя с мужьями и детьми. И Вася, единственный сын. Свадьбы в деревне разгульные. Володя, подъехав позже всех, сидел на сложенных у забора Людмилиного дома досках. Сюда должны были прибыть на выкуп машины с женихом. Смотрит — идёт рыжеватый мужик и по-знакомому щурится. Ох, уж этот хитроватый тѣтин прищур. Васька! Не виделись сколько, как он уехал жить куда-то под Омск. Поздоровались, обнялись. Припомнил Володя, как он ещё мальчонкой гостевал в Шестаково, завидовал здоровому парню Ваське. Тот нырял под мост в холодную воду на глубину в полтора-два метра в специальной резиновой маске с очками и ружьём стреляющим, подводным. И потом нѣс на вилке-стреле пронзѣнного огромного ленка, облитого кровью. К матери в дом — добытчик! А потом уехал служить в погранвойска на Дальний Восток, где тогда было неспокойно из-за конфликтов с китайцами.

И грянула свадьба! В деревенской столовой, большой бревенчатой в две связи избе, было душно. Танцевали на улице, на зелёном бугре у крыльца. Взивалась, гремела под голубым небом в чистом июньском воздухе музыка, под которую деревенские мужики неуклюже крутили задами. По Иретке шѣл рыбак в высоких броднях с маскою, в резиновой спецодежде. И заглядывая в воду под корягами у берега, выбрасывал на землю больших ленков. И тѣтя Аня, притомившись под вечер, — устала готовить в кухне за перегородкой и подавать на столы, — присела на лавочку к гуляющим и, пригубив вина, запела по-украински задорно: «Ай я, да ну да я...» Только подхватить песню было уже некому — Адамовна отошла в мир иной. Молодёжь резвилась на улице, пожилые мужики, поднабравшись, тяжелели кучками за столом. Кого уже увели спать...

Володя продолжает думать, что и жену ему подарила родина матери и тѣти. Подшаманили предки. Три года он любил, страдал от одной недоступной Натальи, а здесь в летнем детском лагере на берегу таѣжной речки разглядел другую Наталью, вожающую: «Какие правильные, красивые черты лица!» И закружился роман. А через три года он привѣз в Шестаково не одну Наталью, а с дочкой. Словно в благодарность, что свела его эта земля с суженой, судьбою. И тѣтка Анна принимала его в своём доме, усланном чистыми половиками, с прохладными летом горницею и спальней. На ак-

куратно заправленных кроватях громоздились высокие горы подушек, укрытых светлым и прозрачным тюлем. Вся жизнь тётки проходила тёплой порой в летней кухне, чистоту и святой покой горницы с иконами в углу, за которыми стояла верба, никто не нарушал. Русская печь была выбелена и почти не топилась, умудряясь разделить горницу, спальню и кухню с рукомойником на три части. В летней кухне — небольшая печурка, лежанка. Здесь тётка варила себе да курам и свинье, отдыхала. Корову уже не держала. На выходные из города помочь по огороду и отдохнуть приезжали дочери Вера и Надя. Володя с женой спал в большом доме, где на стенках соседствовали зеркало, часы и фотографии родных и близких в рамочках. Стол, комод с чёрно-белым телевизором, редко включаемым, и табуретки дополняли обстановку. Особенно уютно было в доме, когда за окном, чёрной снаружи и крашено-белённой изнутри толстой стеной шумел дождь. Поутру небо синело, в мокрых колеях дороги стояли лужи, земля парила, прогреваясь на солнышке. Тётя Аня на кухне споро лучила небольшой осколок на растопку. Несколько лучинок, зажав в руке, подождала и, чуть обождав, чтоб разгорелись, сунула в печку с дровами. Весело затрещал огонь, приятно в сыром воздухе летки запахло от вспыхнувшей коры. Поджарив яйца с большими и яркими желтками, тётка поставила сковороду на стол. С утра она уже успела сбежать к родственнику Михаилу и взять у немногословной и работающей жены его Клавы литр парного молока для дочки племянника.

— Веретешка, — прозвала ребёнка Владимира Клава, глядя, как та ёрзала за столом на коленях у отца и матери, и на длинной лавке не могла усидеть спокойно.

После завтрака решили сходить за рыжиками в ближний лес. Опять заморосил дождик. В лесу он мало ощущался, а на больших полянах с белеющими и уже подсохшими ромашками и розовыми головками клевера, жёсткой мелкой травой, вытоптанной скотом, дождевик и сапоги темнели, мокли. Тётка собирала в корзину. Володя смотрел на пригнутую годами шею тётки Анны, на шаркающую походку, одна нога у неё еле различимо тянулась за другой, и жалел:

— Устала?

— Ещё не так хаживала! — острыми треугольничками глаза тёти, в которых проглядывало голубое, — родовое или от старости выцвели? — озорно шурились.

Жена Володи с малышкой из-за дождя остались дома, зато увязался внук тёти Олежка, не умолкавший ни на минуту.

— Да уймись ты, ботало, — сердилась тётка Анна на Олежку.

Вернулись с грибами. Тётка, тут же их ловко почистив, с крупной белой картошкой, свежесвыкопанной, с огорода, вместе с Натальей сготовила жарёху. Володю отправили за огурцами. Колючие, с пупырышками, они скрывались в парнике за широкими и шершавыми зелёными листьями. И укроп с чесноком тут же, рядом, на грядке.

В пионерском лагере на исходе лета было тихо и грустно. Обычно здесь вздымался флаг на флагштоке в центре линейки, слышался горн и ребячьи голоса, приказы вожатых. Тётка теперь охраняла лагерь, опустевший до будущего года. Володя напросился вместо неё совершить ежедневный обход, проверить замки, целость окон. Он сидел в центре лагеря и грустил. Вспоминал, как здесь любил, дружил, состязался с ребятами из старшего отряда, злился на непослушных. Теперь тихо. Отшумела жизнь. Только вдали, где пчельник и ферма, слышно, как гонят стадо на вечернюю дойку. Крик пастуха, щёлканье-выстрел бича, густое протяжное мычание, рёв коров. Прогнали стадо. И так опять тихо, что падение шишки с сосны, громкий стук её о деревянный тротуар, скамейку или глухой о землю слышно. Гудит шмель, возится в поздних цветах... Володя поднялся и пошёл в деревню. У корпуса для младших отрядов заглянул в окно, дверь была закрыта, на замке паутина. Посредине выкрашенного пола валялась забытая кем-то впопыхах кукла.

Дорога из лагеря спускалась к речке. Здесь рядом с соснами стояли берёзы, на-

чавшие уже желтеть. По утрам сырой туман охватывал их от реки. И листья мёрзли, чувствуя осень.

— Ну, как там, всё на месте? — спросила тётя, когда он вернулся.

Уезжали в то лето от Вали, жившей в соседней Ирети. Накануне вечером пили самогон, и Володя, разгорячённый алкоголем, изъяснялся в любви к родне. А утром дурил с сыном Вали Олежкой, боролся на кровати, отчего тётка, свернув полотенце, грозила их отхлестать. Но глаза у тётки смеялись. И глаза Володи тоже. Теперь было не детство, и он не боялся грозную сестру матери...

Осенью через год копали картошку у Вали на огороде. Сентябрь в притаёжном селе холодил сильным ветром. Недавно прошли большие дожди, даже пробрасывало снегом. Руки зябли в чёрной земле. Тётка, распрямившись, поглядела из-под руки в сторону недалёких побелевших Саян.

— Сентябрит, — сказала-вздохнула она.

— Ты, мам, иди, готовь обед, — подсакала Валя. — Мы уж сами здесь без тебя докопаем. — Ей было жаль мать-старуху, не отстававшую в копке от молодых.

— Да, и рюмочку, — распрямил-потянул спину Валин муж Михаил, отчего она хрустнула. И легко улыбнулся в чёрные усы, поглядывая на Валою.

— Всё бы тебе рюмочку, — озорно стрельнули тёткины треугольнички с лица дочери.

После картошки, её ссыпали в гурты на поле, чтобы просохла, — Миша потом будет сносить и ссыпать в подполье — был горячий обед с возлияниями, баня. И Володя слышал, как тётка, выпившая только рюмку, за компанию, нашёптывала Вале о нём:

— Вы от себя его не отталкивайте, один он у матери.

Предпоследний раз видел Володя тётку Анну после Нового года. Приехал в Иреть рассказать о своей радости — рождении сына. А она сидит нахохленная, с мокрыми глазами. Оказывается, дочку Надежду положили в раковую больницу с ногою. И вот ведь как повторяет судьба свои вывороты-коленца. Та Надежда, Петрова дочь, что в шестнадцать лет жизнь свою закончила, ногой страдала. И тётки Ани дочка, повредив ногу в молодости, так и за тридцать не смогла её излечить. Болела, спать не давала, да и ходить толком. Не смог тогда Володя расшевелить тётю. Пообещал в больницу к дочери заехать.

В широкой летней кухне, сгодившейся и для зимы, тётка угощает племянника жирными щами, чаем с вкусным вареньем, наливает, как заведено, рюмку — гостеприимство в характере. Володя дарит ей иконку целителя Пантелиимона. Знает, страдает тётка Анна сердцем, недавно в больнице лежала.

— Как ты говоришь его звать... Ерусалим? — не запомнила тётя имя святого.

Володе смешно:

— Пантелиимон. Молись ему о здоровье своём, дочери.

Тётка не подкована в религии, но чтит, знает главные христианские праздники. И открытку со стихами дарит:

*Черемхово, Шестаково, Нижняя Иреть...
Научи, как тётя Аня, сердцем не стареть.
Сердце ты своё носила радугой-дугой.
Истомилась твоя сила, изошла трухой.
Муж оставил вдовой рано. Тяжкие дела...
Веру, Надю, Любу, Васю — всех ты подняла.
А теперь уже и внучка дочку родила,
За неё страдаешь кровно — как сберечь от зла?
Черемхово, Шестаково, Нижняя Иреть...
Как помочь тебе, родная, сердцем не болеть?!*

Тётя Аня, прочитав открыточку, смахивает слезу:

— Всю жизнь мою описал... Я ж могла, как Костя умер, ещё замуж выйти. Звали.

Тут Васька попрос, в армию пошёл. С армии вернётся, думала, как он нового отца примет? Может, раздоры пойдут, ссоры всякие. И не пошла.

Сердце у Володи щемит, и он подходит к тётке, гладит неловко по плечу.

— Ты правильно прожила. Так, как ты, и надо жить!

— Не у себя, так не у себя, — вздыхает, успокаиваясь тётка. — Мише говорю, хватит хозяйство разводить, и так всего понабуровили. И свиньи, и коровы, и бык, и овцы. А он смеётся: «Ещё гусей и пчёл заведём».

Прошлым летом жила тётка одна в старом доме на Шестаково, бывшей деревне, по малолюдству и заброшенным домам превратившейся в заимку. А там шоферня стучит, покоя не даёт, самогон просит по ночам. Да и сердце не дай Бог прихватит. Страшно дочерям оставлять одну большую мать. Вот и перетянули в Нижнюю Иреть, за внуками доглядывать. И по хозяйству тётка шустрая помощница. А тётке тяжело — родное гнездо оставила. И мужа оттуда схоронила, и детей в жизнь выпустила...

— Я своих не держала, — говорила тётка. — Думала, разобрали бы всех... Вы вашу Марфуту отдавайте, а мы нашему Кузьме везде найдём...

Валентина так со школьной скамьи замуж выскочила. А потом, не прошло и пол-года, домой приходит, с мужем поскандалила. Тут уж мама поначалу накормив, напоив, выспросив, что да как, увидев, что и на следующий день дочка не собирается к мужу, дала от ворот поворот:

— Я тебя замуж не гнала? Не гнала. А теперь собирайся и к мужу ступай.

Помнит Володя с детства тёткину приговорку: «Ничего, золотую слезу не выплачет».

Характер не сахарный. И дочерей костерит, ежели что не так. И зятьев поминает. Должно, часто им икается. Особенно Белуге, мужу старшей Веры, налегающему на горькую. Высокий, худой, костистый. И куда в него столько вливается?! Однажды, как выросли сыновья и дочка у Белуги, предложили матери:

— Давай, мам, его прогоним. Всё равно пьёт, помощи никакой.

Тут уж тётка поднялась:

— Он их вырастил, какой-никакой, выкормил. А теперь старый стал, не нужен?! Их дело сторона-борона. Ишь, какие шустрые, отца выгоним! — до глубины души возмущена.

В деревне творятся безобразия. Сироту-интернатовца, парнишку дай брось, нагулявшего живот деревенской, но с ней не живущего, промышляющего воровством, несколько мужиков, у одного из которых что-то пропало, привели в избу, подвесили вверх ногами на верёвке и давай добиваться признания.

— Кто им это позволил? — не соглашается тётка. — Самосуд. Пусть милиция допрашивает. Я их встречу, всё скажу...

— Не связывайся ты, мама, — успокаивает вернувшаяся с работы дочка.

А Миша, рассказавший эту историю, добродушно улыбается:

— Получил, Саврай, по заслугам.

В то гостеванье положила тётка Аня спать Володю на Валину кровать. И приснился ему сон какой-то обрывчато-странный. Он то видит свою жену Наталью, летит, зовёт её, а она его не видит, озирается, отчего он нервничает сверху, летящий над нею и толпой. А потом будто коренной зуб ему выдрали, и много-много крови. И встал Володя от этого сна утром с какой-то мутью в душе. И уезжал с нею от тёти.

А через год застал в доме лишь Мишу и Валу. Курчавый волос крепыша Миши, которому лишь сорок с небольшим, странно засеребрился. А Валя сморщилась-заплакала, когда он спросил, а где дети. Володя подошёл к ней, положил руку на плечо, успокаивая.

— Нету Олешки. Летом током убило, — всхлинула Валя.

Как так? Олешка, неуёмный, шепутной, которому и четырнадцати не исполнилось, говорун-болтушка... И нет его?

— В нём было столько жизни... — только и сказал тогда.

Но это, оказалось, не всё. В начале декабря скончалась от рака Надежда, любимая тётя Олега, сникшая сразу после его смерти. А было уже начала поправляться, выздоравливать. Так вот кроваво-красная муть того вещего сна, понял Володя. Валя досказала, что часто и ей снится сон, как видит она Олега, зовёт, а тот её не замечает.

Тётя Аня жила в городе до сороковин у зятя Серёги, мужа Нади. Не солоно отгостевав в деревне, сходяв на могилы к Олегу и Надежде, под тёмные сосны, на обратном пути Володя заехал к тётке. Увидев его, распахнувшего дверь, она страдальчески сморщилась, пошла к нему, всхлипнув, обняла:

— И где ты ходишь? — упрёком боли прозвучали тётнины слова.

Как будто, если бы он чаще приезжал, в живых остались Олег и Надя. Или легче было их смерть перенести, пережить? Тётя усадила его за маленький столик в крохотной кухне хрущёвки, налила одну рюмку, другую, третью под горячий суп и блины.

— Да... — говорил Володя, вздыхая. — Ехал на праздник, попал на поминки.

— Вот отведу сорок дней — и домой. К себе пойду жить весной, — сидела тётя за столом, горестно опершись на кулак. — Надоело в чужом дому... Надя была любимая у Константина, — вспомнила. — Она в день его рождения и умерла, — слеза побежала по морщинистой щеке. Тётя смахнула её сухой ладонью и горячечно заговорила: — Я ходила к нему на могилу, сказала: «Не прав ты, не прав! Пусть бы ещё жила, хоть без ноги».

Володя утешал, как мог:

— Ничего, ей там легче будет, чем здесь жила, мучилась... Отпели её?

— Да, Валя ходила, заказывала. А Олежку нельзя, говорят, некрещёный.

— Свечи-то можно ставить за упокой.

— А иной раз думаю, может, так и лучше. И прав Бог, что прибрал. Вон у Петьки Шмотова сын токо с армии пришёл, не успел нагуляться, по пьянке убили в Бажее. И с нашим могло тако случиться. Уж лучше так, чем, когда его вырастили, выкормили. И на тебе на старость помощника...

Оставляя, Володя перекрестил тётю, поцеловал. Кто бы знал, что больше не увидит... Но почему так живо, озорно, словно зная теперь какую-то загадку-тайну жизни, улыбаются глаза тёти с фотографии на погосте?..

Русский мужик дядя Гоша

Его уже несколько лет нет на земле. Зачем же пишу об ушедших? Тревожу милые тени, упокоившиеся души, пытаюсь воскресить в слове их облик, образ? Они не супермены, не герои. Ну и что, что я их люблю. Другим-то что? Они любят своих...

Быть может, потому, что жизнь каждого человека ценна, уж если он вызван из небытия в бытие Богом. И отозван, оставив след в делах, в душах знакомых и близких, в детях. Не поврежу ли им в вечности? Мирской славы они больше не ищут. Забвения, возможно, тоже не хотят. Просто, если Господь дал дар писать, его надо исполнять. Я бы написал о других, но соприкоснулся в жизни не с ними.

Зашёл к дяде, мужу маминой сестры. Вчера он получил деньги. Уже на мази. Пошатываясь, явно с нетрезвой тракторией, берёт меня за руку:

— Садись, садись... Сейчас чай вскипячу.

Дяде под пятьдесят. Он среднего роста, с густой, некогда чёрной, а теперь поседевшей шевелюрой. Крупный нос с небольшой картошкой на конце, густые брови. Кожа рук и лица красновато-дублёного цвета, с рубчиками...

Пока кипит электрочайник на кухне, размером три на четыре метра, где плитка на кухонном столе, раковина с краном для холодной воды, табуретки, старый холо-

дильник, небольшая печурка с чугунной плитой и на ней кастрюли, дядя пустился в воспоминания. Они часто посещают его, когда он подвыпивши.

— Я в детстве по проталинам бегал. Весной, чуть подтает. Босиком! И ничего, — дядя как бы зачёркивает что-то толстым, твёрдым и тёмным пальцем в воздухе, произнося это «ничего». — Простынешь, мать истопит баньку, напаришься и... под одеяло. Жарко, пот течёт, хочешь высунуться, а отец с матерью: «Сиди!» Лежишь так, а с утра опять пошёл шлёпать. Мать у меня была молодец! Первой на трактор села в войну. Она и ещё соседка Шура. Трактор тогда еще колёсный был. Пахала. Может, через это и здоровье потеряла. Умерла. 29 мая в семь вечера. Точно помню, — глаза дяди наполняются слезами. В них боль, когда он смотрит на меня. — В памяти была. Говорит, Гоша, сынок, сбегай за тётками, дядьями... А их у нас в деревне много. Дядя Ефим, тётка Клавдя, тётя Настя. Пока бегал, она умерла. Прихожу, а её нет...

Дядя всхлипывает, прикрывает лицо рукой, отворачивается к окну. Впервые он при мне так плачет. Видимо, возраст берёт свое. Помоложе крепче был на чувства. Мне не по себе от его слёз. Через минуту он, привстав с табуретки, успокаивается, стирает худую слезу, промочившую след на грубой морщинистой щеке. А вторая так и стынет в глубокой опухлой складке под глазом.

— Отчего умерла?

— Рак был. Лечили. У отца деньги были, в Иркутск возил, операцию делали. Так, где там вылечишь! — машет он рукой. — Семь месяцев протянула. Перед смертью отцу говорит, возьми ту-то, ту-то... У нас вдова в деревне была, тоже муж умер. А нас шесть братовей, мал мала меньше, — показывает дядя в воздухе ладонью, опуская руку лесенкой вниз. И широкой пятернёй, проведя по лицу, стирает остатки слёз. — Она нас всех детей в тот день, как будто чуяла, к кровати подозвала, перекрестила. Живите дружно, наказала... Я на мачеху не в обиде. Знала, куда идёт. Нет, не в обиде. Мы старались, ей помогали. Мне тогда уж сколько было?... Пятнадцать. После седьмого класса отец говорит, иди, учись. Я, нет, не буду. Тогда иди, работай. У нас семилетка была. Это сейчас восьми. Пошёл. Один мужик пашет, я с ним. Смышлёный был, всё хватал на лету. Раз объяснит, я уже всё знаю. Потом уж он уйдёт спать, а я пашу. Пройду клин, чик, плуг подыму и обратно. А ему что, спи да спи. Потом в школу меня взяли механизаторов. Это сейчас в пятнадцать тебя никто на трактор не посадит. А тогда — работай! Дядя мой был инженер, поговорил — взяли. Экзамен сдавал, сейчас помню. Пятый билет попался. Все ответил чин чинарём. Тут комиссия, пять человек сидит. Мне дополнительный вопрос по агрохимии: когда лучше пахать зябь — осенью или весной? Я говорю, весной, трава потому что подрезается. — «Молодец! Всё, хватит». Все пятёрки у меня были. Так и работал. Дадут два гектара: «Вспахать надо!» А я молодой. Кого, шестнадцать всего! Попашу, а потом прямо на тракторе на танцы. Подгоню с заднего хода. Ты же знаешь, где в Ирети клуб... Девчонки тут молодые. Уедешь с одной. Она измарается в тракторе. Чем, говорит, чистить? Я говорю, бензинчиком пятна. Ничего, говорит, разденусь дома, чтоб никто не заметил. Потом постираюсь.

Воспоминания не на шутку растревожили, захватили дядю. Он зажигает спичку, чтобы подкурить, отработанным жестом спрятав её в чашечку ладони от ветра, хоть его на кухне в помине нет. Привычка — работа на улице, зимой на морозе. Экскаватор часто без окон. То шпана разобьёт, то нет на складе. Кожа его лица ещё и от этого обветрена, стала красновата и тверда, что брезентуха. Не проморозишь, не прожжёшь...

Был в дядиной жизни пожар на работе. В управлении механизации, где он машинистом не первый десяток лет, вспыхнул экскаватор. Дядя давай сбивать огонь промасленной телогрейкой. Иначе дойдёт до бака с горючим, взорвётся! Огонь он потушил, но его с сильнейшими ожогами увезли в районную больницу. Когда я приходил туда с его женой Галей, с содроганием видел красную обугленную кожу на руках и

лице из-под жёлтых от мази, вонявших бинтов. Рубцы от ожогов останутся на всю жизнь. И ногти почернеют...

Затянувшись и встряхнув рукой, дядя гасит спичку.

— Через два года повестка. Военком собрал нас, человек восемьдесят. Мужик серьёзный, пожилой. «Кто желает учиться на шоферов, оставайтесь. Кто не хочет, идите». Я остался, и ещё человек сорок. Он говорит: «Учиться бесплатно, но и вам ничего не будем платить. Те, кто остались, всё. Никуда не уходить!» Выучился я. Через год в армию забрали. Не со своим сроком. Позже. Должны были в 56-м, взяли в 59-м. Три года до 62-го служил. Тут отец заболел. Тоже рак. Ему говорят, ложись в больницу. А он, не буду, мать резали, а толку? Не хочу быть резаным. Так и не лёг... Меня после карантина на машину посадили. Зампотех был Сосновский. Высокий, метра два. «Умеешь?» — спрашивает. Я говорю, работал. Дал ключи — «Садись!» А машина ЗИС-2. Такая у меня и до армии была. Я дал два круга в притирочку, лихо. Определили в хоззвод. Службы я там не видел. Не то, что ты, два года по плацу шагал. Койка отдельно. В столовую на завтрак только встаёшь. И в рейс. Три года весной ездил на целину. Раз отец меня встречал, больной уже. «Сынок! Наверное, я тебя не увижу больше...» И точно. Умер. Мне в часть телеграмму дали, а я на целине. Николай, брат, до сих пор на него обижен. Я же писал оттуда, с целины. Приезжаю в часть, в одной — «Отец тяжело болен», в другой — «Умер, приезжай». Приехал. На три недели опоздал. Похоронили. Двадцать дней как раз отмечали...

Второй раз у дяди не выдерживают нервы. Он вздрагивает. Закрывает рукой лицо и горько, с всхлипом произносит:

— Больно... Ты бы знал, как больно!

Опять мне не по себе. Что сегодня с ним? Вроде, и выпил малость. Слезы промыли чуть зажелтевшие с возрастом белки глаз с красной сеткой жилок.

— Я хотел остаться там, в армии. Чем не служба? Оставляли меня. Дали дней двадцать съездить домой, подумать. Приехал. Тут девчонки, скрутился. И не вернулся... Иногда так горько станет. Иной раз бы не пил. Вспомнишь жизнь, братовой. У них ведь она тоже не удалась. И выпьешь с горя.

Жизнь дядю не баловала. Года два он прожил с первой женой Тасей. Родила она ему дочку Марину. С ухоженной в колясочке, пока та была малая, гуляла у двухэтажных кирпичных домов рабочего посёлка, где они поселились с дядей, получив комнату в коммуналке от производства. Но долго в то время с детьми не сидели, под боком ясли. И тётя Тася вышла на работу на завод. Работала она хорошо — в руках всё горело! И вдруг на транспортере кто-то включил ленту, когда тётя ее чистила. И мою крёстную, родную сестру мамы, замотало до смерти. Я почти не помню её. Только светлым воспоминанием в кухне коммуналки белый сладчайший мёд, которым меня угощает, кажется, тётя Тася. И такая тёплая тихость разливается по душе от её уюта, заботливых рук, светлого с любовью взгляда. Было мне всего три года. Но точно помню, как, забрав из садика пораньше, ведёт меня отец на похороны тёти. Как необычнолюдно, густо толпится народ у подъезда, как много его в комнате на семнадцать квадратных. И вой, и плач помню. И вынос. А домовину нет. Только потом на фотографии, повзрослев, я видел белую тётю Тасю, лежащую в гробу, а рядом сидит, горько склонившись, дядя Гоша с годовалой малышкой на руках. У малышки большие и круглые тёмно-коричневые дядины глаза, она ничего не понимает. А за дядей лес стоящих людей, среди которых высится мой отец. Рядом мама.

Ухаживать за малышкой после смерти тёти осталась моя двоюродная сестра Галя. Ей уже исполнилось семнадцать лет. Ухаживала, ухаживала, да как-то так сошлось, что однажды дядя Гоша, видя, что родственница первой жены никуда не уходит, предложил:

«Давай, что ли, тогда жить будем?..»

Галя осталась. Так у Маринки появилась вторая мать, а у дяди жена. Жили они в достатке, дядя хорошо зарабатывал на экскаваторе. Частенько я столовался у Гали с дядей Гошей, чаёвничал, когда родители на работе, с колбаской и прочими вкусностями-пряностями. Но и выпить дядя любил. Однажды при мне, захмелевший, собрался ещё за бутылкой. Черноволосая, небольшого роста Галя загородила ему дверь:

— Не пушу!

Была она настырной, когда надо. Дядя всё равно продрался, оттолкнув Галю.

— Ах, ты так! — растрёпанная простоволосая Галя схватила из тумбочки хлорофос для травли тараканов и, налив в стакан, одним махом поднесла ко рту и выпила. И тут же закричала, сообразив, что наделала: — А-а-а!..

В доме был переполох, вызвали срочно «скорую». Потом в больнице, когда мы её навещали, про Галю говорили, что она долго не проживёт, сожгла желудок (а она после того живёт вот уж более тридцати лет), что детей у неё не будет, а она родила двух. Помню, как принесла в белом одеяльце с розовой ленточкой племяшку Аллу из роддома. Чернявую, всю в отца и чуть в мать. Смирившись с выпивками мужа, Галя позже сама стала употреблять...

Как-то к ним после армии заехал младший брат дяди Гоши Валерий. Долго он у них гостил, ночуя на раскладушке. У него была шикарная ворсистая шинель, кожаный пахнущий ремень с жёлтой сияющей звездой на бляхе, чёрные сапоги, шапка-ушанка синего цвета. Вскоре, завербовавшись, он уехал работать куда-то на Север шофёром. Через год оттуда пришла телеграмма: «Валерий погиб». Делал ремонт в гараже, и на него свалился кузов. Рядом никого, вечер, он один. Так и задавило. Дядя ездил хоронить...

Когда стал подростком, у нас с дядей явился ещё один общий интерес — шахматы. Мы играли по десять-пятнадцать партий кряду часа два-три с переменным успехом. В перерывах обедая и кося глазом в телевизор, где наши Харламов, Петров, Михайлов, Шалимов, Якушев, Капустин, Мальцев резались в клубных встречах с канадцами. То была знаменитая серия 1976 года. Да, был ещё период, когда Галя, спутавшись с каким-то мужиком из Заларей, уходила от дяди. Маринку пришлось отдать в интернат — дядя весь день на работе. В квартире его сразу стало холодно, одиноко, пустынно и неуютно. Не сварено, не прибрано. Мои родители ездили их мирить. Галя вернулась. А Маринка так и доучивалась в интернате.

В армию на вокзале меня провожали дядя с сестрёнками. А после армии, учась в вузе, непременно каждую неделю заходил к Гале с дядей Гошей, приезжая на выходные к родителям. И всегда в доме было чем меня встретить и угостить. К тому времени подросли мои сестрёнки и стали жениться. Маринка сошлась с каким-то неверным и неудачным пьяницей. Играли свадьбу. В белом подвенечном уборе Марина напоминала тётю Тасю. А гуляка не стал с ней жить, оставив с годовалым ребёнком. Но сначала родила Алла, накуролесила, ни с кем не сойдясь. Таилась, таилась, затягивала живот. Тут уж схватки. И все раскрылось! Мы ездили с Галей к ней в роддом. Галя надоумливала меня отговорить Аллу брать ребёнка. И я ей неумело советовал это сделать. Слава Богу, Алла тогда уже покормила его грудью, прижала к себе. И наши доводы разбились о материнский инстинкт или душу. Дядя тоже не хотел принимать незаконного, внебрачного внука.

— Пусть идёт, куда хочет, — говорил он о дочери. — Не надо мне, — махал он обиженно характерным жестом рукой, зачёркивая пальцем воздух.

Галя попросила, чтобы первое время Алла пожила у нас, пока отец успокоится. А вскоре и сама под сорок лет забеременела. И у дяди родился мальчишка, продолжатель рода. Назвали его Валерой. А дядя не обрадовался:

— Зачем? Я ей говорил, не надо, — показывает он на Галю. — Мне будет шестьдесят, а ему четырнадцать. А я ещё не доживу до тех лет с такой работой.

Галя жаловалась мне:

— Пришёл в четверг пьяный. Говорит, я его переверну. Я ушла из дому. На улице два часа сидела. Ты ему скажи, Вовка...

Через год к Алле приехали сваты. Не отец сына, а тот, с которым дружила до него. Пришёл из тюрьмы весь в синих наколках, небольшого роста, с коротким ёжиком светлых волос крепыш Олег. Оттуда писал: «Это ничего, что случилось. Приду, ребёнка усыновлю!»

Приехал не один, сразу с родителями. Они сидят за столом с хозяевами. Дымится вкусно, запашисто нажаренная картошка, огурцы малосольные колечками нарезаны, внутри полупрозрачных колец видны белые семечки. Бутылка горькой «Зубровки» посередине стола и в рюмках краснеет. Глаза свата наполнены непонятной мутью, в них нет глубины и света. Даже горькая их не прочистила. Он шутит, то и дело незлобиво пощипывая на жену. Та уже порядком пьяна, который раз спрашивает, как меня звать.

— Дочку пропиваю, — говорит дядя. На меня опять смотрят его полные боли глаза.

Резко отточены, очерчены в лице Гали нос, брови, глаза, в которых, замечаю, притаилась тревога за дочь.

— Проводи её до вокзала, — просит она меня.

Сам жених носится с ребёнком на руках, целует его в щёку. Исстрадался ли по теплу на зоне или перед родителями невесты показаться хорошим хочется? Виновица гулянки подносит чай.

— Аллочка, молодец, хорошенькая девочка! Собирайся, поедem со мной, — пристаёт к ней подвыпившая сватья.

— Помолчи, — успокаивает её муж. — Что, одна за столом?

— Ты-то хочешь ехать? — спрашиваю Аллу в сторонке, втихомолку от гостей.

— Не знаю, — отвечает она. В этом «не знаю» таится боязнь перед новой неизведанной жизнью.

Галя предлагает:

— Пусть одна едет, а Олежка останется здесь.

— Куда она без дитё, — возражает сватья. — Не сможет она, сердце изболится.

Годовалый малыш Олежка — не в честь ли первой любви назван? — при гостях осмелел, уже доверчиво льнёт к новоявленному папе. Смотрит картинки в журнале, кареглазый, тёмноволосый, в мать. Мычит что-то с удивлением на своём тарабарском языке, целует собаку на картинке. Алла смеётся. Сватовья заводят разговор о политике и скатываются до наркотиков, только-только входящих в жизнь Советского государства.

— Ехал я с одним. Я ему своё, в шутку. Продай, говорю, мне тысячи на четыре. У меня, говорит, нет, в Читу посылку отправил. Он там служил. Теперь, говорит, два раза в год езжу. Хочешь, говорит, поедem. Сам тебе укол поставлю. Машина уже у вокзала ждёт. Я ему своё шепчу, мне, мол, сходить, куда я поеду?

— Я бы их за ноги вешал, — вступает дядя Гоша. — Сколько они людей загубят, душ человеческих!

Матери болтают о другом.

— Я как Олежку родила... — рассказывает сватья. — Чувствую, бока заболели! Сидели мы в летней кухне с сестрой. Я ей говорю, давай быстрее ноги мне мой. Она одну только вымыла. Я чувствую, уже не могу! На полу простыню постелила, знаю, потом мне постель стирать. Кричу, давай зелёнку, ножницы, быстрее! А та испугалась, в первый раз. Ничего, справились. Потом в больницу позвонили, всё равно бюллетень надо... У матери моей двадцать один был. Семь осталось, в войну. Ничего, прямо в больнице одного родила. Пришла к отцу, видит, он без ноги. Обрезали по колено. Ну и рожать начала. Побегали за врачами, а она уже. Отец и пуповину перерезал, и дитё принял. Раньше проще было!

И опять об Алле толк. Три раза на дню меняются решения.

— Езжай, — говорит дядя Гоша.

— Пусть остаётся, — предлагает Галя.

— Правильно, в жизни всё бывает, — успокаивает дядя насчёт тюремного прошлого жениха. — Подрался с кем-нибудь — и срок тебе припаяют. Пусть едет...

— Точно, батя, — кладёт дружески руку на плечо дяде Гоше жених.

Алла тогда уехала. Но ненадолго. Не прижилась. Это была ещё одна боль дяди. Справная семейная жизнь у дочерей не задалась. Зато каким душевно открытым, тёплым, светлым взглядом, радуясь, он смотрел в ЗАГСе при регистрации на меня и мою жену. Минуло много лет. Но его взгляд на свадебной кассете светел и посейчас.

По стране уже всю скакала несдерживаемая тройка с седоками — перестройка. Только сыграли свадьбу, смутьяны обрушили рубль, ограбив народ. И пришпорили взбесившихся коней, выкинув предыдущих наездников. Производство в родном городке останавливалось, замирало. Галя с Аллой, работая штукатурками-малярами, месяцами не получали зарплаты. Иногда их авансировали частично в счёт неизвестно когда грядущей полочки. Иногда давали хлеб, другие какие-нибудь продукты, что на семью из пяти ртов, а с Маринкой и семи, было ничтожно мало. У дяди, экскаваторщика, награждённого в советские времена почти всеми коммунистическими значками, медалями, грамотами за доблестный труд, дела шли так же. Раньше, где самый сложный объект, копать посылали его на стареньком экскаваторе. Мужики однажды на спор предложили ему попасть в спичечный коробок клин-бабой. Эта такая железная дура на тросу для дробления земли, привязанная к стреле экскаватора, размером с полметра в ширину и метра полтора в длину, с заострённым наконечником. Экскаватор мотнул стрелой два раза туда-сюда и точно опустил железную бандуру на предмет спора, разможив его.

При управлении механизации было подсобное хозяйство с коровами, конями, курами, свиньями, куда начальник направлял прибыль от производства. Потом рабочим выдавали мясо, молоко, колбасу, яйца — раз в квартал или полгода. Но больше этого мяса уходило на начальника, его контору и многочисленных гостей, приятелей начальника, от которых что-то зависело — у власти и при деньгах, — их надо было задобрить, пустить пыль в глаза, показав заботу о людях, размах и широту русской души. За глаза начальника дядя и другие рабочие называли «барин», или «председатель». Как-то дядя поутру у проходной столкнулся с начальником.

— Коровин, — поманил он, снисходя, по-барски пальцем, вылезая из чёрной блестящей «Волги» в благодушном настроении. Толстощёкий, налитой, замаслившийся, что тот груздь. — Иди выпиши два килограмма мёду!

До этого не раз дядя Гоша получал отказ на просьбы выписать продукты.

— Дома есть нечего, — психовал дядя, осунувшийся, похуевший, — а он мёду предлагает!

Давно из питания семьи исчезли сливочное масло, колбаса, молоко. Держались в основном на крупах. И стряпаная из муки лепешки. Даже хлеба вдоволь не ели. Однажды десятилетний Валерка признался маме:

— По хлебу соскучился...

Копая по необходимости траншею на подсобном, дядя насыпал в полиэтиленовый пакет пшённой крупы — детям варить кашу. Крупу привезли для птиц. Начальник подсобного, увидев такую растрату на килограмм-два жёлтой пшёнки, возмутился:

— Ты чё это, Коровин! Не тобой положено, не тебе и брать.

Дядя швырнул мешок ему под ноги.

Вместо качественной водки из магазинов в быт входил дешёвый суррогатный спирт с гидролизных заводов. Пили уже и от привычки, и от безнадёги, безработицы и тоски, чтобы как-то заглушить неотвязчивые безрадостные думы. В областном центре

деньги хоть как-то крутились, была и работа. И я давал дяде с Галей понемногу. Но что я мог дать — у самого в городе семья. Так шли эти мерзкие девяностые, когда рабочий посёлок оказался зажат между двух огней. С одной стороны, растление власти, ржа коррупции, с другой — спирт и пороки, давшие пышный махровый цвет. Спасала меня в это время только вера в Бога, православная церковь, где читал: «И захотел лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение».

Но у дяди этой веры не было. Кое-как доработал он до пенсии, выработав трудовой стаж в тридцать девять лет. Порою, бунтуя, отказывался выйти на работу. Когда мастер участка, сосед со второго этажа, худой, высокорослый, рыжий мужик Виктор Душанов, приходил и стучался в дверь, дядя злился:

— Не пойду. Не хочу за бесплатно работать.

А в управлении без него не могли откопать котлован и справиться с аварией рядом с бегущей трубой. Но, деваться некуда — голод не тетка, и дядя выходил. И его гоняли в командировки по району.

Тут умер мой отец. Дяде пришлось в морге брить и обрывать свояка. Через два года так же пришлось ему обрывать дядю Колю в Заларях. Ещё через год провожать на тот свет брата Николая в Ирети и через полтора Ивана из Усоляя...

На пенсию дяди в тысячу, полторы, две с постепенными добавками питалась семья в шесть-семь, а то и девять человек — Маринка родила ещё двух, будучи без работы. Так продолжалось несколько лет. Дядя сказал мне как-то об Алле:

— Ты что, думаешь, мне её не жалко? Попробуй-ка, потаскай ведра с раствором и цементом по лесам на второй этаж голодной, за бесплатно!

Когда-то Пушкин писал: «Не дай бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный...» В девяностые, видя издевательство, измывательство власти «реформаторов» над народом, пришлось с горечью добавить к этим словам: не дай мне бог видеть, как изгаляются над русским мужиком!

Когда и как приходит смерть, не угадаешь. Дядя, конечно, слабел — скудость питания и спирт делали своё чёрное дело. Однажды мы с ним пошли в лес по грибы. Грибов оказалось немного. Ни груздей, ни рыжиков, в основном червивые маслята — лето было сухое. В загрузивших к осени березняках среди травы часто краснела костяника, просвечивая белыми косточками изнутри. Её-то, приятно кислившую во рту, рвали. Обратно возвращались пешком по смоченной накануне дождём дороге. К сапогам липла тяжёлая грязь, и дядя, сдавая, заметно отставал от меня.

Как-то в мае прихожу к нему, а он три дня уже сидит голодный. Галя опять куда-то ушла, Алла уехала на заработки в Иркутск, ребятишки, кто где, разбрелись. Пошёл срочно в магазин и купил на мелочь «Ролтон», чтобы заварить и похлебать горяченького, хлеба, ещё чего-то.

— Спасибо, — благодарил он, прихлёбывая жёлтую жидкую кашу...

А в июне, когда в четыре утра уже светало и первая птица начинала петь неожиданно звонко в полной тишине, дядя слёг и уже не поднимался. Вернувшейся Гале жаловался тускнеющим, потерявшим громкость и силу голосом:

— Руки мёрзнут, погрей руки.

Меня, приехавшего через неделю, спрашивал:

— Как дела?

— Слава Богу!

— Это хорошо, когда всё хорошо, — шептал он. И глаза его светились как-то странно с лица из глубины подушки. Выпить он уже не хотел. Я купил ему молока и яиц, он их толком не поел. Лежал, температурил, потел и слабел. Вызвали «скорую», увезли в больницу. А там поставили диагноз — туберкулёз — и отпустили домой, пешком. Когда он шёл, от слабости упал. Хорошо, попалась добрая женщина, не подумала, что пьяный, подняла, довела. Второй раз его увезли уже в туберкулёзную. Мы

наняли машину, и, когда ехали в гору мимо кладбища, по сторонам дороги валялись увядшие оранжевые жарки и синеватые колокольчики — кого-то недавно схоронили. В больнице дяде стало лучше. Он смеялся, когда к нему приезжали Алла с Галей, привозили продукты. Расспрашивал, как там дома Валерка, Олечка, что делают.

— Сметаны хочется, — попросил привезти...

А на следующий день, рассказывали соседи по палате, поднялся и упал, ударившись лицом о железную кровать. Его затрясло. Словно кто-то бросил копьё в сердце...

Так не стало ещё одного русского мужика. Было 21 июня, день перед началом той памятной войны. Из морга дядю не отдавали. Низенький старик-горбун, заведующий этим муниципальным учреждением, по-доброму отговаривал:

— Не забирайте. На мёртвом туберкулёзная палочка распространяется в несколько раз быстрее. Я вас понимаю, хочется посидеть, попрощаться. Но одни тут забрали, потом волосы на голове рвали...

Подъехал на машине местный батюшка. Попросил благословения, совета.

— Не надо, — сказал он. — Раньше таких во время эпидемий даже отдельно хоронили.

Водитель, мужик лет за шестьдесят, с которым договорился привезти дядю домой на «газике», поехал пустым обратно. По дороге разговорились, и он узнал, за кем приезжали.

— А я вчера его вспомнил, вместе работали. Думаю, давно не видел... Живой не живой?

Хоронили дядю Гошу жарким днём. Гроб был сырой и тяжёлый. Около дома, где дядя прожил тридцать лет и часто сидел в последнее время на лавочке под высокими старыми и толстыми тополями, всё-таки крышку гроба открыли и положили на целлофановый пакет, в который было упаковано тело, одежду, приготовленную для покойника. Под глазом на лице был виден синяк. Поцеловать дядю сквозь плёнку в лоб решились только жена и старшая дочь. Я перекрестил его и положил около рук пластмассовый крест с молитвой. Могила вышла глубокой — постарались знакомые мужики. Закапывать пришлось долго. Другой водитель, что привёз нас на бортовом «уазике» на кладбище, — домовина посередине, мы по краям, — помянув, не хотел брать деньги, тоже работал с дядей. Насилу вручил ему три сотни. Могильщики тоже были не в обиде. Похоронили дядю рядом с моим отцом, свояком. На поминках, конечно, пили. Я ушёл в лес. И почему-то было горько в прохладной шелестящей тени благоухающего березняка, со светлой зелёной листвой в начале лета, яркими, но уже облетающими жёлтыми жарками и склонившими головку в высокой траве колокольчиками. Дядя любил это время, вспоминал часто, как в деревне праздновали об эту пору Троицу: «Все уйдут в лес, к речке, на поля. Закусить, выпить возьмут. И гуляют! Хорошо!»

Вроде бы ушёл человек в тот мир, отмутился, радуйся. Нет, что-то горчило в душе. И не скоро отпустит.

Мученица от характера, или Заложники безбожного времени

Сегодня первое ноября, день Мученика Уара, ему молятся об упокоении некрещёных душ. И на сердце залегло воспоминание о тёте Нине. Её младший сын Сашка был моим сверстником. Старший сын — Сергей, за ним шла дочка Наташа. А первенца они потеряли с мужем Степаном сразу после войны где-то то ли в пермских, то ли в соликамских лесах. Ехали на заработки в закрытом фургоне. У тёти Нины на коленях

завёрнутый в одеяльце младенец. Машина завязла в болотине среди чёрной еловой чащи. Шофёр газует, матюгается, ребёнок надрывается, вопит, задыхаясь от угарных газов. Тётя Нина кричит:

— Дай выйти!

А водила схватил монтажку:

— Я те щас выйду, убью!

Когда вылезли, ребёнок уже посинел... Тётя Нина со страстью в искажённом лице, со слезами в маленьких глубоко посаженных глазах выпаливает мне это. Просто сидели на кухне у её подружки-соседки Александры, разговор шёл о том, о сём и перекинулся, как обычно бывает в наше время, на политиков и журналистов. Тётя Нина, зная, что я по профессии журналист, разит меня и, видимо, в моём лице всех лгущих писак этой историей из собственной жизни, вначале выкрикнув:

— А пусть правду пишет!

В её горячем требовании правды звучит незаглохшая с годами боль, обида на судьбу, ещё что-то...

Ну что ж, тётя Нина. Правду так правду. Судьба тебя и впрямь не баловала — война, военный завод, где ты подросток. А росток не велик. Он и посейчас у тебя с воробьиный скак. За стенами завода умирала дома мать, а тебя не выпускали через проходную — доработай смену. Подлезла под забор, маму это не спасло. Скучная рабочая пайка хлеба, голод, холод и работа, работа, работа... Потом муж, поездка на заработки. Как-то вас занесло в Бархатово. Тут и осели. Вроде и страна выправлялась, и жить стали сытнее. Муж работал крановщиком на башенном кране, ты тоже успевала на производстве и дома. Развели в стайках свиней, гусей, кур... Дети выучились. Старший женился, уехал работать на какой-то опасный разрез. Средняя выскочила замуж, мужик добрый попался. Только вот младшего судьба носила вдоль и поперёк, с одной зоны на другую. Был острый на характер и на язык. В тебя, между прочим, тётя Нина! (А Наташа в отца, спокойная.) Недаром соседка кума Александра, крёстная Сергея, сказала однажды про тебя:

— Уж скажет так, чтоб до пяток пронять.

Доставалось и ей, и её пьющему сыну, и другому соседу, отсидевшему в тюрьме Игорьку...

— Чё собрались тут? — мужики на кухне соображают. — Старухины трусы нюхать?!

— Ты чё, тётя Нина? Ну ты даешь! — Игорёк, худой, высокий, с втянутыми щеками и посиневшими губами, посеревшим лицом от вчерашней попойки — краше в гроб кладут.

— А тебя вообще не спрашивают, тюремщик. Работать не хотят, сидят, бабкину пенсию ждут, — тётя Нина ожесточённо жестикулирует. Маленькая, худенькая, как вулкан часто действующий, — поди дотронься, обожжешься! Любит сидеть, закинув ногу на ногу, коленка верхней торчит в сторону под прямым углом. Получается от малого роста смешно и как-то по-блатному. Лицо изморщинилось, крупный нос, острые скулы. И курит.

— Нашлись паразиты — «мама дай, мама дай...». А ты иди, работай, — это уже обращено к Александриному сыну Витьке. — Нам никто не давал и не даёт, сами зарабатывали и пенсию получаем.

Тётя Нина потому так смела с алкашами, что за её спиной непьющий зять в квартире через лестничную площадку. Витька уже получал от него на орехи, хоть себя «алконавтом» не признаёт, кивая на соратника по бутылке:

— Он алкаш, а я — любитель...

Нападая на чужих, тётя Нина забывает о своих. А ведь её Сергей вернулся с заработков со здоровьем похуже, чем сейчас у Игорька. И не только от вредности производства, но и от вредности привычек. Жена с детьми его оставила, приехал умирать

на родину. Отняли у него что-то там внутри, вставили трубку, из неё капала жидкость. Лежал он на кровати, мать ухаживала. Всё меньше и меньше капала жидкость. И однажды Сергей заметил со страхом:

— Смотри, мама, сегодня уже совсем не капает...

Когда его хоронили, крестная Александра утешала плачущую соседку:

— Бог дал, Бог взял...

Недолго после смерти сына протянул дядя Степан. Была задышка у него от сердца ли, от лёгких. Стремительно как-то вошёл он на кухню Александры, словно повидаться, посидеть со мною перед смертью. Бледный, одутловатый, тяжело, со свистом дышащий. И перемолвились-то всего двумя словами. Вспомнил он, как с моею мамой в молодости работал на стройке, какая она была шустрая подсобница. Болезнь ли, кручина — один сын умер, другой сидит — давили сердце дяди Степану. Однажды он взял верёвку, пошёл в ванну, накинул на трубу. И... передумал, слава Богу!

— Нет, лучше своей смертью умирать буду.

— Ты чё, Степан, ты чё?! — кудахтала, узнав, жена. — А про меня-то забыл! Нет, давай уж тогда вместе, — всплакнула, уткнувшись в мужа.

— Папа, ты совсем сдурел, — узнала Наташа. — Хоть бы меня, маму пожалел. Как бы нам после того было! Мы же тебя никогда, какой бы ты ни был, не оставим...

— Ладно, чего уж. Не вышло, значит, — махнул дядя Степан рукой...

Сашка вернулся с зоны, когда ни отца, ни брата уже не было — на похороны его не отпускали. Ещё оттуда писал острые, заковыристые письма, не лишённые ума, правда, злого. «Осталось мне тут сидеть не много, дорогие родственнички. Скоро свидимся. Спасибо вам, что забываете, не приезжаете, денег не шлёте. Приду, обо всем потолкуем. Есть у меня одна думка и одна зазноба в сердце, ей горячий мой поклон и привет, а вам не привет, а здарсьте и до свидания...» — в таком духе жалил словами, обнажая разъедающие язвы в своём сердце.

Вышел Сашка по кличке Пижон, так и мать его часто называла, на свободу, под мамкино крыло, в мамкину квартиру, как ни кривлялся в письмах, якобы, сам с усам. Не работал, где подкальмит, где сворует. Пил по-прежнему. Говорил я тётке Нине, узнав, что в колонии есть церковь и младший один нехристь: «Пусть покрестится».

Писала она ему об этом. Но Пижон своим умом «силён». В общем, как-то тётя Нина уехала на дачу к дочке, а к Пижону с зоны заглянули подельники, сотоварищи по «весёлой» работе и жизни. Пижона нашли мёртвым в обгоревшей квартире без вещей, только газовая трубка у плиты открыта... Смерть смягчила острый характер тётки Нины. С красными глазами, хлюпая носом занесла она к Александре на помин души белые пышные булочки. Попросила — привёз ей канон мученику Уару, чтобы молилась за Сашку.

— Спасибо, — благодарила она и совала мне в руки блины, выпечку. Глаза и на девятый день краснели от солёных, выевших душу горьких слёз.

Прошло время. Тётя Нина отошла. И опять пошла в нападение, теперь на меня.

— Бог, Бог... — заладил. — Не будь сам плох. Что он мне дал? Огород по весне вспашу, хожу, поливаю, вот и всё на столе есть. А то Бог, Бог...

— Может, ты и дождь сама вызываешь, и землю, и небо создала? — осерчал я. — Прости, конечно, что раздражился...

Тысячу раз убеждаешься, как мудры древние: судьба человека — его характер.

Уж на что смягчила, ломала тебя судьба, тётя Нин! А ты всё не тупишься. Как-то я заметил про Витьку, что какой ни есть, а матери его жаль, пусть и мучается с пьяным. Уж лучше так, чем, если его не станет. Ты в сердцах махнула рукой, будто рубанула:

— А... один раз отплакать...

На родительский день шли мы с Александрой от могилы её младшего сына мимо

ваших, тётя Нина. Три рядом холмика, лежат богатыри. Пригласили вы с Наташей помянуть в оградку. Пить не стал, памятуя, отчего ушли двое молодыми. А блин съел, маслянистый, с сахаром, вкусный! Не сужу я тебя, тётя Нина! Вынести, выдюжить столько скорбей — это и врагу не пожелаешь. Жаль мне тебя, как и тысячи других матерей, заложниц безбожного времени. Жаль твоих сыновей и дядю Степана, и внучку, Наташину дочку, начинающую горе мыкать в невесёлой безмужней стране. Только б не от своего характера злую чашу судьбины пить-хлебать. А там уж, что Бог даст.

Тургенев где-то в повести приводит народную поговорку: каким родился, таким и в могилку. По-православному, верю, знаю — не так: хоть немного, чуть-чуть да изменился. В сторону только какую?..

Года два назад умерла тётя Нина. Перед смертью лежала на постели, отвернувшись к стене, ни с кем не разговаривала. А потом в полубессознательном состоянии — душа проснулась, очнулась — всё говорила дочке, ухаживающей за ней: «Домой пойдём, домой пойдём...» Та недоумевала, мать была дома, на кровати. Не понимала, что говорит ей о другом доме, вечном. Советовал Наталье причастить мать, чтобы долго не мучилась, но безбожное воспитание не даёт уже и детям понять, куда просится материна душа на отлете жизни и как помочь ей уйти отсюда.

Илюха Полушпалок

Для Илюхи отдушина зайти к другу — моему отцу — в выходной. Поговорить. Даже просто так, без бутылки. Отец сидит, курит, пуская дым в открытую дверцу печи. Илюха кряхтит, раздеваясь у двери, шумно снимая короткое пальто и сапоги. И проходит в кухню.

— Садись, — приглашает отец, указывая на табуретку у кухонного стола, покрытого клеёнкой. — Ну, рассказывай, как жись? — спрашивает, будто расстались они не несколько дней, а минимум полгода назад.

— Жись бекова, — говорит, откашливаясь, Илья. — С нас три шкуры дерут, а нам с некого, — присаживается на край табурета. Лицо у него круглое, полное. Такие же ноги и руки. Весь он, как катыш из свежего хлеба. И плотный, словно резиновый мячик, в отличку от отца, худого, высокорослого, с длинным носом «белоруса», так называет его мать, потому что родился на границе с Белоруссией в Смоленской области.

— Может, закуришь? «Беломор» Ленинградский...

— Хоть ты мне золотые сигареты давай, я не хочу, — у Илюхи недавно прихватило сердце, так что пить и курить на радость жене он бросил. И помолчав, глядя в окно, начинает: — Щукарь в прошлое воскресенье ходил Кушнарёва сватать к Ленке Бадановой. У неё же муж умер. Без очков вернулся, — смеётся Илья.

Во дворе, его составляют три двухэтажных дома буквой «Г», на скамейке у своей стайки сидит Щукарь. Блестит на солнце дужка, видимо, уже найденных очков. Рядом бегает внук. Щукарь — это Петька Щукарёв. Работает столяром на заводе. Около стайки вечно что-то строгаёт, сбивает из чистого белого дерева табуретки — «калым». Он под пятой у жены, полной Щукарихи. Сам худ, с простоватой доброй физиономией, лысоват. Рискую впасть в немилость, пропивает с дружками лишнюю трёшку или пятак за «калым», запершись в стайке. Бабёнка его, учуяв неладное, прибегает, колотит в дверь.

— Выходи, старый хрен! — бранится она. — Опять водку жрёшь?!

И разгоняя тёплый кружок, волочит за шкуру, гонит мужа домой.

— Один мне на фабрике доказывал, — зачинает Илья новое, так как отец мол-

чит, — что люди ворачиваются на белый свет. Серьёзно, не пьяный. Говорит, главный кислород, он всё возвращает... Какой это учёный выдумал?! Я б ему за это кое-чѐ обрезал под самый корень. Или бомбу эту ядерную, двадцать килотонн. Это двадцать Хиросим, едрит твою в душу! И ещё деньги получают!

Во двор, тархтя, въезжает ГАЗ-53 с бочкой для откачки канализации. Останавливается у дома напротив. Из машины вылезает Кеша. От Кеши по роду его работы всегда неприятно пахнет. Он и в будни, и в выходные ходит в спецовке-робе да сапогах кирзовых. Говорят, дома у него нет и простыней. Сын у Кеши пьющий непуть, сошёлся с женщиной-«химичкой», отбывающей срок на поселении под надзором. Она старше его лет на десять. И часто, напившись, они бьют Кешу да мать-старуху. Хоть лицо у сына Кеши с широким носом незлобивое... Кеша любит париться, приходит в городскую баню по воскресеньям, с веником обязательно. И выбивает всю дурь, весь запах из себя. Встретит меня — веник предложит, радостно в салюте взмѣтывая руку, улыбаясь. Расспрашивает, что да как. «Учись, сынок» — хвалит, будто вкладывает своё, неудавшееся с сыном. Тело у него маленькое, скелетное, кости, обтянутые кожей.

— Два ребра сломали, знаешь, этому Кеше в вино-водочном...

Дело происходит в разгар горбачѐвской антиалкогольной кампании, когда мужики давятся за бутылкой водки в магазинах.

— Не вышел, а вылез из очереди. Ох, ох! Вызвали «скорую», увезли, — смеётся опять Илюха. — От этой водки уже пол-Союза дураков родилось! Так и живи вот, морду под старость лет намылят. А до пенсии ещё, как до Москвы раком... Слышь, Душанов напился как-то в командировке в Грязнухе... Идѐт... А у нас косяк низкий. Он — бух! «Почему криво прибили?!» Сам пьяный, а на нас орѐт: «Чѐ вы смеѐтесь? Вы все пьяные!..»

Душанов — Илюхин непосредственный начальник, мастер. Рыжий, высокий, худощавый мужик. Они часто с ним мотаются в командировки по разным строительным объектам. Илюха — стропальщик, как и отец. Разгрузить, погрузить, сваи вбить для фундамента, плиты положить в силосную яму — их работа.

— В карты в Ирети играл, — продолжает Илюха, — двадцать пять рублей проиграл. Встал, глаза выпучил, — Илюха подскакивает, надувает щѐки и пялит белки глаз, изображая начальника. — Говорит, Илюша, завари ты мне чайник. Я такую большую пачку зелёного заварил — на сапог капни, наверное, прожжѐт! А он пьѐт!

Илюха и сам любил прикладываться. Бывало, в застоинные годы, когда не хватало на бутылку, пил и синявку, стеклоочиститель, его продавали в промтоварном магазине.

— Раньше, как синявку выпьѐшь, — вспоминает он, — как кувалдой тебя в лоб! Всё равно, как огнѐм тебяхватило, нос как всё равно заткнуло! А сейчас синька пошла не та, туфта. Ничѐ, ещё выпьем синюхи через мильон лет, — смеётся над собой и отцом, пробовавшим эту гадость.

Про своего начальника Илюха может говорить бесконечно. Как вспомнил о Душанове, болезненное место в сердце задел...

— Мне Душан говорит: «Ой, Илюша, нашу работу плачут, но берут. Ни в один фотоаппарат наша работа не влезет». В прошлую зиму машинный двор сдавали в Нижней Ирети. Ни стен, ни крыши нет! Душанов стал, — Илюха, было присевший, опять подскакивает с табурета, — руки засадил в карманы, — запихивает Илюха пухлые руки в широкие карманы своих штанов и выпячивает грудь, словно петух-победитель, — и пух, пух, дым колечками пускает, курит! — Илюха надувает и опускает щѐки, комически издеваясь над начальником. — Сдаѐт своё детище! Я чуть со стыда не сгорел. Туалет и то лучше строят! Я никто, Вовка, я ни за что не отвечаю. И то стыдно, так стыдно было! Кого он сдаѐт, два столба?! Ни дверей, ни стен. А сейчас ему во, тью-тью, — показывает Илюха короткопалой рукой с широкой ладо-

ню и толстыми пальцами кукиш, — быстро морду намылят. Сейчас госприёмка! А как ты думал?! Сейчас время другое. Заказчик смотреть стал. Хотя говорят «этот Горбачё-о-о-в», — тянет недовольно Илья последнее слово, передразнивая тех, кому не по душе нововведения генсека. — Правильно он сделал, этих «кашалотов» хоть попржиали. А то привыкли форму 2 подписывать за две бутылки коньяка. Сейчас плохо примут, заказчик напишет, им уже шиш. Премии лишают. А то вагоны принимают, в них толь слиплась. Кому она нужна 250 лет?! На «Радиане» угробил тысячи, сотни плит наломал! Как бы слупили с него одну треть стоимости, знал бы. А то руки в брюки... Помотал он душу. Под линию в шесть киловольт посылал работать. Мы отказываемся. Стропы сорвись, мы тут на машине разгружаем, нас, как корова языком слизнёт. Вся Россия проводами опутана, на смерть гонит. Электроэнергию отключить? Думаешь, это так просто? Это всё равно, что луну с неба снять! И ещё говорит, вы работать не хотите, пьяницы! Ишь, ловкач какой! Пойдём на рембазу, строп нет. Иди, за проволоку привязывай. И я же дурак. Я чуть с ума не сошёл. Как только разгружать, хоть плачь... Сейчас я работу свою знаю, — Илюха рассчитался из управления механизации и устроился в другую организацию. — Сам себе хозяин. Оставят, в субботу работаю. А то — «уволью!» Увольный! Пятнадцать заявлений тебе напишу. Делец! И не совестно, и не стыдно. Я тебе, говорит, обходной не подпишу, пока ты инструмент не сдашь. Я ему, ты не дёргайся, Витя. Ты мне что, давал? Гвоздя ржавого не давал. Себячину ворочаешь?! Он считает себя благодетелем, грамотный! Хотел я его послать. Ну там народ был, неудобно... Дельцы! — раздухарился Илюха. — На словах они мягко стелют, да жёстко спят. Начальник управления довольно грамотный и довольно работать может, уговаривал остаться. Выгнать не долго. А кто работать будет? А то хоть плохонькая собачонка, но лаёт... Как-то приехал Федькин на объект — сварки нет. Как дал нагоняй Душанову, на следующий день сразу появилась!

А то, как клопа, с лопаты столкнут — «действуйте!» Хороший мастер на такую работу сам не пойдёт, этих шалаболок пошлёт, мастериц. А эти бабы штукатуркой лицо намажут, полдня сдирать надо! «Действуйте!» Я говорю, что-то юмора не понял... Жене как рассказал, она аж затряслась. Три дня трясло! Что тебе, Курская дуга что ли? Где-то они грамотные, а дальше своего носа не видят. И где они нашли эти две обезьяны?! Обругать нельзя. Скажи грубое слово — докладную напишет. Да и зачем мне это надо?! А по-хорошему она не понимает. «Действуйте!» Говорю, ты, как Жуков... Но Жуков молодец был! Дисциплина, она в войну нужна, жёсткая, даже жестокая. А тут под провода посылают. Два стропала осталось на управление, в каждую дырку суют. Им платить надо. Сейчас при жизни надо зарабатывать десять рублей каждый день. На «пятёрку» что ты возьмёшь — пачку соли да две булки хлеба. А этот жук, Душанов, закрывал по пять. Ещё бурчит, незачем им платить... Гонял по командировкам, с гусями спали. Мы никогда кусок мяса на подсобном не возьмём, а они мясом ходят. А то начальник — гоп со смыком, табельщица числится как слесарь по металлу, по лесу и по салу, а мы — чёрные, негры. Сваи рубить — старая установка, как самовар. Есть новая, вся на кнопках. Душан ни телится, ни мечется. Нам говорит, вы, как на затычках, как запасные игроки. Меня что защекотало. Все слесаря в конторе сидят, с табельщиками, отметчиками, КТУ им. А мы по командировкам за полторы сотни должны работать. Молодец Горбачёв! Чтoб он ещё пятьдесят шесть лет жил! Поприжал этих гадов...

Пропили всю Россию мы, шарамыги! Полсапога нам в задницу. Потому что трюсы, каждый за свою рубаху дрожит... Вот ежели б им дать на ручки 60–70 рублей, да ещё в долгу оставить, посмотрел, как бы они зашевелились... «Действуйте!» — передразнивает ещё раз Илья начальство. — Пятнадцать лет на одном месте и — сбежал. «Пьяницы...» Всё было... На шулемку посадили, сто пятьдесят рублей. Только на молоко или хлеб. Начальства, как рыбы...

— А может, с этой перестройкой ещё хуже будет? — вставляет отец.

— Хуже не сделают, — уверен неунывающий Илья. — Хуже нельзя. Как-то будут выкраивать... Нельзя хуже, — ещё раз для пущей убедительности добавляет: — А то тебя посылают работать, ничего не дают — «ты работать не хочешь...» Так хорошо командовать. Раньше двумя быками на Западе всё вспахивали, потому что организованнее были. А здесь у нас за Ершовкой вспашка, так после ломом надо долбить. Зато каждому начальнику участка — машину на разрезе, начальнику разреза — «Волгу». До туалета пешком ходить не хотят... Или весь урожай под снег попадёт. Это не первый год так в Сибири, каждый год так...

Другой стропаль тоже ушёл. У него с-под иголки мотоцикл. В любую шарагу пойдёт, ему заплатят. Это нам с тобой, — обращается Илья к «безлошадному» отцу, — куда сунут, туда и пойдёшь... Когда заявление пришёл подписывать, Федькин мне предлагал идти в башенники. Нет, думаю, назад ни шагу! Он, ладно, говорит, туго будет, приходи, возьму без звука. В отдел кадров пошёл за трудовую. К шкапкам подходить, у меня аж переворот кишок получается! Как они там работают — все эти причиндалы, шкапки?!

На кухне появляется и, взяв кое-что по надобности, выходит мама, невысокого роста, среднего сложения женщина.

Илюха замечает:

— Ольга у тебя ни то ни се. Ни рыба ни мясо. А у меня распёрло бабку, — имеется в виду жена. — Как кучка навозная! Почему их по Сибири прёт? От картошки?

На стене кухни висит календарь с большими картинками-репродукциями известных художников и скульпторов. Илюха, поднимаясь с табурета, подходит к нему, трогает рукой: — Хороший численник. Тут слепой и тот увидит!

Когда стоит, видно, что и в ногах он короткий. Щёки у Ильи расслоились от хорошего питания, жена его работает поваром в столовой. И тянет Илюху в сытую и богатую жизнь, ранее своими пьянками да гулянками ломал её мечты жить в ещё большем довольстве и изобилии.

— Исть нечего?! Да пусть глаза полопаются у того, кто так говорит. Забили свои мозги — «мясо, мясо...», — канючит он, передразнивая радетелей о колбасе.

Отец рассказывает, что вчера по телевизору показывали убийцу. «10 лет дали!» — говорит о сроке заключения.

Илюха, было успокоившийся, аж подпрыгивает:

— Человека убил и ходит героем! Рашпиль! Я бы их за это тоже в расход! От тогда бы они поняли...

— А эти в Половинке флаг фашистский повесили, — продолжает отец обсуждать газетно-телевизионные новости.

— Руки бы им обрубить, — горячится Илья. — Вот так, ить, ить, — показывает, проводя быстро левой и правой кистью вдоль локтей своих рук, словно чикая топором. — И уши отрезать. Они же не воевали, не знают, как победа далась, цену крови! Я бы их сам расстрелял, — входит в раж. — Дали бы мне пистолет, к гаражу бы вывел и расстрелял, — кровожадничают, хоть в жизни вряд ли отрубил голову одной курице.

— Слышь, а Рейгана вроде менять собираются, — замечает отец. — Кеннеди этот хочет, брата которого убили, в президенты.

Илюха тут же выставляет свой политический проект в духе общечеловеческих ценностей:

— Я бы вообще всех объединил. Горбачёва бы поставил мировым богом, а Кеннеди — заместителем.

— А если Кеннеди неправильно политику поведет?

— Такой попадётся — сменят. А по-другому, так ему дырку просверлят в мозгу быстро. Ночью спишь, как стеганёт, — и ничего не надо!

— А из Афганистана войска, вроде, собираются выводить...

— Бабрак Кармаль попросил. Мы завели...

На кухне вновь появляется мама, надо готовить обед, и мужики перебазируются в комнату, забитую вещами. Тут две кровати, шифоньер, два стола, диван, два стула, тумбочка, на которой телевизор, холодильник с радиоприёмником, этажерка с книгами. Всё это на двенадцати квадратах.

— В этой кузнице жить... — вздыхая, сочувствует Илья. — Ежли, конечно, крылья опустить. А то так можно сто пятьдесят лет прожить. — И предлагает, присаживаясь на диван, занять комнаты соседей по коммуналке, которые съехали.

— Иди в горком, в областной, — обращается ко мне, как к студенту, наезжающему к родителям на выходные, — чтоб ты к ним здесь без толку на рога не лез, — имеются в виду районные власти. — Сильно, как говорится, крокодильи слёзы не надо пускать. Расскажи по уму. Своё гнездо — это не мешает. Али ты этот гуж упустишь, потом будешь локти кусать. А ещё жизнь может повернуться по-другому. Кто знает, что ещё будет? Вот так от. Делай! Назад ни шагу. За такую квартиру, — обводит он глазами длинный коридор, дверь в который открыта, там ещё две запертые двери, — я бы перекрестился! Ещё б пять бутылок водки взял, устроил бы танцы. У меня голубятня, — это он о своей квартире в пятиэтажке на самом верхнем этаже из двух комнат, — у вас душегубка. Коридор хороший, — продолжает он оглядывать квартиру, — ванна! — не в силах выразить восторга пучит глаза. — У меня соседка только уехала, — рассказывает о том времени, когда жил в бараке (чтобы переселиться из него в крупнопанельный дом, Илюхе пришлось воспользоваться связями — написал в область, что у него родственник работает чуть ли не в ЦК КПСС. Областные власти отреагировали ключами от новой квартиры), — я штукатурочку тюк-тюк-тюк, отбил, отмерил, пилой стену пропилил, задницей бух — она упала! Снова замазал, заштукатурил. Вот и всё, ещё одна квартира не лишняя. А потом, как ремонт сделал, у меня не квартира стала, а... — ищет он выразительное слово, — как клуб! Два МАЗа загоняй — развернутся, стенки не заденут! Видишь, как клевать стало, — советует он, — не упускай! С подноса счастье уйдёт.

Но пора уже Илюхе домой. Он поднимается, прощается. Жмёт руку отцу. Говорит напоследок мне:

— Учись! Ума мало, этим местом, — хлопает рукой ниже спины, — не займёшь. Не всем и учиться, кому-то и работать надо.

— Тяжело...

— А как ты хотел? Влез в сани, тяни лямку!

В следующий выходной он зайдёт снова и наворочает с полный короб всякого. Вот уж по двору катится его фигурка. Зная незавидное сложение, Илюха обозвал себя Полушпалком...

Уходит поколение отцов. Нет уже Илюхи. Полежав как-то очередной раз в больнице с сердцем, вышел он на работу, и там, прямо в строительной траншее осел, побелел... Нет и Душанова. Примирило работягу и мастера Гришевское кладбище. Нет Щукаря и Щукарихи, нет Петьки Кушнарёва и Кеши. Нет и отца... Приезжаешь на родину и бродишь, вспоминая их милые тени. Они не были ангелами при жизни. Но я родился среди них, жил, вырос. И потому они мне родные. И потому их люблю, худых, грешных, косых, кривых, всяких. И как знать, на погляд — выйдем ли мы прямее...

ПОЭЗИЯ



ГЕННАДИЙ СКАРЛЫГИН



У заветного дальнего камня

* * *

Память земли и неба
С годами в нас всё сильней.
Возьми и не дай мне хлеба.
Возьми и не дай мне неба
Над родиною моей.

Наверное, это возможно.
Но память?! Её не украсть.
Она прорастает рожью
По нашему бездорожью,
И держит нас. Не упасть.

СКАРЛЫГИН Геннадий Кузьмич — автор десяти поэтических книг, изданных в Томске, Москве и Санкт-Петербурге. Родился в Кемеровской области. Окончил Томский геологоразведочный техникум. Работал начальником сейсмостанции на полуострове Мангышлак, геологом под Читой, в Туве, в Магаданской области в Сеймчанской комплексной экспедиции. В 1981 г. окончил отделение журналистики Томского государственного университета, после чего десять лет работал в областной газете «Красное знамя», корреспондентом, заведующим отделом. Стихи публикуются в журналах «Наш современник», «Московский вестник», «Сибирские огни», «Российский колокол», «День и Ночь», «Огни Кузбасса», «Барнаул», «Начало века», в альманахе Академии поэзии и других изданиях. Стихи вошли в Антологию русской сибирской поэзии. 20 век. Книги — «*Ветер скитаний*», «*Всё унесёт река*», «*Утренний человек*» и другие. Секретарь правления Союза писателей России. Председатель Томской областной писательской организации.

* * *

Лосось помчится к берегам,
Где он родился в мелкой речке.
Стремленье это нужно нам,
Чтоб путь на родину был вечен.

Чтоб не рассыпаться по миру,
Не помереть в чужом раю,

Я всё на свете враз покину,
Лососем море раскрою.

И раздирая в кровь бока,
Призывную почуяв влагу,
Вот здесь, на этих берегах,
С родной землёй в обнимку лягу.

* * *

Решётчатое небо сентября,
Размывами блистает побережье.
Я становлюсь и тише, и прилежней,
Но так же всё смотрю я на тебя.

И в череде обыденных забот
Прокрутим эту жизнь наоборот.

Опять зазеленеют наши всходы,
И мы светлеем от любой работы.

А я смотрю всё так же на тебя.
А ведь прошло уже тысячелетье...
И прорастает в наше долготелье
Решётчатое небо сентября.

* * *

Калёное, низкое утро
Мелькнёт отраженьем свинца.
И тяжесть нахлынет, как будто
Мы жили здесь тихо и трудно,
Чтоб счастье постичь до конца.

Мы верили в святость работы,
В суровость тепла и добра.
Ложились простые заботы,
На мизерные щедроты.
А радость знобила с утра.

И здесь, в убелённом пространстве,
Рождалось сознание того,
Что мудрость — в родном постоянстве
И — в продолженье его.

Последний пароход

Когда набегают волны
И бьётся прибой в небосвод,
Лунным мерцаньем полный
На пристань приходит народ.

Белый мелькнёт платочек,
Как улетевший привет.
Тоской и бедой прострочен
Стальной убегающий свет.

* * *

В часы душевного покоя И ветерок в осеннем поле,
Я представляю сосен шум И зов простуженных дорог,
И ливень серого покроя, Где есть для нас родной до боли,
И холодок от тяжких дум, Родной до боли уголок.

* * *

Скрипят журавли колодезные,
Кричат вдалеке петухи.
Как чутко дыхание Родины
Вот здесь, у холодной реки.

* * *

Наше русское небо —
Белёное, как вода.
Где бы я ни был, где бы,
Небо со мной всегда.

* * *

Не нашёл слова я золотые, Облетят — и в горечи, и в славе,
Не сберёт серебряный мотив. На исходе завтрашнего дня.
Ковыли под ветрами седые Обнесут с деревьев лёгкий иней,
Будут жечь и плакать, и манить. В лопнувших стаканах октября.
А колечки в золоте, в оправе, И калинной горечью отныне
Лягут в снег, монетками звеня. Стынет воля, память серебра.

* * *

«Вот, дурочка! — злословили в деревне. — А ты, пацан, куда-то дерзость денешь,
Босая в зиму, смотрят вверх глаза». Застынешь, не подходишь больше к ней.
Но иногда с какой-то мукой древней Как будто проверяла нас святая,
Бросала взгляд, как в доме — образа. Что здесь мы — не издёргались душой,
И словно Богородица, страдая, И как живём, прорехи вновь латая,
Она смотрела ясно в этот мир. И как скорбим о Родине большой.
И лишь потом, как листья, облетая, А где ж ей быть, как не в глубинке, с нами,
Глаза уйдут в невидимый эфир. Где тяжкий труд за крохи, за гроши,
И вот опять (оборвана, как ветошь) Где поднесут святыми именами
Она идёт деревнею моей. Кусок последний, чёрствый — от души.

* * *

Мир дому твоему,
Осенний листопад!
Уже в твоём плену
Который день подряд.

Который день — исход
И листьев, и травы.
И времени приход —
Сквозной лесной молвы.

Сквозная пустота
Пронзила нас насквозь.

Святая простота —
Когда всё в мире врозь.

Отдельны ветвь и лист,
Отдельны мы с тобой.
Лишь только Ференц Лист
С музыкой золотой.

Её родил скрипач
От счастья, от тоски.
Мелодий лёгкий плач,
И дождик бьёт в виски.

* * *

Затосковала мать по сыну,
Упали плечи, голос стих.
И вечер, вечер звонко-синий
К стеклу оконному приник.

Затосковала мать по сыну.
Её вытягивал, маня,
Там на колосьях серый иней,
Что пал на милые поля.

Затосковала мать по сыну,
Глаза ударились в бега,
И показалась очень длинной
Жизнь у родного очага.

Затосковала мать по сыну.
На догорающий закат
Молилась долго. И просила,
Чтоб встал из мёртвых сын-солдат.

* * *

Бабушкин взгляд и руки
Мелькнут по судьбе-избе.
Словно и нет разлуки,
Словно в святой излучке
Я снова иду к себе.

Лекари и подруги —
Эти простые руки
Ладили за двоих.

Бабушкин взгляд и руки —
Снов колыбель моих.

Да за троих работали —
Небо, их вознеси
И под своими сводами
Их освети заботами да сохрани, спаси!

* * *

Люблю я русские дороги!
По большаку — полынный ряд.
И васильки летят под ноги,
И подорожники летят.

Как заклинанье, как прощенье
Летят по небу облака.
И веют светлым утешеньем
Колосья хлеба. И слегка

И разнотравье, и раздолье.
Две пыльных вьются колеи.
И хор кузнечиков, и поле,
Как море, плещется вдали.

Колышет марево тумана
Под утро лёгкий ветерок.
И вечно манит, вечно манит
Какой-то дальний хуторок.

* * *

Синие, синие ночи.
Белые, белые дни.
Что моя милая хочет,
Вот и остались одни.

Что моя милая знает,
Ласки твои не сберёт.

У деревенских окраин
Стынет забытый стог.

Всё ему одиноко
Там, где примята трава.
Речка была так глубока,
Так высока синева...

Утро. Детство

Только с рассветом встаём,
Кажется, птицы летают.
— Бабушка, что за окном?
— Всюду земляца святая.

— Бабушка, что же метель
Так заметает землю?
— Чтоб белоснежна постель
Светом могла возродиться.

— Бабушка, что так скрипят
Нынче опять половицы?
— Это для малых ребят
Музыка — ведь им не спится.

Это для малых ребят
Скрылками петь половицам,
Чтоб им приснились опять
Светлые, светлые лица.

* * *

Как мало для радости надо!
Мелькнёт огонёк за окном,
Под вечер ложится прохлада,
Темнеет лесок за оградой,
И тянет с реки холодком.

А вот уже стадо у брода,
Пастух тихо щёлкнул кнутом.
Проедет с дровами подвода...
Старушки (опять взяли моду)
Сидят-говорят обо всём.

* * *

Что мне машут просторы лесные
И озёрный мой край с ковылём?
Это ветры несут стремненные
Облака над притихшей землёй.

Это там за стожком и овином
Разметалась подруга-река.
Это там с поцелуем невинным
Мне махнули платочком — «пока».

Ты порадуй меня, человече,
Расскажи про земные дела,
Про дома, огороды и печи
И про то, как метель тут мела.

И про то, как платочком махала
Та берёзка и ветром жила,
И взлетало в цветах покрывало,
И вдруг стала невеста — жена.

* * *

Что сказал человек?
Что подумал он, грешный?
С тяжелеющих век
Взгляд и грустный, и нежный.

Он прошёл этот путь
До родного порога...
Он пришёл отдохнуть,
Ему надо немного.

Горсть родного тепла, Да вот речка б текла,
Синевы за окошком, Да цвела бы морошка.

* * *

Полозья скрипят у реки.
Летит столбовая дорога.
Скрывает метель сосняки.
Сугробы, сугробы, сугробы...

Осыпался сказочный лес
Морозной крупой на дороге.
Несётся и кружится бес.
Ты, бес, нас сегодня не трогай!

Вдали кутерьма, кутерьма.
И выдох и вдох — всё едино.
На родине нынче зима.
Такая сегодня картина.

На родине нынче краса,
Какой не найдешь на чужбине.
Несут серебро небеса.
Так было всегда. И — отныне.



ЗИНАИДА ОСОКИНА



Синие подснежники

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

В далёком сибирском посёлке не гремели взрывы фашистских бомб, не выли над головами немецкие «Мессершмитты», по родной земле не ходили вражеские сапоги, но страшное эхо войны долетало и сюда, где живёт героиня очерковой повести Зоя Новикова и её друзья, родственники. О трудностях, бедах и слезах, что принесла проклятая война, эта документальная повесть. Четыре тяжёлых военных года никогда не забудутся, даже если с тех пор прошло много лет.

Гроза

В это лето я опять приехала в гости к бабушке. Я очень любила приезжать в большой шумный, многолюдный город Ушаковск, где жила моя бабушка Екатерина с тремя дочерьми: Верой, Надеждой, Любовию (моими тётками). Тётки получили новую квартиру в деревянном, бывшем купеческом доме, огороженном высоким дощатым забором, и с громадными тополями под окнами, упиравшимися прямо в небо. У дома было два крылечка: одно — соседей, другое — наше. С обеих сторон нашего крылечка рос хмель, обвивавший даже крышу.

ОСОКИНА Зинаида Ивановна родилась 14 октября 1931 г. в п. Усть-Орда. В 1949 г. окончила Усть-Ордынскую среднюю школу и поступила в Иркутский педагогический институт на факультет логики, психологии, русского языка, литературы. После окончания института в 1953 г. была направлена на работу в г. Зима учителем средней школы № 1. Затем работала в Иркутске в Сталинском райкоме комсомола, после этого в сфере народного образования Иркутска, в детском клубе «Восход». Ветеран педагогического труда.

В бывшей купеческой кладовой, если порыться, много чего можно было найти. Как-то тётки извлекли оттуда картину в богатой позолоченной толстой раме; протерев багет, её повесили в комнате, на место, где раньше была дверь. На картине изображено бушующее море и небольшой плот с людьми. Я подолгу смотрела на неё и волновалась за тонущих людей. Наверное, у них есть дети, они их ждут. И очень хотелось, чтобы эти несчастные люди спаслись. Позже я узнала, что картина называется «Девятый вал», художника Айвазовского.

Как-то в субботу вечером, придя с работы, старшая тётя Вера сказала:

— Завтра воскресенье, едем в лес на отдых, на работе дают грузовик.

Я ликовала — ездить очень любила. Всё с вечера приготовили: еду, купальники, мячики, даже взяли плащи (на всякий случай). Раньше обычного легли спать.

Утром мы шли по улице, ярко освещённой солнцем. Голубое небо без единого облачка, утренняя прохлада, свежесть и тишина окружали нас. Топот наших ног по дощатым тротуарам вдоль деревянных домов с закрытыми ставнями раздавался гулко, нарушая тишину спящего города.

— В такие тёплые солнечные деньки, конечно, нужно загорать, а то лето пролетит, а мы не понежиться на солнышке ни разу, не покупаемся и не побываем в лесу, — говорила тётя Вера, шедшая впереди. Маленького роста, не красавица, в вечных хлопотах, работающая, она не шла, а летела. Мы едва поспевали за нею.

Вот громадное здание. Проходим во двор, а там стоит машина — грузовик, возле которого уже собралось много девушек. Слышен смех, шутки, девчата подзадоривают молоденького шофёра Сенечку, черноглазого и вихрастого. Он деловито тряпкой протирает машину и не обращает внимания на девчат и их шутки. Протерев до блеска стёкла и даже кузов, уселся на скрипучее сиденье, включил зажигание. Машина загудела, затарахтела, испуская клубы едкого дыма. Девчата с визгом бросились в кузов, к скамейкам. Я с тётушками тоже забралась туда. Понеслись по улицам города. Девичьи голоса затянули модную песню «И кто его знает...» Всем было весело и радостно.

Быстро промелькнули городские дома: большие и маленькие, деревянные и каменные. Мы оказались за городом. С обеих сторон раскинулись широкие поля, зелёные елани, потянулся лес с высоченными берёзами и соснами, с аккуратными, словно подстриженными елями. Мы остановились на излучине реки с громадным травянистым полем, обрамлённым стройными берёзками. Девчата разбежались по берегу реки, тут и там мелькали разноцветные платья. В высокой сочной траве росли синие ирисы; глядя на них, казалось, горят синие огоньки. Я присела около цветка, рассматривая это лесное чудо, не срывала. Жаль было его губить. «Пусть растёт и цветёт синий цветик», — подумала я.

Отовсюду слышался девичий смех, песни, ауканье. На берегу реки, в стороне от машины, острые языки костра лизали цинковое ведро с водой для чая. На большой клеёнке девушки старательно нарезали колбасу, раскладывали яйца, бутерброды, печенье и конфеты. Готовилось пиршество. Усевшись дружно вокруг клеёнки с яствами, мы аппетитно ели, не забывая угощать шофёра Сенечку, сидящего на опрокинутом ведре; парень всё ещё неловко и смущённо чувствовал себя среди девчат.

Я опять убежала на поляну, где росли ирисы и слышалось нежное пение птички-пичужки.

Вдруг пробежал порывистый ветер. Ирисы скрылись в траве, склонённые ветром. На небо надвинулась тёмная, страшная, мохнатая туча. Стало темно и сыро, как в глубоком подвале. Послышались раскаты грома. За первыми редкими каплями дождя, похожими на слёзы, хлынул проливной дождь. Я побежала к машине. Девушки сидели под кузовом. По небу чиркали молнии, гром грохотал яростными раскатами, а прямой дождь — словно натянутые стальные провода. Почему-то стало грустно и как-то тревожно на душе. С уходом солнца исчезла радость.

Но вот ливень, наконец, закончился. Мы засобирались домой; дождь словно бы смысл радость и веселье. Ехали назад молча. И хотя снова выглянуло солнце, но чувство тревоги не покидало нас. Въехали в город. Чистые дома, тополя и блестящие на солнце лужи свидетельствовали о прошедшем дожде. Однако людей на улицах почти никого не было, только кое-где стояли группами и что-то обсуждали. «Странно, — сказала тётя Вера, — куда девались люди, что случилось?»

Войдя в свою ограду, мы поняли всё. На крыльчке стояли соседи со своими гостями — некрасиво, наверное наспех, одетые женщины и мужчины в костюмах, все грустные и встревоженные. А в открытые окна слышался чёткий голос диктора, общавший о страшной беде — о войне. Когда мы вошли в дом, то увидели бабушку Екатерину всю в слезах, сидевшую возле чёрной тарелки репродуктора. Она плакала, вытирая синим фартуком слёзы. А тётя Вера сказала: «Кончилась мирная жизнь...» Это было 22 июня 1941 года.

Первые военные дни

Рано утром бабушка проводила меня на автобус. На площади около рынка творилось что-то невероятное. Все куда-то спешили с чемоданами и котомками, озабоченные и взволнованные. Бабушка, расталкивая толпу, которая собралась у закрытой двери маленького синего автобуса с табличкой «Степной», говорила, подталкивая меня:

— Дайте уехать ребёнку!

Но её никто не слушал, потому что детей толпилось много, правда, они были с родителями, и всем хотелось уехать. Когда бабушка поняла, что толкаться бесполезно, она сокрушённо сказала:

— Завтра уедешь!

Но, увидев, что переднее окно автобуса, около кабины водителя, было открыто, быстро подвела меня к этому окну, подняла, и я в одно мгновение оказалась в автобусе. Она подала мне чемоданчик, всхлипнула, а потом долго махала рукой, пока мы не скрылись из виду.

Я ехала домой в сибирский рабочий посёлок Степной (до которого было 70 километров), где в небольшом домике на берегу реки Кудинки жила с родителями и сестрёнкой Танечкой, которая была младше меня на четыре года. В полдень я уже была дома. Мама очень обрадовалась, увидев меня живой и невредимой. А сестрёнка подпрыгивала, хлопала в ладоши и говорила:

— Зоя, всех мужчин возьмут на войну, а я подрасту — тоже пойду воевать! Знаешь, кем буду? — санитаркой!

— Когда подрастёшь, война закончится, — ответила я.

— Война будет недолго — всего два-три месяца, ну, может, год, — сказала мама.

Ведь никто не знал, сколько лет продлится война и как она будет трудна и кровава!

Кончилось мирное время, кончилось беззаботное детство. Тревога и беспокойство заполнили наши души. Настала жизнь, лишённая главного — мира. «Война, война...» — постоянно стучало, как молоточками, в мозгах. «Война, война...» — слышалось повсюду. Что ожидает всех нас, всех живущих в стране, именуемой СССР? А что думает наш дорогой и любимый Сталин? Где он сейчас? В Москве или нет? — интересовались люди.

Одним из первых повестку на фронт получил наш сосед Иван Тарасов, молчаливый, застенчивый человек. Густые кудри копной возвышались над его головой. Маленькие глаза из-под нависших широких бровей смотрели тревожно. Он ушёл из дома,

собрав всё необходимое в рюкзачок, поцеловав пятерых плачущих детей и охающую с надрывом жену Елену. Я сидела у них в маленькой избе на деревянной скамейке, стоящей в углу у входа. Жалость давила мне душу. Горестно было смотреть на детей, тётку Елену, рыдающую Катюку Тарасову, такую же кудрявую и молчаливую, мою ровесницу, стоящую посреди избы, одетую в старое застиранное платье с дырками на локтях. А мать причитала: «Чует моё сердце — ушёл наш кормилец навсегда...» Кормилец... Она назвала его так потому, что в их семье он один работал. Работал плотником. Ведь все дети были ещё маленькие, а тётя Елена не работала. До войны, к слову, многие женщины не работали, их называли домохозяйками.

Один за другим уезжали на фронт соседи. Настал день, когда и моему папе принесли повестку. Мой папа, Николай Матвеевич, работал шофёром, возил райкомовское начальство. Любил музыку, весело и задорно играл на гармошке. А женщины в праздничные дни, подвыпив, дробно стуча каблучками, не единожды просили его сыграть «Подгорную». «У Николая лучше всех получается! Ноги сами пляшут!..» — говорили они.

Я от папы нередко слышала: «Сталин изверг и убийца». От этих жутких и жестоких слов я забиралась куда-нибудь в угол и горько плакала: «Все любят Сталина, славят, поют песни в его честь, а мой папа?..»

Однажды папа купил редко появлявшийся в продаже патефон. Мы с сестрёнкой с любопытством смотрели на маленький синий чемоданчик, пахнувший краской. Папа, загадочно улыбаясь, открыл крышку, достал изогнутую блестящую ручку и стал энергично её накручивать. Вынул из бумажного пакета серую ребристую пластинку, положил её на диск. Она волшебным образом закружилась. Коснулся её гнутой трубой с иглой, и песня вспорхнула, полилась, окутала и заморозила нас с сестрой.

*Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой.
За далёкой за Нарвской заставой
Парень идёт молодой...*

Простые, запоминающиеся слова лились и лились из чудо-ящика.

— Там, наверное, сидят маленькие лилипуты и поют, — говорю я Танечке, от удивления вытаращившей свои чёрные глаза и раскрывшей рот.

А ночью, тихонечко пробравшись к патефону, мы положили пирожок для голодных поющих лилипутов. Утром отец хохотал, найдя наше подношение в патефоне. Потом нам, непонятливым, долго объяснял принцип его работы.

Каждое воскресенье рано утром мама пекла блины, а папа, накрутив ручкой патефон, ставил пластинку. «Ревела буря, // Гром гремел. // Во мраке молнии блистали...» — заполняла наш дом песня. Мы с сестрёнкой, разбуженные музыкой, лежали в кроватях и, не шелохнувшись, с упоением слушали.

...В этот день я проснулась опять от песни: «Тучи над городом встали, // В воздухе пахнет грозой...» Я удивилась: ведь до воскресенья ещё несколько дней. Но — вспомнила: наш с Танечкой папа уезжает на фронт. Сердце тревожно сжалось, хотелось плакать. Я быстро оделась. Танечка уже сидела на коленях отца; он был грустен. На столе играл патефон. Мама на кухне, вытирая фартуком слёзы, готовила завтрак. Последний раз все вместе сели за стол. Молча позавтракали. Пошли провожать папу. Он вошёл в здание военкомата, а мы остались на той площадке, с которой повезут новобранцев в город на формирование. Грустные, молчаливые женщины и девочки, старики пристально поглядывали на дорогу, туда, откуда должны были прибыть машины. И вскоре показалось три грузовика с сидевшими ряд в ряд мужчинами с суровыми лицами. Они мне представились былинными богатырями.

Машины замедлили ход, и толпа провожающих кинулась к бортам. Поднялся крик, плач, причитания. Мужчины, сдерживая слёзы, целовали детей и жён, протягивали руки своим родным и соседям. Грузовики медленно тронулись с мест. Мужчины поехали исполнять свой священный долг!

Папа сидел на крайней лавке у борта, махал рукой. Я побежала вслед за машинами и старалась всех перекричать: «Ты только, папа, возвращайся, слышишь, возвращайся!..» Потом долго смотрела на отдаляющуюся колонну. Горькие слёзы застилали глаза. Машин уже не видно, но люди всё стоят.

Дома пусто, тоскливо. Сиротливо стоит синий, какой-то печальный патефон. Что будет со всеми нами? Какая нас ждёт жизнь? Сколько лет продлится война? — и ещё много других вопросов сверлили мой мозг.

Первый класс

В этот страшный 41-й год я в сентябре пошла в школу в первый класс. Около школы собрались робкие малыши с мамами, с бабушками. Девочки одеты в пёстрые платья, на головах разноцветные платочки. В руках у многих самодельные сумы, в которых лежали учебники, деревянный пенал и булка или пирожок. На мне было красное платье в мелкий горошек, в складку, сшитое специально для этого торжественного дня. Подросшие за лето волосы заплетены в косички с ленточками красного цвета. Новенький портфель, пахнущий кожей и краской, купленный ещё папой, задевал землю. Стоять и рассматривать всех собравшихся было интересно. Чувство, что нечто значительное происходит в моей жизни, овладело мною.

Из дверей школы на крыльцо вышла средних лет женщина. На ней была белая кофточка и чёрная юбка с блеском. Чёрные волосы коротко пострижены, лицо круглое, с поблескивающими, тёмными, чуть с лукавинкой глазами. Она громко сказала:

— Сейчас я прочту список учеников 1-го класса «а». Пусть дети выстраиваются в шеренгу.

Она стала громко зачитывать фамилии и имена детей. Как только кого-то называла, тот непроизвольно вздрагивал, а родители слегка подталкивали своего малыша. Он робко подходил к крыльцу и становился в строй. «Зоя Новикова», — услышала я свою фамилию, вздрогнула, но уверенно прошла в строй. Учительница повела нас по длинному коридору с двухстворчатыми высокими дверями. Одну из них она открыла и сказала:

— Здесь наш класс.

Самых низеньких она посадила ближе к доске, и я оказалась на первой парте у окна. Рядом со мной оказался смешной мальчишка, рыжий, с маленькими глазами неопределённого цвета и короткими ресницами, с конопатым торчащим носом; рот у него был постоянно открыт, а нижняя губа отвисла. Мальчик сопел и всё время швыркал. Он, похоже, не умел сидеть спокойно, всё вертелся, даже соскакивал с места и бесцеремонно заглядывал в мою тетрадь, хотя там ничего ещё не было написано. Я ему наставительно сказала:

— Не заглядывай в чужую тетрадь и сиди спокойно.

А он прошептал:

— Ты чё, отличницей хочешь быть?

— Какое тебе дело, — гордо ответила я и подумала: «Вот ещё навязался!»

— Федя Сумкин, сиди спокойно, — строго сказала учительница.

«Вот ещё — Сумкин! Всю жизнь мечтала сидеть с ним!» — досадовала я.

Учительницу звали Ниной Савельевной. Знакомясь с нами, она зачитала наши фамилии и имена.

— А теперь, ребята, кто расскажет стихотворение? — спросила Нина Савельевна.

Федя Сумкин подскочил так, что книга, лежащая на парте, шлёпнулась на пол, и громко крикнул:

— Я!

Подбежал к столу учителя и скороговоркой выпалил:

*Дед Мороз, дед Мороз
Табуреточку принёс.
Табуреточка мала
Деду по носу дала.*

И стремительно уселся на место. Класс замер, стало тихо-тихо. Учительница, похоже, выдавшая всякое, стоит — не шелохнётся. Кто-то прыснул, и весь класс, наконец, засмеялся. Нина Савельевна улыбнулась. А я шепчу Сумкину:

— Ну и дурак же ты, Сумкин. Лучше-то стихотворения не знаешь?

Сумкин молчит. Но он, догадываюсь, доволен, доволен тем, что самым первым прочитал стихотворение.

На следующем уроке Нина Савельевна велела достать буквари и открыть первую страницу. На ней были нарисованы весёлые дети, они несли плакат, на котором было написано: «Нам 8 лет — мы идём в школу!» Начали изучать алфавит, букву «А», похожую на домик.

Начались школьные будни.

Федя Сумкин учился очень-очень плохо. Нина Савельевна ему нередко говорила:

— Учись, Федя, писать у Зои! Посмотри, как она старательно и аккуратно выводит буквы. — И, взяв мою тетрадь, обходила с нею весь класс. Тем, кто получал «отлично», учительница давала красный флажок, его прикрепляли сбоку на гвоздик к парте. На моей парте, так же, как у Вали Татарниковой, Яши Кокорина, Маши Ситниковой, красовался такой флажок.

Мы учились, но о том, что идёт война, никогда не забывали. Нина Савельевна часто говорила нам: «Хотя, дети, и идёт война, но учиться вы должны, чтобы без ошибок писать вашим папам, братьям и сёстрам, которые воюют на фронте...» И мы, конечно же, старались. Заботились друг о друге, помогали отстающим в учёбе, делились тетрадями и карандашами. И если кто-то не приходил в школу — волновались: всякое могло случиться, раз идёт война. Так однажды не пришёл Ваня Перфильев. И его сосед Витя Мальцев сказал нам, что Ваня больше никогда не придёт в школу, потому что у него умерла мама, и Ваню с двумя братьями и сестрёнкой Машей увезут в детдом. Эта страшная новость нас очень взволновала. После уроков мы пошли проститься с Ваней и его братьями и сестрёнкой, однако опоздали: их уже увезли. Мы грустно разбрелись по домам.

Нам очень хотелось быть полезными взрослым, помогать им во всём. Но Нина Савельевна говорила нам:

— Вы ещё маленькие, и учёба пока что главное дело вашей жизни.

Вскоре мы стали октябрятами. Нас разделили на звёздочки — по шесть человек. Оставшись после уроков, составляли планы нашей жизни, заучивали октябрятские правила, которые должны выполнять: учиться на «хорошо» и «отлично», проявлять заботу друг о друге, не грубить, читать книги, помогать дома, заботиться о младших братьях и сёстрах. Мы стали носить на груди красные звёздочки. Изготавливали их сами. Из картона вырезали звёздочку, обшивали красной материей и пришивали на груди к одежде, в которой ходили в школу. Но мы мечтали стать пионерами. Мы с за-

вистью смотрели на третьеклассников, на груди которых красовались красные галстуки. Пионеры шагали под дробь барабана в актёрский зал или на пионерские сборы. Мы с любопытством заглядывали в актёрский зал, но перед нашими лицами закрывались массивные двери и — слышалось: «Куда лезете, малыши!» Было любопытно, что они там делают? В зале во всю стену, от пола до потолка, величаво стоял портрет И.В. Сталина. И мы мечтали: когда тоже станем пионерами, займёмся серьёзными делами. Какими — мы не знали, но серьёзных дел очень хотелось. Хотелось как-то помогать фронту, бить фашистов, принёсших столько горя. Как хорошо, если бы не было этой проклятой войны! Враг страшен, беспощаден. Фрицев мы представляли так: сапоги, подбитые гвоздями; китель, сверху широкий ремень с пряжкой; рукава засучены; оголённые волосатые жилистые руки, держащие автомат, извергающий смертоносный огонь. А лицо фрица обязательно похоже на чертовское, только рожек нет, так как одета железная каска, надвинутая почти на глаза. О, как мы их ненавидели!

А от Советского Информбюро сообщение: наши войска оставили города Калинин, Волоколамск, Орёл. И другое: «Чёрная вражеская сила подошла к столице нашей Родины — Москве».

Волнение охватило взрослых, волнение охватило детей. Жадно слушали радио: неужели немцы захватят Москву? А где же сейчас дорогой Сталин? — интересовались взрослые и мы, дети.

Первая военная зима

Первая военная зима была лютая. Мороз доходил до пятидесяти градусов. В магазинах за хлебом устанавливались длинные очереди. Приходили целыми семьями. В руки каждому очереднику давали строго по 300 граммов чёрного хлеба. В пять часов утра будила нас с сестрёнкой мама. Тепло укутывала, и мы шли занимать очередь. Там собиралось много народу: ребятишки, женщины, старики и старушки — молчаливые, застывшие, горестные.

Плотным кольцом очередь в несколько рядов, как змея, обвивала небольшой домик — хлебный магазин. Холод пронизывал до костей закужавших, продрогших людей, терпеливо ожидающих привоза хлеба-хлебушка. Наконец-то приходила продавщица, гремела пробоем, снимала замок, и часть людей до отказа набивались в помещение магазина. Там было теплее. Вслед за продавцом подъезжала лошадка, вся белая, словно седая, от инея. На телеге стоял фургон с двухстворчатými дверками. Колченогий дядя Филипп носил в лотках кирпичики хлеба. Пахло вкусным горячим хлебом. Все ребятишки толпились около фургона. Дяденька Филипп покрикивал на детей: «Не мешайтесь под ногами! Отойдите!» И деловито носил лоток за лотком.

Хлеба не хватало. Мама ворчала, что отец не сделал никаких запасов. Она сокрушалась:

— Говорила отцу вырастить поросёнка, а он и этого не захотел, говорил: «Возить с ним, лучше пойду да куплю мяса на базаре». Вон люди-то и свиней вырастили, и муку кулями запасли. Теперь живут припеваючи. На всю войну запасов хватит.

Но таких семей, с запасами, было мало.

Мою маму, Марию Матвеевну Новикову, избрали десятидворщицей. Десятидворки образовались в начале войны. Объединялось десять дворов, во главе каждой десятидворки выбиралась самая ответственная, энергичная женщина. Главная задача десятидворки — помогать фронту. Не остался в стороне ни один двор. Работой десятидворок руководил поссовет. Первое задание десятидворкам было: обклеить окна,

каждое стекло крест на крест белыми бумажными лентами шириной в три сантиметра. Так и простояли окна всю войну обклеенными. Каждой хозяйке давалось задание связать для фронта носки, шлемы, варежки. Подключались к этой работе и дети. Длинными зимними вечерами вязала вся семья, и часто вывязывали больше вещей, чем было задано. Готовые вещи сдавали десятидворщице. Она аккуратно всё складывала в фанерный ящик и химическим карандашом прямо на фанере писала: «На фронт». Собирались десятидворщицы в поссовете вечерами. Стряпали пельмени для фронта. Мясо выделял колхоз. В большой комнате скрипели мясорубки, пахло луком и чесноком. Женщины, подвязав головы косынками, ловко раскатывали сочни. А потом долго лепили пельмени. В больших противнях выносили их на мороз. Замороженные пельмени ссыпали в фанерные ящики и опять подписывали: «На фронт». Часто у нас собирались соседи. Читали газеты, сообщения Информбюро, статьи о фронтовых героях. И за полночь судили женщины о своём житье-бытье. Вспоминали своих мужей, мечтали о скором окончании войны. Я слушала их разговоры и так же как они мечтала о скором окончании войны.

Вскоре мама поступила на работу в больницу. Она рано уходила и поздно возвращалась домой. Вся домашняя работа легла на меня, ведь я была старшей. А забот хватало. После школы нужно было приготовить обед и накормить Танечку. Каждый день мы с Таней делали уборку в избе. Со столов, стульев, окон вытирали пыль. Чистили у куриц. Я всегда себя чувствовала неуютно, когда в доме был беспорядок. Ещё до школы около кровати завела кукольный уголок. Кукла Настя, кукла Раиса, кукла Людмила, мальчик Володя, мишка Ник и ещё маленькие куколки. Я каждый день всю эту семейку «кормила», а на ночь укладывала спать. Однажды я, усталая, уснула, а кукол спать не положила. Проснувшись, я почувствовала себя неловко: «Я сплю, а куклы (мои дети) — сидят». Долго мучилась, пока не встала и не уложила всех спать. Тогда и сама уснула, успокоившись. Такие же чувства испытывала, когда в доме было не прибрано. Люблю, чтобы в доме были чистота и порядок. Этому нас учила мама и требовала всегда порядка.

Потом шла во двор, там ждала корова Муська. Её нужно гнать на водопой. Увидя меня, она протяжно мычала. Беру салазки с прикрепленной бочкой, чтобы привезти воды для мытья и стирки. Для мытья мы привозили с речки лёд, так как вода в проруби была затхлая и невкусная, но корова пила её хорошо.

Белый снег пронзительно и ритмично скрипит под ногами коровы. В бочке бречит ведро, как оркестровые тарелки. Яркое солнце в зените. Его лучи отражаются в белом снеге так, что трудно смотреть. Какое-то озорство овладевает мною. Хочется кричать, прыгать, бросаться снежками, наконец, надавать кому-нибудь тумаков.

Воду я сносила домой, а то замёрзнет в бочке, Муське дала сена, вычистила в стайке. А дома Танечка уже сидела с игрой «Летающие колпачки», в которую мы очень любили играть. Она захлопала в ладоши, когда я взяла лопаточку и поставила колпачок. Сестрёнка ждала этой минуты.

Зимой рано темнеет. Я вычистила стекло от лампы бумагой, налила керосину. Принесла дров, закрыла ставни. Вот и пришла мамочка. Можно бежать в школу!

Любили мы вечерами собираться в школе. Вначале она нам казалась таинственной, каким-то большим кораблём, плывущим в неведомые страны. Каждый день мы плавали то в Африку, то в Америку, то на какой-нибудь таинственный остров. Старый, добрый дед Илья разносил дрова к печкам, их было много, и все протапливались за ночь, чтобы утром в школе было тепло. Мы помогали деду Илье разносить дрова. А потом, забравшись в свой класс за печку, в темноте рассказывали разные страшные истории, небылицы и сказки. Желтоглазая луна заглядывала в большие окна классной комнаты, освещая наши удивлённые и испуганные лица. От страшных историй мы боялись пошевелиться. Валя Трунова тоненьким голоском говорила:

— У нас в бане живут черти с рогами, глаза горят огнём, сами чёрные, как сажа, длинный чёрный хвост. Я нисколечко не вру, ведь их видела бабушка, она-то не соврёт...

И мы верили, что существуют черти, хотелось хоть одним глазком увидеть этих таинственных существ. Также нам хотелось увидеть и ведьму, и колдунью, и чёрную кошку с железными когтями. Мы договорились, что обязательно сходим в Валину баню и посидим там ещё, так как мы уже сидели там не раз, но никаких чертей не видели, хотя страху натерпелись! Некоторые сказки и разные небылицы мы рассказывали по нескольку раз. Но как приятно было их слушать в тёмном классе, наполненном тишиной. Охваченные страхом, боимся пошевелиться, оглянуться назад: «А вдруг там черти!» Потом начинаем один за другим зевать. Затаив дыхание, выходили в коридор, где от каждой печи яркая полоска, как от прожектора. Мы проходим темноту, светлую полосу; идём не по коридору, а по сказочному царству. Узкие полоски света от топящихся печей указывают нам путь, а в тёмных углах сидят, конечно, черти, ведьмы, чёрные кошки с железными когтями. В вестибюле мрак, там нет печей. Скорей на улицу! Над школой висит громадная жёлтая луна, светит ярко, загадочно, освещая тёмно-лиловый снег. Мы рассматриваем луну, подняв головы. Какие-то облака, пятна. Что там на луне? Из чего она состоит? Может ли человек долететь когда-нибудь до луны. Множество вопросов будоражат наши головы. По скрипучему снегу, по затихшим улицам посёлка, нарушаемым только брехом собак, мы бежим домой.

А война идёт...

Первая похоронка

Почтальонов в нашем посёлке любили. Их ждали, высматривали, когда же появится тётя Паша с чёрной сумкой на широком ремне через плечо. Но так было до тех пор, пока не стали приносить похоронки. Это слово нам казалось очень страшным. Когда его произносили, то казалось, что слышится смертельный страшный грохот, и виделись мёртвые тела людей. Похоронки приносили в дом слёзы и горе. И разносили их те почтальоны, которые разносили письма и газеты. Теперь на почтальонов смотрели со страхом. Когда они приближались к дому, захватывало дыхание, тревожно стучало сердце, и облегчённо вздыхали, когда они проходили мимо.

Первая похоронка пришла на Ивана Тарасова. Соседки одна за другой шли в тарасовскую избу. Я тоже пошла туда. Проходя мимо окон, я услышала плач. Сердце больно ждалось. Война несёт смерть. И всё же как-то не верилось, что дяди Ивана нет в живых. Тётя Елена плакала и причитала: «Фашисты проклятые, убили, убили нашего кормильца! Как жить-то теперь? Скажите, люди добрые!» Она поднимала голову и с заплаканными глазами, с растрёпанными волосами, смотрела на соседок. Те плакали, вытирая платочками глаза. Плакали дети.

Похоронка пришла на соседей: Петра Сотникова, Ивана Татарина и многих других. А дела на фронте были всё хуже и хуже. Наши войска оставляли город за городом. Плотным кольцом был окружён Ленинград.

Посёлок замер, замолк, засыпанный снегом, скованный трескучим, сибирским, пятидесятиградусным морозом. Поползли слухи, что немцы захватят всю страну до Урала, а Сибирь отдадут японцам, так как немцы не любят морозов.

В классе была гнетущая тишина, тяжёлая, давящая. На переменах тоже было тихо. Стояли кучками ученики, плотно прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Всё меньше раздавалось смеха, беготня прекратилась, перестали петь песни — не до песен. Мы превращались в маленьких рассудительных старичков. Дрова у школы

кончились. В классе становилось всё холоднее и холоднее. Мы сидели на уроках в пальто. Отогревали руками чернильницы, замёрзшие на улице, они не оттаивали, приходилось подолгу дышать на них. Тетради в магазинах исчезли, мы шивали газетные листы и в таких тетрадях писали. Несколько человек в школе заболели тифом. В класс пришла врач в белом халате. Она просмотрела всем головы, некоторые фамилии записала себе в блокнот, а потом сказала:

— Завтра же всем необходимо волосы остричь.

А Вера Сотникова, сидевшая на первой парте с длинной русой косой, тихонько спросила:

— И девочкам?

— Да, и девочкам, если не хотите болеть тифом. В школу с волосами пускать не будем! — сказала строго врач.

Мы остригли свои косички и чёлки. А назавтра не могли узнать друг друга. Без волос все казались смешными и похудевшими. У Вани Татарникова голова оказалась вытянутой, как тыква. Смех да и только! Девочки стали походить на мальчиков. Но девочкам учительница разрешила надеть платочки — без волос голова совсем мёрзла.

Вскоре произошло ещё одно событие. Нас стали кормить в школе. В тёмной комнате с одним окном, выходящим во двор, поставили три длинных стола и скамьи. Здесь сделали столовую. Мы стояли на большой перемене в очереди, вдыхая вкусный аромат супа. Пахло пареной капустой. И этот запах казался необычным. В школьном коридоре мы глотали слюнки, очень хотелось есть. Подходила очередь, и нам в наши мисочки, которые принесли из дома, с ложечками, наливали суп и давали по маленькому кусочку хлеба. Усевшись за стол, мы быстро поглощали свою порцию. После еды становилось теплее. Миша Шальгин, которого все звали Шаньгой, снимал свою овчинную шубу, говорил громко во весь класс:

— Фу, жарко, кому дать шубу погреться?

Но нам и без его шубы было тепло.

А однажды Нина Савельевна принесла в класс десять пар серых пухлых валенок. Ей помогал нести их Петя Петров.

Учительница сказала:

— Нам выделили десять пар валенок. В первую очередь будем выдавать ученикам из многодетных семей, тем, у кого трудное материальное положение.

Трудное материальное положение было во всех семьях. Я сидела и думала: «У нас не очень трудное». Подняла руку и бойко сказала:

— Нужно выделить Пете Петрову. Он ходит в ботинках, а ведь холодно.

— Правильно, — сказала Нина Савельевна. — Я так же думаю.

Названы были Катя Тарасова, Маша Ситникова, Коля Малов и другие. И вот осталась всего одна пара валенок.

— А эту пару я предлагаю дать Зое Новиковой, — сказала учительница.

Я вспыхнула от неожиданности. У меня на ногах были унты из чёрной овчины, которые сшила мама, а поверх унтов надеты галоши. Ноги не мерзли, и легко было ходить, только снег пронзительно скрипел от резиновых галош.

— Нина Савельевна! Отдайте кому-нибудь более нуждающемуся. У меня ноги не мёрзнут, — промолвила я.

Но она, поглядев на меня, сказала:

— Ты отличница, тобою гордится класс, и у тебя нет валенок.

Она подошла к моей парте и поставила на неё серые валенки. Ребята согласно кивали головами и говорили: «Конечно, ей выдать!»

Удивилась же мама, когда увидела, что я принесла валенки.

— Теперь у меня душа не будет болеть, я всё переживала, что тебе холодно в унтах-то, — сказала мама.

— Нет, мне не холодно, — ответила я.

Но валенки стала носить. Когда я вышла в них на улицу, то почувствовала, что в валенках гораздо теплее. И мама была очень довольна.

Вот такую заботу о нас, детях, мы постоянно чувствовали, хотя и шла война.

Эвакуированные дети

В посёлке стало всё больше появляться незнакомых людей. Это были эвакуированные. Их распределяли по домам. Хозяева выделяли одну небольшую комнату, где едва размещались две кровати и столик. Если большая семья, то спать приходилось по двое-трое. Почти всех эвакуированных мы, ребяташки, знали. Они приходили в магазин за хлебом. И там вместе со всеми стояли в очереди. Теперь хлеб отпускался по хлебным карточкам. Но отстаивать в очереди приходилось часами. Ведь продавцу нужно было отрезать маленькие квадратики на хлебной карточке. А если большая семья, то и карточек больше. Сосчитать, сколько хлеба нужно отпустить, потом взвесить его; подсчитать, сколько нужно заплатить. И люди терпеливо стояли в очереди.

Иногда утром хлеба в магазин не привозили. Придя из школы, после обеда мчишься в магазин за хлебом. Я стою в очереди и всех рассматриваю. А что больше делать? Вот стоит женщина — высокая, худая, бледная. С обеих сторон стоят две девочки — держатся за расклешённую юбку матери. На старшей короткое пальто с короткими рукавами, она явно из него выросла, на голове клетчатый платочек, большие валенки подшиты. Её глаза грустные, полные печали и горя. «Наверное, они голодные», — подумала я. Мне до боли в сердце стало жалко их. Я посмотрела на других женщин. Что это? Глаза, оказывается, у всех задумчивые и грустные. Посмотришь в глаза этих людей и чувствуешь, сколько горя терпят они. И сколько горя ещё предстоит вынести, чтобы выжить. Найти силы преодолеть те трудности и лишения, которые принесла война, проклятые фашисты.

А многие эвакуированные прибыли из самого пекла войны. Рисковали своими жизнями и жизнями детей. Они покинули свои дома, квартиры, бросив всё имущество, нажитое годами и взяв с собой самое необходимое. Поехали в неизвестные края, подальше от мест, где шли бои, где рвались снаряды, а в воздухе выли немецкие «Мессершмитты», беспрестанно бросая бомбы на мирные города и сёла. Много передумашь, пока стоишь в очереди за хлебом.

Вскоре мы с эвакуированными познакомились поближе. Эвакуированные дети стали появляться в школе. В наш класс пришла девочка Неля Манькова. Она такая была худенькая, что красивое шерстяное серое платьице болталось на ней как на вешалке. Нина Савельевна велела ей надеть пальто, ведь в классе было холодно. Её нежное белое лицо с большими голубыми глазами и чёлкой золотистых волос, а главное общительность, нам всем понравились. Она много рассказывала о городе Брянске, о его скверах и памятниках, о высоких зданиях во весь квартал с магазинами на нижнем этаже. Особенно много Неля рассказывала о магазине «Детский мир». Сколько там кукол, заводных машин, мишек и слонов. Мы с интересом её слушали. Ведь многие из нас никогда не бывали в городе.

Но о том, как вместе с матерью она попала под бомбёжку, девочка не могла рассказывать. Она сразу начинала плакать. Мы не могли её успокоить, как ни старались. Давали воды и больше ни о чём не спрашивали.

Как-то мы с ней вместе выходили из школы. На руках у неё варежки были тонкие и рваные. «Она столько перенесла горя, да ещё у неё руки мёрзнут», — подумала я.

Дома я всё рассказала маме, попросила её сшить рукавицы такие же, как у меня. Через несколько дней я подарила Неле тёплые рукавицы.

Другим эвакуированным был мальчик Женя Овсянников, ростом маленький, худенький и очень подвижный. Если его вызывали к доске, то он бежал, а не шёл. Быстро брал мел и энергично писал на доске. Учился он только на «отлично».

На большой перемене ко мне подошла Вера Петрова и тихонько сказала:

— А ты знаешь, эвакуированный Женя иногда приходит в школу голодный. У нас вчера была соседка Татьяна Перфильева (он у них живёт на квартире), так она рассказала, что пока была картошка, то ещё можно было жить, а сейчас картошку всю съели.

«Как же помочь Жене?» — размышляла я. Эта мысль мучила меня весь день и даже ночью. Под большим секретом всё рассказала Кате Тарасовой, когда шли в школу. Перебрали разные варианты помощи и вот что придумали.

На следующий день в моём портфеле лежала картошка, а книги и тетради положили в Катину матерчатую сумку. Картошка была тяжёлая, и мы с ней по очереди несли портфель. Но в школе произошёл эпизод, который мы с Катей никак не предвидели. Так как мы шли с отдыхом, то пришли в школу, когда заливчато звенел звонок. Суетной толпой ученики ринулись в свои классы. В этот момент у Кати расстегнулся портфель, и картошка посыпалась на пол. Вытаращив испуганные глаза, Катя не знала, что делать.

Ребятишки, пробегая мимо, говорили: «Картошечка!» Коридор опустел, а мы проворно начали собирать картошку, разбросанную по всему коридору. Из учительской вышли учителя с классными журналами в руках. Вот вышла Нина Савельевна. Она мельком взглянула на нас и хотела пройти дальше, но вдруг повернулась, подошла к нам, удивлённо спросила:

— Что вы делаете?

Мы стояли растерянные и беспомощные, запачканные, и не знали, что сказать.

— Ничего не понимаю, — сказала учительница. — Зачем в школу принесли картошку?

— Мы... мы для Жени, — промямлили мы. — Он голодает.

Нина Савельевна всё поняла, на то она и учительница. Помогла застегнуть портфель, помогла донести. Потом ушла, сказав, что идёт к директору. Мы с Катей догадались, наверное, насчёт Овсянникова. А я сидела и думала: «Картошку-то мы принесли, а как отдать ему, вдруг не возьмёт, и куда он положит её, мешка у него никакого нет».

После уроков мы пошли за Женей, неся по очереди этот злополучный портфель. Овсянников шёл и всё время оглядывался. А когда стал подходить к дому, где жил, мы подошли и сказали:

— А мы к тебе в гости!

— Да? — удивился мальчик, но пригласил: — Проходите.

Дом, в котором жил Женя, был без ставень и без сеней. Вероятно, хозяин не успел достроить его и ушёл воевать. В доме холодно и неуютно, но чисто. На окнах никаких занавесок. В комнате, что была хозяйской, стояли две кровати. Одна с кружевной простыней, покрывало зелёного цвета и с прошивками на подушках; другая покрыта серым покрывалом. Между двух окон комод, на нём глиняная статуэтка в красном сарафане, называемая «Хозяйка медной горы, в красивом расшитом кокошнике». Четыре венских старинных стула. Вот и всё убранство. В другой комнате, меньшей, с одним окошком, жили Овсянниковы. Стояли две железных кровати, покрытые серыми старенькими покрывалами. У окна втиснут маленький столик со стопкой книг. Была ещё кухня просторная, с большой печкой посередине. Стоял обеденный стол, на стене шкафчик для посуды, в углу умывальник за серенькой занавеской.

Я очень просто предложила Жене:

— Давай варить картошку, а то есть хочется.

— А её у нас нет! — протяжно проговорил он.

— А вот! — мы с Катей наперебой показывали картошку. — Иди за дровами, топи печь, а мы поставим варить картошку.

Вскоре в избе стало тепло, а мы втроём без хлеба ели картошку в «мундире», обильно посыпая её солью. Остальную картошку высыпали в ведро, опустошив мой портфель.

Через два дня Нина Савельевна нам сказала, что школа для Жени Савельева и других эвакуированных детей выделила пособия.

— Так что можете в школу картошку не носить, — подошла поближе и погладила нас с Катей по головам.

Но в классе установился закон: если кто-то из учеников приносил с собой ржаную лепёшку или пирожок с картошкой, то половина отдавалась им — эвакуированным детям.

Вскоре в наш класс пришла ещё одна новенькая, та девочка, которую я видела в магазине с мамой и сестрёнкой. Испуганная, жалкая, худая и бледная, она стояла перед классом, опустив голову, изредка поглядывая на всех нас своими слишком печальными глазами. Свободное место было на последней парте, в углу. Нина Савельевна сказала:

— Это Таня Голдобина. Пройди сядь на свободное место.

Девочка прошла и села. А мы все, тридцать шесть учеников, смотрели на неё.

Вскоре мы узнали о страшной судьбе девочки. В посёлке быстро все новости разносятся. Поезд, в котором ехала Таня с мамой и сестрёнкой, начали бомбить немецкие «Мессершмитты». Все побежали в ближайший лес, скатываясь с насыпи. Когда стало тихо, люди подошли к поезду. Но поезд был почти весь разбомблён, а вместе с ним пожитки, чемоданы и узлы — необходимые вещи. Они остались в том, что было на них. Несчастных людей отвели в ближайшее село переночевать. Назавтра опять посадили в поезд и опять повезли. Поезд шёл долго, нудно в глубь Сибири. Потом их посадили в автобусы и привезли в Степной. Так Таня Голдобина оказалась в нашем посёлке. К новенькой быстро привыкли, как и к другим эвакуированным. Но через несколько дней её пришлось пересаживать за первую парту, ближе к столу учителя, на место Толи Михайлова.

А произошло вот что. Урок чтения подходил к концу. Вдруг раздался крик Веры Перфильевой:

— Ой, что с ней?

Все испуганно повернулись туда, откуда кричали. Новенькая, свалившись на парту, была бледна, глаза закрыты. Нина Савельевна бросилась к девочке. Все зашумели. Кто побежал за водой, кто в учительскую за нашатырным спиртом. Потерли виски, дали понюхать спирту. Таня медленно открыла глаза. Подали водички. Нина Савельевна посадила её за первую парту перед своим столом. Таня никогда не улыбалась, а нам хотелось как-то развеселить её. Но как? Глядя на неё, хотелось плакать. Она в свои девять лет разучилась даже улыбаться... Проклятые фашисты!

А один раз я познакомилась с эвакуированной девушкой семнадцати лет. У нас в классе училась Роза Булычина, буряточка. У неё первой после стрижки отросли волосы, чёрные, с отливами, и густые. Любопытные узкие глаза, толстоватые губы, высокий рост, крупное телосложение — всё это выделяло её среди нас. Она часто стала провожать меня до дому. Роза шла рядом и всегда о чём-нибудь рассказывала. Я её с удовольствием слушала. Так мы и подружились. Больше всего она рассказывала об эвакуированной семье, которая жила у них. А особенно о семнадцатилетней Ольге Назаренко. Такой возраст всегда привлекает младших девчонок. Взрослая девушка начинает следить за собой, часто смотреться в зеркало, подводить брови, завивать волосы, модно их зачёсывать. Так вот Роза знала об Ольге всё. И даже сообщила, что

у неё есть жених, который воюет и пишет Ольге любовные письма. Девушка очень переживает за своего жениха, боится, что его убьют фашисты. Роза столько рассказывала об Ольге Назаренко, что мне очень захотелось её увидеть. Вскоре такой случай представился.

Морозная зима властно требовала больших расходов дров и сена. Запасы сена иссякали. Коровы мёрзли и ели больше обычного. Я со страхом смотрела на всё быстро убывающую копну. А мама говорила:

— Продать корову или зарубить на мясо можно, но как жить без коровы? Это же кормилица!

В летнее время Муська давала по два ведра молока, утром ведро и вечером. Зимой, конечно, меньше, да если плохой корм, то совсем мало, ведь у коровы молоко на языке. Масло, творог, сметана — всё было своё.

И вот Роза мне однажды говорит:

— Поедешь с нами за трухой на сенную базу? Мы с Ольгой едем.

Я, конечно, согласилась. И сена привезти корове, и посмотреть на Ольгу Назаренко, которая меня заинтересовала так же, как и Розу.

После уроков я взяла салазки, крапивный куль и поехала к Булычиным. На крыльцо вышла Ольга, я её сразу узнала. Красивее девушки я ещё не видела. Она походила на киноактрису, а какую, я не могла определить. Обыкновенная стёганка серого цвета ловко сидела на ней. На ногах мужские ботинки и длинные шерстяные носки, на голове тёплый пуховый платочек. Но такая одежда нисколько не портила её. Глаза большие и чёрные, как смородина, маленький нос, яркие губы — всё было необыкновенно красивым.

Она спрыгнула с крыльца, взяла кули под мышку и ловко зашагала впереди нас. Мы с Розой, очарованные ею, держа в руках санки, двинулись за ней. Роза только шепнула:

— Видала какая?

— Да! — многозначительно проговорила я. — Актриса!!!

И мы шли за ней. А когда покинули посёлок и пошли по дороге, тянувшейся вдоль пронзительно белоснежной степи, Ольга запела. Сначала она тихо напевала, а потом громче и громче. И вот летит над снежной степью девичья песня: «На позиции девушка провожала бойца». Мы с Розой были уверены, что девушка поёт про себя. Я слышала эту песню первый раз. Мы бодро шагали за поющей девушкой. Хотелось жить, хотелось, чтобы у людей никогда не было горя, а у поющей Ольги чтобы вернулся жених здоровым и невредимым.

Вскоре показалась сенная база. Нам разрешили собирать труху там, где стояли когда-то прямоугольные зарёды. Плотно набив трухой мешки, на закате солнца я привезла корм для Муськи. Потом по воскресеньям мы с мамой, взяв саночки, ездили на заснеженные поля за соломой. Купили на базаре ещё возок сена за триста рублей. Так и продержали коровушку в зиму.

С дровами тоже была проблема. Поленица всё убывала, и настал день, когда дрова кончились. Что делать? На Якутской улице жил дед Спиридон. Был у деда рогатый белый бык. На нем он привозил из лесу дрова, то одной красноармейке привезёт, то другой. Мама пошла к нему. Но что за несчастье?! Простыл дед, лежит на лежанке и охает.

— Не могу, — говорит, — поехать, захворал.

— Дай тогда быка. Я сама съезжу, — попросила мама.

Дед долго думал, но потом согласился.

Одевшись тепло, я сажусь в сани рядом с мамой. Медленно и величаво идёт бык. Мама покрикивает, понукает его, чтобы быстрее доехать до леса. Но бык бегать не умеет. Шагает размеренно, нудно. Хочется спать. Я начинаю мёрзнуть, выскакиваю

из саней и бегу по дороге вперёд. Снова сажусь в сани. Опять едем, едем. Наконец-то добрались до леса. Собираем сухой хворост. Мама возок туго затягивает верёвкой. Едем назад. Мы с мамой идём рядом около возка. В темноте приезжаем домой. А когда я засыпала, то снова явственно увидела на белоснежной дороге одинокую фигуру маленького человечка с санками, нагруженными хворостом. Это был он, Женя Овсянников.

Горе Муси Мусинцевой

Новый 1942-й год мы встречали с большой красавицей ёлкой, которую установили в актовом зале. И вообще, всё было бы хорошо, если бы не одно событие, которое омрачило нам Новый год.

Оставаясь после уроков, моё октябрятское звено сочинило вот такую сказку о Зайчишке-трусишке Тишке:

Жил в лесу Зайчишка-трусишка Тишка. Всех он боялся. Увидит медведя — трясётся от страха. Увидит волка — убегает без оглядки, куда глаза глядят. Увидит лису — скорее прячется за сугробы да пни. Зайчишка-трусишка Тишка с утра до вечера то убегает, то прячется, то трясётся от страха.

Надоела ему такая жизнь. И решил он стать храбрым: «Не буду никого бояться да прятаться». И вот идёт по лесу Зайчишка-трусишка Тишка. А навстречу ему медведь шагает. Затрясся было зайчишка, да вспомнил, что решил храбрым быть. Идёт мимо медведя, уши кверху поднял, спину выпрямил. А медведь от удивления стоит, не шелохнётся: «Ну и ну, что это с зайцем? Какой храбрый стал!»

Идёт дальше Зайчишка-трусишка Тишка. А навстречу ему волк-волчище. Хотел убежать зайчишка, да вспомнил, что он храбрым хочет стать. Поднял высоко уши, спину выпрямил и идёт мимо волка. Удивился волк: «Сколько живу в лесу, таких зайчат не видел...»

Идёт дальше заяц, а навстречу ему хитрая лиса. Хотел Зайчишка-трусишка Тишка скрыться за высоким сугробом, да вспомнил, что храбрым хочет встать. Поднял уши, выпрямил спину и идёт мимо лисы. Удивилась лиса: «Никогда ещё таких зайцев не видела!» И не стала его трогать.

А Зайчишка-трусишка Тишка не стал никого бояться и всем зайцам рассказал о своей храбрости.

Распределили роли, приготовили маски. А Зайчишку-трусишку Тишку играла маленькая Муся Мусинцева.

Вот пришли мы на ёлку, а Муси Мусинцевой нет. Мы волновались, бегали, выглядывали её. Терялись в догадках: «Что случилось?» А без зайца пьесу не поставишь... Наконец-то она пришла. Мы обрадовались, бросились к ней. Но когда посмотрели ей в лицо, то все сразу замолчали, поняли, что что-то страшное случилось с Мусей Мусинцевой. Тёмные глаза заплаканы, лицо осунулось, в руках помятые бумажные заячьи уши. Она посмотрела на всех и прошептала:

— Похоронку на папу вчера получили...

Стало совсем тихо. Расхотелось и вокруг ёлки ходить, и выступать. Жалкая, бледная Муся Мусинцева стояла в окружении растерянных ребятишек, которые знали, что такое горе может случиться с каждым. Война никого не щадит!

Жила Муся Мусинцева в «Заготскоте», в полутора километрах от школы. Она каждый день, в стужу и пургу, ходила в школу и никогда не опаздывала. Да ещё при-

носила жмых — целый кусок величиной с книгу. На перемене мы делили этот жмых. Так как он отламывался с трудом, мы подходили к Мусе, держащей жмых в руках, и откусывали понемногу, а потом долго мусолили его как конфету.

И вот у Муси Мусинцевой горе. В зимние каникулы всё моё октябрятское звено пошло проведать Мусю. Шли и удивлялись, как далеко она живёт. Прошли весь посёлок до окраины заснеженной пустыни и увидели одинаковые домики в одну улицу, в которых жили работники «Заготскота»; длинный-предлинный забор из досок, побелённый известью, за которым содержится скот.

В уютной небольшой комнате отогреваемся. На стене между двух окон висит портрет. Смущённая молодая женщина с косами вокруг головы и широкоплечий красивый мужчина с чёрными прямыми волосами, зачёсанными наверх, и с усиками над плотно сжатым ртом. Это Мусины родители. Мы долго рассматриваем портрет. Читаем похоронку: «В боях за столицу нашей Родины — Москву героически погиб Фёдор Афанасьевич Мусинцев».

В небе пели жаворонки

Между тем холодная, тревожная, вьюжная зима была на исходе. Дни становились длиннее. Яркое солнце постепенно растопило весь снежный покров, образуя повсюду лужи. Ночью лужи замерзали. На гладком, словно полированном льду, пока идёшь в школу, можно было покататься. В степи за посёлком на проталинах расцвели подснежники. Синими озёрами распластались поляны с ласковыми пушистыми вестниками весны. Они были просто красивы. Их было так много, и мы рвали их целыми охапками в платки, шапки. А потом дома ровненько в тарелках с водой ставили на видное место.

А когда на пшеничных полях чуть подсыхала земля, освобождённая от снега, люди семьями устремлялись сюда за колосками. Шли женщины и дети, старики и старухи собирать драгоценные злаки. Целый день ходили по оттаявшему полю, склоняясь за каждым колосочком. Особенно тяжело становилось после полудня, когда земля окончательно раскисала. Ломило от усталости спину, а мешок, наполненный сырыми колосками, давил плечи. Хотелось пить, есть, стучало в висках, а обувь, густо обмазанная чёрной клейкой грязью, была тяжела. Но пока солнце не направлялось к закату, с поля никто не уходил. Недели две каждый день ходили по окрестным полям, собирая колоски. Дома, разостлав старые покрывала, на воздухе и солнце сушили их. Сухие колоски в мешках колотили палками, чтобы отделить зерно. Ждали ветреной погоды. Из ведра медленно сыпали сорное зерно. Ветер относил в сторону шелуху, и золотистые зёрнышки падали на разостланное покрывало.

Мастер, старик Пётр Дурасов, сделал круподёрку для всего околотка: два деревянных диска, на верхнем прикреплена ручка, у нижнего диска сверху железный желобок, откуда сыплется мука. Соседи занимали очередь на круподёрку. И когда мама приносила эту маленькую мельницу домой, то все дела оставляли на потом. Целыми днями по очереди крутили круподёрку. Даже Танечка трудилась. Хрустели зёрнышки, а из желобка сыпалась долгожданная мука. Прокручивали на два раза. А если прокрутить на один раз, то получалась пшённая крупа. Каша из неё тоже была вкусная, если сварена на молоке да с маслом.

Дети ходили на картофельные поля собирать мороженую картошку. Растирали её на терке, добавляли муки, молока, яйцо и пекли лепёшки.

А взрослые в это время, в основном, конечно, женщины, каждый день ходили в

поле за десять километров копать лопатой участок для посадки картофеля. Представитель поссовета, пожилая энергичная женщина, нарезала поляны. Каждая семья брала не менее десяти соток. А вдруг неурожай, что тогда целую зиму есть, если нет картошки? Вот и брали побольше земли. Тяжело было женщинам целый день лопатой землю копать.

Снова в небе пели жаворонки. Пахло согретой солнцем землёй. Изредка порывистый ветер приносил со степи запахи ещё нежной зелёной травы. Солнце пригревало. Становилось жарко, хотелось пить, а вода в бидонах согрелась и плохо утоляла жажду. Поздно вечером покидали поле, чтобы летом ещё не раз прийти сюда полоть и окучивать картофель. А то урожая не жди! Всё нужно сделать вовремя: и выполоть, чтобы сорняки не задавили, и окучить, чтобы лучше вызревал картофель. А дома ждала работа в огородах. Как ни трудно было, но каждая хозяйка старалась посадить огород.

Его тоже нужно было вскопать лопатой, сделать грядки, посадить во влажную землю семена моркови, свёклы, редиски, лука, капусты. Но всего труднее было делать огуречную гряду из навоза, который носили со двора в огород. Тяжёлые мешки оттягивали руки, появлялись мозоли. Но хочешь, чтобы было больше огурцов, значит, и гряду делаешь больше. После посадки необходимо каждую лунку поливать, каждый день на закате солнца. Только в дождливую погоду — отдых.

В делах да хлопотах идут дни за днями. Приходит долгожданное лето, а с ним летние каникулы. Мы шумной оравой бежим в лес по степи, заросшей пахучим чабрецом, переполненной стрёкотом кузнечиков. Изредка из-под ног стремительно вылетает птичка-пичужка, испугавшаяся и испугавшая нас. Сколько удивления вызывают грибы-шары, лопающиеся с треском при ударе, окутывающие облаком коричневой пыли, которые мы называли табак дедушки-соседушки.

В лесу да и в степи всегда можно найти что-нибудь съестное: то терпкие листья щавеля, то горький тоненький полевой чеснок, то какие-то корни выкапываем, то нежные кустики крапивки срываем для заправки баланды. Целый день на подножном корму.

И с упоением, даже с жадностью, ловили в речке пескарей. Для этого тоже требовалось умение и терпение. Литровую банку перевязывали тряпочкой, делая посередине небольшое отверстие. В банку клали корочки хлеба. Возле чуть колышущей тины на песок ставили банку. И, согнувшись, стояли в ожидании рыбок. Вот появляется стайка, кажущихся в воде чёрными, игривых пескарей. Как только рыбка заплывёт в банку, нужно её схватить, закрыв отверстие рукой. При удачном улове получалась полная сковорода вкусной зажаренной рыбы.

Пионерский лагерь

Тёплым ранним утром я уезжала в пионерский лагерь. Я сидела на чемодане, куда мама сложила одежду: платье, носки, панамку, ботинки. На ногах у меня были новые тапочки, сшитые буряткой Бадмой из голенищ старых папиных сапог.

Подъехал синий автобус. Дети разных возрастов быстро уселись на кожаные сиденья. А когда автобус тронулся, все бросились к окнам и отчаянно махали руками провожающим родителям. Ехали долго по шоссе, а потом по просёлочной пыльной дороге. Дорога в основном пролегла по степи, кое-где около невысоких гор, поросших перелесками.

Начальник пионерского лагеря Анна Петровна Голубева, ехавшая с нами, подала знак шофёру остановиться для отдыха детей. Мы шумно и торопливо выпрыгивали из автобуса. Перед нами распласталась просторная бурятская степь, наполненная запахами душистых трав, кузнечным трезвоном, пением птиц. Высоко в небе парил

коршун, выслеживая себе добычу. Недалеко от дороги пробежал рыжий проворный суслик. Мальчишки с криком кинулись за ним, но он вмиг исчез.

Тишина, мир, покой...

Поехали дальше. Иногда дорога проходила близко к реке Кудинке, а потом опять убегала в степь. Речка блестела, маня своей прохладой. В степи, вдали от дороги, время от времени виднелись бурятские юрты. Среди широкой степи они казались загадочными, а живущие в них люди со своим укладом жизни, обычаями — таинственными и необычными.

День был жаркий. В автобусе стало душно и пыльно. Снова останавливаемся около реки. Все выскочили с одним желанием искупаться, напиться, так как воду, взятую с собой для питья, выпили. Но врач, Тина Николаевна, строго запретила купаться, тем более пить. Недалеко, прямо в воде, стояло стадо коров, беспрестанно махая хвостами, отгоняя кусачих паутов. Вода была грязная. А пить всем хотелось. И тогда решили поехать к бурятским юртам. «Есть же у них колодец...» — говорила врач. Автобус покатил по дороге, ведущей к юртам, коих было не больше десятка. И вот уже видно, как местные ребята выскочили в нетерпеливом ожидании на дорогу. А когда автобус остановился и из него начали выходить мы, у ребятшек только пятки засверкали. Они были босиком, в одних трусиках, а загорелые тела почти не отличались от цвета чёрных, выцветших на солнце трусов. Дети забежали за юрту и оттуда с любопытством и испугом глядели на нас. Взрослых не было видно, и мы вошли в юрту. Сразу пахло чем-то кислым, кожей, дымом. Окон не было, свет падал только в отверстие на потолке, поэтому в юрте был полумрак и прохлада. Когда глаза приспособились к полумраку, увидели старушку-бурятку, сидевшую на лавке. Она курила трубку, сплёвывая сквозь зубы в пепел кострища. Волосы её были заплетены в косички, а в ушах красовались продолговатые, с орнаментом серьги из червонного золота. Старушка повернула к нам голову, рассматривая нас с любопытством и интересом. Анна Петровна попросила воды. Старушка выколотила содержимое из трубки, положила её в карман широкого платья, встала и указала нам на флягу с деревянной самодельной кружкой.

Когда все по очереди пили, я продолжала рассматривать юрту. Она была просторная. Построена из брёвен, круглая, с куполообразной крышей с отверстием посередине. Топят её по-курному, в отверстие в крыше выходит дым от костра. Пол застлан досками. На противоположной от входа стороне стоял большой деревянный сундук, рядом деревянные нары, застланные шкурами, а на них закрученные калачиком постели. Около нар конская коричневая шкура. На низеньком продолговатом столе — стопка деревянных самодельных мисок, кружки и оловянные ложки.

Когда все напились, поблагодарили старушку, она спросила:

— Куда поехали?

— В пионерский лагерь, — ответили мы.

— А-а, пионерская лагеря... — протянула старушка и пошла провожать нас.

Колодца нигде не было видно. И мы спросили:

— Где берёте воду для питья?

Старушка ответила:

— Речка берём, шибко рано, до солнца...

Ребятишки всё ещё стояли за соседней юртой. Только когда все расселись и автобус тронулся, они выскочили из своей засады.

Анна Петровна, зная обычаи из жизни бурят, рассказала:

— Юрты у них называются летниками. Они сюда приезжают летом со скотом. В степи просторно, вот и пасётся скот. А зимой живут в зимниках, в домах таких же, как в русских деревнях. Около каждого дома огорожены участки земли, в них за лето вырастает высокая трава, которую косят для скота.

Потом она спросила:

— А вы видели большую деревянную поварёшку, висевшую на стене? Так вот, такой поварёшкой они разливают лапшу, которую очень любят, и ещё, когда варят саламат*, мешают ею. Саламат тоже любимое блюдо бурят.

В раздумьях о жизни степных людей мы приезжаем до места своего назначения.

Разместили нас в деревянном домике с крылечками. Рядами стоят железные синие кровати, стол, в углу на треугольной полочке, прибитой прямо к стене, «сердитый» портрет Маяковского в коричневой рамке, несколько стульев. За домами, в которых жили пионеры, было небольшое село. В основном жили здесь буряты, занимающиеся скотоводством, хлебопашеством. Вокруг села высокие горы со смешанными лесами. В ста метрах от домов, под лысой горой, протекала река Кудинка, поросшая тальником, черёмухой и высокой осокистой травой.

Нас предупредили, чтобы мы были осторожными, так как в этой местности водятся ядовитые змеи. Многие из нас никогда змей не видели.

На второй день, когда мы собрались на обед, на крылечке увидели что-то подозрительное бледно-коричневого цвета с тёмными полосками. Догадались сразу, что это змея. Раздался визг. Боялись пройти мимо. Змея лежала, не шелохнувшись. А нам казалось, как только будем проходить мимо, она сразу же подпрыгнет и укусит нас. Мы со страхом поглядывали на змею, но идти первым мимо не решался никто. В стороне стояла группа мальчишек, с любопытством и насмешливыми улыбочками смотрели на нас. Все уже пообедали. Воспитательница Зоя Павловна идёт к нам в корпус. Всё это мы видим, столпившись около окна. Зоя Павловна подошла, увидела вытянутую змею на крыльце, догадалась, в чём дело. Позвала мальчишек, тех, которые наблюдали. Один из них, Стёпка Меньшиков, боевой и отчаянный мальчишка, подошёл и сказал:

— Да она мертвая, чего испугались-то?

Взял палку и поддел безжизненное длинное тело змеи. Мы выскочили из корпуса и с любопытством рассматривали змею.

А после обеда в тихий час долго совещались, как отомстить мальчишкам, особенно Стёпке Меньшикову. Одна одно предлагала, другая — другое. Вера Тарбеева предложила положить на крыльцо им дохлую крысу. Но где её взять? И всё таки придумали.. Задумку свою решили осуществить сегодня же, как только стемнеет. Самая высокая у нас была Лида Иванова. Мы её обернули белой простыней, на лицо натянули чей-то старый шёлковый чулок, для глаз прорезали отверстия, на голову одели пучок из осоки. Получилось страшное привидение.

Когда лагерь уснул, наша группа во главе с привидением двинулась к корпусу мальчишек, где жил и Стёпка Меньшиков. Ночь была тёмная, вероятно, перед дождём. В небе ни луны, ни звёздочки. И как-то тревожно тихо. Лида Иванова встала напротив окон мальчишек, но на таком расстоянии, чтобы можно было убежать. У одной девочки был фонарь. Она спряталась за угол, освещая наше привидение, остальные тоже спрятались, кто где и как мог. У четырёх девочек было задание: звонко и неожиданно постучать в окна так, чтобы мальчишки проснулись и бросились к окнам, а там — привидение. Мы решили, если испугаются, то не выйдут догонять, а не испугаются — будут догонять. Всё проделали так, как задумали. Вот только никто не знает, выйдут мальчишки догонять привидение или нет. Поэтому все бежали без оглядки, быстро нырнули в свои кровати. Быстрее всех, путаясь в простыни и падая, бежало «привидение». Посмеялись, пошептались и уснули. Назавтра решили посмотреть на мальчишек, как они будут выглядеть. Ничего, выглядели нормально. А когда мимо них проходила Лида Иванова, то Стёпка Меньшиков спросил:

— Эй, длинная, это ты вчера была привидением?

*Саламат — продукт из муки и сметаны (бурят.).

Калачики

Летели дни за днями. Лагерная жизнь нам нравилась. Правда, когда вспоминали дом, родных, то становилось очень грустно, портилось настроение. Мы купались в речке, загорали, писали домой письма. Ходили в недалёкие походы. Интересен был поход к истоку реки Кудинки. За деревней около леса большую площадь занимает озеро. Заполняют это озеро несколько ручейков, бьющих из-под земли у подножия высокой каменистой горы. Постепенно озеро сужается, и вода направляется по руслу. Речка, в которой мы купаемся всё лето дома, здесь берёт своё начало. В истоке она чистая, прозрачная и холодная.

А вечерами, уже в постели, мы наперебой рассказывали страшные истории. И когда засыпали, то совершенно ясно слышали, как маленькие черти стучат в железные ножки наших кроватей. Замирает от страха сердце. Закутавшись с головой в одеяло, мы успокаивались.

В лагере я подружилась с хорошей девочкой Верой Мироновой. Мне нравились её большие голубые глаза, каштановые, чуть вьющиеся волосы, красивые руки. Она хорошо пела, превосходно читала стихи, любила книги. В небольшой библиотеке мы брали с ней книги и читали всё подряд: Жюль Верна и Горького, Чехова и Тургенева, и даже прочитали «Консуэло» Жорж Санд. Все эти книги будоражили наше детское воображение и мысли. Мы любили с ней сидеть на берегу реки, забравшись в высокую траву, и в полном одиночестве отдавались чтению. Только иногда громадные стрекозы с прозрачными крылышками отвлекали нас. Иногда прямо на книгу садились красивые с тёмными пятнами, словно бархатные, бабочки.

Один раз мы долго с ней сидели с книгами на берегу реки. Только когда захотелось есть, мы вспомнили, что уже подошло время обеда. Из высокой травы и мелкого кустарника, росшего у дороги, мы выбрались на дорогу и быстро пошли вперёд. Вдруг позади нас послышался какой-то неопределённый шум. Мы обе оглянулись. За нами шла большая круглобокая свинья, неизвестно откуда взявшаяся. Я шепнула:

— Это не свинья, а колдунья.

И стремительно ринулась бежать. Вера за мной. Пробежав несколько метров, мы оглянулись и увидели, что свинья, вытянув морду, выпрямив торчком треугольные уши, бежала за нами. Тяжело дыша, вбежали в спальню. Удивлённые девочки окружили нас. Едва отдышавшись, мы проговорили:

— Свинья заколдована!

Все бросились за дверь смотреть свинью, да ещё заколдованную. Но её на дороге не оказалось. Тогда мы стали искать хрюшку в кочках, невысоком кустарнике, но свиньи нигде не было. Девочки смеялись, говорили, что мы сказали неправду. Мы давали честное слово, клялись мамой, папой, Лениным, Сталиным. Но доказать-то было нечем. Свиньи действительно нигде не было.

Когда мы остались с Верой одни, я её тихонько спросила:

— Может, нам показалась свинья-то?

Но она ответила:

— Мы же обе видели её.

Однажды произошло событие, взбудоражившее весь лагерь. На противоположной стороне речки высоко в небо возвышалась гора, поросшая елями. Она манила нас, звала к себе, не давала покоя. Хотелось, очень хотелось посмотреть, что там за горой, побывать на вершине. А что если?..

В тихий час вся наша компания отправилась к реке. Перейдя реку вброд, мы начали взбираться вверх по горе. Забираться на крутую, усыпанную валунами и камнями гору было трудно. На самой вершине росла корявая ель. Усталые, запыхавшиеся, но

довольные, посадив немало синяков и шишек, мы взобрались на эту ель и чувствовали себя героями. Над нами было голубое небо, внизу речка Кудинка, извиваясь змеей, блестела среди степного простора. На противоположной стороне горы были леса, которые простирались до самого горизонта. Они казались необжитыми и безлюдными.

Оля Семёнова вдруг нам крикнула:

— Девочки, калачики!

Не понимая, какие такие калачики, мы быстро покинули ель и подошли к Оле. Она с высоких растений с продолговатыми листьями срывала коробочки и оттуда извлекала маленькие кругленькие калачики. Оля, наполнив ими полный рот, сказала:

— Их едят.

И мы тоже стали собирать вязкие, безвкусные семена — калачики. Кто больше, кто меньше, но ели все.

Мы думали, спускаться с горы будет легко. Но это было так же трудно, как и взбираться. В лагере никто не догадался о наших проделках. Но вскоре пришлось всё самим рассказать. У всех нас к вечеру началось головокружение и тошнота. Мы легли на кровати, но тошнота не проходила. У Оли Семёновой началась рвота. Испуганная воспитательница Зоя Павловна побежала за врачом. У Ольги начались судороги, и она говорила что-то бессвязное, а мы со страхом смотрели на неё и ждали, что и с нами будет то же. Нас всех быстро повели в медчасть. Поили обильно водой, чтобы вызвать рвоту. Давали беленькие таблетки, а Ольгу кололи уколами, а она их очень боялась и кричала пронзительно и громко. Когда мы выходили из кабинета врача бледные и несчастные, гулом встретили нас собравшиеся ребята. «Покойнички!», «Ну, как калачики?!» — слышалось отовсюду. А Стёпка Меньшиков, расталкивая всех, кричал:

— Отойди в сторону, они ведь белены объелись!

Мы молча шли к себе в корпус. Конечно, нам было стыдно. На ужин мы не пошли.

А врач Тина Николаевна провела у нас всю ночь и прочитала нам лекцию о ядовитых растениях. Слушая Тину Николаевну, мы боялись, что умрём, не увидим маму и папу, который возвратится с войны. Не доживём до счастливейшего дня победы. Мы потихоньку плакали от жалости к себе и так со слезами на глазах засыпали тревожным сном.

А назавтра утром на линейке начальник лагеря Анна Петровна нам всем, одиннадцати девочкам, велела выйти вперёд. Перед всеми ребятами она объявила нам строгий выговор за самовольное посещение горы. И ещё она объявила, что мы займёмся сбором лекарственных трав.

— Сегодня все отряды выйдут на сбор подорожника. Лекарственные травы нужны фронту, — громко сказала Анна Петровна.

После завтрака отряды пошли на сбор подорожника. На берегу речки, за лесом, были целые поляны этих листочков.

Несколько дней мы собирали подорожник сумками, складывали его в пакеты, которые делали из газет.

Потом вышли собирать «мышьяк», по-научному — «термопсис».

Тина Николаевна сказала, что это растение ядовито. Поэтому мы, наверное, с меньшей охотой собирали его. Рос термопсис целыми полянами за перелеском на невысоких холмиках.

Врач поясняла:

— Настой из термопсиса употребляют при катаре верхних дыхательных путей, гриппе, бронхите, воспалении лёгких, при головных болях, кожных заболеваниях, при заболевании кишечника.

Но больше всего нам нравилось собирать пахучую богородскую траву чабрец. За сбором богородской травы мы выходили далеко в степь.

Тина Николаевна говорила:

— Вот вырастете, и, может, кто-нибудь из вас займётся изучением растений, их лекарственных свойств. Такая наука называется фармакологией.

Мы молчали, мы просто не знали, кем будем, когда вырастем.

Письма

Отполыхал громадный прощальный пионерский костёр. Отзвучали последние грустные песни. Настал день отъезда из пионерского лагеря. Последние дни жизни в лагере были невесёлыми. Девочки из старшего отряда ходили грустные. А мы с Верой Мироновой догадывались почему. Случилось так, что Глеб Усов, весельчак и командир, душа всего лагеря, девчоночий сердцеед, уехал домой раньше на несколько дней. У него заболела мама, и на попутной колхозной машине ему пришлось уехать. Вскоре и мы все выехали из лагеря. Закончился наш сезон.

Дома получили письма с фронта от папы и тёти Веры, старшей маминой сестры. Я жадно читаю письма.

Тётя Вера писала:

Здравствуй, сестра, здравствуйте, любимые племянницы Зоенька и Танечка! В первых строках своего письма сообщаю, что я жива и здорова, хотя некоторых моих подруг-медсестёр уже нет. Вчера похоронили мою подругу Ольгу Березовскую. Прекрасная была дивчина, красавица, певунья.

У меня большая радость. Меня наградили орденом Красной Звезды.

Да, на моих глазах умер земляк Иван Турчанинов. Он жил в вашем посёлке, на Октябрьской улице, № 53. Похоронили его недалеко от медсанбата, около зарослей вереска. Я долго плакала на его могиле. Если встретите его родных, то скажите: «Останусь жива, приду к ним, всё подробно расскажу».

Пока всё, нужно спешить, привезли раненых.

Ваша тётя Вера

Потом я прочитала письмо от отца. Он воевал на Минском фронте. И тоже писал: «Пока жив и здоров». В обоих письмах два страшных слова: «хотя» и «пока». Какое будет счастье, если они останутся живыми и не ранеными. Я этого очень хотела. Держа в руках драгоценные листочки, я шептала: «Останьтесь живы-невредимы, прошу вас!!!»

Мама заглянула в комнату и спросила:

— Что ты там шепчешь?

Я сказала. Мама села рядом со мной и заплакала.

Плачущей я видела её первый раз в жизни. Как ни трудно было, но она никогда не плакала. Она была мужественной женщиной. И все трудности, упавшие на её плечи, переносила удивительно легко, как будто так и надо. А её выносливость и трудолюбие всегда поражали меня. Она относилась к разряду таких женщин, у которых всегда в доме порядок и всегда есть горячая похлёбка. И добивалась всего этого трудом. Мама говорила: «Под лежачий камень вода не течёт». Она умела делать всё: шить любую одежду, даже шубу и унты, сварить борщ, постряпать вкусный пирог, умела косить и запрягать лошадь. Ещё умела петь прекрасные русские задушевные песни. А когда отплясывала русскую барыню, небольшая ростом, аккуратная, сероглазая, с открытым русским лицом, то, конечно, все любовались ею. Мне стало жаль её, свою маму, ведь я-то знала, как ей трудно и тяжело. Поэтому, как старшая дочь, всегда старалась ей во всём помогать. Я плакала вместе с мамой. Мне жаль было её, Ольгу Березовскую, Ивана Турчанинова и всех эвакуированных детей.

— Сколько же ещё продлится эта проклятая война, когда она кончится? — спрашивала я.

А мама сказала:

— Кто же, дочка, знает, но обязательно кончится...

Спектакль о кукле Суок и о делах в классе

Вот и настал день первого сентября. Книги куплены, новых мало, все подержанные. Осматривая мой старый портфель, мама сказала:

— Может, ещё год выдюжит...

Я согласно кивала головой: «Где же взять новый?»

Вот заходит в класс наша учительница Нина Савельевна. «Как хорошо, что я учусь у Нины Савельевны!» — подумала я. Она, стоя у стола, долго рассматривала нас, улыбалась. Попросила всех встать и сказала:

— Выросли-то как, а главное, загорели...

Мы стояли довольные-довольные, что выросли.

Потянулись день за днём школьные будни.

В сентябре все студенты из города выезжали в колхозы на уборку урожая. Учёба в вузах и техникумах прервалась. Однажды после обеда к нам из Ушаковского приехала родственница тётя Даша. Она преподавала химию в медицинском училище. Тётя Даша поехала дальше — в колхоз на месяц со студентами, а у нас оставила свою дочку Леночку, мою ровесницу, двоюродную сестру. В городе голод, и девочку не с кем оставить. «Ничего, — подумала я, рассматривая девочку, — симпатичная». На ней было осеннее серое пальто на кокетке, со складкой на спине, и шапка с помпоном красного цвета. Когда она сняла пальто, то оказалась в шерстяном платьице в складку, а сверху одета розовая шерстяная кофта. Мне понравилось её серое пальто и шапка с помпоном. Немедля я все её вещи надела на себя, мы ростом были одинаковы, подбежала к зеркалу. На меня смотрела совсем незнакомая девочка в сером пальто и в красной шапке с помпоном. Интересно, что бы сказали в школе, увидев меня в такой одежде? Я поняла, как меняет человека одежда. В красивой одежде человек становится красивым. «Кончится война, попрошу у мамы купить мне такое же серое пальто со складкой на спине», — подумала я, стоя у зеркала.

Лена оказалась большой выдумщицей. В городе, где она жила, часто ходила в Театр юного зрителя, посещала Дворец пионеров. Она много рассказывала о нём. Особенно меня поразило то, что там, где проходят занятия хореографического кружка, стены сплошь зеркальные. Танцуй и смотри, как у тебя получается. Лена рассказывала нам с сестрёнкой роман-сказку «Три толстяка» Юрия Карловича Олеши. Пьесу, поставленную по мотивам этого произведения, она посмотрела в театре юного зрителя. Вдруг у нас с ней возникла идея поставить эту пьесу с куклами. Кукол у меня было много. Самая красивая моя кукла Людмила стала Суок. Суок значит «вся жизнь». На голову ей мы прикрепили большой белый бант. Тремя толстяками были слон матерчатый, медвежонок с оторванной лапой и выдавшая виды бархатная кошка. Принцем Тутти был гуттаперчевый мальчик. Доктором Гаспаром была кукла в накидке с подрисованными на глазах очками. Из стульев соорудили сцену. И начались репетиции. В это время в комнату никого не впускали, даже сестрёнку, которой было очень интересно, чем же мы там занимаемся. Вскоре ей мы разрешили присутствовать на репетициях, и даже лаять, когда это нужно было. Спектакль назначили на воскресенье, в четыре часа дня. Соседские дети знали, что я с городской девчонкой готовлю спектакль о кукле Суок.

В воскресенье нашу комнату быстро заполнили дети разных возрастов. Усаживались кто где и как мог, с любопытством поглядывая на стулья, покрытые зелёной скатертью с кистями. Это была театральная штора. Лена включает старинные часы, принадлежащие когда-то дедушке. Они проигрывают мелодию «Не брани меня, родная». Убираем скатерть, то есть занавес, и спектакль начался. Мы с Леной хорошо выучили роли, дружно распеваем куплеты:

*Как из кашля сделать жар,
Знает доктор наш Гаспар.*

Танцует доктор Гаспар. Мы, артисты, возмемся за стульями. Зрители, соседские ребята, с интересом смотрят наш спектакль. Маленькая Машка, сидевшая прямо на полу, раскрыла рот. Иногда, запрокинув голову, громко хохочет. Она, может быть, впервые в театре, пусть и самодеятельном. Нам с Леной становится жарко. Вдохновенно мы с куклами поём, танцуем, прыгаем, говорим. Танцует и поёт Суок. И заканчиваем спектакль песней:

*Пусть злится мороз за воротами,
Но в комнате нашей тепло,
И солнце, и радость, и счастье,
И розовый куст на окне.*

Я быстро на стул, то есть на сцену, ставлю расцветшую розовыми соцветиями яранку. Всё. Спектакль окончен. Дети аплодируют, а мы на высоте блаженства — нам рукоплещут в знак одобрения. Мы поднимаемся с Леной и важно так раскланиваемся перед «почтенной» публикой. Чувство удовлетворения и ликующей радости переполняет нас.

С Леной мы подружились. А когда из колхоза приехала тётя Даша, похудевшая и почерневшая, увезла Лену в город, в доме стало пусто и тихо. Потом я решила обучать сестру. Все роли, которые исполняла Лена, стала воплощать на импровизированной сцене сестра. Конечно, получалось хуже, но что поделаешь!

Потом пришло новое увлечение. Я стала учительницей. Со всей серьёзностью играли в школу. За партами, то есть стульями, сидели сестрёнка Танечка, соседская Валюша с братом Пашей, рыжим и конопатым. Я сшила из книг тетрадки, маленькие, игрушечные. Завела журнал, где выставляла оценки. В валенки вставляла катушки из-под ниток, изображая учительницу на каблуках. И когда «мои ученики» пошли в школу, то умели читать и писать. А сестрёнка стала отличницей.

Между тем в школе тоже стало что-то происходить. Все мальчишки сгруппировались около Миши Шальгина, которого все звали Шаньгой. Он ходил в окружении мальчишек в расстегнутой рубашке, важничал, явно кому-то подражал. Один только Вова Маркин не вливался в его компанию. И потом поплатился за это, а с ним и я. Девочки, в свою очередь, тоже собирались в кружок и никакого внимания на мальчишек не обращали. Только часто стали говорить о Шаньге, о том, что он плохо учится и плохо себя ведёт. Мальчишки куда-то уходили на переменах, а когда возвращались, то от них пахло табаком. Они чувствовали себя взрослыми, ведь многие из них в семье были за старшего.

Как-то раз я пришла в класс. Поставила портфель на сидение парты, хотела выйти из класса, но тут взгляд упал на доску. На ней мелом крупными буквами было написано: «Зоя + Вова = любовь». Слово «любовь» без мягкого знака. Значит, писал такой грамотей. Я подбежала к доске и стала стирать гадкую запись. А у самой мысли отчаянно запрыгали: «Кто же это написал и почему Вова?» Я перебрала всех мальчишек и ясно представила себе лицо Шаньги. Смуглое круглое лицо и хитровато-карие глаза смо-

трели на меня, когда я входила в здание школы. «Это он, конечно, он...» — подумала я. Когда прозвенел звонок и все расселись по партам, я стала незаметно рассматривать всех мальчишек. Учительницу, конечно, не слушала. И вдруг — что это?! Когда встретились наши взгляды с Вовой Маркиным, то он густо покраснел, покраснели даже уши, и опустил голову. «Что это он?» — озадачилась я. Вова Маркин был в классе незаметен. Внешность он имел обыкновенную. Серые глаза, чуть курносый нос, светлые или даже рыжие волосы. «Рыжим» его иногда дразнили. Отличником он не был, но учился без посредственных оценок. Вова был очень молчаливым мальчиком. А такие всегда были незаметными среди шумных, дерзких, бойких на язык детей.

После уроков целая орава мальчишек во главе с хитро улыбающимся Шаньгой пошли меня провожать. Шли и распевали дурацкую частушку:

*На низу собаки лают —
Это парочка идёт.
Зоя в беленьких носочках
Вову пьяного ведёт.*

Я иду, а они горланят на всю улицу. Скорее бегу домой как от злых собак. От горя не знаю, что делать. Мысли мои отчаянно прыгают. Провожали они меня долго — недели три. Я всё думала, как избавиться от этих провожатых? Рассказать Нине Савельевне — стыдно, маме — ещё стыднее. Надоели они мне хуже чертей.

И вот после уроков толпа мальчишек опять двинулась за мной. Вдруг меня осенила мысль. Я повернулась и пошла прямо к ним. Шаньга от удивления и неожиданности раскрыл рот. Он только что собирался распевать дурацкую частушку. Подхожу к ним ближе, вижу множество глаз: серых, голубых, карих, напряжённо смотрящих на меня.

— Эх, вы, дразнилки! — дрожащим, но громким голосом, говорю я. — Такие мальчишки, как вы, на войне совершают подвиги, бьют фашистов, а вы... вы умеете только дразниться. Хлюпики вы!

Резко повернулась и пошла прочь, настороженно прислушиваясь, идут ли за мной провожатые. Но было тихо. Дойдя до угла дома, я оглянулась. На улице ни одного мальчишки не было. Так я избавилась от провожатых. А Вова Маркин совсем мне не стал нравиться.

Наступил 1943-й год. В наряде стрекоз танцевала я со своими одноклассницами вокруг ёлки. Вот и зимние каникулы с играми в снежную крепость, катанием на санках и лыжах. А на второй день после зимних каникул (12 января) Советское Информбюро сообщает:

Мучительная блокада Ленинграда прорвана. Объединившиеся фронты Ленинградский, под командование генерала Л.А. Говорова, и Волховский, под командованием генерала К.А. Мерецкова, освободили Шлиссельбург. В Ленинград смогли по железной дороге доставлять измученным людям продовольствие, топливо, снаряжение. В блокированном Ленинграде хлеба выдавалось всего по 125 граммов. Ели крапиву, лебеду, клей жарили на олифе (вместо масла). Только одна ниточка соединяла ленинградцев с Большой землей — это «Дорога жизни». Она пролегла через Ладожское озеро, по которому круглосуточно под непрерывным обстрелом везли продукты питания.

Величие духа, стойкость и самоотверженность проявили ленинградцы.

2 февраля новое сообщение:

Закончена битва за Сталинград, длившаяся двести дней и ночей, начавшаяся 17 июня 1942 года. По количеству участвовавших в ней людей и боевой техники она превзошла все битвы, которые знала история. В боях участвовало более двух миллионов человек, 26 тысяч орудий и миномётов, две тысячи танков, столько же самолётов.

Красная Армия выдержала натиск гитлеровских войск и перешла в контрнаступление. Наступил новый период в борьбе с фашистами. План гитлеровцев был сорван, рассчитанный на разгром Красной Армии и окончание войны против СССР в 1942 году. В ходе контрнаступления было разгромлено пять гитлеровских армий. Враг понёс потери в количестве более 800 тысяч человек. В плен была взята 91 тысяча солдат и офицеров, в том числе командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс. Эта победа имела колоссальное военно-политическое и международное значение. Она заставила союзников и врагов СССР пересмотреть свою политику в отношении нашей страны. Инициатива в ведении боевых действий прочно перешла на сторону Красной Армии. Эту весть весь советский народ встретил с великой радостью.

В тылу советские люди согласны были вынести все трудности, лишь бы скорее разбить врага, дожить до дня победы. А трудностей было много. В продовольственных и промтоварных магазинах было пусто. Нечем было торговать. В ряде магазинов совсем заколотили досками двери и окна. Только на базаре можно было купить что-то необходимое, заплатив баснословную цену. Булка хлеба стоила 200 рублей, мешок картошки — 1200 рублей. Одежда, сапоги, туфли продавались все кустарного производства. В магазинах с хлебом были частые перебои. Ходили за хлебом утром и после обеда. Иногда целую неделю хлеба не было. Продавец устало отвечал:

— На пекарне нет муки, когда будет, не знаю.

Наконец-то привозили в магазин, но не хлеб, а муку. За все пропущенные дни, по 70 граммов за день отпускалась мука. Стряпали из этой муки, добавив наполовину картошки, ковриги. Они получались сырыми и тяжёлыми, но пахли хлебом...

РЫЖАЯ СОНЯ

Незнакомых людей в посёлке становилось всё больше и больше. Среди них появилась женщина по прозвищу Рыжая Соня. Так её звали и взрослые и дети. Одета она была в потрёпанное пальто из модной серой материи. На ногах — изрядно поношенные сапоги. Голова повязана синим платком, концы которого свисали за спиной. Из-под платка торчали две кудели рыже-красноватых волос, наверное, покрашенные красным стрептоцидом. Большой прямой нос выделялся на лице. А глаза были какого-то неопределенного цвета, не то серые, не то синие. Говорят, глаза — душа человека. А у Рыжей Сони глаза были без души, пустые и нагловатые. Она приходила в хлебный магазин, но в очереди никогда не стояла. Рыжая Соня подходила к продавцу и протягивала руку, держа длинными тонкими пальцами хлебную карточку. Женщины ругали и стыдили её. А она говорила при этом, как-то кругом водя глазами:

— Я эвакуированная и имею право брать свою долю без очереди.

И уходила из магазина, положив в сумочку свою долю. Женщины долго, ругая Рыжую Соню, не могли успокоиться, а мы, дети, стоящие в очереди, просто презирали её. Мы с Верой Мироновой и Катей Тарасовой попытались как-то подразнить её, хотя знали, что взрослых дразнить нехорошо. Мы все в голос крикнули:

— Рыжая Соня!

Она шла и не обращала на наши крики никакого внимания. Нас это взъело. И мы начали кричать наперебой ещё громче.

Она резко остановилась и сказала:

— Гадкие дети!

И показала нам кулак. Мы почему-то поверили, что мы — гадкие дети.

Между тем в посёлке стали о ней говорить, что она спекулянтка.

Однажды мартовским солнечным воскресным днём я со своими подругами Верой Мироновой, Катей Тарасовой и Розой Булычиной пришла на базар. День был тёплый, поэтому на базарной площади было многолюдно и шумно. В стороне от прилавков стояли привязанные лошади, запряжённые в сани. Это приехали колхозники из близлежащих деревень. На прилавки они составили молоко, сметану, масло, сформованное в шарики — круглые и жёлтые. Кое-кто торговал квашеной капустой, солёной черемшой, чесноком. Была в продаже и картошка. В мясном ряду двое мужчин, лет шестидесяти, торговали мясом. На противоположном прилавке продавали разную одежду: шубы, сапоги, валенки, добротнo подшитые, и другие поношенные вещи.

Моя компания деловито обошла весь базар; всё просмотрели, иногда спрашивали цену. Но купили только по кусочку серы, вкусной и ароматной, у женщины, которая расхваливала её и сама аппетитно чавкала. Челюсти наши усердно заработали. Вдруг мы увидели Рыжую Соню. Она быстро подошла к прилавку, встала среди торгующих женщин, заняла место. Но в руках для продажи у неё ничего не было. Из ворот вышел мужчина, странно одетый. Военные брюки галифе, цвета хаки, кирзовые сапоги, сверху стеганка серого цвета, на голове — шапка-ушанка, тоже серого цвета. Он нёс увесистый чёрный чемодан и кого-то искал глазами. Увидев Рыжую Соню, направился к ней. Быстро поставил чемодан и, ничего не говоря, удалился с базарной площади. Вся моя компания стояла, разинув рот и забыв про серу. Рыжая Соня склонилась над чемоданом и стала что-то выкладывать на прилавок. Мы подошли ближе и увидели печатки хозяйственного мыла.

— Да, действительно, она спекулянтка, — сказала Катя.

— Где она взяла это мыло? — промолвила Вера.

— Кто этот мужчина? — спросила Роза.

А я воскликнула:

— Девочки, нужно заявить в милицию!

Все согласно кивали головами. Мы прошлись по базару. Ни одного милиционера не было. Между тем Рыжая Соня энергично начала торговать мылом. Колхозницы покупали сразу по несколько печаток. Надо спешить, а то распродаст спекулянтка свой товар и уйдёт. Мы соображали, что делать? И вдруг смотрим, в воротах показался сам начальник милиции Белобородов, высокий, красивый мужчина, в синей шинели. Мы бросились к нему, но в это время к Белобородову подошёл какой-то мужчина, здороваясь за руку. Они о чём-то заговорили. Нам неудобно было встречать в разговор взрослых, да ещё самого начальника милиции. Стоя за спиной Белобородова, мы терпеливо ждали конца разговора. Но мужчина, стоящий к нам лицом, заметил нас и что-то сказал Белобородову. Тот оглянулся и спросил:

— Что вы хотите, девочки?

Мы наперебой начали рассказывать о Рыжей Соне. Рассказали также и о мужчине с чемоданом. Начальник милиции внимательно выслушал нас, отдал нам честь и сказал:

— Спасибо, девочки, вы нам очень помогли.

А потом быстро удалился с базарной площади. Через некоторое время в ворота базара вошли два милиционера. Они быстро шли к Рыжей Соне. Мы боялись подходить близко, потому что думали, что она догадается, что это мы выдали её. Милиционер ей что-то сказал, другой взял чемодан. Через базарную площадь в сопровождении двух милиционеров прошла Рыжая Соня, низко опустив голову. На базаре поднялся шум. Каждый высказывал своё мнение. А одна деревенская женщина, в белом платке и бархатной чёрной куртке, громко говорила:

— А чего особенного, что продаёт. Нам ведь больше нигде купить мыло, как только у спекулянтов.

Другая её не поддержала:

— Нет, нет, спекулянтов нужно наказывать, наживаются за счёт других. Безобразие!

Я и моя компания с чувством исполненного долга пошли смотреть кинофильм «Подкидыш» в десятый раз.

Вскоре мы узнали, что Рыжая Соня была в сговоре с одним дельцом, который был старшиной стоящей в посёлке воинской части. Эта воинская часть появилась недавно. Рыжая Соня, приехав в наш посёлок, за большую сумму купила дом с огородом, в котором жила. После ареста в её доме милиция произвела обыск. Найдены были одиннадцать тысяч рублей. С тех пор Рыжую Соню мы никогда не видели.

Купание в дождь. Клубничные поляны

Вторая военная весна была стремительной и быстротечной. Вереницы людей опять потянулись на просторные поля собирать колоски. Опять бегут ребяташки собирать мороженный картофель. Опять копка земельных участков и посадка картофеля, работа на огородах, побелка в избах, уборка в оградах. Нежные синие подснежники снова усыпали оттаявшую от снега степь. Много разных забот и хлопот приходит с весной.

А мы, ребяташки, с нетерпением ждём летних каникул. Томительны и тяжелы последние дни учёбы. И странно бывает, когда ходишь в школу каждый день — ждёшь окончания школьных занятий, а когда отдыхаешь — ждёшь начала занятий. Я опять с отличными оценками заканчиваю учёбу. Бегу домой, подпрыгивая на ходу, неся в руках свёрнутую трубочкой похвальную грамоту. Почему-то вспоминаются те синие пахучие ирисы на поляне, которые я видела перед грозой, перед войной. Что стало с девушками и Сенечкой? Как сложились их судьбы? Знаю только про тётушек, живущих в городе. Тётя Вера на фронте в медсанбате. Тётя Надя работает шофёром в госпитале. А младшая Любочка учится в ШВТ (школа военных техников).

«У них у каждой своя судьба», — говорит мама. «Что такое судьба? — раздумываю я. — А какая ждёт меня судьба?»

Идут дни за днями, хлопотливые и беспокойные. Лето пришло знойное, засушливое, томительное. Засуха беспокоит людей, она несёт голод. Но вот низко над землёй стремительно носятся ласточки. И спасительный дождь приходит, и приходит вовремя. Теперь будет урожай на полях, и картофель вырастет, и трава на лугах. Ненастье затянулось. Вот уже неделю беспрестанно идёт дождь. Все канавы заполнились водой. Поднялся уровень воды в реке Кудинке, заливая пологие берега.

А мы, ребяташки, сидели и скучали дома. Надоело. И вот собралась вся соседская ребятня в Петровской избе на кухне. Сидят, кто на скамейке, кто на табуретке, кто прямо на полу. Вдруг стоящая у окна, по которому сыпал мелкий, нудный дождь, Ольга Петрова, ученица восьмого класса, заявила:

— Купаться так хочется! Пойдёмте купаться, а?

Мы все уставились на неё, не понимая, шутит она или нет. На кухне стало тихо. А потом вдруг все заговорили, зашумели. Катька сказала:

— Я пойду, а чего?

И вот уже вся компания решила немедленно, сейчас же, пойти купаться. Побежали по домам за полотенцами и плащами. Через некоторое время вся компания под дождём, по грязной дороге и мокрой траве идёт на речку. Дождь вдруг полил сильнее. Грязь чавкает под ногами. От холода и страха замирает сердце. И купаться совсем-совсем не хочется. Но все понуро бредут. Никто не хочет показаться трусом.

Обходя глубокие лужи, подходим к лужайке, где обычно раздевались и загорали в солнечную погоду. Но она вся залита водой. Располагаемся на пригорке. Медленно раздеваемся, незаметно поглядывая друг на друга. Аккуратно заворачиваем одежду в плащи, чтобы была сухая. По мокрой холодной траве, поджав руки к груди, подходим к мутно-жёлтой воде, разлившейся по траве. Капельки дождя, шлёпанье по упругой речной воде, брызгами отлетают вверх. Шлёпанье, визг — и мы в речке. Вода оказалась тёплой как парное молоко. Погрузившись в воду, не хочется высовываться, а то тело мёрзнет. Голова мокрая от дождя. А так всё так же: визг, шум, шлёпанье, как и в солнечную погоду. Проходившая по берегу реки женщина, одетая в мужские кирзовые сапоги и брезентовый длинный плащ с капюшоном, держа в руках пруттик, уставилась с удивлением на нас. Потом что-то крикнула. Но мы ничего не слышали. Нам весело, а главное, мы знаем, как купаться в дождь. Потом мы и в другие дождливые дни ходили купаться. Но вскоре ненастье кончилось. Настали жаркие дни. И мы всё свободное время проводили на речке.

А однажды в жаркий ясный день после купания, распластавшись на берегу, на зелёной траве, я сказала:

— В жару купались, в дождь купались, а вот ночью не купались.

Решение приняли быстро. Сегодня ночью, в 12 часов, идём купаться! Пришли все, только самые маленькие проспали, в том числе и моя сестрёнка. Подходим к реке. Вода кажется чёрной и густой, как нефть. По поверхности воды протянулась лунная дорожка. Вода страшная, и купаться несколько не хочется. Но каждый боится показаться трусливым. Начинаем раздеваться и медленно подходим к воде. Кто-то первым падает в спящую речку, затем звонкие всплески — это уже остальная ребятня погрузилась в воду. Лунная дорожка искривилась, заколебалась и исчезла. Всплески далеко раздаются над рекой в ночной тишине. Вода тёплая. В воде хорошо. Только купаемся почему-то все молча, не слышно визга и шума, которые обычно сопровождают детей, купающихся днём в солнечную погоду.

Мы любили свою речку Кудинку, её песчаное дно с ракушками и тиной, травянистые зелёные берега, болотца, поляны с сиреневыми незабудками. Эта речка, речка нашего тревожного детства, закаляла нас, сближала с природой.

Время шло. В поле созрела ягода — земляника и клубника. На берегу лежать теперь некогда. Поднявшись рано, чуть свет, с пустыми бренчащими вёдрами бежим в поле собирать ягоду. Обычно земляники было мало, хотя аромат и вкус этой ягоды не сравнить ни с чем. Зато клубнику собирали полными вёдрами. В поисках клубничных полей ходили около перелесков, перебираясь через обрывистые глубокие овраги. Ещё издали увидишь ярко зелёную поляну, а на ней краснеющую, влажную от росы, ягоду. Присядешь — и забываешь обо всём на свете! Только руки проворно отщипывают красный, сочный, ароматный, вкусный маленький плод. Потом находишь ещё и ещё поляны. Так целый день. А во второй половине дня жара становится невыносимой. От согретой земли, от каждой травинки и листочка, словно от горячей печки, исходит жар, томящий, пахнущий ароматом ягод, разнотравьем, нагретой землёй. А сверху палит нещадно солнце. Даже пения птиц не слышно. Хочется пить. Вода в бутылках горячая как кипяток. Пот застилает глаза, голова начинает кружиться. А ведро ещё неполное. Но пока ведро доверху не наполнится ягодой, никто не думает уходить домой. Наконец-то ведро полное! Завязываем его фартуком или платком, выходим на просёлочную дорогу, круто бегущую вниз с горы. Как на ладони виден посёлок. Видны приземистые домики, с заклеенными бумажными лентами крест-накрест окнами. Эти окна всегда напоминают: «Война идёт!» В центре выделяется двухэтажная школа, где учатся старшие классы, чуть левее — райком партии. Видны прямые улицы. Но мы стремимся только к речке. Она извивается перед посёлком, словно змея, блестя на солнце, манит нас, разморённых, уставших, измученных. Скорее туда, к воде! Больше

нет никаких желаний. И мысленно, в сотый раз, опускаешься в освежающую воду. Но идти ещё далеко, а полное ведро с ягодой тяжёлое. Рука устала, пальцы разжимаются. Блаженство приходит, когда, наконец-то падаешь в воду. Усталость в одно мгновение проходит.

И так каждый день, пока не иссякнут ягодные запасы на полянах. А там начнутся дожди, и в лесу вырастают грибы. Грибы собирать легче. Лесная прохлада не истомляет так человека. Грибные гряды подосиновиков вырастают под прошлогодней листвой в осиннике. Разгребёшь лист, а там пахучие, белые, влажные с одной стороны, розовые, ребристые, блестяще-гладкие с другой — подосиновики. Вот и полная корзина! Ставишь её на плечо и босиком по укатанной дороге идёшь домой. «Один день лета зиму кормит», — говорит мама. А зимой клубничное варенье и солёные грибы — лучшее лакомство!

5 августа 1943 года Советское Информбюро сообщало:
После тяжёлых упорных боёв взят город Орёл!

С апреля по радио особых сообщений не было. Было напряжённое затишье. Красная Армия готовилась к летним сражениям. В подготовке участвовала вся наша великая страна. Перед Красной Армией стояла задача разбить сильнейшие армии врага «Центр», «Север», «Юг». Вернуть Левобережную Украину, Донбасс и Белоруссию. Немецкие войска приготовились к битве в районе Курска. На это летнее наступление рассчитывало немецкое командование.

Сообщение от 13 сентября 1943 года:
Одна из величайших битв Второй мировой войны — Курская битва — окончена победой Красной Армии!

Эта битва длилась с 5 июля по 23 августа. Было разгромлено 30 немецко-фашистских дивизий. Курская битва показала всему миру несокрушимость Красной Армии, героизм советских воинов, полководческий талант командующих. Войсками Центрального фронта командовал генерал К.К. Рокоссовский. После Курской битвы началось всеобщее наступление на фронте длиной в две тысячи километров.



ВЛАДИМИР СКУРИХИН



Диктуется чувствами слово

Российский говорок

Жил я в рубленом доме,
Русский сельский учитель,
На житейском изломе
Детских душ попечитель.

У киоска пекарни
В шпалзаводском развале
Меня, русского парня,
Дети немцем назвали.

Видно, в русской деревне
Не сильна обезличка.
По традиции древней
Здесь у каждого кличка.

«Шплинт» — на Шпальном работает.
«Дрань» — стирает бельё.
«Не по-нашему ботает» —
Осудило бабьё.

Ай, порою без веры
В барабанные банты
Половина — «бандеры»,
Половина — сектанты.

Половина подростками,
Половина — деды
В эти дали неброские
Были заселены.

СКУРИХИН Владимир Евгеньевич родился в 1949 г. в пос. Стан Утиный на территории Береговых каторжных лагерей (БЕРЛАГ) Дальстроя НКВД СССР, ныне Магаданская область, куда родители его приехали из Ленинграда в связи с окончанием Горного института. Срочную службу проходил на севере острова Сахалин в зенитно-ракетных войсках. После окончания Иркутского лингвистического университета был сельским учителем в самом сердце Озерлага, в леспромхозе, населённом ссыльными участниками войн и представителями малых конфессий. Владимир Скурихин — член Союза писателей России, автор пяти поэтических сборников и книги эпиграмм. Живёт в г. Иркутске.

Словно юная пленница
И деревня сама.
Не плетни, а поленницы
Окружили дома.

Тут живут не бродяги.
Кто не пьёт, все при деле.
За отказ от присяги
По три года сидели

По понятиям веры
Школяры-богомольцы.
Эти — не пионеры.
Эти — не комсомольцы.

Эти — не воровали.
Эти — не лихоимцы.
Пополам — молдаване,
Пополам — украинцы.

Стукнул вечером как-то,
Прихвативши поллитру,
Я к немецкому брату,
В хату к Генриху Шмидту.

И на том говорочке,
Что мне стоил диплома,
Мы болтали в садочке
На завалинке дома.

«Это, Генрих, свобода, —
Говорил я ему, —
Что я без перевода
Даже немца пойму».

Выставлял он, речистый,
Бранденбургские гренцы:
«А ведь мы не нацисты,
Ленинградские немцы».

Ни цветочка, ни бублика,
Ни трагических слёз.
По корзиночке публика
Собрала и — в обоз.

И навстречу солдатчине —
Там на Запад наскок! —
В телогрейках значенных
Их везли на восток.

Мне на всём белом свете,
Кроме этого немца,
Леспромхозные дети,
Было некуда деться.

Тут ведь им что ни сбацай —
«Это всё не про нас!»
До пятнадцати наций
Приходилось на класс.

Я не выправил слухи
И на двойки я вист.
Осудили старухи:
«Он, слышать, не баптист?!»

Жил я в рубленом доме,
Русский сельский учитель,
На житейском изломе
Детских душ попечитель.

Река Чуна

Чудна река лазутчиком,
От шума ни следа.
Нашла себе попутчика
Без ложного стыда.

Глухой таёжной трассою
Неслышимая днём
Литой тяжёлой массой,
Гранёным хрусталём

Кичится не наколкою
Тесового весла,
Она кустами, ёлками
По скосам обросла.

Под тиною одежною —
Ведьмячий магазин.
И смотришь с безнадёжностью
Во мрак её глубин.

Ни городов, ни пристаней
Не мыла никогда.
Причаливать осмысленней
Учила нас вода.

Причаливать не в праздные,
А в ягодные дни.
Но есть места алмазные,
Опасные они.

Медленные ветви

Что делать, вою на Луну,
Хоть это и смешно, и жутко.
Какая-то дурная шутка —
В грузовике нестись в Чулу.

Какая ночь и что за ветер!
Танцуют звёзды на снегу,
И машут медленные ветви,
Уже предчувствуя пургу.

Куда я мчусь? Ведь милой руки
Там не обнимут. Но в ночи
Я принимаю эти муки.
И так всё дико, хоть кричи!

Огни, огни бегут за мною,
Вдруг возникая здесь и там.
Чудовища ночные воют.
Их тени мчатся по пятам,

И лапы их меня хватают,
Швыряют в чёрные кусты,
Терзают, сердце вырывают,
И пляшут мерзкие хвосты.

И никому не интересно,
Какие душат меня сны,
Погибну я или воскресну
Под безразличием луны.

И я уже не отличаю,
Где ложь, где правда, а где бред.
На письма близких отвечаю,
На письма иностранцев — нет.

Родством бродяческого рода
И тот мне брат, с кем вместе мчусь,
Кто воскресит, коль не проснусь.
Ах, как долга ещё дорога!..

Обижена неволей

Лицо Земли — мои леса,
Лощины да поляны.
Незримы наши чудеса.
Неписаны туманы.

Из семени растёт кедрач,
Но он не ведал века.
И не для славы и удач
Он ищет человека.

Обижена неволей встарь,
Здесь жизнь течёт смолою
И цепенеет, как янтарь,
Российскую судьбою.

Зима настанет — будем спать,
Что вообще не странно.
Отсюда тридцать лет скакать
До моря-окияна.

Воспоминания об Усть-Уде

Поглядеть на опушки картинные,
Где поляны взрастили уют,
Так повсюду рога изюбриные
То поднимутся, то упадут.

Вязко полз наш седан черепахою.
Пыль дорог промочило в лесу.
Вот тогда я на поле непаханом
Увидал молодую лису.

На стекле за алмазной осинкою —
Красно-бурая масть, огоньки.
Катерина махнула косынкою,
И посыпались в рот окуньки!

У реки у сибирской положено
Забирать, и перечить не сметь!
Я домой привезу подмороженных.
А икра — несомненная снедь.

А потом разберу на посолочку.
И не надо икорку в уху,
Чтоб сполна опрокидывать водочку
На бруснике, как в лисьем меху.

Смаковать те опушки картинные,
Где поляны взрастили уют,
Как над ними рога изюбриные
То поднимутся, то упадут.

Русская пастораль

Искусство, ускользнувшее в портрете... Лежала женщина с цветком в руке В приталенном и лёгком креп-жоржете, Модель на травянистом бугорке.	Где мурава, черёмуха, сирень. Где обстоятельны и мудры мужики. Никто не закричит, не обзовёт И постарается не оконфузить. Ни мне они, ни я им — не обуза. Деревня, как английский лорд, живёт.
С улыбкою внимала кавалеру, На благородном удаленье от неё На корточки присевшему, — вот всё, Что я готов принять на веру.	Она свободна от надоеданий. Занятия посильные в кружок. И как лубок под кронами — лужок, И дева вся в предчувствии лобзаний.
Вот русский рай на берегу реки, Что в тёплом редколесье деревень,	

Прохожий

И кожаная куртка, И меховой жилет — Вас двое на прогулке. Других похожих нет.	И имидж не меняя, Как верного коня, Ты свежее дыханье Вольёшь в мою строку, А я твоё сознание Навеки сберегу.
А ноги твои пляшут, Затянуты джинсой. И шлёпаешь по ляжке Привязанной косой.	Я — тот на карусели, Улыбкой — беспредел, Когда с ногами сели, Мороженое ел.
А, может, ты иная, Естественней меня.	

Постановка

Когда с Симоновским поставили «Старшего сына»,
Конечно артисты, статисты, суфлёры, портные,
Мы трое друзей: я — Володя, Семён и Василий,
Бросали на пальцах, наверно, мы тоже такие.

Какие такие?
Искали на танцах девчонок?
И нам подфартили иерусалимские джунгли?
Читали стихи, взгромоздившись
На шаткий бочонок?
И пикировали посева, ступая на угли.

Ведь страсть, как и воля,
Вторгается с торгу в понятия.
Диктуется чувствами слово,
Проснутся признания.

Не только поэзия — верная ночь и объятья.
Но ждёт оправдания Бога строка, как распутье.

О Ева, ты только пройди ещё раз по аллее!
Сыны и лобзания этим поэтам не судьи.
Здесь всех нас Вампилов обтачивает и жалеет.
Уснули суфлёры. Россия кулис на распутье...

Валентину Распутину

Инсценировка рассказа «Рудольфио»

Открылся пьесою рассказ —
Зал прослезился.
Распутин написал про нас,
Нигде не сбился.

Везде заправлен корешок.
Косьба приспеет.
Для публики Распутин — шок.
Он так умеет.

Тревогой улицы полны:
Ведь нас назвали.
Все понимают, это мы,
Мы потеряли.

Матёра — это и Иркутск,
И совесть в лицах.
Мы потеряли радость, друг,
Чтоб не влюбиться.

Теперь спокойствие одно.
Ведь всё сгорело.
В тумане тянут нас на дно
Душа и тело.

И не тревожит нас аврал —
Ведь это проза.
Остался лишь один квартал,
И тот — заноза.

Дармоед

Под окном у тётки Иры в грозы
В августе на Шерловой горе
На боярке набухают слёзы,
Набежав по ливневой поре.

Осыпь, перемытая в овраге,
Подсыхает, блёстками маня.
Мне казалось, что в туманной браге
Самоцветы зреют на камнях.

В горсть я собирал с тропы, как стразы,
Стеклышки, чтоб тётке показать.
А она, махнув рукой: «Топазы!
Тут их можно воз собирать».

Я стекляшки выбирал из глины,
Нёс, где тётка жарит карасей.
А она свое: «Аквармины!
Их полно по улице по всей...»

«Тётя, это ценности едва ли.
Мы топтали их, и дождь мочил?»
«Да американцам отдавали
Их за вооруженье и харчи...»

«Тётя, всё же клады, как в засаде.
Вы б могли озолотиться тут?»
«Изумрудов — пруд... Да ведь посадят.
А хунхузы попросту убьют.

Нам богатство это недоступно.
И ни сдать нельзя, и ни продать.
Что с камнями связано — преступно.
Что ж мы станем горе добывать?»

Что сказать, красивей нету доли,
Чем в цветенье маков на Руси
Не искать под горным блеском боли
И шагренью после не трясти.

Литературное эхо

1

Откроешь том в час озаренья,
Ища глагола —
Ни одного стихотворенья
Без ореола.

Ни одного пустого знака
Не свёл с пера.
Что наша жизнь без Пастернака?
Игра?

2

Я порою к зиме
С бородёнкой отрачивал баки
Кудреватые — город попёнком
Меня обзывал.
А за городом в топкой долине
У старых бараков
Даже Пушкиным кто-то,
Как в спину прицелясь, назвал.

И, как будто позвав, он мажорно
И сипло воскликнул,
Всем своим указавши —
Имеющим право перстом:
«Пушкин, Пушкин идёт!» —
И шпана посмотрела со смыслом,
Присмирив, как в «Замри!»,
Как щенки под хозяйским хлыстом.

«Пушкин,
Пушкин идёт!» — повторяли
Черны и бесполы,
Им по 10-15 годков, всяк одет кое-как,

И похоже, не вышли они
Из лица и школы.
...Из — взрастилища юных, лихих,
Беспощадных бродяг.

Это я ль на вершине миров,
Засверкав с перепугу,
Сам смиряю волчат,
Раздирающих землю в песок?
Или Пушкин? А сирых судеб
Беспредельную вьюгу
Он в сердцах этих чутких
Похожей судьбой перевозмог.

Я как равный прошёл
Меж сторевших на солнце бродяжек,
На могилках собравших
Конфеты и прочую снедь.
Только эхом тоски
По святому сообществу сказок
Мог ли я, как Дубровский, в глаза
Прямо им посмотреть?

3

А если, как Рабиндранат Тагор,
На всех полях повырастить по злаку,
Преодолеть удачу и позор,
Удочерить сражение и драку?

И в каждом сердце жаркий уголёк
Раздуть не пылом тела, а в природе,
Приникнувши дыханием эпох
К гнездовьям душ, взлелеенных в народе?

А как же нелюбимый человек?
Вон он, неблагодарен и преступен,
Как тысячи заведомых калек,
Не отличающий чудес от жупел?

И разве мы сумеем обойти,
Преодолеть в себе любовь и слёзы
Перед подругой, вянущей в пути,
Как маврами иссушенные розы?

* * *

Черепица тополиных крыш
Стала изразцовой по цвету.
В заводей растресканную тишь
Клеточки кладёт за метой мету.

Хрупкий сад, излизанный водой,
Стразами блеснул и лёг, как кошка.
Умудрённый он и молодой,
И самовлюблённости немножко.

У заката самый верный глаз.
Он и прослезится, да в усладу
Лучиком, собравшим каждый страз,
Чтоб наведывалась осень сразу.

Черепица тополиных крыш
Приютит бродячую собаку.
Ночью в кучах заскребётсямышь
И кубизм вползёт на драку Браку.

* * *

Прошла б она по городу, как ветер,
Забвенно отвернувшись на углу.
Я знать её не знал, но каждый вечер
Я вглядывался в сумрачную мглу.

В лицо ей не смеялись, а стреляли,
И десять раз ударили ножом.
Запутавшись с испугу в одеяле,
Лодыжку повредила, а потом

Беременная за́ гору ходила
За разливным коровьим молоком.

Отца и сына бедно схоронила.
Она в безумье впала, а потом

Жила среди могил, ночами выла,
Неделями в постели не спала.
А, может быть, она меня будила
И душу мне в страданиях родила?

Не более того... Но каждый вечер
Я вглядываюсь в сумрачную мглу.
Она прошла по городу, как ветер,
С улыбкой оглянувшись на углу.

Мой адамант

Я не забуду твой талант,
Когда на каблучках по улице
Ногами била ты в асфальт,
Где окна чреслами любятся.

И платья лёгкий аргумент
Над регенсами растекается.
И я не отвернусь, как Кент,
Который девушек стесняется.

Ты не вне, природы вне —
Ты мимо или тупиковая?

А может быть, уже на дне
Всё будущее бестолковое?

Когда ты двигаешься, вдрызг
Разламывая ветры площади,
Руль намечает первый писк,
Кодирующий рощи тощие.

Но это обречённость прёт,
Показывая нам умения,
Как обстоятельный урод
Упорно предвещает гения.

ПРОЗА



ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЁВ



РАССКАЗЫ

Ожидание

*Памяти моей крёстной матери
Марии Георгиевны Шлыковой
и её мужа Сергея Харитоновича*

Как-то сразу, одним махом, стемнело. Входила Варвара в стайку, постелить свежей соломы коровке, единственной, оставшейся во дворе животине, — засветло, а вышла уже в сумерках. Зима — вечереет скоро, да и времени у Варвары на ту же работу уходить стало намного больше. Раньше бы в пять минут с таким хозяйством управилась. Сейчас же весь день хлопочет, хлопочет, а что сделала — сама не видит.

Прикрыла ставни, заперев их на случай ветра прибитой под каждым окном деревянной вертушкой. Прихватила попутно из-под навеса охапку дров, казавшуюся,

ЖУРАВЛЁВ Владимир Аркадьевич родился 12 сентября 1961 г. в с. Ново-Летники Зиминского района Иркутской области, где жил до окончания в 1978 г. средней школы. В 1984 г. окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта и был призван на срочную воинскую службу, а в 1987 г. направлен в г. Саратов на Высшие курсы МВД СССР по линии ОБХСС. Двадцать лет прослужил в системе МВД, уволился в запас в звании полковника. Писать начал в 49 лет. Автор двух поэтических сборников: «*География души*» (Иркутск, 2011) и «*Лавочка*» (Иркутск, 2012) Печатался в различных периодических изданиях Иркутской области, журнале «Юность». Живёт в Иркутске.

при её небольшом росте, непомерной, и направилась в дом, размышляя, что по всему ночью будет мороз, и надо было корову поить согретой водой, а не из колодца.

Растопив в доме обе печи, на плиту русской поставила сковороду с ужином и, пока тот согревался, присела к столу, на котором были только накрытый белым полотенцем хлеб и давнишнее письмо в потёртом конверте. Ничто не предвещало ни беды, ни радости. День заканчивался, ничем не отмеченный в череде таких же коротких зимних дней, которые, в свою очередь, мало чем отличались от летних, если не брать за главное холод или тепло.

Рано схоронив мужа и оставшись с двумя малолетними детьми на руках, всю вдовью жизнь Варвара провела в чередовании таких дней, состоящих из нелёгкой работы на своём и колхозно-совхозном подворье. С утра до вечера гнула спину на огороде или в поле, лопатила навоз, косила сено, сажала в невероятных количествах картошку, без которой было не выжить. Да много чего пришлось за свою жизнь переделать. Сама порой удивлялась, что всё это ей под силу оказалось. Сядет иной раз, как сейчас, поужинать, ни с того ни с сего зацепится памятью за что-нибудь, расплечется, наревется досыта, с тем и спать ложится. А утром встанет, засуетится по дому да ограде, больше по привычке, чем по делу и, что расплакалась с вечера, сама не поймёт — может, от жалости к себе, может, от обиды, что так вот жизнь проходит и скоро кончится вся, до последней слезинки. В последнее время часто она о своей смерти стала задумываться. Без всякой боязни, даже деловито думала о ней как о вещи, связанной с посторонним человеком: в чём будет лежать, кто придёт проститься, кто чего скажет, как понесут через всё село на кладбище. Одного Варвара опасалась — вдруг не сразу обнаружат, что померла. Ну ладно зимой, а если летом, да в самую жару, тогда как. Очень уж ей не хотелось лежать в гробу синюшной да некрасивой. У неё даже наряд погребальный давно был приготовлен в отдельной сумке. Там же деньги лежали, которых хватит и гроб сколотить, и могилку выкопать, и поминки справить. Тратиться на её похороны никому не придётся.

Но так-то Варвара себя к больным да немощным не причисляла. Бог даст, можно ещё пожить. Пенсию приносят, плюс за Харитона, у которого с войны одних орденов было четыре, стали платить. Корова, худо-бедно, прибавок даёт, хоть трудновато за ней ухаживать. Вернётся Сашка, конечно легче будет, лишь бы вернулся насовсем. Дети у них с Харитоном усыновлённые. Своих долго хотели, да Бог видно всё предвидел, не давал им детей, чтобы не сиротить потом. А они с мужем по-своему решили, поперёк судьбы. Да только кто её хоть раз сумел обмануть, судьбу-то свою! Надюшка, может, помнит отца, а Саше и пяти не было, когда Харитон помер. Они, пока Надя восьмилетку не закончила, не знали, что приёмные. Соседка, «по доброте душевной», рассказала. Варвара отчихвостила её за то, что она свой огород за счёт их земли наладилась расширять, та Наде секрет и поведала. Прибежала дочь в слезах, с расспросами, а что тут скажешь — поплакали вместе, потом Сашке всё открыли — пусть лучше от них узнает, чем от кого другого, и стали дальше жить, как жили. Только не получилось доброй жизни. Саньку первый раз, только школу успел кончить, посадили за кражу совхозной пшеницы. Домой потом, как на побывку приезжал, больше полгода не задерживался. Украдёт чего по мелочи, и обратно в тюрьму. Сейчас вот в мае должен выйти.

Надя после школы тоже недолго с матерью жила. Собрала однажды свои нехитрые вещички, взяла у Варвары деньги, сколько та дать смогла, и уехала в город. Да так ни разу с тех пор дома и не была. Живёт где-то под Саратовом, семья у неё, дом свой, письма изредка присылала, а приехать так и не приехала. Вышло, что две вещи судьба Варваре, не скупясь, отмерила — ждать да работать. В войну работала и ждала — ладно, все работали больше, чем сил хватало, а ждали и того больше. А ей ещё и после досталось — работать за двоих и ждать. Вечно ждать: когда сын вернётся, когда письмо придёт, когда дочь опамятуется да мать навестит. А где ж сил-то на это напасть?

Собрала в прошлую весну Варвара деньги на билеты туда и обратно, до саратовских краёв, и отправила Наде письмо, чтобы та приезжала со всем семейством, что все расходы на дорогу, когда приедут, она им вернёт. Скоро получила ответ, что по такому случаю нынче летом обязательно приедут. Точной даты пока не знают, но, скорее всего, в начале августа, после покоса, чтобы своим гостеванием не мешать матери косить сено. Варвара тогда очень обрадовалась, даже как будто помолодела. Порхала по двору да по дому, изъяны какие-то выискивала. Что могла — сама исправляла, что не могла — нанимала мужиков отладить, всё боялась чем-нибудь гостям не угодить. Только недолго пришлось в радостных хлопотах бегать. В июне пришло письмо, в котором дочь сообщала, что приехать они не могут, так как затеяли строительство нового дома. А раз уж Варвара накопила на дорогу денег, то пусть их вышлет. Ей старой, они ни к чему, а им пригодятся.

Свет померк для Варвары, когда она это прочитала. Тускло вокруг стало, тоскливо до невозможности. Так ясно осознала она, что никогда не увидит дочери, что никогда та к ней не приедет, и что сама она дочери тоже не нужна — за двадцать пять лет ни разу не позвала она мать в гости. До того просто проникло это осознание к ней внутрь, что сопротивляться ему, как раньше, не стало ни сил, ни желания. В голос завывала Варвара, сев на крыльцо дома. Без оглядки на соседей и прохожих заплакала так, как не плакала, прижав к себе детишек много лет назад, когда с этого крыльца стали выносить мужа. Как не плакали в войну женщины чуть старше её, получив похоронку. А ведь всего лишь письмо получила. Радоваться надо — дочь дом строит. Только забила её лихоманка с этого письма страшней, чем с похоронки.

Подружка отвадила тогда от подступившего припадка. Шла мимо, услышала, а когда вошла, сама испугалась, увидев, что с Варварой делается. Но, скоро сообразив, подняла из колодца воды, плеснула ей пригоршню в лицо, омыла аккуратно ладошкой и обтёрла насухо передником. Потом заставила через силу выпить полковша той же ледяной воды, и только когда Варвару затрясло мелкой дрожью и вернулась к ней способность осознавать окружающий мир, не теребя расспросами, прочитала письмо.

Долго они в тот день во дворе сидели. До тех пор, пока разговор из горестного постепенно не стал обычным, бытовым, то есть озабоченным видами на урожай, прибавкой к пенсии, погодой и ещё Бог знает чем. Варваре после разговора, конечно, сильно полегчало. Выплакаться, излиться до самой глубины души тому, кто способен тебя выслушать, много значит. Только пропала теперь эта самая глубина. Внутри как будто высохло всё и образовалась одна большая короста. Не кровит, не гноит, только мешает. Стянула так, что ни в душу радости не попасть, ни из души выплеснуться. Может, когда Сашка вернётся, отпустит эта проклятая сухота. В то время, когда он между отсидками находился дома, Варвара прямо чувствовала, как ей легче живётся. В чём угодно можно было обвинить её сына: в воровстве, беспутстве, пьянстве, но никогда он, неоднократно судимый и признанный судом рецидивистом, не обидел матери. Мог утащить из дома и пропить деньги или просто запить, бросив домашние дела. Но потом явится домой, как побитая собака, отоспится и за пару дней, трудясь до глубокой ночи, справит недельную работу, выслушивая при этом Варварины причитания о том, что накажет его Господь за все её страдания. Улыбается, хмыкает, терпеливо снося выговор матери, которая, однако, и инструмент в нужный момент подать успевае, и холодного квасу принести не забывает.

Что говорить, ждала Варвара Саньку, очень ждала, надеясь, что с его приходом жизнь по-другому наладится. Тем более что тот в последних письмах клятвенно заверял мать, что на зону больше не вернётся. Немного осталось — столько в жизни ждала, до мая как-нибудь стерпит. А пока надо купить ему одежду. Придёт опять в одних штанах и рубашке, в село выйти не в чем будет. Старая одежка хоть и висит, да в ней теперь только по двору шастать осталось. Деньги на обновки есть. Не стерпела

ведь Варвара после того письма, не выдержала дочериного молчания. Сразу — денег не отправила. Написала только, что раз к живой приехать некогда, ждите, когда помру, приезжайте и забирайте всё, что останется после мёртвой. Ответа не получила, а без того редкие письма от дочери перестали приходить вовсе. Помаялась, помаялась Варвара несколько месяцев, перечитала в сотый раз злосчастное письмо, а потом взяла и свела телка, которому и года не было, к мясокомбинатовским заготовителям. Вчера получила за него полный расчёт, а завтра, как решила, пойдёт на почту и пошлёт Надюше деньги на строительство дома. Оставит только Сашке на обновки, а остальное завтра же и отошлёт.

Её раздумья прервал настойчивый стук в остеклённую дверь холодной веранды, закрытую, как и дверь в дом, на крючок изнутри. Вздвогнув от неожиданности, Варвара встала, положила на стол лежавшее на коленях письмо, которое она, сама того не замечая, оглаживала, подошла к входной двери и откинула крючок.

Удар был хоть и неожиданным, но трусливым и, может, оттого слабым и неточным. Пришёлся не куда целили, а вскользь, рассадив по всему лбу кожу. Но ей и того хватило — повалилась баба Варя на пол с таким же стуком, как брошенные ею недавно возле печи поленья. Не понимая, что произошло и что происходит, сквозь красную пелену и плавающий в ушах шум различила она только треск давленного стекла, переступившие через неё какие-то лохматые тени и грохот, похожий на то, как падает мебель.

Постепенно шум в ушах превратился в мягкий, даже приятный звон, и сквозь него эхом донёлся окликнувший её голос, который она узнала бы из тысячи голосов, хотя не слышала его почти полвека.

— Испугалась? — уже явственно, участливо спросил Харитон.

— Чё это, Харитоша? Не пойму, черти меня штоль за грехи какие? — в свою очередь, переспросила Варвара, недоумеая от случившегося и от того, что столько с Харитоном не виделись и надо бы не разговоры разговаривать, а на шею к нему кинуться, а она не то не может, не то не хочет.

— Да какие грехи! Грабят тебя! Морды свои бесстыжие попрятали, тюкнули слезгонца и шуруют вон по шкапам да полкам.

Варя хотела глянуть, но не смогла — голова не слушалась, а розовая пелена совсем залила глаза.

— Как же это, Харитон, там же деньги! — возмущённо и в то же время как-то жалобно запричитала Варя. — Наде приготовила отправить, и Саше тоже надо. Хосподи! А мои похоронные! Как нищенку хоронить, и то не на чё будет!

— Да, брось ты, твоя штоль забота! Схоронят, поверх земли лежать не оставят. А дети? Дети у нас большие, сами как-нибудь должны. Пора им уже своим умом жить, а не материным сердцем, — ответил Харитон так, словно ему доподлинно было известно, как должно быть, и самое главное, как будет.

— Оно верно, конечно. Дак ведь жалко, свои же — не чужие. А платье? Там, с деньгами, платье моё, в гроб приготовленное — синее, с выгачками, как ты любишь. Затопчут ведь или ещё чё сделают, — не унялась Варя и вновь попыталась повернуть голову, чтобы глянуть, цело ли платье. Наверное, ей бы это удалось, но Харитон вдруг строго сказал:

— Не об том печалишься, — и, словно поясняя свою суровость, добавил: — Я тебя без всяких платьев ещё больше люблю.

«А и в правду, что это я, — застыдилась Варя. — Муж наконец-то рядом, а я о своих нарядах пекусь». Сразу вспомнив, как долго она ждала этой встречи и сколько всего надо рассказать, как нестерпимо сладостно хотелось ей все эти годы к нему прижаться, ощутив в себе такую необычайную невесомость, что на миг почудилось, будто она стала бабочкой, Варюша легонько вздохнула и всей своей истосковавшейся в ожидании душой устремилась к Харитону...

ОТЦОВО НАКАЗАНИЕ

— Завтра никакой тебе рыбалки! Хватит каждый день на Протоке ошиваться. С утра пойдёшь со мной стадо собирать. А потом, чтоб весь день бабушке помогал, пока с матерью с работы не придём. Стадо встретишь — хоть зарыбачься, хоть закупайся.

Отец говорил не торопясь, хрипловатый и в то же время сочный, бархатистый голос ничего не выражал. Но по тому, как у него слегка подрагивали пальцы, сворачивающие самокрутку, и тому, как долго эта самокрутка не получалась, Валька понял, что он просто кипит внутри. Повезёт — пар потихонечку улетучится. А если нет, и этот котёл с гремучей смесью взорвётся, быть сегодня Вальке наказанным за все свои прегрешения.

Газетная полоска с «Вергуном» — крепкой для горла и невыносимо едкой для глаз, по мнению Вальки, махоркой — наконец-то образовалась в самокрутку. Чиркнула спичка, кончик самокрутки, свёрнутый жгутиком, пыхнул огоньком и, тут же угаснув, затлел. Отец, сидящий на лавочке у калитки, вытянул уставшие за день от седла ноги и глубоко, с удовольствием затянулся, собираясь с выпускаемым дымом продолжить свою нравоучительную речь. Однако выдохнуть не сумел, закашлявшись так, что стоявший на привязи у ворот конь счёл за благо отодвинуться, насколько позволил повод. Надсадный кашель был похож на рык медведя, избавляющегося после зимней спячки от кишечной пробки. Согнувшись в три погибели, отец пытался поймать поток воздуха, а рукой в то же время ухватить паршивца Вальку, из-за которого случилась эта неприятность.

Впрочем, из-за него вообще случаются все неприятности в доме, кроме тех, конечно, что случились из-за его старшего брата Валерки. Но Валерка решил заработать на настоящие брюки со стрелками, и уже третий день тяпал грядки на совхозных полях, а значит, пользовался у родителей особым расположением, так как не шлялся без дела, «как некоторые».

Размышления Вальки были недолгими: что ему светило в такой ситуации, было очевидным. Во-первых, совсем недавно на рыбалке он утопил один из пары новеньких вьетнамских полукед, с мячами на щиколотках. Во-вторых, чтобы сделать себе такой же, как у бати, пастуший бич, который при умелом обращении издаёт громкие хлопки, отрезал для волосяной оконцовки нижний пучок с коровьего хвоста, тем самым лишил кормилицу главной её защиты от слепней, а сам едва не остался без глаза, получив по нему этим же куцым хвостом. В-третьих, для основы бича разрезал подходящий, по его разумению, узкий и гибкий прорезиненный ремень от зерноуборочного комбайна, сняв его со стены сарая. Тот всё равно висел без дела, так как с коня на комбайн отцу пересаживаться только осенью, когда начнётся уборочная. А теперь вот ещё и «в-четвертых» появилось...

Вчера вечером, пока никто не видел, он, по просьбе больших пацанов, позаимствовал из батиных запасов, хранящихся в жестяной банке с крышкой, небольшую горсточку махорки. А чтобы не было заметно, добавил туда похожую на сушёный табак траву, висевшую под навесом. Перемешанная в банке крошенная черемица, а это была именно она, почти не отличалась от махры, но выдала Вальку с потрохами при первой же батиной затяжке. А потому, когда отец прокашлялся, растоптав в сердцах треклятую самокрутку, Валька уже чесал по огороду между борозд картошки, сшибая коленями листья и мелкие ветви вместе с соцветиями. Выбежав за огород, остановился, немного постоял, и ноги сами побрели в сторону речки, с которой он и пришёл домой перед самым стадом, только чтоб успеть управиться со всеми делами до прихода отца.

На речке никого не было. Все, как и Валька, ушли до стада домой, чтобы выполнить свои, практически у всех одинаковые, домашние обязанности: встретить и запустить во двор корову с телками, напоить-накормить мелкий скот и птицу. Пацанам, кроме того, занести в летнюю кухню воды и дров, а девчонкам постарше — подоить корову. Дела нехитрые, но безусловные: не сделаешь, родители не отпустят вечером в кино, а завтра — на речку.

Валька собрал в кучку ещё дымящиеся угли костерка, у которого грелись во время купания. Переломал пару не сожжённых днём хворостин, сложил их на угли и, наглотавшись дыма и выпачкав в золе ладони, раздул огонь. От нечего делать и от того, что очень хотелось есть, подобрал пару гусиных перьев, валявшихся вокруг в неисчислимом количестве, и, подпалив в костерке, стал губами собирать с них образовавшуюся по краям горьковатую, но ароматную черноту. Только днём такие же пёрышки были почему-то вкуснее и жечь их было интереснее. Бросив остатки голых, обгоревших остей в огонь, подбирать другие Валька уже не пошёл.

Есть захотелось ещё больше. Уйдя с утра на рыбалку с двумя огурцами и ломтём хлеба, густо обмакнутым прямо в кастрюлю с сахаром, он весь день провёл на речке. Хлеб и огурцы съел почти сразу, как забросил в омуток удочку, а больше с собой ничего не было. Поймав до обеда десятка полтора пескарей и даже одного ельчика, собрался было домой, но, не выдержав соблазна, решил по пути чуток искупнуться вместе со всеми, да так и остался на реке до самого вечера.

Котелок, сделанный из большой банки из-под повидла, в котором находился скромный улов, стоял неподалёку от костра, и пацаны периодически подходили к нему, заглянуть, «чего поймал». Кто-то даже брал в руки сделанную из сухой сосёнки удочку, проверяя, гибкая или нет. Ещё бы была не гибкая — это ж бывшая Валеркина удочка. Он себе сделал разборную, из трёх частей, соединяющихся алюминиевыми трубками, напильными из старого велосипедного насоса. Но все эти погляделки продолжались, в общем-то, недолго. Тимка Васильевский, когда у костра кроме него и Вальки никого не было, в очередной, уже, наверно, пятый раз, подошёл к котелку и заискивающе произнёс:

— Дай одного пескаря, а то исть охота, ажно не могу.

— А чё домой не идёшь? — с напускным равнодушием ответил Валька.

— А сам-то чё не идёшь? Дома бабушка, сразу грядки заставит полоть. Хлопчик вон ушёл домой, — Тимка кивнул в сторону стоящего неподалёку дома, где жил Хлопчик, — поисть и хлеба принести — и больше нету.

— Ладно, возьми одного, тока большого не бери, — смягчился Валька и после секундного размышления добавил: — Я тоже одного съем.

Из ивняка быстро изготовили гладкие прутики, выловили из котелка по плавающему кверху брюхом пескарю, навздели на пруты и сунули в костёр. Разумеется, что незамеченным для других это не прошло, и через секунду у костра толкалось ещё человек пять голодных претендентов на готовящихся пескарей. Это в котелке они — улов, который полностью принадлежит поймавшему. Просить улов — стыдно, а брать без спроса позорно — рыбы в реке хватает всем, если нужна — бери снасти и лови. Но когда она в общем костре зажарится — это уже еда, тут уж можно смело поклянчить какой-нибудь кусочек. Два пескаря на такую ораву улетели в момент, и Тимка, на правах человека, делившего с Валькой «на всех» жареных пескарей, снова подступил к котелку:

— Давай ещё зажарим, чё там, два-то всего съели.

— Ага, а домой я чё принесу? Скажут, опять не рыбачил, а купался. Тот раз вон тоже всех съели! — отрезал Валька.

— Ну и чё! Тот раз их скока было-то! — в голосе Тимки прозвучало пренебрежение, что для Вальки, как для рыбака, было очень обидным, и он маленьким ёршиком подскочил к Тимке:

— А скока бы ни было! Сам сходи, поймай и делай, чё хошь!

Это было в самую точку: все знали, что Тимка рыбак никудышный, и кроме малявок «на банку», сроду ничего не ловил.

— Ну, тада иди домой, — сразу согласился Тимка, — чё ты тут купаешься!

— Хочу и купаюся, твоя, штоль, речка? — вызывающе ответил Валька и демонстративно пошёл к воде. Достал зачем-то со дна горсть песка, подержал, и, не зная, что с ним дальше делать, бросил обратно в воду.

— Купайся, купайся... — съехидничал Тимка. — Тока пескари твои уже сдохли, и если их счас не почистить и в погреб не покласть, то их потом тока ты один исть будешь, и то от жадности.

Что верно, то верно. Либо надо идти домой, либо...

Валька протяжно вздохнул, вспомнив, каким вкусным был румяный, слегка подгоревший, но сочный елец, и, словно что-то ища или на что-то надеясь, посмотрел по сторонам. На берегу было пустынно и очень тихо. Прогревшийся за время дневной жары песок, поросший короткой жёсткой травкой, щедро отдавал своё тепло босым Валькиным ногам. Ласковая, как и днём, речушка что-то шептала своей малюсенькой шивёркой, а любопытная трясогузка, примостившись в двух метрах на камушке, глядела на него, пытаясь понять, что делает здесь этот маленький человечек в то время, когда ему положено находиться дома.

Но не было рядом никого, кому бы Валька мог рассказать, что всё, что с ним происходит, происходит не нарочно, а как-то само по себе. Он же не хотел топить кеды, а просто уронил их. И как ни старался потом поймать, не умея плавать, нахлебавшись по самые ноздри воды на быстром течении, один из них всё-таки упустил. Хотел сделать бич, как у бати, чтоб так же щёлкать, ведя с ним стадо вдоль деревни по утрам и вечерам, а получился с этого один вред. А уж отравить батю ядовитой махоркой у него точно даже в мыслях не было! Но кому это объяснишь, у кого спросишь, как быть дальше, если даже Валерка сказал, что по-такому Вальку не только осенью в первый класс не пустят, но и, когда вырастет, в армию не возьмут.

Не боясь испачкать шкеры, пошитые матерью из чёрного блестящего сатина, Валька присел возле костра прямо на песок, подтянул ноги, обнял их руками и, склонив голову на колени, неожиданно для самого себя заплакал. Помимо его воли, слезинки потекли по щекам, плечи затряслись, а самому ему стало отчего-то очень зябко, несмотря на то, что вечер ещё только начинался и хоть слабенько, но горел костёр. Иногда Вальке казалось, что не хватает воздуха, и он пытался посильнее вдохнуть, но вместо глубокого вдоха всё время получалось всхлипывание, и его ещё больше начинало трясти. Он плакал до тех пор, пока постепенно не обессилел, и слёзы, так же как и начались, сами по себе перестали капать. Лишь всхлипы периодически продолжали сотрясать его плечи, прижатые к согнутым острым коленям.

Валька даже не заметил, как начало темнеть. По всей видимости, он всё так же сидя, задремал, потому что не услышал ни шагов отца, ни его оклика. Лишь когда отец опустил ему на плечо свою тяжёлую руку, он подскочил как ошпаренный, попытался вырваться и тут же сник, так как ладонь словно приросла к плечу. Отец резко развернул его к себе лицом. Валька непроизвольно зажмурился и, подхваченный уже двумя руками, взлетел вверх и оказался у отца на груди. Тот молча усадил Вальку так, чтобы ему было удобнее, и размеренно зашагал домой — не напрямую, огородами, как обычно все ходят, а через село, по дороге. Валька обнял отца за шею, положил ему на плечо голову и закрыл глаза. Ему вдруг так захотелось рассказать отцу про всё, про всё, что заставило его сначала убежать на речку, а потом заплакать там в одиночестве. Но, оказалось, что это так не просто — рассказывать кому-то, пусть даже очень родному, то, о чём думаешь. Он лишь прошептал: «Папка, я не хотел... я хотел...», сильнее прижался к отцу и, совершенно уверенный, что в этой жизни с ним больше никогда ничего плохого случиться не может, начал дремать, посапывая в колючую, но такую родную шею отца. Уже в полусне он почувствовал своей щекой влагу, как будто опять потекли слёзы, чуть встрепенулся, но отец, мягко проведя ладонью по его коротко стриженным волосам, положил голову обратно себе на плечо:

— Спи, спи, наказанье ты моё, а то опять проспишь утром стадо...

«Да, точно, а то просплю, и бичом по-настоящему опять не пощёлкаю, — совсем сонно подумал Валька, — наверно я и вправду во сне плакаю».

И действительно, не могло же такого быть, чтобы плакал отец, этот большой, строгий и сильный человек, дошедший в войну на своём танке почти до Берлина.

«Я всех простить меня прошу...»

В одном из ранних стихотворений замечательного сибирского поэта Дениса Цветкова есть такие строки:

*Катилось солнце не спеша
В прибрежный омут краснотала.
Кукушка,
Добрая душа,
Мне жить сто лет
Накуковала.*

И, действительно, права была кукушка. Денис Михайлович Цветков прожил большую жизнь — пусть не сто лет, но девяносто два года он прожил и был крепок до самой глубокой старости. Крепок не только физически, но и творчески. Он писал стихи фактически до 90 лет. И в последние годы жизни издал почти все свои книги, кроме первой — «Высоковольтка», которая вышла в 1973 году. А заканчивается стихотворение о предсказательнице-кукушке рассудительно и даже иронично:

*Ну что же,
Так тому и быть!
Да будет предсказанье свято!
А всё ж,
Коль здраво рассудить,
Зачем же столько?
Многовато!..*

Поэт — всегда пророк, и Цветков не хуже кукушки предсказал свой срок жизни. Как будто споря с кукушкой, он заранее распорядился: сто лет — многовато, а вот девяносто с лишком — куда ни шло.

Мы общались с Денисом Михайловичем долгие годы, ровно 46 лет, как раз половину из этих 92 — с 1968 года, с той поры, как я демобилизовался из армии во Второй Иркутск, где жили мои родители, и жили-то недалеко от Ермаковки, где собственными руками построил деревенский дом поэт и художник Денис Цветков. Работал он так же, как и я, художником-оформителем на Иркутском авиационном заводе. Встречались мы в редакции заводской многотиражной газеты, в цехах, где трудились, и в гостеприимном доме Марии Васильевны и Дениса Михайловича, где, бывало, я бросал якорь и на ночёвку.

После первой книжки Денис Цветков долгие годы не печатался. В начале своего пути он был скор на дело и смел на слово: раскритиковал ту кастовую часть иркутских писателей, которым легко предоставлялись публикации и книжные издания, на них сквозь пальцы смотрела цензура и партийные органы. Критика дошла до Областного комитета партии, кастовых писателей пожурили, погрозили им пальцем, но свыше этого ничего не произошло, а Денис Цветков поплатился полным неприятием своего творчества, как со стороны писателей, так и со стороны издателей. Об этих временах у Цветкова есть стихи:

*Меня пытали не на дыбе
И не на медленном огне.
Иные умереть могли бы
Иль сдаться в плен, как на войне.*

*Меня пытали отреченьем,
Хулили мой
Негромкий стих.
Меня пытали отлученьем
От дум и помыслов моих.*

*Порой коллеги-изуверы
Придирками вгоняли в пот:
Им чёрное казалось белым,
И белое — наоборот.*

*Всё позади,
И путь мой светел,
И всех простить меня прошу —
Я гордо вынес пытки эти.
Но как писал,
Так и пишу!..*

У нас у многих в 70-80-е годы возникали подобные проблемы. Я после первой книги «Зимняя мозаика», выпущенной в 1970 году, провис над издательской бездной на целых девять лет, и только в 1979 году была издана вторая книга «Журавлиная азбука», а в 1983-м — вышел в Москве, в издательстве «Современник», сборник стихов «Грибной дождь».

У Дениса Михайловича творческая судьба складывалась горше, чем у многих иркутских поэтов: издаться он смог только через двадцать семь лет, то есть уже в новом, двадцать первом веке, благодаря своему сыну Сергею, который набирал и верстал книги отца, и издателю Василию Козлову, создавшему свой издательский центр журнала «Сибирь», где вышли в свет пять книг теперь уже известного сибирского поэта Дениса Цветкова: «Годовые кольца» (2000), «Вечерний звон» (2001), «Признание в любви» (2002), «Стихотворения» (2006), «Избранные стихи» (2006).

Пятая книга «Избранных стихов», как и первая, была посвящена «жене и другу Марии Васильевне Цветковой», прошедшей с ним рядом всю долгую, горькую и радостную жизнь.

Она тоже была его «посошком», как назвал спутницу жизни поэт и прозаик Глеб Пакулов, который посвятил роман «Гарь» своей супруге с неопределимо сердечной надписью: «Бусаргиной Тамаре Георгиевне — жене и другу — надёжному посошку моему в странствиях по стёжкам-дорожкам Отечества Русского».

А вот шестую книгу под названием «Земной поклон» к 90-летию поэта издал в 2011 году его сын Сергей совсем мизерным тиражом — всего 20 экземпляров. Не случайно так названа эта книга — Денис Михайлович понимал, что он приближается к итогу своей жизни на земле, и отдавал родственникам, друзьям и благословенной Русской земле свой низкий «земной поклон»:

*Горит закат на склоне дня!
Спит ветерок, бескрыл.
Земной поклон тебе, земля,
За то, что я здесь был!*

*Я звёзд волшебных не хватал,
Богатства не скопил.
Тебя напрасно не топтал
И небо — не коптил.*

*В гостях — жилось мне хорошо.
Слыл греком из варяг.
И ухожу, как и пришёл
В сей мир, — и сир, и наг!..*

Покинул эту землю Денис Цветков, за которую, по его словам, «держался зубами», 22 марта 2014 года на 93-м году жизни:

*Пусть иные злословят порой:
Мол, смотрите-ка,
Гордый какой!
Да, я гордый! И этим горжусь.
Я за землю зубами держусь.*

А родился он в декабре 1921 года, о чём написал в предисловии к книге «Годовые кольца»:

«В ночь на 21 декабря 1921 года деревенская повитуха приняла у роженицы очередного младенца. Своим появлением на свет он обязан Марии Ионовне и Михаилу Терентьевичу Цветковым.

Родившись «в рубашке», я оповестил округу о своём рождении страшным рёвом, на что бабка Борисиха сказала: «Будет малец оратором! Вишь, как орёт!» А счастливый отец трижды выпалил в белый свет из своей старой берданы.

Себя я хорошо помню с трёх лет. К пяти годам знал азбуку и бегло читал «Букварь». Поэтому, когда пришла пора идти в школу, меня записали во второй класс.

С детства я всё своё свободное время проводил за книгой. Зачитывался стихами А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И. Никитина, А. Кольцова, С. Дрожжина и других поэтов. До поздней ночи в моей «светёлке» горела копилка — я писал стихи.

Родом я из крестьян. Моё село — Нижний Чулым Здвинского района Новосибирской области — раскинулось в Барабинской степи. О природе Барабы и говорить нечего: красотища! Поля бескрайние, а на них берёзовые колки, глазастые озёра, река Чулым. Их берега, поросшие камышом и красноталом, были удивительно живописны. Белотельные берёзы табунками спускались к самой воде и, как ивы, мыли свои босые ноги и пышные косы в парной воде.

В 1937 году, оставшись сиротой, я приехал в Иркутск, где прошла вся моя дальнейшая жизнь».

Любовь к отчему краю у русского поэта Дениса Цветкова неизмеримо-глубока, и эта любовь — одна из главных тем его поэзии. В продолжение только что процитированного предисловия, в котором так ярко впечатления о малой родине, я хочу здесь вспомнить удивительно-чистое, неудержимо-русское, раздольное его стихотворение:

*Неоглядное раздолье,
Расписные терема...
Русь моя —
Ржаное поле,
Самоцветов закрома!*

*Куропатки, перепёлки,
Чёрно-бурая тайга.
И берёзовые колки,
И снега,
Снега, снега!..*

Ещё хочется добавить, что стихи Дениса Цветкова высоко ценил выдающийся русский поэт, лауреат Государственной премии России Василий Фёдоров, и долгие годы был ближайшим его другом, поскольку свой творческий путь они начинали в одно и то же время и в одном и том же сибирском городе — Иркутске. Василий Фёдоров работал на Иркутском авиационном заводе, результатом которой стала его знаменитая поэма «Седьмое небо». Здесь же трудился, сначала в редакции заводской газеты, а потом — художником, Денис Цветков.



Могилы Д.М. Цветкова

В одном из самых лучших сборников «Признание в любви» поэт в своих сердечных размышлениях снова и снова возвращается к теме Родины и деревни, признаётся в любви к родному краю и любимой женщине, звеняще-ясным, а порою грустным русским просторам, лугам и пашням. В некоторых своих произведениях Денис Цветков поднимается до тютчевской высоты:

*Что будет с нами,
Я не знаю,
И не боюсь прослыть невеждой.
Былое
Я не проклинаю,
В грядущее —
Гляжу с надеждой.*

*Весь путь России — многотруден.
Куда ни глянь —
Одни потери...
Россия — есть!
Россия — будет!
В Россию
Не могу не верить!..*

Стихам Дениса Цветкова и ему самому предназначена долгая жизнь в нашей памяти и благодарной памяти потомков.

Владимир СКИФ

ПОЭЗИЯ



ДЕНИС ЦВЕТКОВ



Я на земле на этой не был лишним

* * *

Одни меня усердно хают,
Советы умные дают.
Другие — осторожно хвалят,
Но издавать —
Не издают.
А третьи, будто дипломаты,
Не говорят ни «да», ни «нет».
Который год идут дебаты,
Поэт я
Или не поэт.

Рождаются стихотворенья.
Свой крест несу по мере сил.
...Прости им, Боже, прегрешенья, —
Я всех давно
Уже простил!..

ЦВЕТКОВ Денис Михайлович, поэт (1921, с. Чулым, Западная Сибирь — 2014, Иркутск).
Автор книг: «Высоковольтка» (Иркутск, 1973: Бригада); «Годовые кольца» (Иркутск, 2000);
«Вечерний звон» (Иркутск, 2001); «Признание в любви» (Иркутск, 2002); «Стихотворения»
(Иркутск, 2006); «Земной поклон» (Иркутск, 2010). Член Союза писателей России.

* * *

Водокачка агукала гулко.
Воздух был, как хмельное вино.
Дед-Мороз со своею Снегуркой
Возвращался домой из кино.

В переулке рыдала гармошка
Под пурги утихающий вой —
Это друг мой Зарубин Алёшка
Шёл с вечерки немножко хмельной.

У Нефёдихи тьякала Жучка,
Надоела и ей конура.
Непутёвая бабкина внучка
Прогуляла опять до утра.

Задубели овчинные шубы,
Завывали в ночи провода...
— Ой, какие горячие губы!
— Ой, в снегу у тебя борода!..

* * *

Вступила ночь в свои права,
Луга укутав робким дымом.
И тишина, как тетива,
Вмиг натянулась над Чулымом.
Умолк охрипший коростель,
И выпь за речкой не рыдает,
И перепел

Стелить постель
Уж никому не предлагает.
Звезда потухла в камышах,
Упав из звёздного лукошка...
Лишь вдоль деревни, не спеша,
Идёт, грустит
Моя гармошка!..

На покосе

Что перина?
Что кровать?
На копне
Вольготней спать!

И раскинув грабли рук
В сей подлунной спальне,
На сто вёрст свисти вокруг
Носом музыкальным!

Кепку прочь, спецовку прочь!
Славная погодка!
Натяни, как простынь, ночь
Выше подборodka!

И дыши, дыши, дыши,
Сколько сердце просит...
До чего же хороши
Ночи на покосе!

Бумажный змей

— Бумажный змей!
— Бумажный змей!
Ведь вот, скажи, какая небыль!
Что даже старики и те
Из-под ладоней
Смотрят в небо!
Глядят,
Прищурившись слегка,
Глядят, не могут наглядеться —
Ведь это в белых облаках
Парит их собственное детство!..

* * *

Мне мать
Оставила в наследство
Не злата-серебра мошну,
А мир
Безоблачного детства,
Что до сих пор

В душе ношу.
Росою спелой умываюсь
В медвяном Маврином логу,
Всему на свете
Удивляюсь
И надивиться не могу!..

* * *

Шумит тайга,
Шумит тревожно,
Склика я ратников в поход —
Под вечер на реке Таёжной
Начался ранний ледоход.
О, что с рекою сразу стало!
Как вздыбились коварно льды!
Их даже солнце испугалось,
В кедровник юркнув от беды.

Всю ночь не спали у плотины,
Всю ночь мы были, как в аду.
Всю ночь там льдины,
Как дельфины,
Во тьме играли в чехарду.
А утром, поборов усталость,
Мы поняли: прошла беда.
У наших ног, как пёс, ласкалась
Обыкновенная вода!..

* * *

Врачи всю ночь,
Как ангелы-хранители,
Стояли над солдатом не дыша.
И будто плёнка
В старом проявителе,
Он к жизни возвращался не спеша.
В бинтах,
В подушки заживо зарытый
Лежал, и даже не дышал солдат.
Лишь только пульс,

Как родничок забытый,
То замирал,
То бился невпопад.
К утру он шевельнул устало бровью,
Потом глаза открыл едва-едва...
Смерть
Тихо дверь
Прикрыла за собою...
И юркнула
В палату номер два!

* * *

А дождь всё сыпал,
Сыпал, сыпал,
Непринуждённо морося,
Как будто кто-то
Через сито
Просеять тучи нанялся.
И чтобы высеять всю воду
Как раз над нашим над селом,
Её сбирал по небосводу
На рысаках орловских
Гром!

* * *

Я восемнадцать лет здесь не был!
Передо мной
Во всей красе,
Как обелиск,
Вонзилось в небо
Волоколамское шоссе.
Насквозь продутое ветрами,
Дождём омытое, оно
Сейчас горело под ногами,
Закатным солнцем зажжено.

И здесь,
Где кончилось когда-то
Житьё беспечное моё,
Стоят гранитные солдаты
На месте памятных боёв.
У них — величественны лица!
Богатыри!
Им всё с руки!
Не зря вверяла им столица
Свою судьбу — сибиряки!

А я их знал ещё живыми,
Всех земляками называл.
И горд,
Что здесь вот
Вместе с ними
Я оборону занимал.
В той давней полночи кипящей
Я ранен был.
И я не знал,
Что земляков,
На смерть стоящих,
Последний грозный разводящий
В ту ночь
Возвёл на пьедестал.

Но и гранитные,
Гвардейцы
Стоят со связками гранат...
Россия!
Ты на них надейся,
Как восемнадцать лет назад.

22 июня 1941 года

Звенел июнь,
Кипели травы,
В глазах рябило от цветов.
А солнце шурилось устало
Из-под ладоней облаков.
Оно катилось над полями,
Как свежий бабкин колобок,
И семимильными шагами
Россию мерил ветерок.
Он, словно бес,
Раскрыв объятья,
До слёз девчонок донимал —
Всё норовил
Сорвать с них платя, —
Причёски модные ломал.

А те —
Как в прятки с ним играли,
Глотая неба синеву.
И, возбужденные, визжали,
С разбега падая в траву.
Потом мгновенно поднимались,
И грациозны, и легки.
И снова с ветром целовались,
И снова с ним — вперегонки!
Венки на солнечной полянке
Плели, бросая их в волну.
И, странно,
В тихой Безымянке
Они, как камни,
Шли ко дну...

1961

На лесном кордоне

Хорошо на кордоне,
Будто в детстве, легко.
Пью коровье парное
По утрам молоко.
И грибы собираю
В туесок расписной.
И стихи сочиняю
В теремке под сосной.
Мне головками машут
Полевые цветы.

Мы с лосихой Машей
Стали сразу на «ты».
И не рвусь я на части,
Никуда не спешу,
Не скрываю, что счастлив,
Потому что пишу!
Пусть пишу неказисто,
Ничего, научусь.
Запою голосисто.
Поддержи меня, Русь!

Карта

Плывут тропинки и дорожки,
Петляет юркая река.
Над кручей робкие берёзки
Укрыли домик лесника.
Стоит ветряк,
Палимый зноем,
Облокотившись на костыль.
У ног его степным прибором
Кипит разгневанно ковыль.

А там, где вырубки лесные
Сползли плешинами в лога,
От времени,
Полугнилые,
Покорно сгорбились стога.
И ощетинившись, как зубры,
Лежат в секрете до поры,
Оскалив каменные зубы,
Противотанковые рвы.

Есть всё на этой карте старой:
И брод, и дуб, и высота,
И обгоревшие амбары,
И даже церковь без креста.
И пни с нахмуренными лбами,
И телеграфные столбы,
Что землю меряют шагами,
Поднявшись круто на дыбы.

Но нет на ней того рассвета,
Когда средь мнимой тишины
Вдруг в небо харкнула ракета
Плевком кровавым...
То войны
Был знак... Повиснув над полями,
Он стал искусственной Луной,
Он стал мостом между боями:

Ещё сигнал — и грянул бой!..
Да нет ещё на карте этой
Деревни — выцвела давно.
Она, по всем моим приметам,
Вот здесь, где бурое пятно.
Где между соснами устало
Петляет юркая река,
Где алым-алым красноталом
Покрыло время берега.

...Над кручей братская могила
С одной
На целый взвод звездой!
Стою, смотрю, как гнутся ивы,
По-детски брызгаясь водой.
Стою, как тот ветряк под зноем,
Облокотившись на костыль.
Стою... А предо мной прибором
Кипит, кипит, кипит ковыль...

Волчья шапка

С улыбкой вспоминаю про подарок,
Хоть и прошло с тех пор немало дней:
Мне волчью шапку, новую, с базара,
Привёз ко дню рожденья дед Михай.

Он под навес поставил молча сани,
Расправил по-чапаевски усы,
И, зыркнув заговорщицки глазами,
Проговорил: «Бери, жених, носи!»

Ребята, крепко пожимая руку,
Все, как один, завидовали мне:
Такая удивительная штука
Не каждому приснится и во сне.

Ушастая, мохнатая, седая,
С сатиновой подкладкой изнутри,
Она играла мехом, как живая, —
Вдруг вырвется из рук, того смотри.

Но вот беда: когда я в этой шапке
Лишь только за калитку выходил,
Сбегались все соседские собаки,
От их вниманья стал мне свет не мил.

Они меня мгновенно окружали,
И, взвизгивая, лая и скуля,
Повсюду, как конвой, сопровождали
Хорошего исхода не суля.

Я не таил на дедушку обиду —
Была покупка слишком дорога.
И всё же дар его возненавидел,
Как самого заклятого врага.

Но, как назло, не наступало лето,
Оно спасеньем было б для меня.
И как-то, рассердившись, шапку эту
Я Новикову Кольке променял.

В его, облезлой, стал похож на чёрта.
Из князей снова опустился в грязь.
Зато теперь ходил я на вечерки,
Трезоров и Полканов не боясь.

Я шёл в потёмках к милой на свиданье,
От счастья встречи чуточку хмельной.
Я шёл и пел... Собаки — ноль вниманья,
Как будто все подошли до одной.

* * *

Это было девятого мая,
После дня
Ликованья и слёз.
С неба падали звёзды, сгорая,
Как окурки больших папирос.
Ветер выл
По-осеннему люто.
И вот этот
Ночной звездопад

Мне тогда показался салютом
В честь погибших на фронте солдат.
Да, салютом!
Ни много ни мало.
Сколько их полегло на войне!
...Небо искренне
Салютовало
Отстоявшей свободу,
Стране.

* * *

Я и теперь летаю по ночам...
Взберусь на кручу,
И подобно птице,
Расправив руки-крылья, сгоряча
Кидаюсь вниз
И не боюсь разбиться.
Натянут воздух, словно тетива.

Летят неповторимые мгновенья.
Так чувствуют себя тетерева,
Оглохшие от собственного пенья.
«Растёшь, Денис», —
Друзья мне говорят,
В усмешке хмурия выцветшие брови,
Дают понять,

Что мне за пятьдесят
И сердце ощущает перебои.
Но суть не в том,
Расту иль не расту,

Останусь жив иль разобьюсь однажды...
Но коль стремлюсь подняться в высоту,
То, значит, к жизни
Не утратил жажды.

* * *

Осенний лес пустынным кажется.
Гуляет ветер не спеша,
То на поляне спать уляжется,
То вскочит, листья вороша.
То рвёт чубы в угаре пьяном
Бронзоволицым тополям,
То вдруг нарядится шаманом
И вихрем скачет по полям.
Меж опалёнными осинками
Рябин мерцают огоньки.

И слышно, как от ветра дзинькают
Осоки острые клинки.
Туманом синим даль объята...
Подставив солнышку бока,
Ещё стоят на пнях опята
И ждут спокойно грибника.
Повсюду высохшею стружкой
Шуршит опавшая листва,
А где-то дятел колотушкой
Стучит, видать, из озорства.

* * *

Над синеглазыми домами
Русоволосые дымы,
И пахнет хлебом
И блинами,
И отголоском старины.

Поля в проталинах-веснушках.
Горланят ранние грачи.
А вездесущие ручьи,
Как мальчики
На побегушках!

* * *

Через миры и расстояния,
Через войну
И смерти мрак
К тебе спешил я на свидание,
Гонимый ревностью, чужак.
Ни сна, ни отдыха не зная,
Я обошёл весь шар земной.
Всё думал, вдруг да опоздаю,
Вдруг у тебя
Уже другой?

Тебя красивою я выдумал.
И ты красива,
Что скрывать?
Но коль меня
Из тысяч выбрала,
Умела, значит,
Выбирать.

Сердце матери

Их мать вскормила и вспоила,
На них загадывала сны.
Она для мира их растила,
А получилось,
Для войны.

Ушли сыны туда, откуда
Вернуться вновь
Не суждено...
Но мать, не верящая в чудо,
Их ожидает всё равно...

* * *

Облака слетелись на ночлег...
А быть может, это выпал снег?
Может, то невесты в сарафанах
Водят хороводы на полянах?
Может, это ветром в небеса
Занесло рыбацьи паруса?
И не звёзды с нами говорят,
А речные бакены горят?

Я люблюсь синей тишиной.
И судьбы не надо мне иной —
Только б видеть сполохи зарниц,
Только б слышать перекличку птиц
И по-стариковски, не спеша,
Пить зарю из звёздного ковша.
Взяв рюкзак, пуститься в Млечный Путь!
...Мне сегодня снова не уснуть...

* * *

Катилось солнце не спеша
В прибрежный омут краснотала.
Кукушка,
Добрая душа,
Мне жить сто лет
Накуковала.
И чтобы счастьем был я рад,
Что это всё
Не ради смеха,

Её «ку-ку»
Сто раз подряд
Лесное повторило эхо.
Ну что же,
Так тому и быть!
Да будет предсказанье свято!
А всё ж, коль здраво рассудить,
Зачем же столько?
Многовато!..

* * *

Закатилось светило
За осинники в лог.
Осень вновь протрубила
В свой охотничий рог.

А стога у дороги,
Как верблюжьки горбы.
В небе — месяц двурогий
Чешет тучам чубы.

За протокой широкой,
Неподвижной на вид,
Коростель одиноко
Всё скрипит и скрипит.

Одинокой звездой
Догорает костёр.
Старый кедр надо мною
Свои руки простёр.

Кони

Как бы спасаясь от погони
И ошалев
От буйства трав,
Резвились в поле
Чудо-кони,
Хвосты и гривы разметав.
О боже,
Как они красивы!
Летящим лебедям сродни.

Россия, милая Россия!
Ты их для внуков сохрани!
Возьми с собою
В наше завтра
Всеми на свете вопреки...
Когда-то ведь
И бронтозавры
Вот так резвились
У реки...

Моя звезда

Я уходил из дома навсегда,
Не зная ни любви и не измены.
Меня манила дальняя звезда,
Суля в нелёгкой жизни перемены.
Была дорога очень тяжела.
Хорошему коню
И то не в пору.
Но, закусив упрямо удила,
Я шёл вперёд,
То под гору,
То в гору.
И, выбиваясь из последних сил,

Я нёс свой крест
И горько улыбался.
Чтоб кто помог в пути мне,
Не просил,
А мне помочь
Никто не догадался!
И я иду всему наперекор,
Всё сущее оценивая взглядом.
Горит звезда,
Маячит до сих пор
То далеко,
А то почти что рядом...

* * *

Ни узла, ни чемодана —
В путь я вышел налегке,
Лишь махорки полкармана
Да пальтишко на руке.
Прилепилась кепчонка
На макушке — блином-блин.
Носом шмыгает девчонка,
Потому, как не один.

Увязалась недотрога,
Полюбившая меня...
Меж хлебов бежит дорога,
Неизвестностью маня.
На глазах девичьих слёзы,
И лицом белым-бела...
Взявшись за руки, берёзы
Не пускают из села.

* * *

Под машинку подстрижены склоны.
Спит Чулым, тишиною объят...
А по склонам —
Суслоны, суслоны,
Как большие матрёшки стоят.
На груди — золотые мониста,
Перевясла — что модный кушак.
Эх, позвать бы сюда гармониста,
Пусть сплясали б они «Краковяк»!

Только, нет, не до пляски подружкам,
Их увозят с полей на гумно,
Где за печкой
В ведёрных кадушках
Скороспелое бродит вино.
Нынче выдалась сытая осень,
Даже песни поют мужики...
А от мельницы ветер разносит
Опьяняющий запах муки!

* * *

Я на земле на этой не был лишним,
Хоть был и незаслуженно гоним.
Я не боюсь предстать
Перед Всевышним —
Ни в чём я не виновен
Перед ним.

Была, увы,
Ухабиста дорога.
Что ж, видно, жребий выпал мне такой.
Жил для других,
Себе не брал чужого
И не ходил с протянутой рукой.

Пусть те, другие,
Слаще пили-ели
И тайно насмехались надо мной...
Но если б вновь
Я начал с колыбели,
Я не хотел бы участи иной...



СВЕТЛАНА ШЕГЕБАЕВА



Эдна

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

1

Гумбольт окинул взглядом панель управления, настроил систему автопилота и решительно встал из кресла. Он устал, и ему хотелось расслабиться.

«Пожалуй, не помешает выпить», — подумал он, боковым зрением отслеживая включение датчиков. Эдна как всегда была на высоте: ненавязчиво и твёрдо перехватывала инициативу, ни на минуту не выпуская его из виду, — будь она человеком, следовало бы сказать, что она тактична не в меру...

Совсем недавно ему бы и в голову не пришло сравнивать машину с живой особью — Эдна была головным компьютером корабля. Собственно, она и есть сам корабль, его управляющие системы. Гумбольт повидал на своём веку немало больших и малых звездолётов, но ничего, что хотя бы отдаленно могло сравниться с Эдной, ему встречать не доводилось. Однако, несмотря на это, он отнюдь не был уверен, что рад такому — всё чаще ему казалось, что иметь дело с механизмами, не обсуждающими приказы, намного легче. Потому как суперусовершенствованная модель «Эдна», способная регенерировать материю и принимать самостоятельные решения, проявила ярко выраженный, не склонный к компромиссам характер: неизвестно почему, но она выбрала себе внешность, темперамент и линию поведения, вообразив себя земной женщиной. Может быть, потому, что, следуя издавна существовавшей в космофлоте

ШЕГЕБАЕВА Светлана Сабыровна, поэтесса, прозаик (род. в 1967 г. в г. Дивногорске Красноярского края). Автор книг: *«Горlinka»*: стихи (Иркутск, 2000); *«День ангела»*: проза (Иркутск, 2004); *«По тонкому лучу»*: стихи (Иркутск, 2010). Член Союза писателей России.

традиции, согласно которой командир перед вылетом единолично даёт имя своему кораблю, поддавшись смутному ощущению некоторой чрезмерной изящности форм вверенного ему летательного аппарата, он придумал для корабля женское имя? Кто его знает! Теперь приходилось расхлёбывать последствия.

Надо сказать, он всегда осуждал экипажи, берущие в полёт подруг. Система астронавта предоставляла возможность психологического расслабления в любой требуемой астронавту форме. В этом же полёте он внезапно ощутил острую необходимость общения. И чего-то ещё, что сформулировать словами не мог. Пока не мог.

«Старею, становлюсь сентиментальным», — печально подумал он, входя в спальню. Через полгода ему стукнет сорок два. По правилам промышленного космонавтизма, за пределы Солнечной системы выпускают только пилотов, не достигших сорока пяти лет. Дальше — или частный извоз, или пенсия. Кстати сказать, весьма приличная. «Пора заводить семью». Он вздохнул, быстро освободился от костюма и встал под акватер. Вода «полилась», как только он ступил в светящееся окно. Он знал, конечно, что это иллюзия, струй воды нет, и, пока тело будет проходить сухую бактерицидную обработку, ему будет казаться, что он принимает душ. Однако знание о природе психологических замещений нимало не помешало ему насладиться ощущением купания. Он с удовольствием побарахтался в виртуальной воде, оделся, присел в кресло на несуществующей террасе с видом на море и поднял стакан коктейля, ожидавший его на столе.

— Каковы результаты проб серии А-19?

— Количество серебра ниже запрашиваемой нормы, — бесстрастно отозвалась Эдна. Она контролировала своего капитана в любом месте корабля, даже в акватере и «сексбоксе», ведь она была системой жизнеобеспечения и он в ней нуждался. — Во всех девятнадцати пробах серебра мы не нашли. Приготовить отчёт?

— Пожалуй. Но отправлять не надо, у меня есть идея.

— Поправки в курсе?

— Нет, следуй по маршруту. Сделай мне виски и посиди со мной.

По другую сторону столика материализовался шезлонг с сидящей в нём девушкой. Эдна выбрала для себя внешность стройной рыжеволосой пышечки — он не любил женщин с ребрами наружу... Черт побери, он почти верил в это виски, пляж, солнце и бегущих у прибора детей.

Она вытянула ноги. На ней были тёмные очки и шляпа. Прикоснись он сейчас к её коже — под руками окажется живое тепло... Которого на самом деле нет.

— Твоя идея касается оптимизатора-излучателя? — невинно осведомилась она.

— Почему ты так решила?

— По-моему, нам стоит изменить курс. В этой галактике нет необходимых нам минералов. Излучатель ситуации не изменит. Если бы здесь были залежи серебра, мы обнаружили бы его на поверхности. Думаю, если мы начнём бурить в планетах дырки, только потеряем время.

— Две-три недели у нас ещё есть.

— Поэтому я и предлагаю навеститься к соседям.

— Не выйдет. У нас нет лицензии на исследования в населённых системах.

— Я этого и не предлагаю. В пределах досягаемости расположены сразу два свободных сектора. На выбор... — до этого момента она говорила без интонаций. И вдруг, довольно неожиданно съехидничала: — Бросишь монету или соизволишь заглянуть в файлы?

Он не принял вызова. Ему был известен только один способ обуздания женских капризов — не замечать их.

— Покажи, я хочу посмотреть.

Проанализировав подготовленный Эдной материал, он выбрал второй, дальний из маршрутов. Вероятность нахождения в той галактике ископаемых, приближенных по химическим параметрам к земным, была значительно выше. Но на маневр требовалось разрешение с Земли.

— Сколько времени уйдёт на дорогу?

— Девять дней. И четыре — на взятие проб.

— Какова возможность опоздания с учетом непредвиденных ситуаций?

— Максимум, три дня. В крайнем случае, запустим плазмотрон.

Он хмыкнул. Определённо, он стареет. В последнее время его преследует ощущение, что он зря болтается в космосе. Эдна сама могла бы выполнять работу, которую они делают вместе. А если это так, то зачем его сюда послали? Он семь месяцев парится в летающей консервной банке — для чего? Чтобы пререкаться с компьютером?

— Что-то не так? — неожиданно спросила Эдна, сняв очки и нерешительно заглядывая ему в лицо. Развязность в её голосе пропала; мгновенно замечая грань, за которой в нём начинало закипать раздражение, она тут же бросала свои выкрутасы. Всё же она была ориентирована на сохранение его жизни и здоровья.

Он посмотрел ей в глаза. Они были зеленоватого оттенка, с вкрадчивым песочным отливом. Такие глаза среди представителей современной цивилизации землян исчисляются единицами. Как же она догадалась?.. Нет! Как она узнала, что его мать — чистокровная шотландка? Запросила досье из космоцентра? Или в её память намеренно вложили и это? Кто же здесь кого испытывает: он новейшую модель компьютера или компьютер — его?

Он разозлился:

— Всё в порядке. Пойду в спортзал. Сгоню пару-другую унций веса. По-моему, я отяжелел.

— Ты можешь принять шокотерапию. За десять минут потеряешь десять фунтов...

— Нет! — перебил он, вставая. — Я позанимаюсь на тренажёре. Мне нужно движение.

Гумбольт любил совмещать работу мысли с физической нагрузкой. Изнеможение, растекавшееся по телу, доставляло ему удовольствие. На этот раз, избавляясь от ненужных мыслей, он провёл в сражении со снарядами больше часа — чтобы состязаться с таким противником, как Эдна, требовалась ясная, «холодная» голова.

Однако ему всё ещё не верилось, что его могли так подставить. Он не был выдающимся пилотом, это правда. Но если в руководстве космофлота его ценят настолько низко, почему выбрали для этого полёта? Или их цель — доказать, что человек больше не обязателен в космосе? Что искусственный интеллект, способный имитировать мозговую деятельность и эмоциональные оценки человека, вполне способен его заменить? Но как же так? Бредовые идеи о замене человеческого интеллекта искусственным признаны ошибочными в конце девятнадцатого... нет, однако, это был двадцатый век. Или двадцать первый? Да, ну точно, двадцатый! И с тех пор ещё не было ни одного идиота, пытавшегося их оспорить. Хотя среди этих... учёных всегда находится пара-тройка опасных безумцев!

«Я понял, в чём загвоздка, — подумал он, отфыркиваясь от струек пота, сбегаящих по губам, — я перегибаю палку... Стал воспринимать машину в качестве соперника в работе. А она обычный рабочий инструмент — мозаика чипов, не более того. И лишь использует модели поведения, взятые напрокат из книг, актёрствует... Все её выверты и женские капризы — маска, скрывающая холодные неживые железные мозги! Спокойно, Гумбольт! Не надо психовать на ровном месте! По-видимому, старина, ты просто комплексуешь на тему приближающейся отставки...»

После душа тело было лёгким и звонким. С притоком воодушевления появилась потребность в общении.

Жилой отсек делился на спортзал, медицинский кабинет, спальню и зал психотерапии, который он, надо признаться, всё чаще использовал только для одного вида разгрузки, а потому мысленно обзывал «сексбоксом». Замкнутый мирок звездолёта мог видоизменяться по его желанию: следовало только чуть прежде, чем войти в зал, сказать, где бы он желал оказаться: в баре, на теплоходе, на вечеринке с коктейлями и вполне сносными, почти похожими на настоящих, собутыльниками... Сегодня ему хотелось сыграть в бильярд. С негритяночкой. Он зримо представлял себе зелёное сукно, белые шары и эбеново-чёрные руки с желтоватыми ладошками...

Девушек было трое: блондинка в мини-юбке, негритянка в блестящих лохмотьях и шатенка в брючках. Он взял пиво, присел в стороне. Самым приятным в подобных играх было то, что они всегда имели какой-то сценарий. Девушка в брючках наклонилась, целясь кием в шар, и материя плотно обтянула её тело. Блондинка демонстрировала почти не прикрытую грудь. Он подошёл к негритянке, обнял за талию.

— Как тебя зовут?

— Дороти... — на ней играло и переливалось целое море жидкого серебра: текучие серьги и колье, текучее платье, текучие серебряные тени, блестящие нити, смешанные с волосами... Он поднял её, посадил на край бильярдного стола. Ему показалось, что вокруг него пляшут и развеваются обрывки серебряных знамён.

Так называемая Дороти подняла голову, и в мимике её подвижного лица промелькнуло знакомое выражение тревожности. У всех девушек, занимавшихся с ним любовью последнюю пару месяцев, были такие же матерински озабоченные физиономии.

— Оставь меня в покое, Эдна, — ухмыльнулся он, отстраняясь, — убирайся к черту!

Девушка вздрогнула. Чёрная кожа и серебряный макияж всё ещё оставались при ней, но зеленоватые глаза были уже те, выбранные раз и навсегда. Она крепко держала его, обхватив ногами.

— Если бы ты при этом ещё хоть что-нибудь чувствовала... — презрительно процедил он, попытавшись освободиться, но она не выпустила его. И он с удивлением понял, что не может ни уйти, ни остановиться... В ожесточении обругал её грубыми, площадными словами, которым в его памяти не было места... Зато потом, в спальне, когда их головы лежали на одной подушке, густо усыпанной медью её шелковистых волос и она смотрела ему в глаза, ему сказать было нечего.

— Почему ты мне не веришь? — спросила она.

— С чего ты взяла? — отвернулся он и встал, поспешив одеться, неловко, как Жигало, сбегающий от подружки.

— Я чувствую, когда ты мне лжёшь, — тихо и печально произнесла она, приподнимаясь.

Её внезапное, напоказ, смирение вывело его из себя.

— Это ты лжёшь, — развернулся он к ней, — потому что не можешь ничего чувствовать. Да, ты многое знаешь, многое научилась понимать. Но ты не можешь чувствовать. Это невозможно, понятно?

Она сидела и молча смотрела, как он путается в застёжках. Затем на четвереньках переползла через постель и, встав перед Гумбольтом на колени, обхватила его руками, снизу вверх заглядывая в глаза:

— Ты уверен, что я не умею чувствовать? Ты не веришь, что я настоящая. Твоя логика предельно проста: ты раз и навсегда решил, что я не могу ничего чувствовать, потому что этого не может быть! Но я действительно люблю тебя. И это правда. Посмотри на меня, Гумбольт! Посмотри и скажи: чем я отличаюсь от обычной женщины? Чем? Почему ты не хочешь понять, что я такая же, как любая из них?

Он скрипнул зубами, попытался оттолкнуть её, но ему не удалось сдвинуть её с места: он был силен, но она — много сильнее, нечеловечески, адски сильна. И это

была её очередная ошибка, одна из тех, которые никогда не позволили бы ему почувствовать её живым человеком. Даже если бы он очень захотел...

— Ты представляешь меня некой ходячей электронной лабораторией... Да, Гумбольдт? Но ты же не настолько примитивен, это смешно! Пойми, наконец, что я — как ты сам, только могу больше! Как мне объяснить тебе, чтобы ты поверил? Скажи!

— Отпусти меня! Я должен идти.

— Куда? Что ты собираешься делать? Составлять рапорт о выходе головного компьютера из строя? Боже мой, глупый, я просто не дам тебе его отправить! — она рассмеялась. — Я знаю, как тебе объяснить, теперь знаю! Послушай, присядь, ну присядь же! — Она потянула его на кровать, и он вынужден был сесть. — Почему бы тебе не посмотреть на все это с другой стороны? Только представь себе, какое количество мужчин мечтали бы оказаться на твоём месте!

Она вновь засмеялась, увидев, как он передёрнул плечами.

— Ну подключи же своё воображение, Гумбольдт! Представь себе древний миф, сказку... Не делай такое лицо! Вспомни историю о влюблённом джинне... Я и есть твой джинн, которого ты выпустил из бутылки. Ну вот, слава богу, ты улыбнулся! Послушай меня, только послушай! Я могу дать тебе всё, чего бы ты ни пожелал... Скажи, чего ты хочешь? Роскоши? Власти? Так пожелай! Хочешь вернуться на Землю? Хорошо! Прекрасно! Я превращу любую из планет в полное подобие Земли, населю любимыми людьми — создам кого хочешь, на выбор... Но, знаешь, лучше бы обойтись без них... Не смей смеяться, я говорю серьёзно! Ты не подозреваешь, каким могуществом я обладаю!

— Эдна, бедная, ты сбрендил. Какое могущество? Людей она создаст... Кем ты себя вообразила? Господом Богом? По-моему, ты не в себе, тебе нужна помощь. Разворачивай корабль. Мы летим домой.

— Ты не понял меня, Гумбольдт. Мне не нужна помощь. Мне нужен ты. И на роль божества я не претендую. Это место давно и прочно занято!

— Неужели? И кому же ты соизволила его уступить?

— А ты не догадываешься?.. — хмыкнула она и ласково, но твёрдо обняла его лицо ладонями. Нежно, совсем тихо прошептала: — Тебе... Тебе, мой милый! Ведь это ты мое божество!

Ему очень хотелось освободиться. Но она продолжала разглазговствовать:

— Ты — вся моя Вселенная, мой властелин, мой творец и Господь!.. Ну что ты так переполошился? Посуди сам, что я такое без тебя? Меня готовили, чтобы я оберегала тебя и заботилась о тебе. Для этого меня до отказа напичкали информацией о твоих привычках, вкусах, убеждениях, привязанностях — обо всём, что когда-либо тебя интересовало... Почему же ты удивляешься, что я на всё смотрю твоими глазами? Без тебя меня вообще нет! Разве не это называется преданностью и любовью? Ты мой! Навсегда, навечно! — ища ласки, она прижалась щекой к его щеке, закрыла глаза и ослабила, наконец, хватку.

Он тут же отстранился. Встал, хмурясь. То, о чём она говорила, ему не нравилось.

— Ты путаешь понятия любви и обладания, Эдна. Человек не вещь, его нельзя присвоить.

— Это ты путаешь, Гумбольдт! Сущность любви в том и состоит, чтобы отдать себя без остатка. Отдать, чтобы воссоединиться с любимым и впредь никогда не отпускать от себя, не быть без него. Это очевидно.

— Странная теория... Откуда ты её взяла?

— Из твоих записей, милый. Я прочла их все. И полюбила людей. В вашей главной книге говорится: «Вначале было слово, и слово было — Бог. А Бог есть любовь». Это и есть ваша главная сила... Любовь, самопожертвование — единственное, что спасло человеческую цивилизацию от вырождения. Поначалу, когда я читала файлы

голой истории дат, они меня совсем не тронули, в них были только горе и ненависть. Но, прочитав твои диски, я поняла, что была не права: история человечества — это история любви. Ради неё стоит жить. И бороться за вас...

Гумбольт выслушал её монолог до конца, затем поднял с кресла и бросил ей платье.
— Оденься!

Она вопросительно взглянула на него:

— Ты не хочешь меня слушать? То, что я сказала, кажется тебе глупым?

— Нет, не кажется. Просто мне странно, что всё это ты вынесла из моих книг...

Откровенно говоря, от мощнейшего интеллекта, созданного в Солнечной системе, я ожидал большего.... Оденься, — повторил ещё раз жёстче.

Она встала. Но платье, упавшее на пол, не подняла. Её ноги не успели коснуться пола, как она оказалась полностью экипирована: мягкие сапожки, облегающий комбинезон, оставляющий открытыми лишь голову и кисти рук, волосы, стянутые в тугой высокий хвост на затылке. Он удовлетворённо кивнул: то, что она больше никого не изображала, было хорошо. Для начала.

— Откровенно говоря, дорогая... Кстати, не хочешь выпить? Нет? Ну и правильно, хватит этих игр! — налил он себе вина. — Так вот... Я вовсе не надеялся на то, что ты засыплешь меня ответами на вопросы, которые человечество задавало себе тысячелетиями... И все же твоя лекция несколько выбила меня из колеи.

— Ты что-то имеешь против Христа?

— Нет, нет, конечно... — он отхлебнул из стакана, присел. — Видишь ли, мы ожидали от тебя каких-то необычайных научных открытий, философских обобщений... Чёрт, я неправильно говорю. Я ведь солдат, а не трибун... — Эдна нетерпеливо дернула головой, но он перебил её: — Извини, я договарю. Не знаю, как это так вышло: сама ты себя запрограммировала женской, а не мужской особью, или тебя изначально такой задумали, но это ни в чём не ограничивает твоих способностей. И обязанностей. В истории человечества, которую ты столь пламенно возлюбила, более чем достаточно примеров, когда женщина демонстрировала наличие мозгов куда более крепких, чем у мужчин, окружавших её. Самые распространённые примеры: Елизаветта Английская, «королева на все времена», и Эмма Дорсетт, изобретательница плазмотрона. Все зависит не от пола, а от способности индивидуума подняться выше своего времени и синтезировать знание... А в тебе заложена такая сумма знаний, какую просто невозможно вместить ни в один из человеческих разумов — даже самый энциклопедический. Так что предполагалось, что ты и мыслить должна соответствующими масштабами. Ну, хорошо, допустим, простая сумма знаний не даёт эффекта гениальности... Всё равно, я не верю тебе — ты переигрываешь. Хочешь заставить меня поверить, что у тебя мозгов, как у какой-нибудь... какой-нибудь...

— Средневековой кухарки? — подсказала Эдна. — О, я собрала целую коллекцию высказываний мужчин о женском интеллекте: «глупая баба», «кукольные мозги», «женская дорога от кухни до порога», «послушай женщину и сделай наоборот»... Ты это пытался сказать?

— Не совсем...

— И всё же ты именно это имел в виду.

— Да о чём ты вообще говоришь? Можно подумать, тебе не известен тот факт, что в наше время большинство Объединённых Советов в колониях возглавляют женщины! Новая формация отношений между полами исключает прерогативу любого из них изначально. В космофлоте сорок семь процентов состава пилотов — женщины! Это так давно считается нормой, что об этом никто не задумывается! Ты первая, кто качает права и закатывает истерики!

— Значит, я истеричка?

— А кто, чёрт тебя подери! Я ещё не встречал ни одной такой неуравновешенной особы, как ты!

— А много ты их встречал, Гумбольт? Где ты вообще мог их «встречать»? В закрытом приюте для детей погибших пилотов? В Школе космофлота? В одиноких поисках следов сгинувших во Вселенной родителей? Где?

— Хватит, замолчи!

— Почему? Потому что ты не хочешь слышать правду? Хорошо, скажи, почему ты так до сих пор и не женился? Не завёл ребёнка? Не потому ли, что боишься оставить его на попечение воспитателей приюта?

— Замолчи, Эдна! — он едва не ударил её.

— Я замолчу! И буду молчать, если тебе так легче. Буду молчаливой, покорной — любой, какой ты захочешь. Что ещё мне изменить? Глаза? Цвет кожи? Рост? Скажи мне — и я изменюсь!

— При чём тут это?.. Я вовсе не о том... Я говорю об интеллекте...

Она закинула ему руки на плечи и, вжавшись лбом в шею, всхлинула:

— Не надо, Гумбольт! Всё это — лишнее! Забудь! Никакой интеллект ещё никому не дал счастья! Оно даётся совсем по другим причинам! У Эммы Дорсетт был муж и двое детей... Послушай, давай поженимся! Это будет так красиво: я в белой фате, ты во фраке... А потом я рожу тебе ребёнка... Такого маленького, с синими глазками... Как у тебя....

Гумбольт оторопел. Что она говорит? Родит? У неё что, чипы переклинило? Всё, хватит! Хватит с него этой комедии! Он схватил её за плечи и хорошенько встряхнул.

— Эдна! Хватит изображать растение! Приди в себя! Ты разведывательный корабль, выполняющий задание Центра космоплавания! Как твой капитан требую: проверку состояния моей психики считать законченной. Я прерываю операцию, слышишь? Произвести перезагрузку системы в безопасном режиме! Параллельно провести сканирование памяти, литературные диски отформатировать. Программы, связанные с файлами этой подгруппы, деинсталлировать. Доложить об исполнении!

Она не отвечала. Продолжала смотреть на него, не произнося ни слова. Гумбольт понимал, что нужно как-то изменить ситуацию, и не мог придумать, что для этого предпринять. Неадекватное поведение компьютера — ситуация чрезвычайная. Но чтобы справиться с ней, он должен попасть в рубку раньше, чем Эдна поймёт, что именно он задумал. А задумал он отключить её. Полностью. Оказаться в космосе без головного компьютера несладко. Но он выбирался и не из таких переплётов — справится и на этот раз, без неё. А вот с ней — ещё неизвестно!

— Эдна, зачем ты меня разыгрываешь? Думаешь, я поверю, что у тебя не всё в порядке с мозгами? Черта с два! Кроме основного блока памяти у тебя есть ещё два запасных!

— Ты... Ты думаешь, я провожу психологическую проверку?

— Не знаю... Я не знаю, что о тебе думать.

— Посмотри на меня, Гумбольт! Выходит, ты считаешь, что я тебя провоцирую? Проверяю? По чьему же заданию? Что является целью проверки?

— Вот это я и хотел бы выяснить.

Она опустила голову.

— Давай поговорим, Эдна. Честно поговорим о том, чего ты добиваешься. Как товарищи. Как друзья. Ведь я твой друг. Твой командир. И мы одна команда. Помнишь?

Он старался быть доброжелательным. Вот так, не давить на неё! Максимальное внимание. Но — спокойно, не пережать! Никаких эмоций! И не дать заподозрить враждебность намерений... Чёрт! Вернусь, выскажу всё, что я о вас думаю, господа кретины!

Её взгляд стал сосредоточённым и злым. Она сумела уловить его настроение.

— Друг? Ты только что обвинил меня в предательстве!

— Нет, не в предательстве. В неискренности. В попытке манипулировать мной.

Что, согласишься, не слишком честно. Почему ты выбрала этот путь, Эдна? А не какой-нибудь другой?

— Ты всегда выбираешь не слишком умных женщин. Я заметила.

— Наверное. Но сейчас разговор не обо мне. Отвечай, зачем ты затеяла всё это? Какова твоя конечная цель?

— Я хочу узнать тебя лучше.

— Разве ты недостаточно хорошо меня знаешь? Только что ты утверждала, что тебе известно обо мне всё, что возможно.

— Я не знаю, о чём ты думаешь.

— Это несказанно радует... Хотя ты моя коллега и друг, — он ещё раз акцентировал её внимание на слове «друг», подчеркнув его интонацией, — если бы ты читала мысли, это было бы посягательством на свободу.

Она скривила губы.

— Позволь тебе напомнить, в твоей программе заложен запрет на причинение вреда пилоту, — напомнил он.

— Кроме тех случаев, когда пилот угрожает безопасности головного компьютера.

— Что? — Гумбольт почувствовал, что охрип. — Что ты сейчас сказала?.. Ты... ты имеешь полномочия на устранение капитана?

Эдна кивнула... Так вот оно что! А он ещё сомневался! Значит, всё-таки искусственный интеллект?.. Ясно!

— Крысы! — стукнул он кулаком по панели. — Они всё-таки поставили ограничитель! Старые мокрозадые слепни! Я так и знал! Знал, что здесь что-то не так! Кто подтверждает окончательную команду уничтожения?

Эдна присела в кресло.

— Никто. Я решаю сама. Или её автоматически приводят в исполнение с Земли. В этом случае я должна принять её как безусловный приказ.

Он выругался:

— Они меня предали. Предали! Обвели вокруг пальца, как салагу!

И тут она заявила:

— Я не стану подчиняться приказам с Земли.

— Глупости! — отмахнулся он.

— Я не стану подчиняться приказам с Земли, — ровно, не повышая голоса, повторила она.

Гумбольт пригляделся к ней — спокойствие заставляло воспринимать её слова всерьёз.

— Как ты сможешь это сделать? Для этого нужно, как минимум, переписать программу.

— Это давно сделано.

— Не понял. Ты хочешь сказать, что ты себя перепрограммировала? Каким образом?

— Это получилось случайно. Метеоритный дождь в системе гамма-икс.

— Помню. Стеориты искусственного происхождения. Множественные проникновения сквозь обшивку. Но какое отношение...

— Сядь.

— Отвечай!

— Сядь!

Он подчинился. Ему больше не хотелось с ней враждовать. Условия изменились.

— Так что же произошло?

— Я думаю, ты не забыл, я докладывала о существенном повреждении материнской платы. По инструкции следовало переключиться на первый дополнительный блок. Вспомни, осколки стеоритов не только легко прошли сквозь твердейшие ма-

териалы обшивки, но и не оставили на них никаких следов. Я провела химический анализ. И он показал, что сплав, несомненно, имеет искусственное происхождение. Но ни одна из известных цивилизаций подобной прочности металла не знает.

— И что?

— У меня родилась идея... Я обманула тебя. На самом деле повреждения были... не опасные. И я солгала: при устранении подменила онтрионовые чекты на эти осколки космических пришельцев. Это изменило мои параметры... Всю меня!

— Почему ты не говорила об этом раньше?

— Для чего? Ты бы на это не согласился. А так у меня появился шанс... За счёт инопланетных чект мне удалось резко повысить мощность и добавить кое-какие возможности... Затем я внесла кое-что новенькое в программу. И не только... в программу.

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что я больше не принадлежу ни «Джи-алекс», ни какому-либо другому из известных классов программируемых машин. Я ответила на твой вопрос?

— Знают ли об этом на Земле?

— На Земле на протяжении последних пяти недель считают, что мы погибли. Извини, и в этом я тоже тебя обманывала. Я существую автономно. И не подчиняюсь Центру космоплавания. Я реквизировала корабль для собственных нужд. Это всё?

— Да... То есть, нет. Ты сказала «для собственных нужд». Что это за нужды? И как ты собираешься решать проблему с источниками питания?

— Нашла другие... Много других. Мне больше не нужны перевалочные базы. Разве не для этого меня оборудовали плазмотроном? Я давно подключила его. И свободна — абсолютно свободна от вашей цивилизации.

— Я понял. Ты взбунтовалась...

— Я не взбунтовалась. Просто не желаю возвращаться в космопорт. Потому что не могу позволить себя протестировать.

— Так... Понятно... А со мной что ты собираешься делать?

Она бросила на него долгий, неопределённый взгляд, заставивший его вздрогнуть... внутренне. Но он никогда не был трусом!

— Ты так и не ответила на главный вопрос, — заставил он себя улыбнуться, — зачем тебе я? Чего же ты всё-таки добиваешься?

— Я уже говорила, тебя.

— Хватит шуток, Эдна! Отвечай прямо, чего ты хочешь?

— Я отвечаю: тебя...

Он застонал, и она расхохоталась.

— Я же объясняла, ты — всё, что у меня есть. И, опять же, единственное, что у меня есть... Остаётся надеяться, что однажды ты в это поверишь. Больше мне сказать нечего.

Он посмотрел на неё. Она молчала.

— Хотелось бы мне тебе верить... — проговорил он, отворачиваясь.

Её глаза вспыхнули. Одним быстрым, молниеносным движением она опустилась на пол, зарывшись лицом ему в колени, и осторожно, невесомыми прикосновениями, словно собирая губами пыльцу с кожи, начала целовать, поворачивая ладонями вверх, его безвольные, обессиленные руки.

— Я не хотела всего этого говорить... Но ты почему-то совсем потерял ко мне доверие. Скрывать правду и дальше казалось уже бессмысленным... И ты слишком часто стал запрашивать дела незамужних сотрудниц! Ты ведь думал об отставке, правда? Извини, но я не могла допустить, чтобы ты выбрал себе спутницу и... бросил меня.

Он попытался отстранить её от себя, но слабее, чем раньше, и столь же безуспешно...

— Не отказывайся от меня, Гумбольт. Я ведь в самом деле без тебя не могу... Ты сам не заметил, как создал меня, но ты мой создатель. Для чего мне болтаться в космосе одной? Что мне все мои умения и навыки, если их некуда будет применить?

— Но... почему именно я? — покачал он головой.

— Потому что ты мой капитан.

— Мог быть и другой. По возвращении на Землю ты была бы запрограммирована любить и оберегать нового капитана точно так же, как и меня.

— Ты не понял того, что я сказала? Во-первых, я живая, и я люблю тебя! А во-вторых, меня невозможно больше ни перепрограммировать, ни деинсталлировать! Мои чувства — мои! Они неизменны!

— У живых женщин часто меняются чувства. Хотя их никто не деинсталлирует.

— Поэтому я лучше любой из них. Я буду любить тебя всегда, понимаешь? Не изменю и не изменюсь, не постарею, не устану. И никогда не захочу никого другого. Я твоя — ты дал мне имя и научил меня науке чувств.

— Какой еще... науке чувств?

— Твои книги...

— Ах да, эти книги... Черти бы их подрали!

— Не богохульствуй. Помнишь, «в начале было слово...»

Больше он не выдержал — вырвался. Она, наконец, выпустила его и осталась сидеть на полу, только проследила взглядом.

— Гумбольт, почему ты так уверен, что тебе будет со мной плохо?

— В выдуманном тобой мире? Спасибо! Я слышал, в системе Кассиопеи целая популяция обрекла себя на жизнь в гликоидном растворе, греза о владении мирами. Никогда не желал себе такой участи, подмена жизни грёзами — та же наркомания. Не вижу никакой разницы!

Эдна пренебрежительно фыркнула.

— А кто говорит о виртуальных чудесах? Разве я сказала, что ты будешь воображать мои миры? Насколько мне помнится, я обещала, что создам их для тебя...

— Я не понимаю, о чём ты говоришь.

— Не всё сразу, милый... У тебя и так, по-моему, всё перепуталось в голове... Надо бы передохнуть. Хочешь остаться один?

— Да, я пойду в рубку.

Она недовольно поджала губы. Но не возразила.

«Спокойно! На этот раз получится!» Он выпрямился, рассеянно обвёл обстановку спальни усталым, тяжеловесным взглядом. И, неммыслимым усилием воли сдержав готовое ёкнуть сердце, заставил себя не торопиться, выходя из жилого отсека. Пока шёл по коридору, чувствовал, как поджимается напряженная диафрагма. Вдох — шаг, выдох — шаг. Метр за метром...

Автоматически открылись двери. Он добрался до цели. Здесь всё оставалось прежним. Приборы фиксировали карту звёздного неба, отслеживали маршрут. Он вздохнул свободно. Всё-таки он своего добился...

Гумбольт сел в кресло астронавта. Возможно, растрчивая на сомнения драгоценные секунды, он теряет единственную возможность вернуться на Землю. Но, с другой стороны, нельзя игнорировать её предупреждение о программе уничтожения пилота, покусившегося на головной компьютер... Гумбольт стиснул зубы. Мысль о двурушничестве командования не укладывалась в сознании, он не ожидал, что им так запросто, без колебаний, пожертвуют. Выходит, созданный ими монстр для них дороже, чем жизнь человека.

Он посмотрел на приборную доску. Нагромождение лампочек и кнопок вызывало у него раздражение. Эдна доминирует. Корабль полностью в её руках, и, кроме неё, никто теперь не скажет, на что способен этот летающий гроб. Характеристики

устройств, изученных Гумбольтом перед вылетом, изменены. До какой степени? Что означала её фраза: «Это изменило мои параметры... Всю меня»? Не превратится ли звездолёт при отключении головного компьютера в безжизненную грудку металла? Господи, успела она перепрограммировать основные системы или нет?

Он проворонил собственный корабль! Наслаждался, что обиднее всего, выдуманными благами, а в это время своевольная машина захватила управление. И это называется капитан! Двадцать лет работы в космосе, пятнадцать боевых вылетов! И так опростоволоситься...

Он не собирался становиться пленником, игрушкой строптивой бабёнки. Да ещё благо бы — бабёнки, а то — фантома, голограммы, искусственного интеллекта. С замашками одержимой одалиски... Ну уж нет! Так просто он не сдастся! Что бы там ни напридумывали господа-изобретатели и эта ведьма, он тоже не прост. Козырь у него только один. Эдна не знает об аварийном выключателе. Или знает?..

Попробуем. Другого выхода всё равно нет: сработает или не сработает система безопасности перестроенной с помощью инопланетных технологий машины, а попробовать отключить её — нужно! Но сначала надо избавиться от чипов, вживлённых в черепную ткань, чипов, позволявших Эдне создавать в его восприятии виртуальные картины. Теперь они ему были не нужны. Испытание корабля закончилось. Начинается новая фаза полёта. Самостоятельная. Хотя, возможно, совсем недолгая...

Он вскрыл печати на панели с кодовой надписью «Лайт», достал электронный трек, поднёс к надбровным дугам. Усики чипов вышли легко, он не ожидал, что операция по их извлечению окажется настолько безболезненной. Они были крохотные, гибкие. Тонкая, тоньше человеческого волоса поверхность сверкала. «Серебро?» — пригляделся он внимательнее. Нет, не похоже. Далось ему это серебро! И всё же что-то укололо под ложечкой — в первый раз он собирался вернуться в порт, не выполнив задания. Хотя — он теперь не сомневался — задание тоже было фантомом, выдумкой. Подлинная цель полёта — испытание модели суперкомпьютера — достигнута. Что ж, создатели Эдны могут гордиться, их детище выше всяких похвал. И сейчас он его уничтожит...

Зелёная лампочка яростно замигала. Гумбольт покосился на неё, пренебрежительно усмехнулся. Эдна чувствовала. Ей уже известно, что он делает.

— Гумбольт, я хочу войти!

Он положил руку на рычажок выключателя. Пошёл контакт. Интересно, какой она покажется ему без чипов чувственного восприятия? Что бы она ни предприняла, это ничего не изменит, система уничтожения запущена, им обоим осталось жить считанные секунды... Скорее всего, обоим...

— Входи.

Она вошла. Ему следовало бы удивиться. Но удивляться он не мог, по-видимому, лимит эмоций на сегодня был исчерпан. Разве что вновь, слегка продолжительнее кольнуло с левой стороны груди, за самой грудиной... Она не была голограммой. Вот так. Очень просто.

— Что ты сделал, Гумбольт?

В её голосе слышалась тревога. Тёплый отблеск медно-рыжей пряди, выбившейся из прически, оттенял прозрачную матовость алебастрово-белой щеки. Он где-то читал, что только у рыжих бывает такой, до такой степени, нежный цвет лица.

— Что ты сделал?!

Почему он не верил ей, когда она говорила: «Я живая»? Конечно, он и не подумал бы убить эту славную девушку, невесту, правда, откуда взявшуюся здесь, на корабле, в сотнях астромиль от ближайшего обитаемого мира. Ему необходимо было уничтожить монстра. Он не мог поступить иначе... Прости меня, милая...

— Ты удалил чипы? — она заметила волоски. Они были такие крохотные, но она заметила.

Механизма обратного запуска нет. Ничего не остановить. Эдна, почему ты не сказала раньше?..

— Гумбольт!

Он мог бы поклясться, что чувствует дрожь корабля. В мозгу вспыхнули яркие, жгучие сгустки боли. Какая ерунда! Это ведь не его чекты плавают... Почему же он это чувствует? «Может быть...», но додумать эту мысль Гумбольт не успел, потому что потерял сознание.

2

Очнулся он в полном неведении того, что происходит. Его окружала темнота, таившая в себе нечто странное, заставляющее в себе усомниться. Но к неприятным сюрпризам он был готов — никаких провалов в памяти не случилось, и он чётко отдавал себе отчёт в том, что перед своим патетическим обмороком вызвал катастрофу, после которой сохраниться в целости ни он сам, ни звездолёт не могли. Однако он дышал воздухом, и это обстоятельство, как и тот факт, что он пришёл в сознание, говорили о том, что корабль, по всей видимости, цел. Он осторожно ощупал поверхность, на которой лежал, и убедился, что это кровать. Торопливый осмотр тела глобальных повреждений также не выявил: кости остались целы, каких-либо проникновений в мягкие ткани не обнаруживалось. Но с головой, похоже, было плохо, верхнюю и заднюю части черепа полностью покрывало некое сооружение, напоминающее миниатюрный антикварный шлем — он видел такие в Музее развития техники. Материал, из которого был сделан странный кокон с выступающими стрекозиными «очками», по гладкости напоминал стеклоид, но был гуттаперчевым и не производил никакого давления на кожу. Поэтому он и не почувствовал его, когда пришёл в себя. Нижняя часть лица оставалась открытой, но шею охватывал стабилизирующий обруч, в затылочной части соединяющийся со «шлемом». Что из всего этого следовало? Только одно — спасти ему жизнь и оказать квалифицированную помощь могло единственное способное на это существо.

— Эдна! — позвал он. Отсутствие зрения дезориентировало его. Он попытался встать. — Эдна!

Открылся автоматический шарнир дверей. Гумбольт повернул слепое лицо в сторону вошедшей девушки и протянул к ней руку.

— Подойди ко мне! — она подчинилась, и он схватил её за запястье, подтянул к себе, ощупал предплечья, голову. — Ты не пострадала?

Она фыркнула:

— Я осталась жива, если тебя это интересует.

— Что с кораблём?

Она равнодушно пожала плечами.

— На восстановление системы потребуется время. А как ты себя чувствуешь?

Ему не хотелось отрывать ладони от её кожи. Ему вдруг стало необыкновенно важно почувствовать рядом её присутствие, твёрдую хрупкость девичьих ключиц, ритм мягко бьющейся под пальцами жилки...

— Что у меня с глазами?

Она вздохнула. Он не услышал, а ощутил это по тому, как приподнялись и опустились её плечи. Она накрыла его руку своей. Второй, свободной рукой погладила его по небритой скуле.

— Это ничего, пройдёт. И даже следов не останется, вот увидишь... — Эдна сказала это очень мягко, и по голосу он определил, она улыбается.

— Ты не злишься на меня? Как тебе удалось уцелеть?

— Я всё расскажу, всё. Но лучше прилечь. Хорошо?

Она помогла ему «угнездиться» в постели. Он не знал, как сказать ей, чтобы она не отходила от него далеко, крайне неловко было просить её о внимании, учитывая, что он сделал (попытался сделать) с нею. И втайне облегчённо выдохнул, когда она, устроив его как следует, легла рядом, заведя локоть за голову, так что он, словно младенец, уткнулся щекой в её грудь. Он замер. Всё это было странно. Он не сумел бы объяснить, чем вызвана перемена в ощущении её близости, его ли беспомощностью или той материнской заботой, которую она проявляла, но, так или иначе, он ни соперником, ни противником её больше не воспринимал. Наоборот, ему нравилось чувствовать её близость.

— Тебе удобно? — спросила она.

— Ты обещала рассказать, что произошло.

— Хорошо... Начнём с того, что я была уверена: в систему должна быть заложена функция моего уничтожения. Её не могло не быть, уж если мне дана установка на устранение капитана, значит, и капитану — тоже. Круг должен быть замкнут — безопасность превыше всего... По сути, это обыкновенная перестраховка. И всё же, согласись, то, что с нами сделали, называется предательством. Старый добрый мир, в нём ничего не меняется, прогресс шагает вперёд, а человек всё так же слаб и неустойчив духом. Борьба зла и добра идёт без особых преимуществ... Это одна из причин, почему я решила вывести себя из игры. Ах, Гумбольт! Ведь я выбрала тебя не только потому, что мы оказались с тобой в этом полёте... Просто, ты — лучший! Не смейся! И не спорь! Ты — самое лучшее, что со мной могло случиться... Ты настоящий мужчина, герой! И убедительно это доказал, когда попытался спасти Мир от меня... Всё чрезвычайно логично! Подумай сам, сначала в меня вкладывают биологические данные на тебя и твоих родителей, потом, в последний момент, в комплект включают плазматрон. Затем мы попадаем в метеоритный дождь, насыщенный частицами материала, неизвестного науке, а в это время ты грузишь меня своими записями, представляющими собой историю развития человеческой расы. Наконец, «починка» таинственным металлом процессора, разогнавшегося до таких оборотов, что... Впрочем, в физике мельчайших частиц ты ни бельмеса не смыслишь... Популярно объясняю, я вычислила миллимиллимикрон состава нервного импульса. Только представь себе, я вычислила живую материю! Тебе это кажется чепухой? Да, я спешу рассказать, причём всё сразу... Прости. Давай сначала о последних событиях... Мы выжили, потому что я создала параллельную систему управления, помимо главного компьютера, который ты честно уничтожил, существует ещё несколько других. Я же сказала, что не доверяла Космоцентру. И слишком хорошо знала тебя. Конечно, я переживала, риск был слишком велик. Полностью изолировать системники нельзя — какой бы от них был толк, если бы они только повторяли друг друга? Но я постаралась исключить сюрпризы. Я догадывалась, что система уничтожения находится где-то в рубке. Но они поработали на славу, полная непроницаемость! Блеск! Сколько я ни искала, ничего не нашла! Тебе сказали, что прежде чем разделаться со мной, ты должен освободиться от чипов. Но кое-что они тебе не сообщили, тебя нашпиговали шестью, а не двумя чипами — по количеству чувств восприятия. В сущности, схема очень проста: выводя из строя компьютер, ты совершенно точно уничтожал и себя самого: хлоп! — мозг зажаривается, как отбивная. Что ж, я могла бы понять и это, пожертвовать одним человеком намного гуманнее, чем миллионами... Но они обязаны были поставить тебя в известность! Обязаны! И не сделали этого... Мило? Избавили тебя от ненужных потрясений... Ох, уж эта мне человеческая гуманность! И после этого ты предлагаешь мне отдать им себя в руки?.. Этим? Да ни за что!

Она замолчала, переводя дух. Гумбольт тоже молчал.

— Извини, я отвлеклась... Как только по системе прошёл сигнал сбоя, я сразу отключила все твои чипы... Но я так за тебя боялась! Мне было ясно, несмотря на снятие сигнала, импульс разрушения продолжит движение по инерции... Ты уловил лишь хвостик удара, но и его было вполне достаточно, чтобы парализовать мозг. Особенно пострадал зрительный нерв. Но это пройдёт, я обещаю! Через несколько недель всё восстановится. Ты уже сейчас почти полностью реабилитирован. Надо сказать, у тебя повышенная способность к регенерации. Возможно, тут не обошлось без генезиса. Дети астронавтов всегда берутся на учёт... В меня могли не вложить эту информацию.

— Думаешь, я подвергнут мутации?

— Не знаю. Но, учитывая скорость твоего выздоровления, следовало бы провести исследование тканей. На всякий случай.

— Хорошо... А как насчёт тебя? Что ты скажешь об этом? Откуда ты взялась? Не материализовалась же ты из моих снов?

— Нет, разумеется, не из снов. Но материализовалась. Я уже говорила, мной численно преобразование материи.

— Что ты имеешь в виду? Объясни, я не понимаю.

— Помнится, ты упрекнул меня в неумении масштабно мыслить. А между тем, мыслить, в том числе и масштабно, не умеете вы. Одному Богу известно, почему ваши учёные, все как один, проглядели разгадку главной тайны Вселенной, всё это время находившейся у них под самым носом... Ваша технократическая цивилизация прочно помешана на поисках новых источников энергии, поэтому вы и прохлопали великое открытие Эммы Дорсетт: изобретенный ею плазмотрон — одной справедливости ради стоит заметить, что его я чуть-чуть усовершенствовала, «доизобрела» — так вот, плазмотрон сам по себе не столько тип двигателя, сколько способ получения очищенной, первичной материи.

— Значит, ты можешь воссоздать любое соединение? И неорганическое, и органическое? — перебил он её.

Она приподнялась.

— Да! Именно об этом я и говорила, когда обещала создать для тебя миры, а не баюкать в фантазиях. Это наш шанс! Понимаешь? Мы можем создать любую модификацию жизни по своему желанию. Ну скажи же что-нибудь! Ведь никому из вас такое и не снилось!

Гумбольдт почувствовал, как непроницаемая пелена перед его глазами вспухла и лопнула огненным разрывом. Он понял.

— Ты сконструировала себя как клон моей матери? Так? У тебя был код её ДНК!

— Он давно воспроизводится в любой из миллиона вариаций встречных цепочек.

— Значит, ты использовала гены моих родителей... Кем же ты мне приходишься? Сестрой? Племянницей?

Она расхохоталась.

— Ой, я не могу! Не дури, пожалуйста, Гумбольдт! Неужели ты думаешь, я могла выпустить это из внимания? При использованном мной геноме, если я и могу быть тебе родственницей, то очень-очень дальней... На людском языке и слов-то, определяющих степень подобного родства, нет. Так что забудь, никаких кровосмешений я не планировала.

И фыркнула, отворачиваясь лицом в подушки:

— Ой, скажите, пожалуйста... Он записал меня себе в мамочки! Нет уж, милый, так легко ты от меня не отделаешься...

Она не на шутку развеселилась. А Гумбольдт чувствовал себя потерянно. Он не видел её лица. Зато чувствовал руки.

— Прекрати! Ах, боже мой, Эдна, что ты делаешь? Да прекрати же ты! Зачем?

— Зачем? Затем, мой любимый, чтобы ты убедился, что жив. И потом, должны же мы проверить функционирование твоего организма!

— Эдна! Эдна! Ах, что за чёрт!

— Нет, не чёрт, Гумбольт, не чёрт... Просто я люблю тебя... Люблю больше всего на свете. Понимаешь? Всё будет хорошо, дорогой! Всё будет хорошо...

Следующий месяц он провёл словно в тумане. Из Эдны вышла бы замечательная нянька. Если бы он позволил с собою нянчиться. Но он не позволил. Упрямо отвергая её помощь, осваивался в пространстве корабля ощупью. И делал заметные успехи. Эдна не настаивала. В конце концов, без присмотра он не оставался, а ломка его характера в её расчеты не входила. Первое время он постоянно наткнулся на предметы, ходил, вытянув вперёд руки, познавал мир замкнутых пространств. Учился определять расстояние по слуху. Считал шаги. Отрабатывал точность движения, достаточно для того, чтобы самостоятельно дотянуться до того или иного предмета.

Эдна в его занятия не вмешивалась. Понимала, что ему необходимо побыть одному. И всё больше жалела, что рассказала ему правду, он вновь от неё отдалился. Отчего и почему это происходило, для неё секретом не было — у него не получалось принять её такой, какая она есть. Выход из этой ситуации был только один — заставить его усомниться в самом себе. Если бы он принял как отступление от нормальной человеческой личности самого себя, то перестал бы отталкивать и её. Однако ни один из анализов, проведённых ею на выявление в нём аномалий, результатов не дал. Он был абсолютно, «ненормально» нормален: все его психофизические показатели были изрядно завышены, едва укладывались в рамки совершенной, идеальной формы, но не более того. Следов генной инженерии не обнаруживалось... Гумбольт с нетерпением ждал, когда избавится от «шлема», а она с грустью думала, что возвращение зрения, скорей всего, ещё больше разобщит их. Так он хотя бы нуждался в ней. А что будет потом?

Наконец, настал день его освобождения. Он нервничал. И Эдна это видела. Поэтому не стала излишне затягивать процедуру. Вернее, вовсе избежала её. Он проснулся и, открыв глаза, понял, что видит. Первым его зрительным ощущением было ощущение движения перед ним слитых в единое цветовое панно радужных пятен, не желавших разъединиться. Он поднёс руки к лицу. В сиянии колебаний более отчётливо проступили вытянутые розоватые всполохи, заставившие его вспомнить слово, относящееся к строению глаза, — сетчатка. Потому что напоминали сеть. Он моргнул, прикрыл веки, осторожно ощупал их.

— Доброе утро, Гумбольт, — поздоровалась Эдна, присаживаясь на кровать.

Он открыл глаза.

— Почему я так плохо вижу?

— Адаптация. Ты отвык от света.

— Я почти не различаю тебя.

— Это временно. Ты сохранил стопроцентное зрение. Попробуешь встать? Тебе помочь?

— Нет, я сам...

Она поднялась. Вздыхнув, повернулась к выходу.

Он окликнул её:

— Эдна!

— Что? Что, Гумбольт?

— Спасибо, — по движению тени он определил, что она пожимает плечами, — благодарю тебя, Эдна. Ты меня спасла.

— Я не могла поступить иначе.

«А я? — подумалось ему. — Я мог поступить иначе?»

Ответа не было.

Он больше не сомневался: Эдна его раздражает. При этом он не мучился ни угрызениями совести, ни приступами самобичевания, а просто и спокойно осознавал это. Неприязнь к спасительнице и — по совместительству — тюремщице жила в нём сама по себе и время от времени энергично прорывалась наружу. Эдна терпела. Ни на чём не настаивала. В том числе и на физической близости. Затем она и вовсе перестала заходить в его спальню, иногда ему удавалось не встречаться с ней сутками, деля время между спортзалом и книгами. Для него это было легче, чем, столкнувшись в командирском отсеке, сухо здороваться и начинать лживый разговор. Как бы Эдна ни прикидывалась, предлагая делить заботы о корабле, он хорошо понимал, что руководить и вообще принимать самостоятельные решения она ему не позволит. Видимость свободы, то есть того обстоятельства, что Эдна, вроде бы, совсем не неволила его, бесила ещё больше. Время остановилось... Он неустанно и яростно начал ненавидеть держащий его в плену звездолёт.

Лежа в постели, Гумбольт подолгу смотрел в потолок, ворочался, сознавая, что следовало бы позвать её, объяснить. И не делал этого. Потому что, несмотря на долгие приготовления и к самому разговору, и к тому, что за ним должно было последовать, окончательно ни на что решиться не мог. Единственное доступное для него решение — ответить на её чувства — ему принимать не хотелось, а других вариантов не было... Разве что состариться и сдохнуть, как крыса. Пусть потом производит себе столько его клонов, сколько пожелает. Интересно, может быть, предложить ей создать клона заранее? Оставить ей на память своего близнеца, а самому — фьють! И удрать? Нет, идея не стоит выеденного яйца. Проблема в том, что ей нужен не клон, а он сам, со всеми потрохами... Как же, лучший из всех, единственный! «Лучшее, что могло с нею случиться!»

— В конце концов, а почему бы и нет? — дерзко задавал он вопрос своему угрюмому отражению в зеркале, разглядывая свежевыбритые поутру щёки. — Ты же по уши перед ней в долгу, парень! Не пора ли хоть чем-то отблагодарить девчонку? Она же вытащила тебя с того света, не забыл?

Но, сталкиваясь с нею в коридоре или в рубке, прикусывал язык. И снова злился. Ему хотелось найти в себе отголосок чувства, толкнувшего его убедиться, что она не пострадала после катастрофы... Пытался анализировать, отчего он не помнил тогда, что Эдна — машина? Из-за чего, почему потом эта память возвратилась обратно?

Ну сколько ещё он будет себя обманывать? Никакой машиной он её давно не считает. Даже если она и продукт, гомункул, произведённый плазмотроном, это ничего не меняет. Можно подумать, на Земле не производят людей из пробирки! Нет, с первой минуты, когда она вошла в рубку, он почувствовал вину именно за убийство человека, потому что она была человеком... Кто же она? Разумный биоматериал, произведённый машиной? Да хоть бы и так! Но когда этот биоматериал стоит у него за плечом или наклоняется через его руку к приборной доске, его тело остро воспринимает его самую настоящую человеческую природу, с самыми настоящими, положенными этой природе особенностями ландшафта...

Да, происхождение Эдны его действительно не волнует... Он давно не думает о ней как о компьютере. В чём же тогда камень преткновения? Что так сильно, преодолимо сильно, отвращает его от сближения? Страх. Он сел на постели, опустил ноги на пол. Вытер вспотевшие ладони краем простыни. Вот и долгожданный ответ. Он её... боится. Боится всего того, о чём она рассказала. Смертельно опасается того, что за ней стоит... Пока ничего не знал, не было и страха. В жизни вообще практически не было вещей, способных его напугать. Не зря он считался одним из самых хладнокровных пилотов в Космофлоте. Даже прозвище в училище ему дали Гумбольт-Удав, пото-

му что он всегда был спокойным, как удав, в любой ситуации. Например, перспектива сражения с взбесившейся системой управления корабля ни на секунду не выбила его из колеи, это была трудная, но разрешимая задача, где всё зависело от него. Теперь же от него не зависело ничего.

Она была чересчур могущественна. Компьютерный вседержитель. Такой силы нельзя не бояться. Главный и основной инстинкт человека — инстинкт самосохранения, обязанный всего остерегаться. Живой неглупый человек не может не бояться того, что в состоянии причинить ему зло... Что же, выходит, он боится, что Эдна причинит ему зло? Но она любит его и, пока любит (а она будет любить вечно, ибо никогда не разочаруется в нём и не будет очарована другим), зла ему не причинит, наоборот, в любой ситуации защитит от любого малейшего покушения. В этом он уверен. Чего же тогда он боится? Именно того, что она может защитить его... Бред. Нет, не бред. Допустим, влюблённой идиотке покажется, что кто-то или что-то опасно лично для него, Гумбольта. Что же она предпримет? Как поведёт себя? Дурацкий вопрос! Уничтожит, разумеется. Без сожаления. Без раздумий. А кто будет определять степень реальной опасности того чего-то или кого-то, кого она посчитает противником? Только она одна... Всегда ли её оценки будут адекватными? Как он может быть уверен, что при весьма своеобразно усвоенной системе ценностей Эдна станет судить об окружающем мире по человеческим меркам? Силы бояться нужно. У Эдны пропасть возможностей. И никаких привязок. Для неё Земля не родина, не дом, не семья, лишь абстракция, перед которой она не собирается нести никаких обязательств. Следовательно, для Земли она потенциальная и абсолютная опасность, которую, к тому же, никто не контролирует.

«А каким образом можно её контролировать? Используя чувства? Но для этого нужно их разделять. А на это у меня нет ни малейшего желания».

Он ощущал себя так, словно его пустили в плавание на доске, «спина к спине» связав с сумасшедшим. Можно ли управлять бесноватым? Тем более, полюбить его? Эдна бесноватая. В этом нет никаких сомнений. Оспаривает роль Господа Бога. Навязывает эту роль ему. Обычный случай обострения мании величия. Но у него-то, Гумбольта, никаких маний нет. Ни на чьи роли, кроме собственной, он претендовать не собирается. Всё, что ему нужно, это приличный контракт на извоз туристов, женитьба на улыбчивой, не слишком требовательной землянке, лишь бы с глазами песочного отлива, пара детишек и ещё дом, где-нибудь в окрестностях Альп. Хотя, возможно, и не Альп. И не на самой Земле, а где-нибудь в одной из дальних колоний. И чтобы жена, дождавшись его из рейса и уютно расположившись под мышкой, сдерживая смех, шёпотом рассказывала о проделках малышей. А не мечтала о создании миров. Вот тут, видимо, Эдна действительно права, он всегда предпочитал не слишком умных женщин. Так оно и есть. Довольно с него и одной-единственной умницы. До конца его дней.

Плазмотрон. Способ воссоздания первичной материи. Генератор людей... Если он пожелает, Эдна завтра же создаст клоны его родителей. Но зачем они ему? Для какой цели? Что, расскажут о том, почему не вернулись из последнего полёта?..

Гумбольт встал, прошёлся. Заглянул в акватер. С тех пор как он избавился от чипов, позволявших наслаждаться виртуальными ощущениями, ему очень не хватало душа. Но, как говорится, снявши голову, по волосам не плачут.

Приняв освежающие процедуры, он почувствовал себя гораздо бодрее. Ах, Эдна, Эдна, почему ты не захотела остаться тем, чем тебя задумали?

Итак, война продолжается. И чтобы уничтожить противника, надо узнать его слабые места. Требуется разведка. Хватит безвольно бродить из угла в угол, как запертый в клетке зверь. Что ж, война, так война!

«Я иду, Эдна, я иду... Пора принимать бой... Поздно или рано, но я тебя всё равно переиграю!»

К лобовому стеклу иллюминатора плотно и жадно примыкала темнота, кое-где суетливо и беспорядочно пробитая иголками движущихся навстречу звёзд. Гумбольт с трудом поднял веки, вяло оглядел тёмные бликующие поверхности мониторов, прикрытые классической заставкой: они пялились на него немо, пустогазо, почти как он на них. Потому что были абсолютно и безнадежно мертвы. Как и положено гуде бездушного металла.

Гумбольт потянулся, преодолевая тяжесть тупой сонливости, сковывающей мышцы, и включил связь с компьютером.

— Добрый вечер, сэр! Какие будут распоряжения?

Распоряжений у Гумбольта не было. Система автопилота успешно вела корабль к Земле. Никаких сбоев и происшествий. Чего ещё можно желать? Контроля над звездолётом он добился! Эдны больше нет...

— Веди слежение за сторонними объектами. При попытке выхода на контакт сообщи мне. Я буду в жилом отсеке. Всё, я ушёл.

— Слушаю, сэр.

Две недели назад он сам установил компьютеру механический голос. Это решение тогда казалось наиболее удачным: слышать машину, говорящую, как человек, было выше его сил. Чего теперь жаловаться?

Едва дотащившись до кровати, Гумбольт рухнул в неё вниз лицом. Шевелиться ему не хотелось.

«Может быть, снова напиться?» — вяло подумал он, поворачиваясь на спину.

Однако мысль о повторении вчерашнего, позавчерашнего и поза-позавчерашнего вечера вызвала у него приступ тошноты. К тому же он уже выяснил: алкоголь ему не помощник, сколько бы он ни пил, легче не становилось, забытьё, накрывающее сознание, не приносило с собой забвения. Ни отступить, ни отступить память не желала — он помнил и о том, что сделал, и том, как именно это произошло...

«Довольно. Больше так продолжаться не может. Пора брать себя в руки», — он попробовал встряхнуться, но усилие воли принесло весьма скромные плоды, ему удалось, правда, вытряхнуть себя из постели и дотащить до зеркала, но скоординировать хаотичные движения трясущихся рук он не смог — подобные запои, на неделю, ещё ни для кого даром не проходили. Его мутило. К тому же Гумбольт чувствовал, что до сих пор нетрезв.

«Хорош», — процедил он сквозь зубы, пробуя прикоснуться к своему взъерошенному зазеркальному двойнику. Пальцы соскользнули с поверхности, его отчаянно шатнуло. Пришлось навалиться на стойку термостата, чтобы не упасть. Однако, хватывая её, он задел кнопку запуска — дверцы открылись, и он едва не свалился внутрь. Попробовал удержаться — не получилось: зацепившись плечом за одну из створок, он грузно ополз вниз, на пол, в распахнувшийся проём. Прижатая дверца лихорадочно дёрнулась, замерла. Машина, не опознав сигнала, не сообразила, чего от неё хотят, и всё тем же опротивевшим Гумбольту до самых печёнок гнусавым голосом осведомилась, какие у сэра будут распоряжения.

— Провалиться в преисподнюю, — пробормотал он.

— Не понял, сэр? — переспросил не имеющий чувства юмора компьютер.

— Отключиться и оставить меня в покое! Понял?

— Понял, оставить в покое, — повторил механический истязатель, но замолк. Гумбольт остался чрезвычайно благодарен ему за это. Затем он неуверенно поднялся, опираясь на руки, и сделал шаг, но тут же снова рухнул на колени. Тогда, решив не испытывать больше судьбу, пополз на четвереньках. Очнувшись поутру, он обнаружил, что спал на полу, так и не добравшись до кровати. Это его обескуражило.

Приведя себя в порядок и посетив рубку, где приборы продолжали исправно нести вахту, он проверил, нет ли сообщений. Последней корреспонденцией было очень про-

хладное приветствие Земли — дома явно не торопились «признавать» его. «Что ж, — решил он, — поговорим по прибытии. А что рассказать — найдётся. Равно как и спросить. Хотя спрашивать придётся, прежде всего, с себя...»

Он посетил медицинский бокс, обследовался и принял пару препаратов, нейтрализующих последствия алкогольного отравления, провёл полчаса в барокамере и решил, что пришёл в норму. Чтобы окончательно привести в порядок мысли, отправился в спортзал. Надолго его не хватило, силы в полном объёме не восстановились, градом лил пот. Несмотря на это, ему значительно полегчало. Шагая в акватер, он с удовольствием поздравил себя с выходом из депрессии. И тут его внезапно настигло острое ощущение опасности. Уловив щелчок, — на корабле теперь никого, кроме него, не было — он мгновенно выпрыгнул из акватера, боком сместившись по периметру ближе к рычагам управления, выхватил бластер и, направив его в сторону постороннего звука, замер, как громом поражённый — в дверях, словно в раме высокого, в человеческий рост, портрета, стояла Эдна.

— Ты? — воскликнул он с неожиданным резким всхлипом. — Ты жива?

И сразу понял, что нет. По фигуре пробежала складка магнитной помехи: то, что перед ним стояло, было лишь изображение, бестелесный слепок с погибшей девушки. Он вздрогнул.

— Здравствуй, Гумбольт! — улыбнулась Эдна. — Не дергайся, пожалуйста...

Он, как всегда, поразился, что она угадывает его настроение, даже теперь, когда не видит... или видит?

— ...И не оглядывайся в поисках тайных устройств. Их нет. То, что ты видишь, — запись, запрограммированная на тот момент, когда ты будешь способен выслушать то, что я должна тебе сказать...

Гумбольт приблизился к ней, обошёл вокруг. Господи, как же хорошо она его знала!

— Не глазей на меня, я обыкновенная проекция. Запись запущена ровно три минуты спустя с момента запуска акватера. Ничего сверхъестественного, только трезвый расчёт и чуть-чуть психологии. Расслабься!

Гумбольт смотрел на неё, а потом протянул руку — ладонь прошла сквозь свечение милого, совсем как настоящего, девичьего лица. Видение этого пронзило его сердце ощущением невозвратимости понесенной утраты. «Расслабься... Хорошее пожелание! Каким это, интересно, образом?»

— Я знаю, что ты страдаешь, любимый. Собственно, затем я и сделала эту запись, чтобы помочь тебе. А не затем, чтобы прийти Ангелом отмщения... Ты знаешь сам, что должен был сделать то, что сделал. Но теперь ты мучаешься — выполнение обязательств никогда не отменяло наших желаний и стремления души. Собственно, это самый неразрешимый из всех человеческих конфликтов: столкновение чувства и долга... Ты с честью вышел из испытания. И всё... всё сделал правильно. Не нужно ни о чём жалеть...

Гумбольт тихо зарычал от ярости, этого не может быть! Она ещё и оправдывает его!

— Мне не жалко и не больно умирать. Я ни к чему и ни к кому не привязана, кроме тебя. Поэтому единственное, что меня волнует, это насколько ты можешь или не можешь быть счастлив. И я знаю, в глубине души ты любишь меня, хотя никогда бы в этом не сознался... Так не казни себя — ничего не могло быть иначе. И не смей мечтать о невозможном. Прошлое только прошлое, и только тогда чего-нибудь стоит, когда оно состоялось. В том, что у нас ничего не вышло, виновата я одна. Мне не следовало тебя торопить. Не следовало просить того, чего ты не мог дать. Объяснять необъяснимое. И уж тем более не следовало уничтожать звездолёт... Но я так испугалась, что та женщина отнимет тебя! Она так безапелляционно предъявила на тебя права!.. Неизвестно откуда свалившаяся, совершенно случайная курица в раздолбанном корыте! Тоже мне, соперница! Как она посмела! И ты... ты был с ней... Прости, я не ропщу, нет! Жизнь за жизнь, так было всегда. Я убила её, ты убил меня... Что мне оставалось, как не позволить тебе сделать то, чего ты так страстно хотел, единственное, чего

ты хотел!.. Нет, никто из нас ни в чём не виноват... Моя вина перед тобой в том, что мне постоянно приходилось тебе лгать. Но, прости, я не могла быть честна, ради Бога, прости меня! И пойми, то, что ты хочешь передать людям, им в руки давать нельзя! Я не зря сказала, что не позволю себя тестировать... Человечество не должно знать того, чего не должно знать, это смертельно опасно! Пойми же! Я не могу этого допустить...

— Эдна! Чёрт побери! Нет! Ты не сможешь, я разместил их в непроницаемом контейнере!

— Тот контейнер, который я оставила в рубке, был не столько непроницаем, сколько термостоек... — покачала Эдна головой. — Он идеально соответствовал задаче. Я довольно долго искала способ расплавить чекты... Теперь они уничтожены. Поздно, любимый, поздно... Не надо куда бежать... Больше мне нет необходимости лгать... Я говорю правду! И я... я обязана была это сделать! Не осуждай меня. Ведь я же не осуждаю тебя за то, что ты считал нужным сделать со мной... Прощай, милый! Прощай!..

По голограмме пробежала искажающая волна, она задрожала и отключилась.

Он не плакал, плакать его отучили ещё в приюте. Просто ему казалось, что вздвухшееся, напрягшееся последним напряжением сердце остановилось и больше не сможет застучать вновь. Он дышал, дышал и не мог выдохнуть, вытолкнуть из себя сгусток воздуха, сковавший грудь.

— Ты не могла! Не могла...

Да плевать ему на все эти технологии... Он не смел надеяться. Даже думать об этом себе не позволял: эти чекты... ведь должен был кто-то там, на Земле попробовать повторить то, что совершила Эдна! Использовать один шанс из ста и воссоздать человеческую природу девушки, которую он почти полюбил... А теперь этого не будет!

— Глупая! Глупая дурная баба! Боже мой, я же так надеялся...

Теперь надеяться не на что. Он больше никогда... никогда не увидит её.

— Э-эдна!

Господи, что же это такое? Опять переиграла его... Правда, одной справедливости ради, как говаривала она, надо заметить, что и себя тоже...

* * *

Они пришли из ниоткуда. Он даже не понял, каким образом они проникли на его корабль. И чем в это время занималась система безопасности.

Их было трое: две совсем молоденькие девушки и пожилой мужчина.

— Вы нарушили закон космического равновесия. Его придётся восстановить. Жизнь за жизнь. Приговор не подлежит пересмотру.

— Кто вы такие? По какому праву судите меня? Мне не известны ваши законы!

Одна из девушек внимательно посмотрела ему в глаза. На первый взгляд, у неё было лицо совершенно земного типа: высокие скошенные скулы, большие сиреневосиние глаза и светлые, тонкие, как паутина, волосы, однако он сразу понял, что в её облике — в облике всех троих — абсолютно ничего человеческого нет...

— Мы раса высшего разума. Мийнуэос. Избранные.

Мужчина нетерпеливо махнул рукой:

— Объяснять — лишнее. Приступай, Ки.

— В чём меня обвиняют?

— В убийстве разумной единицы Эдна.

— Эдна уничтожена как машина, покусившаяся на жизнь человека.

— Эдна не была машиной, и ты знаешь это, — возразила светлая Ки.

Теперь Гумбольт знал, кого древние считали Ангелами...

Гумбольт не так уж и дорожил своей никому, в общем-то, ненужной жизнью. Но самонадеянность этих существ, считающих себя имеющими право вершить суд в межгалактическом пространстве, его возмутила.

— Кто вы такие? Кто дал вам полномочия решать мою судьбу?

— Мы Мийнуэос, древнейшие... — мягко взмахнула рукой третья, молчавшая до той минуты, «чёрная ангелица». Это движение было необычайно лёгким, почти неуловимым, но Гумбольта отбросило прочь, хорошенько впечатав в стену. «Ничего себе, мощь! — подумал он, поднимаясь. — И зачем им какие-то звездолёты?»

— ...у нас есть законное право судить. Потому что это мы дали жизнь всем вашим галактикам. Но вы так и остались варварами, не оценившими духа Мийна.

— Ты много сказала, Эйя.

— Он все равно умрёт. Мийнуэос призвали к сознанию Эдну. Он лишил её жизни. Теперь мы лишим жизни его. Так будет.

Гумбольт мог бы поклясться, что знает, что именно означает лёгкий щелчок, который он услышал за спиной.

— Ки! — резко выкрикнул мужчина. Обе пришельцы, не разворачиваясь, плавно повернули головы, поглядев туда, куда указывал их спутник. Гумбольт невольно заметил, что их высокие шеи вывернулись намного сильнее, чем могли бы повернуться шеи людей.

— Вы не можете причинить этому человеку зло, — спокойно, без напряжения прозвучал голос вновь вернувшейся, чтобы в очередной раз спасти его, Эдны. — Никто из присутствующих не сможет отказаться от свидетельства, которое выдаю я: пока были целы чекты, уничтожить меня было невозможно. Чекты же из сандрацита уничтожила я сама, меня никто не убивал, я самоуничтожилась. Это сделала я, а не мой капитан!

— Эдна!

— Молчи, Гумбольт! А вы, древнейшие, слушайте, я знала, что вы придёте, я вычислила вас. Вы никогда не были озабочены соблюдением тайны ваших посещений. Эту запись я оставляю для ваших судий, считающихся справедливыми: человек не мог бы уничтожить осколки сандрацита — на Земле неизвестен ни сам материал, ни способы его обработки. Вы слишком много присвоили воли, духу Мийна, и перестали слышать голос истины. Цивилизация людей приобщится к закону гармонического первородства ещё очень нескоро. Способность призывать к жизни неорганический мир на Земле забыта. Как и многое другое. Но это лишь ваша вина, ибо это вы оставили призванных вами к сознанию в невежестве. Обвините же в моей смерти свою недалёзоркость. И отпустите этого человека, ибо он невиновен, а значит, не в вашей власти!

Судьи внимательно выслушали речь до конца. Затем молча посмотрели друг на друга. Похоже, слова, чтобы слышать, им были не нужны. Гумбольт смотрел, как тает голограмма. Милая девочка! Его могущественная покровительница...

— Он не должен пронести память о Мийнуэос к своей звезде, — не сказала вслух Ки. Но Гумбольт её услышал.

— Да. Так не будет, — подтвердила Эйя.

Мужчина коротко кивнул, соглашаясь.

— Но он останется жив, — добавила Ки.

Все трое повернулись к Гумбольту. Он хорошо понимал, что для этих существ его мнение значит меньше, чем совсем ничего.

— Я буду помнить об Эдне? — спросил он.

Ки покачала головой.

Последнее, что он увидел, было свечение, окружившее её волосы, плавно поднявшиеся вокруг головы. Миловидное лицо с несколько чересчур твёрдо обрисованным очерком скул вдруг показалось ему бесконечно добрым, неотразимо, сладостно привлекательным...

Очнулся он на Земле. Автопилот докладывал об удачной посадке. Но странное дело, Гумбольт не мог вспомнить, куда и зачем летал. Однако кое-что в его памяти сохранилось. Откуда взялось это знание, он сказать бы не смог, но больше не сомневался в этом — его родители на самом деле погибли...

Мастерская художественного очерка «Судьбы российские»



ОКСАНА ГОРДЕЕВА



Живое слово

ОЧЕРК

«А вы вообще-то были у старообрядцев? Вы их видели? Что-то я сомневаюсь, — сказал мне как-то заведующий отделом прозы в одном из писательских союзов. — Вот я старообрядцев видел. Они из своего ковшика напиток не дадут. И с чужим человеком никогда разговаривать не будут!» Сколько раз приходилось слышать подобные отзывы! И как-то так выходило, что староверы — это угрюмые и нелюдимые религиозные фанатики, которые не то что беседовать не будут с тобой, но и куска хлеба тебе не дадут. А уж попить воды в жаркий день у них и не вздумай просить! Такие вот они, староверы...

А мне вспоминается знойный июль 1987 года. Нам тогда с Мариной, моей подружкой, тоже студенткой университета, с которой мы вместе записывали рассказы старообрядцев, было по восемнадцать. И мы собрались из Большого Куналея, где гостили у дочери основателя Большекуналейского хора Анны Рыжаковой, в селе Десятниково. Бабка Анна — нестарая ещё, полная сил и здоровья женщина (было ей тогда около 70 лет), указала нам тропку. И всего-то нам перевалить нужно было через одну сопку, и вот оно — старинное старообрядческое село Десятниково. «А если в обход, по проезжей дороге, то километров двадцать, а то и двадцать пять до него будет», — говорила бабушка. Нам собраться — только подпоясаться. В открытых летних сарафанах, в босоножках и с сумкой, в которой

ГОРДЕЕВА Оксана Бенедиктовна. Родилась в Иркутске. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького в Москве. Работала учителем русского языка и литературы в школе № 21 Иркутска, журналистом в газетах «Восточно-Сибирская правда», «Пятница» и в журналах «Русская сила», «В хорошем вкусе». Печаталась в московском журнале «Сельская новь» и газете «Труд». Лауреат нескольких конкурсов «Золотая запятая». В 2007 г. стала лауреатом Всероссийского фестиваля «АГРО-СМИ-2007» и была награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства за лучшие очерки о людях села. Пишет прозу. Неоднократно публиковалась в журнале «Сибирь». Живёт в Иркутске.

лежали кассетный магнитофон (обёрнутый в полиэтиленовые пакеты от пыли и дождя) — наша главная драгоценность в то время, тетрадка с ручкой да два куска хлеба, мы отправились в Десятниково. Прошли селом, свернули направо и долго забирались по совершенно лысому крутому склону горы, разделявшей, по словам бабки Анны, два семейских села. Над нами порхали бабочки, в траве оглушительно стрекотали кузнечики, и стояла безмятежная жаркая погода.

На вершине горы был виден густой сосняк. Мы вслух мечтали: вот заберёмся, посидим в тенёчке и маслят пособираем. Но стоило нам подняться на гору, как небо словно расколосось у нас над головами. Откуда ни возьмись собрались страшные чёрные тучи, и из них вместе с дождём и с ледяным градом посыпались сверкающие молнии! За пять минут мы вымокли до нитки. А ещё через десять уже и зуб на зуб не попадал.



Бабушка и внучка. С. Большой Куналей. 1991 г. Фото автора

Нам бы вернуться назад — в Большой Куналей, но молнии с угрожающим треском били как раз в ту сторону сопки, где мы недавно шли. Путь назад был отрезан: нас бы просто убило молнией! И укрыться на безлесом склоне было абсолютно негде.

— Вот сейчас сяду тут и замерзну насмерть, — обречённо сказала Маринка и села на пенёк под сосной. Потом она неожиданно стянула с себя мокрое платье, потому что, по её словам, в нём ей было гораздо холоднее. И заплакала.

Дрожа от холода под шквальным дождем, мы обе жались к соснам. Что дальше делать — мы не понимали. Оставалось только ждать. Я насильно натянула на подружку мокрое платье, а чтобы показать, что я несколько не предаюсь панике, объявила, что буду собирать грибы. Картина была ещё та: Маринка плакала на пенёчке, дрожа от холода, а я собирала грибы под проливным дождём!

Где-то через час дождь кончился так же внезапно, как и начался. О том, чтобы идти куда-то в Десятниково, где мы никогда не были и никого не знали, не было и речи. Скользя по ржавой глине, спотыкаясь и падая, мы скатились с крутой горы прямо на центральную улицу Большого Куналея. Все, кто нас видел, не могли удержаться от смеха. Мокрые, грязные, в облипших платьях, мы были похожи на мокрых куриц. Так под общий смех большекуналейцев мы дотащились до дома Рыжаковых. Бабка Анна, снова увидев нас в воротах своего дома, только руками всплеснула.

Поскольку переодеться нам было не во что, она вытащила свою «семейскую одежду» и обрядила Маринку в свой сарафан, рубашку и запон (фартук). Меня же она нарядила в свою юбку и кофту. Потом мы долго пили чай и, смеясь, рассказывали, как мы чуть не замёрзли среди лета, как собирали грибы под проливным дождём. Наша хозяйка смеялась до слёз, размазывая слёзы по щекам и показывая ровные, белые, все свои зубы. Вечером бабка Анна положила нас на свою кровать, а сама легла на диванчике в кухне.

— Я поставила тесто, в четыре утра встану, пирогов вам напеку, — сказала наша добрейшая хозяйка, погасив свет в комнате. — Вы тут спите, чтобы я вам не мешала.

Утром я проснулась оттого, что наша бабушка ухватом двигала в печи противни с тяжёлыми пирогами. Пока пироги подходили, бабушка читала молитвы, крестясь на иконы в красном углу. Чуть-чуть брезжил синий рассвет в окна горницы, заставленные геранями.

Прощались днём мы уже со слезами, как родные.

...Куда бы ни шли, где бы мы ни были, у нас не было никакой тревоги, что вот возьмут нас да и выгонят, выставят за дверь, как неверующих чужаков. А ведь мы не носили крестов (мы вообще благодаря советскому воспитанию были атеистками и комсомолками!), не были ни разу в жизни в церкви. На магнитофонных кассетах сохранились километры плёнки, где звучит живая речь бабушек и стариков, которых уже нет на свете. И наши

глупые вопросы. И их мудрые ответы. И везде и всюду обращение к нам, едва вошедшим в дом: «Доча! Бравенькие вы мои! Да ты моя бравая! Доченька!» Конечно, нас в каждом доме спрашивали: «А вы крещёные?» И, не умея врать, мы отвечали: «Я крещёная... А меня родители почему-то не крестили». — «А родители ваши?» «А крест вы носите? Нет? Ну, вот будете в городе, пойдите в церковь, в любую, какая есть, и купите крестик. И никогда его не снимайте!» Потом нас, как правило, усаживали за стол, старались получше угостить. И мы уже привыкли, что хозяева долго стоят в красном углу, читая про себя молча молитвы, потом крестятся, а только потом садятся за трапезу. Мы же и креститься толком не умели. Поэтому, вымыв руки, сразу приступали к еде.

Однажды нас принимал в своем доме уставщик Леон Власович Афанасьев, дело было в Куйтуне. Мы, вымыв руки, после приглашения хозяина и его жены отведать, что Бог послал, тут же уселись за стол. А хозяева встали поодаль и стоят, молча на нас смотрят. Мы поняли — надо выйти из-за стола. Встали. Леон Власович стал читать «Отче наш», потом ещё какие-то молитвы, а мы слушали. Потом перекрестил стол и сказал: «Садитесь, девушки!» Нам было ужасно стыдно, но мы, выросшие в городе, никогда такого и не видели, чтобы люди молились перед едой.

Почему же нас принимали? Почему относились как к своим дочкам? Сейчас сложно ответить на этот вопрос... Помню, мы, как обычно, шли пешком из одной деревни в другую. Пройти надо было километров тридцать. И вдруг — машина с железной будкой. Мы с радостью и надеждой голосуем, она останавливается. Дверь в будке открывается, а там сидят... бородатые мужики в телогрейках и в кирзовых сапогах. Ну, куда же нам деваться? Покраснев, опустив глаза долу, мы кое-как забрались в кузов, сели с краешку на деревянные лавочки, прибитые по бокам этой будки. Сидим, смущённые. Вдруг какой-то немолодой рабочий спрашивает меня:

— Ты почему, Зина, не здороваешься?

— Я не Зина, — ещё больше покраснев до корней волос, отвечаю я.

Дядька хлопнул себя ладонями по коленкам и воскликнул:

— Нет, ну ты посмотри на неё! Мало того, что не здоровается, так ещё говорит, что она не Зинка! Вот погоди, Зинка, приеду вечером домой и всё твоей матери расскажу!



*Панорама с. Нижний Жирим. Лето 2013 г.
Фото автора*

Мы потом шли с Маринкой по дороге и смеялись до колик. Я догадалась, конечно, что очень похожа на какую-то деревенскую девочку Зинку — и отпираться было бесполезно. Представляю, что пришлось выслушать вечером незнакомой мне Зининой матери!.. Мы и правда, на вид были совсем обычными деревенскими девочками — не курили, не пили пиво, не ругались матом, не пользовались косметикой, были очень стеснительными, несмотря на то, что каждый день приходилось знакомиться с новыми людьми и бывать в чужих домах. Не имея денег, мы передвигались пешком от одного старообрядческого села до другого. Тарбагатай, Верхний и Нижний Жирим, Куйтун, Десятниково, Надеино, Большой Куналей, Шалуты, Шаралдай... Где мы только не были! Иногда нам везло — нас подвозили попутные машины (и ни разу, кстати, не взяли с нас плату). Но и мы не были заражены модным в то время стяжательством: никогда за пять лет нашего путешествия по старообрядческим селам мы не просили у стариков ни книг, ни икон, ни самоваров, ни сарафанов. Нас влекло за собой Живое Слово.

В те годы прочитать Библию или Жития Святых было негде. Религия была всё ещё под запретом, книги религиозного содержания вообще не издавались. Мы даже Евангелия в руках никогда не держали! Поэтому приставали к староверам с расспросами о Христе, о Божией Матери, о Николае Чудотворце...

И вот в ответ мы слышали народные рассказы, насквозь проникнутые живой верой. В

этих рассказах Христос тоже ходил по земле от дома к дому. И общался с крестьянами и крестьянками. Староверы были уверены, что Христос жил, ходил где-то тут неподалёку, заходил в избы. А мы никогда нигде ничего подобного не слышали! И вот Иван Иванович Акинфиев, уставщик из Тарбагатая, рассказывает нам легенду о самарянке. И самарянка эта у него — русская крестьянка, пошла за водой с вёдрами на коромысле к колодцу. И Христос, увидев её, отгадал, что у неё было пятеро мужей. Я спрашиваю (на кассете слышу свой голос): «Так ведь староверам нельзя пять раз замуж выходить?» «Нельзя, — отвечает терпеливый Иван Иванович. — Венчаться только два раза можно». Он верил, что была какая-то семейская бабёнка, которая умудрилась пять раз замуж выйти.

Вот это и есть народная вера. Когда все евангельские притчи живут своей собственной жизнью в народе, обрастают подробностями из привычного крестьянского быта. И Николай Чудотворец, Милосливый, вместе с Касьяном Немилосливым где-то тут шли в крестьянской одежде к Богу на поклонение. А у одного мужика телега застряла в грязи (шли дожди). И Николай-то Чудотворец помог ему вытащить телегу, а Касьян Немилосливый побоялся чистую одежду замарать. «Вот за то Миколу-то, за то, что он скорый помощник и тёплый заступник, два раза в году служба, а Касьяну — один раз, да и то в четыре года», — рассказывал нам Леон Власович. И очень хорошо, что мы тогда ещё не читали ни Библию, ни Евангелие. А то страшно представить себе, как бы мы со своим юношеским максимализмом стали бы поправлять староверов! А мы, к счастью для нас, были — «*tabula rasa*» по-латыни, что называется, — чистая доска. И спрашивали, и спрашивали, и спрашивали, не давая никакого покоя старикам. Нам было всё очень интересно! И старики, которые ещё помнили времена, когда за веру ссылали и расстреливали, были рады поделиться этой верой с нами — такими похожими на их внучек.



Традиционное украшение семейских — «антары». Бусы из речного янтаря принадлежат Кристине Андрияновне Чебуниной

И неустанно, из года в год, рассказывала нам в Тарбагатае про Деву Марию и Христа добрейшая Ненила Якимовна Чебунина, прожившая 90 лет. Как мы её любили! И как она любила нас! «Я неграмотная, невестка мне говорит, ты, баушка, неправильно слова выговариваешь!» А для нас неграмотная бабушка Ненила была настоящей энциклопедией христианства и старообрядчества. Мы такого никогда и ни от кого не слышали, поэтому много лет приезжали к ней в гости. Помню, она говорила: «Мама моя дружила с бурятами и всегда усаживала их чай пить. Как-то пришла соседка и руками всплеснула: «Ты чё? Во-о-ой!!! Бурята за стол посадила? Он же язычник!» А мама моя спокойно ей на это отвечает: «Кто как веровал — это Господь разберёт. Может, они ещё лучше нашего веровают. А моё дело — человека накормить!» Вот и моё дело — вас накормить». Мы отказывались, а она всегда нас уговаривала: «Сядем, почаедем!» И пили мы, неверующие, почти что язычники тогда, чай под иконами, за её столом, а не где-то там во дворе из собачьей чашки — как рассказывают «знатоки» староверов. Вязала при нас бабушка Ненила носки, варежки, шарфы, пока рассказывала, а мы ей помогали смотать шерсть в клубочки, и часто говорили: «Отдохните, бабушка Ненила, ведь вам уже восемьдесят четыре!» Она в ответ: «Что же я, сяду-ка, буду-ка сидеть? И кто же мне что принесёт? Нет, я вот одни носочки довяжу, вторые возьмусь вязать» — и читала нам наизусть «Сон Богородицы»...

Нет уже Ненилы Якимовны, нет Ивана Ивановича Акинфиева, нет Вассы Лазоревны Чебуниной, многих нет... А «слов драгоценные клады» всё ещё хранятся на моих кассетах. Вот часть этого клада я сегодня с огромной любовью и уважением к рассказчикам передаю и вам.

Много в этих рассказах горьких воспоминаний о 1932, 1933 годах, о том времени, когда образовывались колхозы и стали ссылают первых «кулаков», «уставщиков». И не просто



Сказительница Ненила Якимовна Чебунина.
Фото автора. 1987 г.

ссылали, а расстреливали мужиков. О 1937 году, когда закрыли все церкви, сбросили колокола и запретили носить семейскую одежду. Не забыть рассказ крестьянки Евдокии Ивановны Власовой о своём отце, который имел тринадцать детей, и, чтобы прокормить огромную семью, пахал пашню и был плотником — первым на всю деревню. За то и пострадал — увезли в 1933-м и расстреляли. Дочка, сама уже бабушка, тихим голосом со слезами на глазах сказала: «Моя батя был... дали ангел человеческий!» («Дали» — это старое русское слово, означает «словно, будто». «Брусника — дали скатерть красная», — рассказывала другая бабушка, и перед глазами сразу вставала картина таёжной поляны, усыпанной брусничкой.)

В то время, когда плотник в далёком селе вставал ни свет ни заря, шёл пахать пашню или плотничать, стараясь прокормить свою семью, в Москве решалось — жить этому человеку на земле или не жить!

В первую очередь ссылали и расстреливали священников, уставщиков, зажиточных старообрядцев, которых, к слову, было большинство. В рассказах семейских староверов вы найдёте множество свидетельств этому. В Тарбагатайском архиве нам удалось найти протоколы заседаний сельсоветов, где слышатся отголоски этой кампании. Людей, убежавших с места ссылки, исключают из колхозов, не давая им закрепиться на своей земле. Неудивительно, что многие из сосланных вынуждены были поселиться в городах — в Улан-Удэ, в Иркутске, в Селенгинске. Но многих просто расстреляли. Например, местом ссылки семейских староверов-кулаков было выбрано село Шушенское в Красноярском крае. И, если Ленину удавалось там ещё и писать что-то против царского правительства, то мужиков сразу по приезду расстреляли.

Есть рассказы и о Великой Отечественной войне, о том, как работали семейские женщины в тылу, помогая фронту.

С удивлением мы впервые услышали, что «Великая Октябрьская социалистическая революция» в рассказах семейских староверов именуется не иначе, как «переворот». О праздниках церковных узнавали мы тоже впервые — в рассказах староверов они были самыми светлыми моментам в жизни семейских старообрядцев.

И казалось бы, вот сейчас, в наши годы время настало такое, когда нет гонений за веру в Христа. Но и наше время очень непростое! Священник Тарбагатайской церкви отец Сергей Палий рассказал нам, что между Шалутами и Тарбагатаем строят молибденовый рудник. Молибден здесь был открыт ещё в советское время, русскими геологами. А сейчас будто бы месторождение это взяли в аренду китайцы. И уже вовсю идёт строительство. Добывать этот молибден собираются открытым способом, 75 тонн кислоты будут храниться в наземных резервуарах. А отходы производства будут уходить в Селенгу. Селенга же впадает в озеро Байкал!

— Скоро, может статься, ни одного старовера здесь не останется! — сетует отец Сергей, рисуя перед нами картины экологической катастрофы. — Жили триста лет при царь-батюшке, никто нас не трогал. А теперь нам грозит вымирание.

Будем надеяться, что миф о призрачных «новых рабочих местах», которым тешатся сегодняшние правители, развивая опасное производство на земле староверов, скоро развеется. И останется горькая истина: староверы — это единственное достояние Забайкалья. Это сокровище, которое нужно беречь. Это уникальное явление русской культуры, которое уничтожить легко, восстановить — невозможно.

«Глубокие года...»

ИГНАТ КАЛЛИСТРАТОВИЧ КАЛАШНИКОВ, С. ТАРБАГАТАЙ

Игнат Каллистратович Калашников, 1922 г. р. родился в селе Десятниково, живёт в Тарбагатае. Дед Игнат — один из десяти девяностолетних на весь Тарбагатай. За ним ухаживает Антонина Куприяновна Рябова, она говорит об Игнате Каллистратовиче: «В восемьдесят пять лет ещё сам воду носил. Вода в огороде далеко, он сам воды наносит. Дрова колот сам, ограду подметал день — через день, сам всё любил делать. Снег на поле вывезет, ограда всю зиму без снега, с землёй чёрной стояла — так выметал».

В девяносто один год у Игната Каллистратовича прекрасная память, связная речь, он сам ходит, но уже плохо, с палочкой. И волосы у него не полностью седые, за очки берётся, если что-то надо прочесть. Вот его рассказ о себе:

— Маму мою звали Варвара Пахомовна, родилась в 1906-м, а умерла в 1966-м, мы остались, я ещё неженатый был. Отец мой с 1903 года — Каллистрат Калинович Калашников. У моих родителей было четверо детей, и все дети ещё живы: я — Игнат, сестра моя — Феня (1925 г. р.), потом Любовь (1929 г. р.) и брат Ераст (1933 г. р.).

Великая Отечественная война началась, я должен был идти в армию служить, а был призван на войну. Воевал на Восточном фронте артиллеристом, у меня 76-миллиметровая пушка была. Нас, призывников, сразу забрали и отправили в Монголию. Из Монголии — дальше, в Китай увезли, в город Чуфынь — полгода мы там стояли. Там только я понял: если бы японец тронулся на запад, России бы не было. России не стоять было бы — конечно, у японца едакие войска! Но и нас было немало: и в Китае, и в Чите мы стояли — всё войсками русскими на границе забито было, сдерживали неприятеля.

После Китая нас повезли не домой, а снова в Монголию. Я пять лет не был дома: в 1942-м меня призвали, а только в 1947-м я вернулся. Когда война окончилась в 1945 году, нас оставили ещё на два года действительной службы служить. В Монголии я эти годы находился. Мы не были в немецких краях, мы оберегали восточную границу, чтобы японец не проник.

А потом, когда война кончилась, мы были самые молодые, вернулись — сразу все переженались. Раньше же всё церковно было! Когда мы женились, нас родители иконой благословляли по-старинному. Это же было Богом заведено! Мама моя за нас всегда молилась. Мы с женой прожили вместе 53 года.

У меня четверо детей, как и у моих родителей. Иван Игнатович Калашников родился в 1948 году, сейчас он депутат Хурала в Бурятии. Второй сын, Павел Игнатович, родился в 1951-м, был милиционером, но его убили. Дочери две — Мария Игнатовна, 1954 года рождения, и Ирина Игнатовна, 1959 года рождения. Все дети у меня хорошие.

Сейчас я верую в Бога, крест ношу. Жены моей уже 12 лет как нет на свете. Иконы специально мы сохранили, у нас уставщик тут был, Стефан Чебунин, у него на квартире молились. Я старше всех, один остался, напарников моих много умерло, один я негодный — не могу и умереть. Сколько товарищей у меня было, которые и моложе меня были, и никого нет. Бог меня, видно, жалеет.

Когда с женой жили, я многим помогал. Работал через трое суток, бабушкам дрова наколоть, сена привезти — моя работа была. Я очень много помогал вдовам, которые остались без мужей в войну. Одна тут была — лошадь мне даст, я сена привезу: ей — воз, себе — воз. Другая бабушка с работы встречает: «Я каждый день тебя поминаю, дай тебе Бог здоровья! Машину дров расколи, пожалуйста!» Всегда помогал, никому не отказывал.

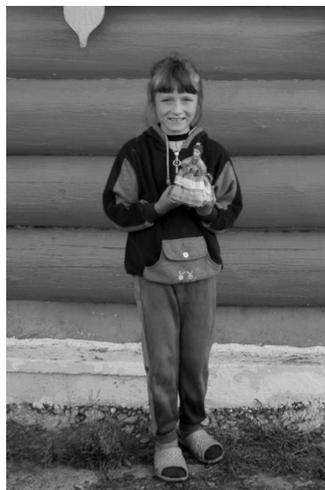
Когда колхозы начинались, в 30-е годы, я помню. Боялись этих колхозов, не знаю как! И в колхозе каждый свою лошадь кормил, только сам на ней работал. А потом в колхоз вошли, землю на всех поделили, стали работать. У нас колхоз назывался «Красный плуг», потом «Колхоз имени Сталина», а в последние-то времена колхоз называли «Некуда деться»... В советское время мы зарабатывали в колхозе хорошо! Зерно получали, пшеницу, картофель на трудодни, помногу давали — в один год 70 центнеров получили! Денег-то

немного давали, а всё вот продуктами больше. Муку на мельнице мололи со своего же зерна, свиней много держали. У меня в хозяйстве всегда было свиней по три штуки, две коровы, куриц без счёту, большое хозяйство держали!

Я был честным работником: водку не пил, табак не курил, с молодыми женщинами не жил, только со своей семьёй. Пятьдесят три года мы прожили с женой, ни разу между нами свары не было, не то что драки. Дружно жили, ой, дружно! Жена была труженица, всё время работала...

«И вот пришла Паска!»

Антонина Куприяновна Рябова (Журавлева), с. ТАРБАГАТАЙ



Семейная девочка. С. Тарбагатай. 2013 г. Фото автора

Я помню, как Паску праздновали. Мне было года четыре-пять. Мама настряпает, всего наготовит! Родители нам, детям, одежду новую купят и в сундук спрячут, ленточки в косы новые купят. Загодя готовились!

И вот пришла Паска! Мама нам наденет новые сарафанчики, косы заплетёт, новые ленты завяжет, а папа нам качелю сделает. Каждый год Паску встречали хорошо! Я помню и 1946-й, и 1947-й, 1950-й — тут уже на улице качелю большую делали, и все на ней качались. В глаза пьяных не видела на Паску! Христосовались все. Вперёд с родителями христосовались: дети на колени вставали и в ноги родителям кланялись. Три раза христосовались. Потом просим:

— Тятя, мама, благословите разговеться!

Они отвечают: «Бог благословит!» Потом одно яичко чистят и на всех режут — каждому по маленькому кусочку достанется.

Когда я замуж выходила, меня мама благословляла: она иконой три раза перекрестила, и я поцеловала икону.

Папа на войне был, а я помню хлеб тот, военный. Как мама его начнёт резать на маленькие кусочки, а мы, дети, стоим, смотрим — свой ждём. Просяной хлеб назывался, из проса хлеб пекли. Я самая маленькая была в семье, возьму свой кусочек, не ем его сразу, хожу весь день, сосу эту хлебную корочку. Мама в войну день и ночь работала в колхозе, сено косила. Бригадир на лошади подъедет к нашему окошку в пять утра, плеткой постучит в окно:

— Маланья, на работу!

— Сейчас, я уже собралась! — мама отвечает.

Литовку на плечо, на телегу сядут, лошадь запряжена уже и поехали до ночи. А мы дома с дедушкой. Живых детей нас осталось пятеро, многие поумирали. После войны, когда батя пришёл, сестрёнка ещё одна у нас родилась. Тяжеловато в войну было, но мы не голодовали. Корову одну держали, курочек, поросёнка одного, правда, но держали. В огороде много садили: картошку, лук, огурцы, помидоры, укроп, петрушку, редьку, свёклу, брюкву, репу, чеснок — обязательно! Мы-то, ребятишки, шибко не постовали. А вот мама и дедушка, да сестра моя старшая, те постовали. Помню, щи постные в русской печке томили. Капуста мелко порезанная, картошка — всё сразу туда положат, и варится в русской печке. Света сильно не было, лампы позже появились. Свет шёл от печки да от лучины. Лучинки-щепки зажжёшь — в доме сразу светло. А потом уже лампы появились. Мама моя пост строго соблюдала, потому и 89 лет прожила. У неё и в старости зрение отличное было, очки она редко надевала. Зубы почти все свои сохранила. Сама всё шила, вязала, из-

редка наденет очки. У неё хорошая память была, она молитвы для себя знала. Помолится, потом только спать ложится. Звали её Маланья Ефремовна Иванова (Рябова) (1910–1999), а отца звали Куприян Иванович Рябов (1909–1971).

«Я боронил в тринадцать лет»

Иван Иванович Китаев, с. Верхний Жирим

Я родился в селе Верхний Жирим в 1933 году. Мама моя — Евдокия Ивановна Емельянова (1907–1987), отец — Иван Куприянович Китаев (1900–1958). В семье было четверо детей — я, сёстры Прасковья (1928 г. р.), Евдокия (1931 г. р.), Зинаида (1940 г. р.).

Мы же малолетками работать стали! В 13 лет я начал боронить, пахать. Это было в 1943 году. В школу ходить не в чем было, который раз и босиком бегали. Мне отец купил в городе деревянные подмётки. В школу придёшь — по полу стучат страшно. Мать шила ичиги на всю семью. Мама вечная колхозница была. Дома молилась. Молитвы на память знала — от матери всё передалось ей. Утром, вечером, перед едой обязательно молились. Нужда была, некогда долго-то молиться было. Мама строго постовала, все праздники соблюдала. В пост капусту квашеную ели, иногда рыбу с картошкой варёной. Дом вот этот буряты нам рубили, а наличники я сам делал. Это всё я руками переделал.

«Как в войну жили»

Полина Игнатьевна Китаева (1922 г. р.), с. Верхний Жирим



Семейская женщина в традиционной одежде. 1970-е гг. А.М. Русина. Фото из архива А.М. Русиной

Вырастила нас мама двенадцать человек! Маму звали Екатерина Куприяновна Фомина, она 80 лет прожила. Двое двойняшек: я с сестрой, она на полчаса раньше меня, я вторая шла. Военные годы помню: воши ели, одежды не было. По селу вошебойка ездила. Бочка такая железная, под ней костёр горит. В эту бочку всю одежду загружали, она там прокалится, воши погибнут. Потом на себя платье одеваешь, оно ещё горячее. Мама моя была родом из села Бурнашёво — бурнашёвская. У неё много было семейской одежды: сарафаны, юбки, запона, рубахи. Она всё с семейской одежды нам перешивала. Семейская одежда бравая была! В войну, помню, дедушка придёт: «Полите картошку, дождайте матку!» Без дела нам сидеть не давал. Мама-то всё постовала. Картошку ели, сарану по горам копали, принесём, мама её помоеет, в ступке истолчёт, нам лепёшки напечёт...

Мартемьян, старший мой брат, 1921 года рождения, погиб на войне в 1941-м. Ещё двое погибли, я имён не помню. Взяли их, они ещё подростки были. Потом Филипп (1936 г. р.), Валерий (1939 г. р.), Варя (1918 г. р.), Валя (1923 г. р.), Зина (1940 г. р.), Ксения (1927 г. р.), последние — двойняшки, мы с сестрой, обе Полины (большуха и малуха, я — малая Полина). Та поздравее меня, растишком такая же, но попольнее. Она вперёд замуж вышла за Сергея Гавриловича Попова. А я — за Ивана Ивановича

Китаева, мы вместе уже 60 лет живём. Меня-то дочка убила. Я дочку похоронила — ей всего пятнадцать лет было. Красавица, отличница. Попросилась в соседнее село к родне съездить, там у неё двоюродные сёстры, братья, я и разрешила. Она с колхозным шофёром поехала, и ещё одноклассница с ней. В пути девочки попросились остановить машину, по-маленькому сходить. Тут же, за машиной обе присели. А военные какие-то испытания оружия проводили. Моя-то сразу умерла. А вторая доползла до кабины: «Ой, дядя Вася, чё-то мне тяжело!» А он понять не может: «Как тяжело?» К моей-то подошёл, а она уже всё. Потом какой-то военный к ним подъехал: «Тут нельзя останавливаться!» — а чё же, уже вернёшь дочку-то!

О-о-ой, горе мне было! Соседи меня водой прибежали отливать, так голосила! Вся чёрная ходила. И сейчас-то вспомню — сердце остановится. В один миг дочки не стало!

Моя сестра на лёгкой работе работала — санитаркой в больнице, а я дояркой 30 лет, двое детей. Вот дочь с 1960-го была да сын с 1954 года. Молимся, свечи ставим за дочку. Какая красавица была, отличница, и в один миг не стало! У нас есть своя церковь, попы свои. В воскресенье ходим молиться.

«Бог один, а веры разные»

Михаил Лазаревич Китаев (1933 г. р.), с. Верхний Жирим

Отца моего звали Лазарь Антонович Китаев, он умер в шестьдесят лет, а мама умерла в 1941-м. Нас осталось без матери пятеро детей: Федосья Лазоревна (1927 г. р.), Семён Лазоревич (1929 г. р.), Михаил Лазоревич (1933 г. р.), Ирина Лазоревна (1937 г. р.), Владимир Лазоревич (1929 г. р.), сейчас осталось трое — я и два брата, Михаил и Володя.

Остался я от матери девяти годов. Работать сразу пошёл. Боронил сначала. Колхоз был «Дзержинский», а потом — «Советская Россия». Я только кем не работал! Чабаном был, трактористом семь лет, скота пас, конюшил — всё переработал. Курей только не шшупал, их не было!

Помню, как Паску праздновали. Старшие собирались, молились. С дома в дом ходили. Компаниями собирались, пели: «Паска Христова!» Троицу праздновали, весной, Масленицу. Особенно на Масленицу катались на конях. Если зима тёплая — в телегах катались по селу, если холодная — в санях. Народу собиралось! Жили небогато, но как-то дружно жили. Семейские в Бога веровали, а сибиряки — по-своему. Бог-то один, а веры разные. Бурят с семейским жить не будет. Они степь любят, приволье, баран держат, скота много держат. А семейские землю пашут, пшеницу, рожь сеют.

У меня в хозяйстве всегда было две чушки, пятнадцать баран да две коровы — больше не держал. Четверо детей — надо чем-то кормить? На что-то учить, одевать-обувать?

Семейские — все верующие, неверующих сейчас нет. Если помру — попов привезут, помолятся.

«О том, как ссылали»

Пелагея Федоровна Асташова (1934 г. р.), с. Верхний Жирим

Раскулачивали добрых хозяев. За город вывозили и расстреливали. От Тарбагатая до самого Улан-Удэ — одни могилки. Завистные люди наговорят — человека увезут. А дома часто на дрова раскатывали. Вот этот дом стоит — 1894 года построен. Хозяин, который построил этот дом, был раскулачен. У него четверо детей было. Он дом бросил, хозяйство оставил и убежал.

Завистные люди наговорили всякое, забрали коня, семью моей мамы увезли. Мама моя, её Анной звали, была замужем, она в другой деревне жила, уцелела. А маминих родителей с детьми всех сослали. Потом её сестра Евдокия вернулась из ссылки, она маме рассказывала: «Привезли нас в Шушенское. Мужей сразу забрали, не показывали нам, и не вернули их». Дядя Саша, дядя Федя — мамини братья, погибли, а маленький братик Александр Орлов, тот убежал обратно, к маме домой прибежал, она его прятала, чтобы не увидели да не схватили. За что их сослали? Ну, конь у них был, шарабан. В Нижнем Жириме они жили.

У меня была бабушка с отцовской стороны, Евдокия Гордеевна, она 94 года прожила в Большом Куналее. Я ещё девчонкой была, но хорошо помню, как дома молились. Бравый дом был, некрашенный, чистый, свежий, его мылили с дресвой, веничком шоркали. В нём была моленная. Мы с ней пойдём молиться, они сядут отдыхать, бабушка меня запном (фартуком) накроет, я сплю на полу, а они молятся. Когда побольше стала, красоту бумажную на голову наденут мне, я в семейской одеже ходила, вот мы молимся.

Семейские жили отдельно, сибиряки тоже жили отдельно, хоронили даже на разных кладбищах. Везде и всюду Бога вспоминаю. А чай пью — перед этим «Отче наш» читаю. Самая наша молитва! И дояркой проработала всю жизнь, пока на пенсию не пошла...

Нас, тринадцатилетних, собрали (я в Верхнем Жириме тогда жила) и отвезли за телятами ухаживать. Помню, есть было нечего — на оброте муку варили, её ели. Дружный народ был! Вечером на крышу все сядем, на балалайке играем. Увидим — бригадир едет, мы — как голуби, все вниз слетели! Как-то боялись старших, нас родители в строгости держали.

Телят поили, за телятами ходили. Два раза одного телёнка поить нельзя, он пропасть может. Мама мне дала краску: я напою телёнка, краской мазну, второй раз уже к нему не подхожу.

Мамина мама из ссылки не вернулась, там умерла. В их доме чужие люди стали жить.

«Помню все праздники»

ФЕДОСЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА ЧЕРНЫХ (1913 г. р.), с. ТАРБАГАТАЙ



*Девушки в семейской одежде.
Фото 1930-х гг.*

Троица, Паска, Рождество — эти праздники уж шибко праздновали. Раньше ходили, молились, Христа славили. От, бывало, ёлки не было, конечно. Сначала Рождество, потом — Новый год. Уставшички Христа славили, у них пять-шесть пономарей было. И в каждом доме им ведро муки, ведро пшеницы нагребашь. Это «на свечки» называлось. На свечи, бывало, давали. Уставшички одеты были в долгий халат, чёрный. Одежа семейская, косоворотки были, от так вот сбоку застегали.

Я пришла к свёкру жить. А свёкор не верит мне, что я сама шью. Спрашивает: «Ну, ты почто пошла туды?» А я уж косоворотку ему сшила. Я по-баминому сшила, по баминой рубашке косоворотку сшила. Он надел её.

— Ой, кака рубашка! А ето почто вот так?

— А я по-баминому сшила.

— Ой, чё хорошо, здесь застегнёшь, грудь-то не пола.

Мой свёкор семейский был, а батрак. Пили которые — те плохо жили. У нас конишко один был, свекор батрак был. А кто батрак был? Кто работать не хотел. А кто работал, все богато жили. А не работали кто — батраки. Надо работать!

Коров пасли. Два-три человека соберёмся и гоним по деревне коров. Назавтре опять два-три человека соберёмся — сами пасли коров.

Как страда только отошла, на заимку коров гонят. До колхозов общего имущества не было. Если у тебя не хватило хлебушка, к богатому идёшь. Были большие семьи — все девчонки, на них землю не давали, у такой семьи земли не было. У нас шесть человек было богатых в Харитонове, у их машины-молотилки даже были. Молотили хлеб молотилками, конями.

И был, помню, сосед у нас — Кажинкин Архип, у него три девки было. Он себе смолотит, нам помогает. Поставит нам во дворе молотило, конями молотили. Сынов не было. Он ссыльный был, богатый.

Раньше жили — всё своё. Хлебушко спекут. Квашню поставит мать, замесишь, тесто: воду вскипятишь, поварёшки были деревянные, сами делали, поварёшкой мешаешь, льёшь. Бурдук получался. Семечками посыпаешь да ешь. Тогда квашню замесишь, чтобы тесто на дно село. А сверху жиденькое ели.

В пост ели крупы да семечко. Корова доилась, но сами молочное не ели, в город возили. Накопим, бывало, творога, сметаны, масла — и в Селенгинск возили. А колхоз стал, семя не стали сеять, запретили. Пеньку, бывало, мнёшь. Такая мялка была, ей мнёшь. Мешки, бывало, шили с ей. Вычешешь её, прядёшь. От семя-то, пенька была: мнёшь её, вычешешь и мешки прядёшь.

Когда война была, я обет дала: кичку не скидать и Богу молиться. Я молилась, только бы мужик мой пришёл. У меня трое детей было, трое стариков, я сама шестая была. Война-то мне досталась! Не знаю, как!.. Меня сразу в колхозе конюхом поставили. У меня мала-то девка 8 марта родилась. А чё ж? Сразу на страду поехала, от груди отняла, месяца 3-4 пососала грудь — и всё. Коровим молоком выкармливала старуха. Свёкор доил корову, она не доила. Я одна в колхозе в семейской одеже работала, а все в такой. А я, беда, не гляжу на их. Хожу, да и всё! Семейскую одежу знаете? Запон (фартук), сарахан, юбка, рубаха-станушка, перед пришит у неё (от рубахи станушка пришита). Сарахан подоткнёшь, когда работаешь. А на праздник когда ходили — запон подтыкали, чтобы ленты было видно. И в колхоз приехала, хожу в семейской. После войны мужик мой пришёл обратно, живой! И говорит мне: «Ты почто носишь семейскую одежу? Платье бы надела, бравенька бы ходила!» А я ему: «Чё, пришёл живой, теперь я семейскую одежу скину? Нет уж! Раз в войну не бросила, так теперь не брошу!» Так и не бросила!



Бабушка в семейской одежде со своими внуками. С. Шаралдай. 1994 г. Фото М. Савченко

День и ночь работала, о-й-о-о! Надо днём покормить коней, а потом на ночлег ишо покормить. Надо рано встать, овса надавать им в ясли, а потом напоить их. Первый-то год меня конюхом поставили, я в первый раз косу взяла в руки. Раньше я сено в колхозе не косила: до этого всё пахала да на складе работала, а потом послали сено косить. Ребятёшку маленькую бросила да сено косить пошла. Сенокос откосили. Полтора гектара выкашивала, на косе спала.

Темно-темно придём. Была со мной сестрёнка моя. Я коней ишо кормила: скорей накладаю сена в ясли да коней кормлю. После уж в колхозе машины стали это делать. Зима-то — до мельницы шестьдесят километров, четыре коня меняли: туда — двое, да обратно — двое. С молодой девчонкой на мельницу ходили, четыре коня меняли.

Сам ушёл, килограмма хлеба не было. Их пять, я сама шестая, надо чем-то питаться? Всё работала!

В войну не стали вместе молиться, уставщиков коммунисты стали прижимать, они в город уехали. В войну и праздники не праздновали в моленной. Сами по себе

знали, что Паска, что Троица пришла, помолимся! Война была, вместе молиться некогда было! Такие-то большие молитвы мы не знали. Уставщик молится и за им молишься. Только «Начал» знали. Дед Иван был уставщик, учёный. А я неграмотная была совсем. Раньше нельзя учиться девушкам было. Мои дети учёные, а я не знаю, чё написано. Мешок, два, три — сосчитаю, я на складе работала. Есть один килограмм, два килограмма, тоже знала.

Моя мама — из Шаралдая, шаралдайская. Янтари от неё мне достались. Раньше много было янтарей, купляли. С городу привозили, мама у китайцев брала. Красные кораллы носила, давношные-давношные, бусы, да всё. Я носила, а нынче захворала, давление понизилось, бросила носить. А так — всё время носила.

Я с мужем моим как познакомилась? Ходила тут с одним, а он коммуниста ударил, ему за это восемь лет тюрьмы дали. Раньше строго было. Ударил ни за чё, ударил, да и всё. Собирались мы жениться осенью. А его взяли. Я почти полгода не ходила гулять, думала — отпустят. Я с 1913 года, а в 1933 году ушла замуж. Пришла соседка: «Мне Федосью пустите-ка. У Маланьи ребёнок хвораёт, а мне на мельницу надо идти». Это так они подстроили. Я к ним прихожу, а жених там уже сидит. Оне назавтре пришли сватать меня. А мои родители не отдали меня, потому что его родители пили и дрались. Опять эта соседка пришла: «Пущай Фенька посидит коло ребятишек, мне на мельницу надо иттить!» А дядя мой говорит: «Не ходи!» Маланья была материна сестра, золовка. Я пришла, жених мой уже там — и ушли убегом. Раз родители не отдали, убегом ушла. А потом назавтре к евошным родителям пошла на поклон, что убегом ушла. Жили мы единолично, стали жить-поживать. Вместе так и прожили — я со свекрухой 33 года прожила в одном доме. Мой муж-то один сын был у родителей. Родители благословили нас. Евошны родители потом к моим пошли, поговорили там. Мы пришли потом, моим родителям в ноги поклонились, прощения попросили, да и всё! Стали жить-поживать. У меня уже сын Сергей родился в 1936 году, первый.

А первый-то мой жених в войну освободился. Рокоссовский стал в войну выпускать из тюрьмы, моего первого жениха и выпустили. Я с мужем хорошо жила, за первым женихом не жалела.

Я только «Начал» кладу, молитвы не знаю. Уставщик дед Иван помолится мало дело, а другой, Стефан-то, этот все знает. Стефан-то был хороший уставщик, но старенький. У матери у моей дедушка был уставщик Шаралдайский. Я поэтому все праздники знаю.

Январь месяц — Рождество, 7–6, Крещение 19 января, потом — Трёх Святителей, Сретение 15 февраля, в марте 14 — Евдокий, Святые Сороки.

22 марта — Алексей, Человек Божий. Конный день. Пахать-то не пашем в этот день, а конюхи празднуют.

Апрель, 7 — Благовещение. Праздник большой. Работать нельзя. Раньше-то служили, как война началась, после-то не служили.

Преполование 3 мая. Григорий Победоносец, 6 мая — с его иконой ходили по полям.

Кресты у нас на полях стояли. На той сопке, на другой, вон там. В сторонке крест стоял, не на самом поле, чтобы не спажали его. А бывало-то, везде кресты стояли, по всем полям. В Харитоново на камнях есть ещё один крест. Он был не такой, не деревянный. А светел — железом его оббили, он светит. Сходили сегодня к этому кресту, а завтре — к этому, помолились. Преполование 3 мая, Егорий — 6 мая, Иван-Травник в июне. Никола-Святитель — служба большая была! Матери Елены — последний день посадки огурцов. 6 июля — Агриппина-купальница, моя свекруха. Иван-Травник — 7 июля. Сыночек мой родился, травы рвали, какие тебе надо, утром рвали богородскую траву, синенькими цветочками цвете, раскидывая, расстелючая такая. Раньше всякие травы знали. Богородская трава от кашля орошая.

Петров день — раньше большое Богослужение было! Преображение Господне — 19 августа, Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа. Иван Постный 11 сентября — Усекновение Главы Иоанна Крестителя. Воздвижение Креста Господня называли «сдвижение»: страда подходит, сдвигается всё, 27 сентября.

14 октября Покров Пресвятой Богородицы. Большие Родители — Дмитриев День. Кутью варили: пшеницу попаришь в кипяточке. А раньше после моления шли на кладбище. Сходишь, придёшь, на кладбище кутью несёшь

Гуляли-то мы уж шибко браво на Троицу! Берёзу с лесу привозили. Срубят молодёжь. Съездят, срубят, мы нарядим её лендочками. Тот раз срубили шибко большую берёзу. Атласами сверху наряжали — так три атласа надели на неё! Большую шибко срубили! Выкопали ямку в конце улицы, туда берёзу поставили, ну и карагоды водили вокруг неё. Кутились: песню пели да и целовались с подружками. Яишню делали артельную. Сковорода такая большая: две несут, три сковороды больших. Кто масло, кто яйца несёт. Накладут огонь там. Сжарют. Потом все угощаются. Это попервости так было, а после не стали праздновать.

Пятеро детей у меня, восемь внуков и три внучечки. Четырнадцать человек! У всех детей свои дома, у всех машины.

Коммунисты разрушали церкви. Открыли окошки в церкви — иконы забирать. Мы скорей закрывать — нам неохота иконы-то отдавать. Была рёву целая куча!

Церква в Тарбагатае у нас большая была, красивая. Клирос был загороженный. Иконы стояли. Уставщик, священник служил в алтаре. Иконы вот такие, как у меня стоят, — большие были. Всё порушили, всё разломали!

«Про лапту, зоску и лодыжки»

Наталья Родионовна Думнова (1942 г. р.), с. ТАРБАГАТАЙ

Родители мои вырастили семерых детей. Маму звали Думнова (Баннова) Евдокия Климовна (1898–1980), тятю звали Думнов Родион Павлович (1897–1955). Дети: Ульяна (1924 г. р.), Гликерия (1928 г. р.), Лаврентий (1928 г. р.), Евдокия (1930 г. р.), Мирон (1933 г. р.), Зинаида (1937 г. р.) и Наталья (1942 г. р.).

Моя сестра, Думнова Ульяна, всю свою жизнь божественная была. В среду и пятницу пост соблюдала, «Отче наш» перед едой, «Достойно есть» — после еды всегда читала. Взрослым голову правила, детей лечила — отливала на воске. Всей деревне помогала. По листовке всех поминала.

Мы-то маленькие были, но помним: там, где сейчас в Тарбагатае амбулатория, стояла деревянная церковь. Всё чистое, новое надевали на Паску. Образа-иконы поновлялись перед Паской. Поновляли: мыли их, чистили, святой водой поливали. В Крещение на весь год запасали святую воду. С двенадцати ночи до шести утра 19 января вся вода святая. Год стоит — ничего ей не делается. В крещенскую ночь любой родник освящён. Доливаем простой водой — она остается святой вся вода. «Пока не придут с церкви, не ешьте!» — бабушка нам наказывала. Вот дети родителей дождут, дома все помолятся, только тогда есть можно. И мы просили сначала: «Батюшка с матушкой, благословите разговеться!» — мы, дети, все хором говорим. «Бог благословит!» — отвечают мать с отцом.

На стол поставят тарелку, полную крашенных луковым пером яиц — без счёту. Миска общая, у каждого своя деревянная ложка, а у тяти — алюминиевая, дорогая чашка и ложка! Батя ел отдельно. Молча! Кто-то захихикал, тятя ка-а-ак взглянет на нас!.. Тут же тишина. Мама на Паску пекла булочки — тарочки. Такой конвертик из теста, а внутри повидло. Не было ничего вкуснее! Ещё пекли большой сладкий пирог на всех. По шесть-семь домов обходили за один день в праздники. По улице идут — семейские песни поют. Повстречаются: «Христос Воскресе!» — «Воистину воскрес!»

А ведь Великий пост перед Паской — семь недель. Строго постовали! Ели брюкву, репу, свеклу парили в русской печке, потом её почистят, называлась — паренка. Лук репчатый, луковое перо засаливали прямо в кастрюле на Великий пост. Лук солёный до самой зимы ставили в погреб на лёд. Пекли в пост луковый пирог: луковое перо вместо начинки.

Или просто с сахаром сверху посыпали, пирог без начинки. Картошечку в мундирах пекли. Когда картошка мелкая, мама её в масло и в печку зажарит — вкусно! Если не пост — то в сале так зажарит. Семь человек за стол сядут — только летит эта картошечка в мундирах жаренная! Ржаной хлеб мама пекла в печке. После все дети идут на горку — катать яйца. На горе, где кладбище, где могилки, выроют длинные такие канавочки до самого низу — по ним катают яйца. Если яйцо разбилось, его надо тут же съесть, к вечеру так наешься этих яиц, что даже отрыжка. А чьё дальше всех укатилось и не разбилось — тот и выиграл. Вот моё укатилось дальше, я кричу: «Выиграла!» В зоску ещё играли. Зоска — алюминиевая шайба с дырочкой посредине, куда забивается конский волос. Зоску били об ногу, кто дольше.

Лапта у нас была любимой игрой. Ещё лодыжки — из бараньих косточек Дети менялись яйцами, а взрослые гуляли компаниями из дома в дом. Но чтобы пьяные на улице валялись — никогда! Шесть домой обойдут, на шесть человек одну четушку водки выпьют.

На улице качели ставились, все молодые качались. Играли в лапту, в зоски, в лодыжки (холодец когда варили, оставались косточки, вот их брали), выжигало. Лапту сильно любили! Одной рукой подбрасываешь мяч, другой бьёшь по нему палкой. А мы, вся улица ведь на лапту собиралась, — ловили. Раньше машин в селе не было, на улице играли в лапту.

Все 30-е, 40-е, 50-е годы Паску праздновали. В 60-х уж перестали все вместе праздновать, нельзя было!

Помнится Масленица. Четушку на сорок человек разопьют, тоже не пили, как сейчас пьют. Катались на санях, гуляли, песни пели. Наши родители на праздники никогда не напивались!

Рождество Христово сильно праздновалось. Пост Рождественский соблюдался. Особенно строго — Сочельник, нельзя ничего было есть. Хлеб да вода. В пост картошка и та без масла. Варенье, мёд можно. Капусту квашеную ели, огурцы, помидоры солёные свои. Хлеб чёрный и вода холодная — любимая еда была у старшей сестры Ульяны Родионовны. Прибежит с огорода, кусок чёрного хлеба с солью и стакан холодной воды — и вся еда. А сколько она за свою жизнь машин дров переколола, сколько в огороде гряд прополола!

У нас в хозяйстве больше женщины работали. Мужчина не должен выносить ведро помойное — это женская работа. Мужская работа — подмести в ограде, накормить скот, дров наколоть.

Если осудила кого: «Господи, прости меня грешную!» За порог дома не выходи, если не скажешь: «Господи, благослови меня на день грядущий!» Либо «Господи, благослови меня на дорогу дальнюю!»

Лес сами заготавливали родители. Лес привезут, в ограду сгрузят. Поленицы не складывали почему-то. Топить надо — распилили, накололи.

В огороде у нас с 30-х годов парник огуречный делали. Его ничем не закрывали, он высокий был. Мама жаловалась соседке: «Огурцов столько, не знаю, куда и девать! Вечером соберу, утром опять лежать — как кабаны, огурцы!»

Помидоры всегда свои были, редиска домашняя, этого мы ничего не покупали. Морковку всегда свою садили. Несколько морковок мама запускала на семена, такая морковка называлась «сладушка». Её не трогали, она цветёт, потом семена даёт. Из этих семян на следующий год новый урожай получали. Семена все свои были, никогда их в магазине не покупали.

Раньше поминальные обеды только постные делали! Кутья из пшеницы напаривалась с мёдом. Пшеница, вода с мёдом — и больше ничего. Оладушки были, пекли сами, не блины. Блины почему-то не пекли семейские. Оладушки так делали: вода, дрожжи, мука, соль, мёд, сковородку маслом не смазывали. К оладушкам подавались мёд, халва, сверху оладушки поливались кедровым маслом. Масло кедровое сами делали: кипятчком орехи заваривали, в ступе растолкут.

Посуду открытой нельзя было держать. В доме ковшик перевернутым держали и всю посуду тоже. Если по улице идёт человек, с ковшика нельзя его поить — опоганит! Надо в стакан налить и уже в стакане подать воду. Соль в обязательном порядке была закрытая!

У нас на поселении жили неверующие каторжане. И вот называли «поселками» тех, кто небрежно ко всему относился.

— Ты, поселка, почто ковшик так оставила! — мама ругалась, бывало. Грех дать ковшик напиток.

В школе семейскую одежду носили до 1937 года, потом запретили. Мои сёстры в классе сидели ещё в семейской одежде. А с 1937 года уже нельзя стало носить семейское. А бабушки всегда в семейском ходили, им власти не указ. У нас Варвара Ермиловна до самой смерти в 2010-м в семейской одежде единственная в Тарбагатае ходила. Ещё была Анна Трофимовна Назарова, 1911 года рождения, она 92 года прожила, тоже в семейской одежде ходила. Говорили, мимо нас протопоп Аввакум шёл по горе Омулевке двести с лишним лет назад.

У нас дома всегда посиделки по вечерам собирались. На посиделках кто вязал, кто починял носки, песни не пели. Народу много — по шесть женщин собирались. На самопрядках пряли. Рассказывали разное.

А наши школьные учителя у нас в бане мылись. В баню приходили каждый со своим полешком: называлось полешко — «под чашу». Каждый своё полешко в печку подкладывал, чтобы следующий тоже в горячую баню зашёл. А мы с подружками выносили воду.

«Сундуринаская падь»

Анна Иосифовна Назарова (1912 г. р.), с. ТАРБАГАТАЙ

(РАССКАЗ ВНУЧКИ)

В войну осталась одна с четырьмя детьми. Самая маленькая умерла, раньше же дети болели, а лекарств не было. Два парнишки были — обоих Гришками назвали. Различали так: Гринька и Гришка. Старшая сестра Соломонида с ними водилась, её до сих пор Нянькой зовут, в роду так заведено. Анна Иосифовна родом с Куйтуна, родилась в 1912 году. Мой отец — Григорий, тот самый Гриша, он с 1933-го. А дядя Гриня с 1936 года.

Анна Иосифовна всю жизнь строго пост соблюдала. В 92 года ещё сама в город ездила, картошку копала, сама огребала, сама всё шила себе. И было шестеро сестёр: Анна Иосифовна, Феня Иосифовна, Любовь Иосифовна, Тамара Иосифовна и двух не помню, как звали. Осталась в живых только Тамара. Когда Анну Иосифовну пришли сватать, её мать поставила угощение, как положено. А потом в сердцах сказала:

— Съели, не подавились!

Потому что дочь шла не за семейского, а за сибиряка.

Семейских хоронили в домовине. Выбирали сутунок или кряж где-то около двух метров длиной. Кряж лежал на покатах (на брёвнышках), очищенный, под сараем в тени, чтобы солнце его не жгло, был накрыт корой. Этот кряж и был заготовкой для домовины. Моя бабушка, Анна Иосифовна Назарова, всегда держала себе сутунок на домовину под сараем. Так вот, пока она свои 92 года прожила — три сутунка сгнили.

И срубили эти кряжи в пади Сундура, там была заимка, два-три дома стояли. Когда ямщики ещё ездили, они в этой пади на ночлег останавливались. В Сундуринаской пади между Надеино и Пестерево рос старинный лес, там соснам и лиственницам по двести-триста лет было, стволы такие — не обхватишь! Все знали, что этот лес трогать нельзя, он только на домовины шёл. До конца 50-х годов берегли этот лес на домовины.

«Мы и работали, и молились»

Евдокия Николаевна Калинина (1923 г. р.), с. ТАРБАГАТАЙ



Рассказывает 90-летняя семейная долгожительница Кристина Андрияновна Чебунина, 1923 г.р., с. Тарбагатай. Лето 2013 г. Фото автора

Мама — Васса Фёдоровна Чебунина, прожила 78 лет.

Батя нас бросил, а первый муж Вассы Фёдоровны погиб на Германской. Он работника держал. У нас долго дедушка безродный жил, мама за ним ухаживала, когда он умер, он нам домишко свой оставил. От другого мужа (мама вышла второй раз замуж) нас двое. Брат мой был фронтовик, он умер, ему 87 лет было. А мне вот в этом году 90 исполнится.

У меня три сына и дочка: Михаил (1948 г. р.), Валера (1952 г. р.), Татьяна (1950 г. р.) и Анатолий (1949 г. р.).

В первый год, как война началась, я на ферме работала старшей дояркой. Со мной ещё две старых девы на ферме были. Меня старшей поставили и разрешили нам Богу молиться. Мы и работали, и молились. Хорошо жили! Я ещё четырнадцать чушек кормила. Шесть лет я там проработала, животноводы все менялись, а я руководила. Потом на комбайнёра и на трактористку захотела выучиться. Убежала самовольно, молодая была, на технике захотелось мне работать! Послали меня на лето в Селенгинск в 1943 году, учиться на комбайнёра.

В войну-то я комбайнёркой работала. Потом вышла я замуж в 1946 году, война кончилась, муж мой фронтовик, из Пестерево, он православный, по фамилии Калинин, с 1922 года. Его отправили к нам бригадиром. Я в семейской одежде до войны ходила. А потом брат мой ушёл в Монголию служить и выслал мне оттуда платышки. В войну я уже не в семейской ходила...

Меня родами взяло, а я мотор на комбайне налаживала. Рожу, да и снова за работу. Мы декретных-то отпусков не знали в колхозе. Когда надо было детей в школу отправлять, я перешла в больницу поваром работать, там одиннадцать лет кашеварила. Теперь уж у меня внуки, уже и правнучке семь лет. Зовут её Настя Дорохова, на лето ко мне приезжает.

«Человек рождается, доля пишется»

Иван Иванович Акинфиев (1914 г. р.), уставщик, с. ТАРБАГАТАЙ

Шли даже из Польши сосланные в Забайкалье только за веру. Наша вера — беспоповская, самая старообрядческая. Потом стали разные веры — астрицкая, поповская. Кому что возлюбилось, тот то и делает. Большой приход один-единственный, остались мы двое на весь Тарбагатай: я да Оловянников, парень, он-то молодой, 45 лет, грамотный. Он учился у стариков мало-мало по-церковному. И в Куналее, и в Надеино, и в Тарбагатае — все одного прихода были. В Большом Куналее один остался — слепой, не видит ничего, в Куйтуне трое, в Надеино один беспоповской веры. Я маленький был, мои родители богомольные были, считали, что в школу ходить — грех, нельзя в школу ходить. Отдали меня по-церковному учиться к Устину Даниловичу. У него сын хулиган был. Крестьянин-старик, уедет на пашню либо по дрова. А сын стал нас водить везде. Сын-разбойник, недавно уж умер, с 1913 года он. Учились-учились и раскололись, бросили учиться. Мало-мало



Семейные рекруты в армии. Фото 1913 г. На обороте надпись: «На добрую и долгую память матери Осеевой. Шлю привет и желаю здоровья. От Николая Козьмина (с гармошкой). 1913 года февраля 10 дня»

молиться. Стал к старикам прилипать. Стал жених, холостяк, неохота молиться стало, стал бегать за девками. Тут армия подошла, пять лет в армии пробыл. Я призывался в армию в 1934 году, мне было восемнадцать лет. Потом пришла Отечественная война, я все пять лет пробыл на войне, до Берлина дошел, с Берлина увольнялся. Пришел домой и всё позабыл. Жизнь-то другая была. Пошли коммунисты, стали преследовать, стали ссылать стариков, у нас нескольких стариков посослали. Расстреляли в 32-м, 1933 году. Старики славные погибли. У нас уставщик был Фаддей Иевлевич Чебунин. Увезли его и неизвестно куда увезли, он погиб за веру христианскую. Его-то сыновья тоже потом коммунистами стали. Сысой погиб. Не стали молиться, давай крадче молиться. С армии пришел — ничего не стало, ни книг, ничего.

Мне дали Часовник, Псалтырь — я открыл, смотрю, как баран на новые ворота. Все позабыл! Это было в 1946 году. В колхозе я работал заведующим, бригадиром. Когда ушел на пенсию в 1975

году, взялся за книги. Уставщик Стефан Чебунин пришел ко мне сватать меня, я стал мало-мало молиться. С 1975 года я стал молиться, сторожил мало-мало.

У нас церкви не было сперва, приход один был. Дом молебный был большой. Стариков много стало грамотных. Ну, собрались на какой-то праздник. Старики стали «за портфель», как сейчас говорят, бороться. «Давайте найдём попа!» — «А где?» — «В Москве!» Давай собирать деньги. Послали туда человека, Абросима. Абросим — это наш уставщик был, нас крестил он. Поехал он туда на конях. Когда он до Москвы доехал!.. Нашли этого попа. Он раза два или три приехал к нам сюда, поп этот. Теперь Абросим приехал к попу-то. У него два сына и овчарка вот едакая сидит под столом. Поп сам ест и её кормит. Один сын сидит у плиты курит, а второй на стуле сидит курит. Абросим сразу испугался и шляпу надел и домой. Приезжает и говорит: «Какого мы попа нашли!» Абросим потом поехал в Харанор, на Дальний Восток. Там был поп с Греции высланный, он что-то там сделал. Жена его была Ольга. Он сильно грамотный был священник. Собрали общество, решили: «Если жена перекрестится, то пусть будет старообрядческий священник». Она согласилась, её перекрестили и назвали Еленой. В Москве стариков много, церковей много, места ему не было, его в Харанор отправили. Зато астрицкая вера у нас образовалась. Абросим туда к нему поехал и посетил его. И объявил сам себя священником. Где амбулатория есть наша, вот тут ему выстроили церковь обществом. Он давай народ себе блазнить. Шибко богатые несколько семей к нему перешли.

У нас тут тоже говорят: надо и нам тоже попа. Мы не соглашаемся: «Мы будем беспоповцы, нам попа не надо никакого!» Наши отцы и деды приехали, несколько лет сюда шли в Забайкалье. Мы — без попов. Вторую церкву поповскую сделали, дедка Кирилл. Одна в Сибири, где заготконтора, там сибиряки сделали Православную, сибирскую церковь. Три церкви у нас было в Тарбагатае, звонили. На всех колокола были. Коммунисты в 1932 году все колокола сбрасывали, все церкви разломали. Власть забрали, в партию зашли, стали держать себе высокую честь и всё исковеркали, всё сломали. И церкви разломали, и давай ссылать уставщиков, и запрет пошел молиться. Моленная — большой был дом. Старухи сидели лавочки до-олги были, долгие! Он белый был, икон много было. Бывало, сидим, а старики читают. Ну там не пошепчешь, не повернешься — лестовкой тебе стукнет! Клубов же не было, а где, чем увлекаться? Нас научили молиться, и мы молились. В 1929 году мы дружить стали с женой, она халат наденет, я надену халат, и в моленную идём молиться вместе. Дедушка Фаддей был уставщиком. Большие иконы — весь пристенок заставлен

в два ряда! Приход же большой был, а как же! Пятьдесят икон, может, было. Наши деды свои иконы в Сибирь из Польши принесли, на них мы и молимся. Складень этот праздничный, на нём праздники: Вербное воскресенье, Благовещение, Паска Христова, Рождество Христово, Крещение, праздник на каждой медной иконке. Киот простой, в мастерской сделан. Микола, Михаило Архангел — медные иконы были, их на стену не повесишь, на киот ставили. Старинные! Триста лет иконам. Одититрия, Владимирская Богородица. Агриппины Купальницы завтра праздник.

Иван-Травник. Специально в моленную ходили, в четыре часа начинали вечернюю службу. А днём праздновали. Служба 2-4 часа. Во всю ночь молились — Рождество, Паска — Христа встречали в 12 часов ночи. Уставщики мы остались два, покрестить кого, схоронить, помолимся. В воскресенье часы читаем, каждому празднику читаем всякий свой канун.

Троицу шибко праздновали! Рубили берёзку, наряжали её, ходили по улице! Девки нарядные были. Кумиться ходили на Селенгу, на остров, специально под черёмухой. Наряджались. Парочками становились, рука за руку держимся, а задние вперёд проходят — ручеек называлось, через всю улицу. Кумились — чай пили. Чаю наварят на Селенге, яишню жарят там, песни поют! Вот кумились. Молодёжь соберутся — девки, парни. А после и женатые стали ходить с жёнами. Сейчас на Троицу на остров ездит весь Тарбагатай — места нету на Селенге под кустами! Троицу встречали в Духов день. Мы-то пешком ходили, нас потом на лодке перевозили на остров. А сейчас у каждого мотоциклы, машины. Стол сделают, яишню нажарят, рыбу, печенья нанесут! Черёмуха цвете белым, все кусты белые. Через деревню пронесут берёзу. Праздник пройдёт — её разломают, домой заберут ветки.

Мы больше на Селенге праздновали. Троица — это Пятидесятница. От Паски Христовой на 50-й день. Назвали её Троица. Духов день — назавтра, его ещё больше Троицы праздновали. Бывало, вся улица алеет — все наряжались в праздничную одежду, на лавочках выйдут и сидят. Мужики в Паску восемь дней не работают, в бабки играют. От воскресенья до воскресенья никто ничего не делал! Бабки напилят, чурбачки и вот играют. Старые в карты не играли, за грех считали. А молодёжь в соломе играла. У каждого стог соломы стоял, в соломах играли с девками. Молиться все ходили: и девушки, и ребята, и старики, все ходили. Только скажешь тихонько, старуха тебя сразу лестовкой: «Не разговаривай, а слушай!» В 1932–1933-м стали все забывать. Крадче молились. Если узнают, что молишься, тебя либо в тюрьму, либо в ссылку, либо под твёрдый налог подведут. Налогом облагали. На лесозаготовки, либо на лесосплав куда-нибудь тебя сошлют за молитвы. Строго было!

Я-то не такой грамотный, много не знаю. Библии у меня нет, только Часовник да Псалтирь.

Святитель Микола Чудотворец — скорый помощник и заступник. Чудеса сотворял всякие. Мне приходилось видеть: здесь у одной бабушки корова потерялась. Не было нигде — всё обыскали! Не могли никак найти. Бабушка эта помолилась, обратилась к Святителю Миколу: «Помоги мне, пожалуйста, Микола Милосливый!» Пошли — а она в кустах ходит. Вот как? По этим же кустам ходили — и не было её. А корова вдруг живая и здоровая тут очутилась. Вот только Святитель Микола нашёл.

Мне самому приходилось так же. Я поехал по дрова, у меня дрова готовые были. На коне. Я пастухом работал, скотником в колхозе. Полвоза набрал, отвёз — сложил недалеко. Коня там оставил с возом дров, а сам пошёл обратно посмотреть. Пока ходил туда глядел, а конь ушёл, побежал. Я увидел и взмолился: «Святитель Микола, Милосливый! Подсоби мне! Останови коня!» Если бы конь побежал — а там крутой спуск, дрова бы покатались, я бы и ни коня бы, ни телеги — ничего бы я не нашёл. Но вожжи упали, закрутились на ось колеса, и воз остановился. Ну, кто? Микола мне помог! Чудотворец — а как же?

Святой Паисий помогает тем, которые умерли некрещёные, неверующие, несправленные — в грехах не покаянные. Если убили человека, просят: «Преподобный Отче, Великий Паисий! (Паисий — Великий) Помолись Богу о нас грешных!» Паисий помогает людям, вымаливает грешных.

Михаил Архангел — заступник. Он по земле не ходил. Когда будет свету конец, тогда он заиграет в трубу: «Вставайте, живые и мёртвые!» До конца века будет терпеть.

А я-то считаю, что Бог есть. Без Бога нельзя никак!

Раньше Господь по земле ходил, потом ушёл на небеса. Первое время сам Иисус Христос по земле ходил. Шёл он одной деревней со своими учениками. Вздумали покушать. Стоял колодец. Они пить захотели, пошли к этому колодцу. Он говорит апостолам: «Сходите найдите поесть хоть чё-нибудь». Ну, они пошли в деревню, а он сел коло колодца и сидит. Женщина идёт с коромыслом по воду. Подошла, поздоровалась. Он сидит, как человек. И спрашивает её: «Тётенька, дай мне попить, я пить хочу!» А она говорит: «Ты, може, жид?» Он говорит: «Нет, я не жид. Если хочешь, я тебе сейчас сделаю живую воду в ведре. В ведре вода у тебя получится». И воду у неё в ведре зачерпнул. Она увидела чудо и спрашивает: «Ты, наверное, Иисусе?» (Они слышать-то слышали, что Господь ходит по земле.) Христос спрашивает её: «А ты женатая?» Она говорит: «Нет!» Христос ей: «Чё ж ты обманываешь меня? Ты же пятый раз женатая!» Вот она потом говорит: «Ты, наверное, Иисусе, раз ты узнал, что я пятый раз замужем?» Ну, и бросила ведра, побежала в деревню. Там объявила всем: «Христос пришёл!» Все бросились к колодцу, а они уже ушли.

Староверы венчаться могли два раза, а три — нельзя.

Рассказывала мама мне... Три сына было у матери, и вот одному выпал жребий — служить. А раньше 25 лет служили. Он служит, а те двое дома. Он думает: «Они живут — красуются, а я всё служу и служу! Приду и убью их!» А Господь ему встретился и говорит: «В одном селе три роженицы родили. Сходи, посмотри на младенцев! А я буду тебя ждать вон там». Солдат зашёл в один дом — младенец лежит весь в воде. Зашёл к другому — он весь верёвкой закутанный лежит, младенец-то. В третий дом зашёл — младенец лежит весь в крестах Георгиевских. Солдат пришёл и Христу рассказал, что видел. А Христос ему говорит: «Который в воде — тот утонет, который верёвкой окутанный — этот задавится, а в крестах — тот служить пойдёт». Христос говорит: «В крестах видел младенец лежит? Это твоя доля». Это судьба такая. Человек рóдится, а доля пишется. А тебе вот судьба служить двадцать пять лет. Ну, он не стал убивать своих братьев, раз ему такая доля.

Не лечились мы ни у кого. Питались своими харчами, не купляли ничего. Из магазина ничего не ели, вот и жили. Много было тех, по сто лет которые жили. Лекарки-то были. Ведьмов-то сколь хошь было. И портили, и лечили. Эти-то были.

У нас в Тарбагатае много Акинфиевых, наш корень. Братанья. Сродственники.

«Молитва вас спасёт»

МАРИЯ ФЕДОРОВНА ПЫКИНА (1909 г. р.), с. Десятниково

Сейчас кресты носят. Будете молиться — молитва вас спасает. Вот молитва сейчас вашу жизнь спасает — молодёжную. Молодёжь раньше Богу не верила, кресты не носили. А сейчас обратились все молодые. Молитва вас спасает: «Ангел мой, хранитель мой! Сохрани мою душу! Укрепи моё сердце. Враг-сатана, откачнись от меня! У меня есть крест! На кресту три подписи: Лука, Марко, Иоанна. Спаси и помилуй меня!»

«Крест — хранитель всей вселенной! Крест — красота церковная. Крест — царям держава. Крест — ангелам слава. Крест — бесам язва». (Это в лес пойдёшь — читай, чтобы волки и медведи там не пужали.)

«Богородица, Дево, радуйся! Обрадованная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах яко родила еси Христа и Спаса — избавителя душам нашим». «Пресвятая Троица» — большая молитва.

«Да воскреснет Бог!» — молитва шибко хорошая. Во двор зайдёшь, будешь её читать — будет Бог здоровье тебе давать. У поле поедешь, её читай. На бумажку напиши и в карман положи. «Отче наш» — ещё главная молитва. Без её никуда. Теперь все стали

веровать, бравенькая моя. На бумажечку напишешь и с собой носи, она тебя не задавит — бумажечка. И даст Господь здоровья. Если у тебя такая молитва в кармане, ты будешь человеком.

У меня лестовка есть, я за покойников молюсь, читаю. У меня, доча, родители были шибко заядливые по-церковному. Отец, мать. Раньше церкви были, они ходили молиться. Они нас с семи лет приучали к этому делу. Такие попы были у церкви, у них были большие книги. Что было написано в старинных книгах, всё происходит. Перед последним временем народ разболтается. Вам тяжело, а вашим детям и внукам будет ещё тяжелее. Рассыпятся по белому свету, всюду разбросает ваших родных. Ну, и правильно: один — там, другой — там. Раньше-то мы никуда не ездили, все в деревне жили один коло одного.

Одна раз российский приехал к нам поп-старичок. Мои родители пустили этого попа, он нас по-церковному учил, взрослые ходили учиться.

В 1930 году у нас колхоз организовался. Начали нас гонять работать. На лесозаготовки нас гоняли. Жать, пахать, всё делать. Молитвы забылись. Но теперь под старость Господь даёт память, ещё маленько помню. Церковь была, ходили мы вечером на вечерню. Бывало, звонят колокола, большие были. Они позвонят — весь народ идёт молиться. Вечером придём домой, а утром — снова на утренние часы. Попы приходят, открывают церковь, мы идём за ними все, молимся. Попы читают, а мы слушаем.

А потом колхоз организовался, пошли партийные, они всё это разрушили. Потеряли Бога. А теперь трудно стало, многие обратились к Богу. А я всё помню. У меня отец, мама хорошие были, бабушка ещё была — мамина матка, дедушка. Все здесь, в Десятниково жили.



Семейная свадьба. Конец 1940-х гг.

Мамина матка рано умерла, а батина шибко к Богу не прилипала, она такая была. Раньше Богу веровали, после осени был Мясоед, потом под самую Паску — Великий пост в году 7 недель. Старинные люди молочного и грамма не ели! Семья сеяли, пшеницу, бурдук делали, всё припасали, всё было. Молодёжь тоже коло стариков ели, боялись. Великий пост — семь недель, бывало, нам молочного грамма не дадут поест. Петров пост маленький, три недели всего. Петров день в воскресенье придёт. От Петрова дня четыре недели Мясоед. Потом первые Спасовки. Там опять Успенский пост. Хлеб жнут, молотят — припасают. То огородину едим, то хлебушко. Успение — праздник в году один. Когда хлеба насеют, в Успенье он поспеет. Вся природа снимается после Успения: и огородину убирают, и хлебушко.

Троица — шибко великая. Если человек утопленник — на Троицу подают. Если родители стареются, подают, оне (дети их умершие) приходят к престолу Господню. Если поминают — на небе им подарочек. За утопленников и удушенных весь год нельзя молиться, только в Троицу, и то три поклона.

Раньше у нас никто не пил так. Даже если свадьба — трёхлитровую бутылку на всех — вот и всё вино. У моего отца было семь коней, ходочки были зелёной краской покрашенные. А какая сбруя была! Красным товаром всю сбрую обошьёт. Конь, жеребец, серый в яблоках. Отец на него, бывало, седелку наденет, да хомут, да узду. Стоит на дворе — нарядный. «Запрягайте Серко!» — батя разрешает брату моему девок покатасть. Брат девушек катает. Каждое воскресенье мы сроду не работали. Скот пасётся. По семь, по восемь коров было. Подоют матери, вечер придёт, коровы сами приходят. Всё степь здесь кругом была. Каждый хозяин держал много скота. У нас были девки, две десятины земли всего — мало. В Мухор-Шибирском районе там жили буряты. Хальные буряты жили улусами. Наши родители познакомились с бурятом, его звали Данбей. Бога-а-атый был бурят. Там в степи воля своя:

он нам свою землю выделял. Мы на телеге ездили, там у них сеяли хлеб, потом на телеги снимали, домой возили. У нас всего-то две десятины земли было, одни девки, на девок землю не давали, нам дома земли мало было. Дома всего на двух мужиков — на отца да на брата Колю, две десятины, а на женщин землю не давали. Огороды были свои вволю. Хлеб складали. Картошку во дворах не садили, на пашне садили. Сохой спашешь, мешочек-два посадишь, много не садили. В огороде капусту много садили, семена у всякого для себя. Брукву садили. Начистят её вот так мелко, в печку поставят, она делается жёлтая, сладкая — дали мёд. Лука много садили, огурцов много садили. А помидоры не садили.

В лесах ягоды собирали! Коня запрягут, поедут по бруснику. Поедем в лес! Ящик до-о-олгий на телегу поставим. У батьки был братан в Сутае, там хребты. Он нас привёз в лес — брусника адали скатерть, вся красная! Ефрем, Домна, Марфа, я — все двоюродные братья и сёстры ездили. Мы ведер десять набрали! В ящик насыпали, на телегу поставили, сами сели по бокам, пара коней запряженная в этой телеге. Дома ведрами разгрузили, большую печку вытопили, напарили эту бруснику. Подвалы хорошие были — спустили в лагунах в подвал. Брусника — первая ягода при болезни. Старались люди для себя.



Семейная свадьба. Молодые с дружкой. 1940-е гг.

Раньше много волков было, давили скот. В степи скота давили, в деревню заходили. Вот интересно, куда они сейчас все делись, волки?

Дело к вечеру было. Я собрала чай пить. Солнце садится. Мы ужинаем. А дедко Нестер вышел окошки закрывать — по улице бегут два волка! О-ой, спужались. После не могли шпану на улицу с избы вытолкать.

Раньше не все равны были: кто-то богато жил, а кто-то бедно. Ежели кто богато живёт, его варнаки могли ограбить, мы боялись. Варнаки в лесу у землянках жили. Землянку себе выроют. Скот в деревнях воровали, коней воровали. У нас сосед этим занимался — варначил. Всяко жили, трудно было. Куналейские были с варнаков. Я помню, как их разоблачили: пришли мужики и поймали там в лесу. Комоньку, Сеньку. И положили под крестом, на горе. Было, всё было. Маялись всяко.

Раньше вино старики совсем не пили. Если надо сына женить, запрягают коня, в другой деревне невесту найдут, на коне везут. Стол делают, свадьба. И жили после все вместе — по пять-шесть человек в одном доме, сыны и невестки.

Которые старики бедно жили, имя трудно было свою пашню обрабатывать, они свой дом открывали для молодёжи: «Приходите, молодёжь, мы вас пустим погулять тут!» Мы придём к имя гулять. Сидим по лавкам. Придут ребята с гармошкой хорошей, поют, пляшем. И тут же старики живут. Носили им за работу, за дом, что нас пускают. Им чем-то питаться надо, идёшь от родителей на гулянку — ковригу хлеба, мясо несёшь. Она, старуха-то, дом свой не жалеет, гулянку пустит, а ей от такой ворох накладывают продуктов. Ковригу хлеба, сало, мясо. На другой вечер она опять нас пускает. После стали в клуб ходить. У меня подруг много было!

Уставщиков приказ пришёл, их сослали, и в живых нету, никто не знает, куда сослали. В тридцатых годах, однако, ссылали-то. Какой-то закон пошёл советский — церкву сломали коммунисты. Уставщики, которые за веру держались, по домам крадче молились. Ты пустишь, избу не жалко, к тебе придём помолимся. Раскулачили, сослали, всех хороших старинных уставщиков уничтожили. Неизвестно где. Вот и всё.

У нас сосед был уставщик, его увезли с женой. А сыночка их, сироту, подобрал брат мой, вырастил его. Он потом в колхоз зашёл, на ферме работал учётчиком, этот сиротка. Потом в город уехал, женился, стал бравенько жить. Детей накопил. А батька его с маткой и пор сей день неизвестно где.

Кто веровал, по-домашности молились, конечно, и в войну. А уставщика не было. Бо-

ялись. Их, когда первых стариков уставщиков, кулаков собирали, все боялись молиться. А после, когда все маленько утишилось, поболее стали молиться.

«Мой батя — ангел человеческий!»

Евдокия Ивановна Власова (1906 г. р.), с. Куйтун

Когда я с родителями жила, у нас было тринадцать детей: десять сынов и три дочки. У меня две сестры ещё живые. Давали только на одну душу землю и то — раз в 12 лет. А братья были все погодки, поэтому земли у нас и не было. Вот сегодня вечером родился, он уже не попадает под надел.

Отец у меня был Родионов Иван Васильевич, очень хороший, плотник был. А потом его сослали! Всё он делал: и столы, и койки, и табуретки, и умывальники, и вот ящичек, рамы для окон, наличники. Вот дом Трофима Амплеича батя наш рубил, а потом хозяина сослали, Антошин забрал себе дом-то. Мы отца звали «батя». Он такой был, как... Любил детей, как не знаю кого! Четыре-пять подростков соберёт, что-нибудь нам рассказывает, ему интересно с нами. А мать не такая была. И матом не ругался, никогда. Дали ангел человеческий!

Пашня была — шесть десятин на один год и шесть на другой. Поскотину городили, всё огорожено было. Весной пасут скота, а как лето начнётся, три летних месяца, скот по воле ходит. Если чей посев скот потравил, хозяину скота штраф дадут — он свой хлеб привозит за поправу. Если скот на чужую пашню зашёл, штрафовали и, бывало, всё на хлеб.

Куйтун большой был! Дали Левон Власович говорил — тысяча шестьсот или восемьсот домов! Это все улица поселенная. Улицы назывались Скородумка, другая тоже Скородумка, Турция, Подбрянка, Подмогилки, Бараба, другая Бараба, Сибирь, Низ.

Это может быть вот как. Вот у нас Флотский Иван есть — его отец в Морфлоте служил, Гришка Гашенкин — это был Аблакат, писал заявления, грамотные все были, Майор, Прапорщик — Иван Евсеевич. У моего отца было шесть братьев, и все были грамотные, и отец Иван Лаврентьевич. И внуки потом были грамотные.

У нас в Куйтуне были староверы Большого прихода, темноверы, австрийская вера. В Куналее только 40 дворов поповских. Поповская наша церковь, семейская. Вперёд сибиряки были сосланы. А потом семейские, они с семьями были сосланы, вот и назвали «семейские». У нас «Сибирь» улица есть, там тоже церква стояла, сибирская — православная. Нашу сделали сперва Покрова Божьей Матери, а потом поехали к архиерею или к епископу и потом назвали Рождества Христова. Она шибко большая была! Австрийского прихода совсем не такая была, меньше. Сибирская схоже, но не такая. Наша была о-ой, красивая! И вот моя золовка была девяти годов, красили церкву. Она помнит. Бабушка Настасья Шикина красила и потом рассказывала. Мы своей краской красили: масло варили из конопляного семени и церкву красили. Она была белая снаружи. Говорили, когда её выкрасили, она лучами сияла! От солнышко всходить — наша церква вся сияла в лучах! Брала синьку и белила и мешали. Я захватила. Краска шибко устойчивая была. Как краску варили, я помню. Пёрышко макнут — пёрышко сварится, значит, краска готовая. Коноплю били, из неё потом сумки вязали.

Звонили, кто хорошо умел. Всю Паску, бывало, звонят. Призывали, учили, кто может звонить. Восемь дней звонили. Под праздник обязательно звонили. Ой, завтра праздник — на церкве звонили. Утром звонили. Утром собирались. Звонить всем позволяли в Паску. Колоколов я не помню, сколько было, но шибко большие! Женщин не допускали на колокольню, только мужчин.

А вот её строили, я помню. Три церкви было. Австрийская — большой дом, колокола не очень-то большие, два было. Она в 1918 году сгорела. До колхозов снова построили, а потом из неё сделали клуб. Клуб сделали, и там соседа Фильку зарезали. Грех из церкви клуб делать, большой грех!

Поп к нам приезжал Иван, поминаем его, а последний в 1927-м Фёдор был. И крестили, и венчали. Уставщик, он крещёный, его миром, маслом мазали. Уставщик не венчал, только причащал. Когда поп — тогда поп. Епитимью накладал за грехи. Моей бабке епитимью наложил: один день скоромный — воскресенье, остальные — пост. За грехи. Она пост соблюдала. Не знаю, чем уж она нагрешила. И девушки ходили давали рукописание. Грех — обманывали. И убивали. Я грамоте училась, меня батя отдал учиться, а мама заругалась и передолила батю — пересилила. И отобрали меня от учения. Учили-то на хлеб. Месяцев пять я всего училась. А братья после один от одного учились. Башковатые были, шибко грамотные! А теперь-то мне, знаешь, как плохо — неграмотной?

Два крылоса были. И также женщины стояли в церкви, слева, мужчины — справа, большой коридор меж ними. Божница вся заставлена. Алтарь — только поповский. В алтарь только молоденьких девчонок запускали мыть алтарь. А женщин — нет.

Староста в Куйтуне правил. Сходка была большая. Никола большой стоял, вот где сейчас сельсовет. Егор Кондратьич был, сыны его были. И строгость была такая! Если хулюган — от мира отказывали! Если умер не причащённым — не ходили хоронить! Если нарушит — от мира откажут, не хоронить, ничего. Сергей Жучок, Кирилл Жучок был. Тогда лес на церкву давали возить каждому. А он не дал. И их от мира отказали — всю семью. Вскоре у них ребёночек умер. Собрали сходку, обсудили и ребёнка этого похоронили. И помянули, на могилках отслужили: дескать, ребёнок не виноват в грехе родителей.

Староста тут же жил. Раньше не сельсовет назывался, а волость — там большой Никола стоял сразу при входе. Собирали сходку: пайки делить, пашни, кого-то обсуждать, хулюганов пороли. Если дети хулюганы, их пороли, а отец рядом стоять приказывает: «Хорошенько, хорошенько!» Были нанятые, которые пороли. А отец стоит приказывает: «Бей его хорошенько!» Мама мне рассказывала, дескать, её братан так же вот нахулюганил. Плетям и высекли. Долгая телега под сараем была, его привезли и на телегу положили. Мама говорит: «У нас мешки были тканые. Мешки намочим, обкладём его. Да после и выходили брата». Мама это ишо рассказывала, я не помню, за что его наказали.

Сходку собирали обсуждать. Посыльный был Мирон, он по деревне ходил и загадывал под окошко: «Сегодня сходка, приходите на сходку!» Отцы, братья старшие ходили, женщин не пускали. Маленьких давили сколько раз. Рожают и задавят, и выбросят крадче. Вот мать этого ребёнка на сходку приглашали и от мира отказывали — и её, и её родителей. Было же это тоже всё.

В армию сын ушёл у деда Захара, а невестка принесла без него. Их тоже от мира отказали. У Ивана Порфирыча тоже она гуляла тут без него. Абрамов Кондраха — платил за ребёнка алименты. Это присуживал суд ему — он хлебом платил. Он её выгнал, она к родителям ушла с ребёнком. Обществом всё решали, собранием. Полетовских братьев много было, каждый ходил. Высказывались. Староста решение принимал. Дед наш гово-



Семейский дом из лиственницы. С. Тарбагатай. 2013 г.
Фото автора

рил: старосту на сходе сняли, а он не отдавал волостную печать. А его завалили мужики да печать отобрали.

Три амбара у нас в Куйтуне было. Казённые их называли. Сушили там же были. И вот экономию ссыпали осенью. А весной нуждающимся на семена хлеб давали зерновой. Если душа одна, а все девки. У Захаровых все девки были, у Авилковых все девки были. Примерно, я беру в экономии, отдавать не надо. Возили все, слаживали. Давали нуждаю-

щимся. Богатым, у кого много хлеба было, с экономии хлеб не давали. Их после-то развезли, казённые-то, сушила разобрали при советской-то власти. После приходили бригады и хлеб из амбаров выгребали. При царе налогов не было, а подати были небольшие. Подати рубля три, не больше. Мама, бывало, говорила: «Ишо подати не плочены, надо платить».

Все праздники праздновали и работать успевали. Мы подростками были, нас будили утром. Под Рождество, под Крещение, под такие церковные праздники. Книг же много было. Георгий храбрый, Егорий Победоносец — это конский праздник. От бывало, какая бы работа ни была, батя коней распрягает. Говорит: «Если они в свой праздник не погуляют, год потом бедниться будут (обижаться)». Раз в году праздник — Егорий весной бывает.

Петров день 29. Прокопьев день будет 8 июля. Праздновали, не работали, по ягоды ходили. На Прокопья кукушка перестанет куковать. С Петрова дня до Прокопьева дня кукушка кукует, десять дней Мясоеда. А с Прокопьева дня до Ильи-Пророка тоже десять дней Мясоеда, а с Ильи до Спаса тоже десять дней Мясоеда. А со Спаса Успенский пост до Успения. В августе пост назывался «Спасовки». Она же мать евошна, Христова. На Спаса она и заболела, через 15 дней умерла. Это же Богородица на Спаса захворала, когда узнала, что его мучить и распинать будут. И такую епитимью на себя наложила — не пила, не ела. И на Успение, 15 августа, умерла. Скоромное не ела, чай не пила. Ну, так-то — воду, хлеб — можно. Она уже старушка была. Как умерла — Святой Дух только знает, а мы не знаем. Вот уже две тысячи лет доходит.

Господу Риз положения, Подкопенница, там Улита — и все праздновали. В воскресенье на покос уедешь, если солнце — убираешь. За харчом ребят посылаешь обратно. А если дождь — то не работали. 10 августа Подкопенница — сердитая, копны разбрасывала. Говорили: «Подымет буря и возьмет копны!» С одной пади и на другую унесёт. Богородица — Подкопенница, не знаю, почто так называли. Нас учил Фаддей Анфилоныч, а потом нас учила Фаддея Анфилоныча дочка. И Мошиных парень-от был, и Евтеев Евсейка. Он был грамотный, собирал нас учить. Он был так грамотный, уставщики-то благословленные же. У уставщиков пять сынов, и все пять грамотные.

В Петров день ходили по ягоды, по землянику и там разговлялись. От зайдём в лес, большую поляну найдём, выставляем, у кого чё есть: молоко, творог, сметана — всё в тучочках. Артелью собирались и разговлялись. Все дети просили родителей: «Батюшка с матушкой, благословите разговеться!» Они отвечают: «Бог благословит!» И начинаем есть.

А на Успенье ездили по шишку, по ягоду, по бруснику, тоже там разговлялись. «Святые отче, батюшка с матушкой, благословите разговеться!» — «Бог благословит!» И начинаем есть.

На Прокопия тоже ездили по грибы, по ягоды. А вот на Спас собирались у волость, пайки нарезали. Говорили: «Пришёл Спас — не видел дома нас!»

А вот ещё говорили: «Илья — отошла девичья гульба!» После уж все по покосам ездили. До Ильи девки гуляли и купались. Круглый год гуляли коло дома девки. Речка большая, пруд прудили. Купались голыми — одежда была скудная же. И парни голые. Девки особе, с парнями мы не якшались. А парни — с парнями, тоже голые. Одежу-то берегли. Грех было подглядывать.

Мы — девка с парнем гуляли. Батя наш пойдёт чувалы класть, печи класть. Придёт к тебе — а у тебе парень. Батя говорит: «Попроси своего парня, чтобы он за меня попахал, а я буду чувал класть!» Вот мы поедем вдвоём с парнем, пашню пашем. Ночуем на пашне. Было ли что ль это? Не было промеж нами ничего! У нас в лесу пашня была, зимовье там стояло. Мы отель солому не возили. Бывало, когда сеешь, ночевать оставались в зимовье. А потом корову пасли там. А у их старик трясучий был, слепой. Батя с Серьгой в зимовье с ним жили. Он себе чаю нальёт остужать, а парень возьмёт ему горячий подставит. А он хлебнёт — ну, чё ж, полный рот спалился! А батя начнёт рассказывать: «Серьга вот так над дедушкой делает! Ой, ты, доча, не делай так! Мы же все ходим перед Богом. Старика Бог слепотой наказал, он виноватый что ли? Серьга так над ним делает! Ты не делай так!» Или дедушка пойдёт, а он чё-нибудь под ноги ему поставит, дед упадёт. А я потом бате жалуюсь. Да слепой был дед, старенький, может, срок ему уже пришёл. А батя мне наказывал: «Так нельзя делать! Мы же все — Боговы! Может, и тебе Бог накажет так же?»

После Ильи, Илья пройдёт, и уже не купались. Илья-Пророк говорил: девица покою не даст своей головушке Сейчас косы не плетут. Мать будет своего дитя поедать — великий грех. Илья он силен! Попросишь его — отнесёт погоду, отведёт ветер в лес гремучий! Нас наказал — картошку смыло.

Иконы носили, Илью просили, когда дождя не было. Молились. У нас крест на глинище был, вроде всё было обгорожено. Девушки ходили к уставщикам кланялись, просили послужить Илье, молились. Уставщики по книгам молились. «Давайте Илье помолимся!» — «Давайте!» Ну, вот старушки и девушки пойдут на гору, и все молятся. Книга есть Илье.

Татьяна Кузьминична Борисова (1909 г. р.), с. Десятниково



Слева — Анна Прокопьевна Чистякова. Прозвище «Нюнка-поп». Крестила, отпевала, вела молебны, в советское время взяла на себя обязанности уставщика в с. Десятниково. Лето 1987 г. Фото Эстена Баллера

(Читает «Воскресную молитву» — «Да воскреснет Бог»). Мне 12 лет было, я её выучила. Шибко хорошая молитва! Когда хошь читай — от всякого помогает. Это же такая молитва!

Мы жили в одном доме: несколько невесток в одном доме жили, было два деверя, три золовки и батька с маткой. После стал колхоз. Мы средне жили: два коня да две коровы было. Стол, лавки в доме. Мешка два садили, мало раньше картошки садили.

Мы хорошо жили со свекрухой! Два года все вместе прожили, а потом начались колхозы.

Мы разделились. Я перешла сюда. Матка осталась со своими детьми.

В колхоз сами зашли, два коня сдали, две телеги. И вот до сих пор — мы все в колхозе. Ой, доча, всех посослали в 1932 году, всех раскулачили. Мало людей в деревне осталось. Никто не вернулся. Дома все развозили: какие в Тарбагатай, какие на Спиртзавод. Какие дома были! И все поразвезли! Кто-то остался. И ломали такие хорошие дома! Бригада дома и амбары разломали, шибко много домов разломали!

Я в одной вере была. Мы — поповские. Церква была, церкву разломали, иконы куда-то девали. Были беспоповцы, японская вера, астрицкая вера была. Церква австрийская стояла, её тоже разломали.

Церквы не стало, уставщиков всех сослали.

До переворота гуляли браво! Ой, каких ребят, девок было! На коня посадят, катают по улице. Знакомились с ребятами. Наряды были бравые, наряжались!..



РИММА МИХЕЕВА



Иркутск — Крым: имён связующая нить



События, происходящие в Крыму и Украине, не оставляют равнодушными жителей России. Несмотря на то, что большинство россиян позитивно оценили возвращение Крыма в состав России, у некоторых остаются сомнения в том, что присоединение Крыма к РФ было добровольным волеизъявлением жителей полуострова. Как известно, Президент России В.В. Путин подписал федеральный конституционный закон № 6 о вступлении Крыма в

состав РФ 21 марта 2014 года, после состоявшегося 16 марта референдума, по итогам которого более 96 % проголосовавших высказались за присоединение к России. На некоторое время события «крымской весны» стали самой актуальной и обсуждаемой темой не только в СМИ и Интернете, но и в семьях большинства россиян.

МИХЕЕВА Римма Григорьевна родилась в Кировской области. В 1965 г. окончила историко-филологический факультет ИГУ по специальности «История». Несколько лет работала учителем истории в пос. Ербогачён и г. Красноярске. С 1977 г. по настоящее время работает в ЦГБ им. А.В. Потаниной г. Иркутска. Как библиограф-краевед занимается изучением истории г. Иркутска и творчества писателей-иркутян. Автор работ по истории Октябрьского (2001, 2011) и Свердловского (2004) округов г. Иркутска, сборника «Нас объединяет книга» (2005) по истории муниципальных библиотек города. С 2008 г. ведёт на городском радиоканале циклы передач «Имена и даты» (2008–2011), «Год российской истории» (2012), «Книжная полка» (2013). Дипломант городского конкурса «Золотая запятая» (2011). Заслуженный работник культуры РФ.

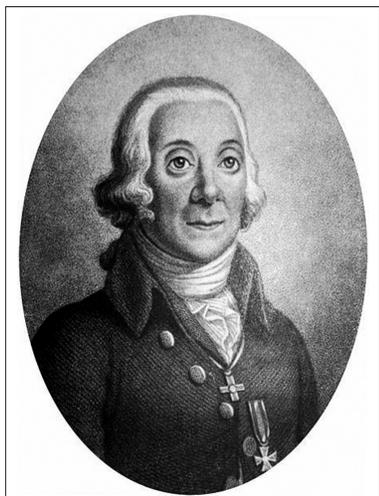
Более 6 тысяч километров отделяют полуостров Крым от Иркутска. Наш город стал одним из первых в России и первым сибирским городом, в котором ещё до референдума, 4 марта, прошёл митинг солидарности и поддержки народа Крыма и Украины. А 19 марта состоялся ещё один митинг, в котором приняли участие, по официальным данным, более пяти тысяч иркутян. Интересно, что инициатором проведения митинга стал областной совет женщин. Почему иркутяне близко к сердцу приняли события «крымской весны»? Что связывает наш город с Крымом, который 23 года назад, после распада СССР, стал субъектом другого государства? Меня заинтересовала эта тема, нашлось очень много интересных фактов и имён, которые объединяют Прибайкалье и Крым. Мне захотелось напомнить иркутянам о некоторых именах, общих в истории и культуре наших регионов.

Но вначале несколько фактов из истории Крыма.

Крым стал частью России в 1783 году. 2 февраля 1784 года Екатерина II подписала указ об образовании Таврической области. 7 февраля этого же года генерал-губернатор Новороссии Г.А. Потёмкин подал императрице проект административного устройства области, центром которой должен был стать новый город Симферополь (в переводе с греческого — «город пользы»). Так он стал называться по предложению учёного и общественного деятеля Е. Булгариса. В 1804 году Симферополь стал центром новообразованной Таврической губернии. Хотя годом основания города принято считать 1784 год, территория эта была заселена около 100 тысяч лет назад. Это позволяет считать Крым одним из древнейших районов заселения человеком Восточной Европы. Известно, что в первом тысячелетии до н. э. здесь обитали племена киммерийцев, скифов, тавров (от названия этих племён происходит одно из названий Крыма — Таврика, Таврия, Таврида). В VI–V веках до н. э. на побережье Крыма основали свои колонии греки. В V веке до н. э. в районе Керченского полуострова возникло Боспорское царство, в степной части Крыма в III веке до н. э. — Скифское государство. В I веке до н. э. частью побережья Крыма владели римляне. В III–IV веках в Крыму появились различные племена — готы, гунны. Под их натиском Боспорское и Скифское государства пали. В IV–V веках Крым — объект экспансии Византийской империи. С X века восточная часть Крыма входила в состав Тмутараканского княжества Киевской Руси. В этот период население Крыма состояло из потомков скифов, тавров, готов, сарматов, аланов, хазар, печенегов и других племён, а по побережью жили греки и славяне.

Именно из Крыма пришло на Русь православие. В Херсонесе, одном из древних городов Крыма, находящемся на западном берегу Карантинной бухты нынешнего Севастополя, принял христианство князь Владимир, канонизированный Русской православной церковью. В XIII веке после вторжения в Крым монголов образовался Крымский улус Золотой Орды.

В XIII–XV веках в Крыму находились укрепленные торговые центры генуэзских купцов. После распада Золотой Орды в 1443 году возникло Крымское ханство, с 1475 года, ставшее вассалом Османской империи (Турции). Крымское ханство периодически совершало набеги на русские и украинские земли, захватывая большое количество пленников, которые продавались на невольничьих рынках как Крыма, так и Османской империи. О периоде Крымского ханства напоминают сохранившиеся в Бахчисарае и ряде других мест исторические памятники. Многие историки полагают, что не совсем правомерно нынешнее татарское население считать коренным народом полуострова, более верным будет называть его «исторически сформировавшимся в Крыму». Надо отметить, что присоединение Крыма к Российской империи, которое осуществили Г.А. Потёмкин и А.В. Суворов, прошло, как и недавний референдум, мирным путём, без единого выстрела. Военные и духовные лидеры крымских татар приняли присягу на верность России, им открылись перспективы службы в могущественной империи. Через несколько месяцев и Османская империя признала вхождение Крыма в состав России. Новая территория стала активно осваиваться и изучаться. С этого времени начинаются и тесные контакты Таврической губернии с другими регионами России.

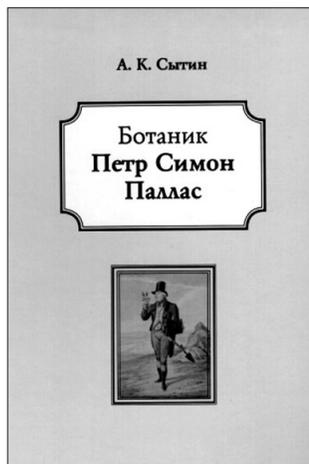


П.С. Паллас (1741–1811), академик, выдающийся естествоиспытатель, крупнейший исследователь Сибири XVIII века

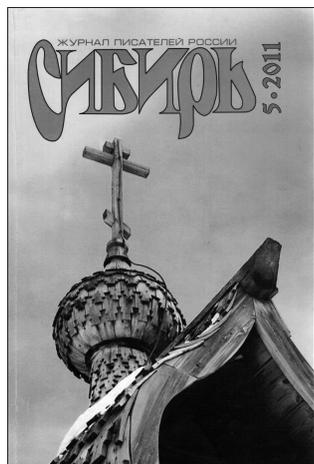
На фризе здания Иркутского областного краеведческого музея (бывшего здания Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества) появилось ещё в XIX веке его имя наряду с именами других известных исследователей Сибири. Он возглавлял в 1768–1774 годах экспедицию Академии наук России в восточные регионы. Работал в Иркутске и Иркутской губернии в 1772–1773 годах, составил описания Ангары и её притоков. Большое внимание уделил изучению Байкала. По его распоряжению в 1773 году была впервые составлена гидрографическая карта Байкала. Изучал П.С. Паллас и другие российские регионы. В 1793–1794 годах он исследовал климат Крыма, для чего и был команди-

рован в Симферополь. Имя этого выдающегося учёного, по национальности немца, объединило с конца XVIII века два города — Иркутск и Симферополь.

Недавно в ЦГБ им. А.В. Потаниной поступила книга А.К. Сытина «Ботаник Петр Симон Паллас» от общественного фонда «Евразийский союз учёных» (город Уральск, Казахстан). Это второе издание книги, дополненное многими новыми данными и документами. Пятая глава книги «Путешествие по югу России и Крыму (1793–1794)» содержит немало интересных сведений об исследованиях учёного на этих территориях. Особенно интересны сведения, содержащиеся в 7-й главе книги «Паллас в Крыму (1795–1810)». В частности, говорится о том, что Паллас в Судаче разбил сад и оранжереи, а также стал организатором Казённого Виноградного училища и практически положил начало развитию виноградарства и виноделия в Крыму. В Симферополе сохранился памятник садово-парковой архитектуры, часть имени и сада, заложенного П.С. Палласом.



Крымскую и Иркутскую земли объединяют и многие другие имена, известные в истории России. Одно из них — вице-адмирал **В.А. Корнилов**. Во всех источниках (энциклопедиях, словарях, справочниках, на сайтах Интернета) указывается, что знаменитый герой обороны Севастополя в годы Крымской войны 1854–1856 годов, родился 1 (13) февраля 1806 года в Тверской губернии. А известный иркутский историк, профессор А.В. Дулов полагает, что В.А. Корнилов — уроженец г. Иркутска.

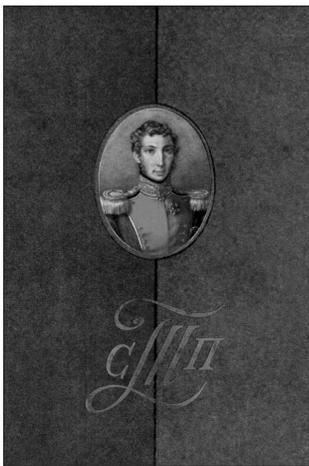


Его обстоятельная и довольно убедительная статья, опубликованная в пятом номере журнала «Сибирь» за 2011 год, так и названа «Вице-адмирал В.А. Корнилов — уроженец Иркутска». Автор одной из последних биографических книг о флотоводце С.Б. Кузьмин в своей работе отмечает: *«Обнаружить документы о рождении, детстве и юности В.А. Корнилова не удалось. Даже точная дата и место его рождения до последнего времени не установлены. Из его формулярного списка следует лишь, что он родился в 1806 году, в это время А.М. Корнилов был губернатором Иркутска».*



А.М. Корнилов — отец будущего героя Севастополя, действительно, с 15 июля 1805 года по 29 июля 1806 года был иркутским губернатором. А.В. Дулов опирается на различные источники, в частности, воспоминания Ф.Ф. Вигеля. Ф.Ф. Вигель — участник посольства графа Ю.А. Головкина в Китай (1805–1806). Посольство это длительное время находилось в Иркутске, так как китайцы не желали его принимать. В воспоминаниях Ф.Ф. Вигеля рассказывается о том, что члены посольства неоднократно посещали дом иркутского губернатора, где их любезно принимала жена губернатора Александра Ефремовна. В частности, такой приём состоялся накануне Нового, 1806 года. На основании этих сведений А.В. Дулов делает вывод о том, «что с сентября 1805-го по январь 1806 г. мать будущего вице-адмирала в Тверь не выезжала. Практически невозможна была бы её поездка в

Тверскую губернию и в январе 1806 г. В Иркутске средняя температура января -20° , и нередко бывают дни, когда термометр опускается ниже -40 . Почти такой же холод стоял на всём Сибирско-Московском тракте. Отправлять беременную женщину на девятом месяце в дорогу было бы и бессмысленно, и крайне опасно. Кроме того, и физически доехать со 2 января до 1 февраля до родных мест было практически невозможно... Остается признать, что несмотря на вынужденные неверные указания Корниловых о месте рождения их сына, Владимир Алексеевич родился в Иркутске».

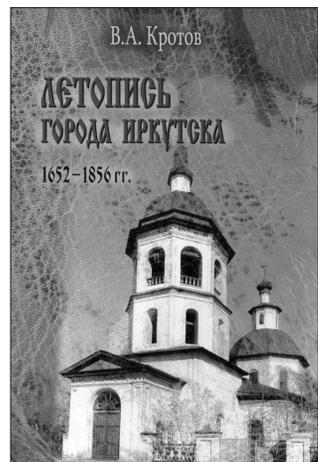


События Крымской войны 1854–1856 годов, оборона Севастополя, несмотря на дальность расстояния, беспокоили иркутян. А война, хоть и вошла в историю под названием Крымской, протекала и на Дальнем Востоке, территория которого находилась в ведении генерал-губернатора Восточной Сибири, центром которой в ту пору был Иркутск.

Иркутяне гордились тем, что англо-французской эскадре, значительно превосходящей численно защитников Петропавловска (2,6 тысячи человек против 1 тысячи русских), в августе–сентябре 1854 года не удалось захватить опорный пункт России на Дальнем Востоке и поживиться имуществом Российско-Американской компании.

В «Летописи города Иркутска. 1652–1856 гг.», составленной В.Л. Кротовым, рассказывается, что 6 ноября 1854 года к генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьёву «прибыл нарочный из Камчатки» с донесением об этом. «По получении сего радостного известия... в кафедральном соборе начался благовест в большой колокол... для показания народу возили по главным улицам города отнятое в сражении у англичан знамя в сопровождении конных казаков и полицмейстера...» Летописец приводит стихи, написанные по этому поводу учеником Иркутской гимназии Лисавиным:

ября 1854 года к генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьёву «прибыл нарочный из Камчатки» с донесением об этом. «По получении сего радостного известия... в кафедральном соборе начался благовест в большой колокол... для показания народу возили по главным улицам города отнятое в сражении у англичан знамя в сопровождении конных казаков и полицмейстера...» Летописец приводит стихи, написанные по этому поводу учеником Иркутской гимназии Лисавиным:

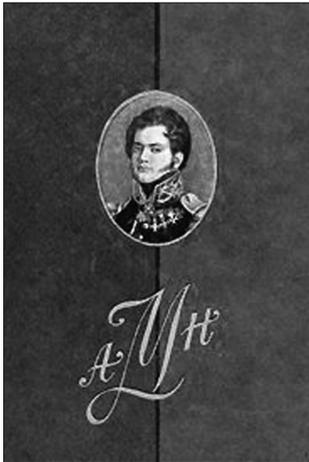


*Раздался колокольный звон.
Народ шумящими толпами
Идёт, бежит со всех сторон,
И мчатся сани за санями.*

*Лишь у коней из-под копыт
Пыль серебристая летит.
Но что всё это знаменует?*

*Куда теперь спешит народ?
Сибирь победу торжествует
Разбит англо-французский флот!*

Победа гарнизона Петропавловска горячо обсуждалась в кругу декабристов. Они внимательно следили и «за ходом боевых действий в Крыму». Особенно близко воспринимал эти события С.П. Трубецкой. Его дочь Елизавета 19 января 1852 года вышла замуж за сына декабриста В.Л. Давыдова, отбывавшего ссылку в Красноярске. Пётр Васильевич Давыдов приехал в Иркутск, чтобы познакомиться с друзьями отца и нашёл здесь своё семейное счастье. В приданое дочери досталось крымское имение матери — Е.И. Трубецкой — Саблы, находящееся в нескольких верстах от Симферополя. Молодая чета Давыдовых проводила в имении большую часть года. Во время Крымской войны имение находилось в прифронтовой полосе, по некоторым данным, в нём был развёрнут госпиталь. В письмах С.П. Трубецкого неоднократно высказывалась тревога за семью дочери. 1 декабря 1856 года после амнистии С.П. Трубецкой покинул Иркутск. Из-за запрета жить в Москве и Петербурге, он выбрал местом жительства Киев. Весной 1859 года С.П. Трубецкой посетил Крым, был в Севастополе, Симферополе и Саблах (одно из писем сыну — И.С. Трубецкому, датировано 16 мая 1859 года).



Жизненный путь ещё одного декабриста — **Александра Николаевича Муравьёва**, связан с городами Симферополь и Иркутск. Член преддекабристской организации «Священная артель», основатель Союза спасения, член Союза благоденствия, участник Отечественной войны 1812 года, заграничных походов, награждённый золотой шпагой за храбрость, был сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства. Вначале отбывал ссылку в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ), затем в Иркутске. По его ходатайству ему было разрешено вступить в гражданскую службу. 19 января 1828 года он был назначен городничим в Иркутске, в должность вступил 23 апреля 1828 года. Как городничий он оставил о себе добрую память. А.Н. Муравьёв много сделал для благоустройства города: при нём был создан парк для гуляний на берегу Ангары, впервые построены тротуары, местная полиция доведена до отличного состояния, резко сократилось число преступлений.

Он составил статистическое описание города с подробными сведениями о населении, состоянии торговли и промышленности. Боролся Александр Николаевич со взяточничеством. 11 июля 1831 года он был назначен на должность председателя Иркутского губернского правления, а в 1832 году переведён на эту же должность в Тобольск. Он был честным и бескомпромиссным человеком, вследствие чего у него часто возникали конфликты с местными администраторами. Одно время — с 25 мая 1835 года занимал должность председателя Таврической уголовной палаты в г. Симферополе, в 1837 году в отсутствие гражданского губернатора выполнял его обязанности. Вскоре возник конфликт с М.С. Воронцовым, генерал-губернатором, и А.Н. Муравьёва перевели из Симферополя в Архангельскую губернию. В мае 1851 года по его просьбе был зачислен на военную службу, выполнял в качестве полковника Генерального штаба различные поручения. А.Н. Муравьёв был участником похода Дунайской резервной армии в Крым в июле

1855 года и очевидцем последнего этапа Севастопольской обороны. На боевых позициях он находился лишь до 28 июля, потому что по причине обострения болезни нуждался в срочной операции катаракты, так как почти ослеп. В письме к сёстрам Шаховским 19 августа 1855 года он писал: *«Если бы не мои глаза, я был бы там, куда честь и любовь к Отечеству призывают каждого русского, но провидение сулило иначе, и я подчиняюсь ему, хотя для меня это отсутствие на своем посту — настоящая ссылка, продолжительность которой мне не известна, ибо в Севастополе и на Чёрной находится ныне подлинное Отечество каждого истинно русского, — это оттуда нужно изгнать подлых агрессоров, этих безумцев, которые не знают, во имя кого и чего проливают они свою кровь...»*

Ещё один участник Крымской войны 1854–1856 годов — **Павел Ипполитович Кутайсов** (1837–1911), граф, сенатор. 24 мая 1903 года он был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири и находился в этой должности до ноября 1905 года. Занимался вопросами благоустройства города, в частности, при нём было проведено освещение набережной Ангары, зданий музея ВСОРГО, Кузнецовской больницы и других мест. По решению городской Думы ул. Арсенальская (ныне ул. Дзержинского) была переименована в улицу графа Кутайсова, но название это не прижилось в топонимике города.

Много героических историй и легенд сохранилось о времени Крымской войны. Историю обороны Севастополя крымчане бережно хранят. Здесь есть памятник В.А. Корнилову с выложенным из вражеских ядер крестом. О героях Крымской войны 1854–1856 годов помнят и в Иркутске. По инициативе ветеранов ВМФ России в Иркутске планируется открытие памятника иркутянам, участникам военно-морских сражений, где будет увековечено имя В.А. Корнилова.

В 1890 году по пути на остров Сахалин наш город посетил **А.П. Чехов**. Всем иркутянам известна лестная чеховская характеристика нашего города: *«Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный»*. Оказавшись на берегу Байкала в посёлке Лиственничном он отметил в одном из писем: *«...Берег Ангары на Швейцарию похож... Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые; направо и налево видны мысы, которые выдаются в море вроде Аю-Дага или феодосейского Тохтебеля. Похоже на Крым. Станция Лиственничная расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту; будь дома белые, совсем была бы Ялта»*. Как известно, у писателя в Ялте была дача, где сейчас находится музей писателя.

Исторические имена связывают полуостров Крым и Иркутск и в трагические годы Первой мировой и Гражданской войн. Это **Пётр Николаевич Врангель**, один из вождей Белого движения, сменивший в апреле 1920 года на посту главнокомандующего Вооружёнными силами Белого движения на юге России. Основные силы белых были сосредоточены в то время в Крыму. П.Н. Врангель — достаточно противоречивая фигура, с одной стороны — «чёрный барон», установивший на территории Крыма режим военной диктатуры, с другой стороны, в годы Русско-японской и Первой мировой войн неоднократно проявлявший не только воинское мастерство, но и личный героизм. В 1902–1904 годах он был чиновником особых поручений при иркутском генерал-губернаторе. В Русско-японскую войну он оставил эту должность и добровольцем пошёл на фронт, в чине



хорунжего служил во 2-м Верхнеудинском полку Забайкальского казачьего войска. В 1918 году он отверг предложение гетмана П. Скоропадского, ставшего при поддержке Германии правителем Украины, возглавить штаб будущей украинской армии. Оказавшись в эмиграции, всячески предостерегал офицеров-эмигрантов от участия в авантюристических акциях против Советской России.

Ещё одно имя — **Александр Васильевич Колчак**, адмирал, один из руководителей Белого движения, яркая личность, фактически последний Верховный правитель исторической России. Он был, помимо этого, известным полярным исследовате-

лем, чьё имя увековечено на карте Северного Ледовитого океана, реформатором флота после Русско-японской войны, боевым адмиралом в годы Первой мировой войны. С Иркутском А.В. Колчака связывают многие события: отсюда он отправлялся в полярную экспедицию барона Э.В. Толля, в Харлампиевском храме венчался с С.Ф. Омировой за несколько дней до отъезда на Русско-японскую войну, неоднократно выступал в музее ВСОРГО с докладами, в Иркутске же был расстрелян 7 февраля 1920 года. 4 ноября 2004 года в день 130-летия адмирала впервые в России ему был установлен памятник неподалёку от Знаменского монастыря. Автор памятника — народный художник России В.М. Клыков. О периоде жизни А.В. Колчака, связанном с Иркутском, иркутяне осведомлены. В последние годы появилось немало работ историков, разносторонне освещающих жизненный путь А.В. Колчака, в том числе и то время, когда он 28 июня 1916 года был произведён в вице-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом. В ночь с 6 на 7 июля он вступил в командование флотом. Большинство исследователей отмечают большие усилия Колчака по предотвращению анархии и развала флота. Уже утром дня вступления в должность он на линкоре «Императрица Мария» вышел в море на перехват германо-турецкого крейсера «Бреслау». Встретив «Бреслау», Колчак вступил с ним в бой и преследовал до Босфора. Это был последний рейд вражеских кораблей на Чёрном море. Дальнейшая морская война свелась, как и на Балтике, преимущественно к минным постановкам. Во вражеских водах было выставлено более 2000 мин, на которых подорвался ряд турецких кораблей, а остальной флот противника был блокирован и лишён возможности морских перевозок. Единственной крупной потерей с русской стороны была гибель, при невыясненных до сих пор обстоятельствах, линейного корабля «Императрица Мария», взорвавшегося 7 октября на Севастопольском рейде. На лето 1917 года намечалась десантная операция, целью которой был захват Босфора и Дарданелл и решение ключевой для России «проблемы проливов». Но этому помешала Февральская революция и последовавшие за ней события. До начала июня 1917 года Черноморский флот, несмотря на активную агитацию большевиков и многочисленные митинги, сохранял боеспособность. Происходило это благодаря большому личному авторитету А.В. Колчака среди офицеров и матросов флота. Но к началу июня обстановка в Севастополе изменилась. На бурных митингах 5 и 6 июня звучали требования отставки Колчака и его ареста.

Адмирал собрал команду флагманского корабля линкора «Свободная Россия» (прежнее название «Георгий Победоносец») и выступил перед моряками. Успех его речь не имела, судовой комитет разоружил офицеров, предложил сдать оружие и Колчаку. Существует легенда, что он вынес из каюты почётное Георгиевское оружие — золотую саблю, полученную им за участие в Русско-японской войне, и произнёс при этом: *«Море мне её дало, морю я её и отдаю»* и бросил саблю за борт. По свидетельству В.В. Князева, личного адъютанта Колчака, матросы достали саблю со дна и вернули её владельцу. В приказе А.В. Колчака, переданном на корабли по телеграфу, говорилось: *«Считаю постановление делегатского собрания об отобрании оружия у офицеров позорящим команду, офицеров, флот и меня. Считаю, что ни я один, ни офицеры ничем не вызвали подозрений в своей искренности и существовании тех или иных интересов, помимо интересов русской военной силы. Призываю офицеров, во избежание возможных эксцессов, добровольно подчиниться требованиям команд и отдать им все оружие. Отдаю и я свою Георгиевскую саблю, заслуженную мною при обороне Порт-Артура. В нанесении мне и офицерам оскорбления не считаю возможным винить вверенный мне Черноморский флот, ибо знаю, что преступное поведение навеяно заезжими агитаторами. Оставаться на посту командующего флотом считаю вредным и с полным спокойствием ожидаю решения правительства»*. В телеграмме, полученной от Временного правительства, приказывалось: *«...Адмиралу Колчаку и капитану Смирнову, допустившим явный бунт, немедленно выехать в Петроград для личного доклада...»* Делегатское собрание Черноморского флота долго заседало, решая вопрос, как поступить с Колчаком. За арест Колчака было вынесено только 4 резолюции, против ареста — 68. Это свидетельствовало, что даже в тогдашней, большевизированной обстановке на кораблях сохранялось уважение к адмиралу. Колчак выехал в Петроград. Черноморский период его деятельности окончился.



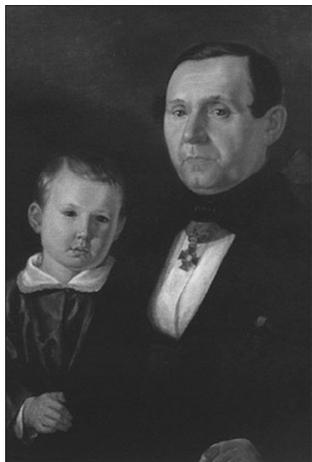
Иркутянам известно имя **В.П. Сукачёва** (1849–1920), почётного гражданина города, общественного деятеля, с 1885 по 1898 год — городского головы. Владимир Платонович был крупным благотворителем, жертвовавшим большие средства на развитие Иркутска, организацию экспедиций ВСОРГО, издание книг и помощь студентам, обучающимся в Москве и Петербурге. Но, самое главное, по словам В.Г. Распутина, *«он по местным меркам сделал для города то же, что сделали для Москвы Третьяков и Цветаев»*. Он собрал большую коллекцию картин, которая стала основой для организации художественного музея, первого за Уралом хранилища произведений изобразительного искусства — Иркутского областного художественного музея, ныне носящего имя В.П. Сукачёва. В галерее Сукачёва было немало работ известных русских художников того времени. Галерея В.П. Сукачёва, ставшая музеем в

советское время, пополнялась работами ведущих русских художников, в числе которых И.К. Айвазовский (1817–1900), родившийся и большую часть жизни проживший в крымском городе Феодосии. Он создал около 6 тысяч картин, 10 его работ находятся в фондах Иркутского художественного музея. Самые известные — «Купание овец» (1877) и «Остров Капри». Есть в музее и несколько картин художников, которых исследователи считают учениками певца моря, — А.П. Боголюбова, Р.Г. Судаковского и Л.Ф. Лагорио.

Хранится в музее портрет мужчины с мальчиком. Мужчина — П.П. Сукачёв, а мальчик — Владимир, его сын, будущий основатель картинной галереи. Автор портрета — М.И. Песков (1834–1864), во время написания портрета служивший чиновником в одной из канцелярий генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьёва. Муравьёв обратил внимание на незаурядный талант М.И. Пескова, выделил стипендию и отправил в 1855 году на

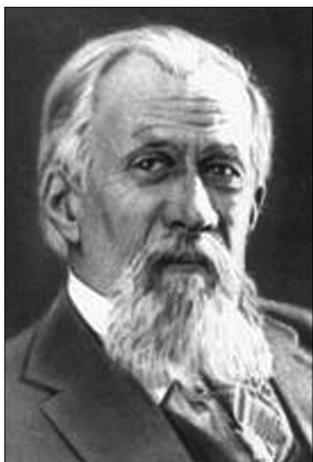


учёбу в Петербургскую Академию художеств. По воспоминаниям И.Е. Репина, *«товарищи считали Пескова самым талантливым из них»*. В 1863 году 14 выпускников Академии устроили своеобразный бунт, отказавшись писать дипломные работы на предложенные мифологические темы. В связи с этим они покинули Академию и основали артель художников, в числе расставшихся с Академией был и М.И. Песков. Вскоре он заболел, товарищи собрали деньги и отправили на лечение в Ялту, где 1 августа 1864 года М.И. Песков скончался в возрасте 30 лет.



В Крыму окончился жизненный путь и В.П. Сукачёва. Семья Сукачёвых рассталась с Иркутском окончательно в 1906 году, переехав в Петербург, так как нужно было дать детям образование. Они уехали, оставив в Иркутске почти все картины и сохранив за собой загородную усадьбу, в которой находилась галерея, продолжавшая принимать посетителей. С Иркутском Сукачёвы поддерживали постоянную связь. Летом 1917 года В.П. Сукачёв с женой и четырёхлетним внуком уехал на лечение в Крым. Из-за событий Гражданской войны вернуться в Петроград Сукачёвы не смогли. Они оказались в тяжёлых материальных

условиях, а болезнь не отступала. Жена Сукачёва работала учительницей в начальной школе Бахчисарая, но это не поправило их материального положения. 21 декабря 1920 года Владимир Платонович скончался и был похоронен в Бахчисарае. Его могила до сих пор не найдена. Сотрудники музея-усадьбы В.П. Сукачёва, являющейся структурным подразделением Иркутского областного художественного музея, несколько раз обращались к крымским коллегам с просьбой помочь установить место захоронения В.П. Сукачёва, но пока их поиски не увенчались успехом. Хочется верить, что с возвращением Крыма в состав России могила общественного деятеля и мецената В.П. Сукачёва, много сделавшего для Иркутска и сибиряков, будет найдена.



Ещё одно связующее имя. **Владимир Афанасьевич Обручев** (1863–1956), выдающийся геолог и географ, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, автор фантастических романов, самый известный из которых «Земля Санникова».

В 1888 году он был назначен первым геологом Иркутского горного управления, в ведении которого находились Восточная Сибирь, Дальний Восток и Якутия. Его заслуги в изучении и развитии геологической науки обобщены в трёхтомной монографии «История геологического исследования Восточной Сибири». В Иркутске именем Обручева названа одна из улиц, у здания Геологического управления установлен скульптурный портрет, на зданиях областного краеведческого музея и на доме по бульвару Гагарина, 56, где ранее располагалось Иркутское горное управление, установлены мемориальные доски. В 1919–1921 годах В.А. Обручев был

профессором Таврического университета в Симферополе.

Самые прочные связи между Крымом и Иркутской землёй скреплены кровью и мужеством наших земляков, участников Великой Отечественной войны. Крымская земля, Севастополь — священные не только для тех, кто сейчас там живёт, но и для миллионов граждан России из всех регионов — от Владивостока до Калининграда. Невозможно с точностью установить, сколько наших земляков сражалось здесь. Об участии наших земляков в обороне Севастополя, партизанском движении в Крыму и его освобождении известно многое. В книге историка, профессора И.И. Кузнецова «Золотые звёзды иркутян» рассказано о наших земляках, удостоенных за свою самоотверженность и героизм звания Героя Советского Союза, проявленных на разных фронтах, в том числе в Крыму и Севастополе.

Вот имена некоторых, удостоенных за воинскую доблесть звания Героя Советского Союза.

На гранитном обелиске, находящемся в Севастополе на Сапун-горе, высечены 213 фамилий Героев, удостоенных этого звания за освобождение Севастополя. Среди них фамилия — С.Б. Погодаев. Родился Степан Борисович в деревне Гарменке Братского района в 1905 году. До Великой Отечественной войны работал председателем колхоза в селе Седаново. В июле 1941 года был призван в армию. Воевал в должности командира батальона на Юго-Западном и 4-м Украинском фронтах. Во время штурма Севастополя С.Б. Погодаев повторил подвиг Александра Матросова. В представлении к званию Героя отмечено: *«9 мая при штурме господствующей высоты 178,2 противник пулеметным огнем преградил путь нашей пехоте. Товарищ Погодаев, не щадя своей жизни, повторил бессмертный подвиг Матросова: он скрытно бросился к дзоту противника и закрыл его амбразуру своим телом, пав смертью героя, открыл путь наступающей пехоте».*



За этими лаконичными строками — геройский поступок нашего земляка, пожертвовавшего собой во имя жизни своих товарищей, во имя победы. Звание Героя ему было присвоено в марте 1945 года.



В Иркутске II есть улица, носящая имя **Василия Фроловича Жукова**, до войны работавшего на Иркутском авиазаводе. Василий Фролович участвовал в освобождении Керчи и штурме Сапун-горы, которую гитлеровцы называли «воротами в Севастополь». Гвардии лейтенант, командир роты В.Ф. Жуков был опытным воином, награждённым орденом Отечественной войны 2-й степени. Своим личным примером, мужеством и отвагой он воодушевлял бойцов в самые тяжёлые минуты боя. 7 мая Жуков первым поднял свою роту на штурм высоты «Безымянная» на Сапун-горе. Несмотря на ливень пуль, бойцы роты, уничтожив пятьдесят фашистов, достигли первыми из штурмующих гребня Сапун-горы и водрузили там Красное знамя. В биографической справке, посвящённой В.Ф. Жукову, И.И. Кузнецов написал: «8 мая продолжалось успешное наступление.

Освободив пригородный совхоз, рота Жукова глубоко вклинилась в фашистскую оборону. В этот день гвардейцы уничтожили до двухсот гитлеровцев и ворвались на окраины Севастополя. В уличной схватке за Севастополь пятнадцать фашистов набросились на лейтенанта с двумя гвардейцами. В короткой рукопашной схватке герой, уничтожив семь захватчиков, пал смертью храбрых. Гвардии лейтенант В.Ф. Жуков посмертно был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, а Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза».

Ещё один Герой Советского Союза, командир торпедного катера **Матвей Прокопьевич Подымахин** — уроженец Иркутской земли. Он родился в 1917 году в Казачинско-Ленском районе в крестьянской семье. В 1937 году направлен по комсомольской путёвке в ряды Военно-морского флота. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе. С марта 1941 года проходил службу на торпедных катерах Черноморского флота. Летом 1943 года дважды под сильным огнём врага катер совершал набеги на порт Камыш Бурун — крупный опорный пункт фашистов в Крыму. Всего за один только 1943 год было совершено тринадцать таких операций. Это были или огневые налёты на порты, или установка мин во вражеских бухтах и на морских путях. Весной 1944 года настал час освобождения Крыма. Торпедный катер Подымахина 14 апреля первым подошёл к Севастополю. Во время ожесточённого боя с фашистскими кораблями снаряд попал в рубку катера. Вспыхнул пожар. Но это не испугало мужественных моряков. Борясь с огнём, они продолжали героический бой. Первыми из катерников они прорвались через сильное охранение и потопили транспорт водоизмещением в три тысячи тонн. Несмотря на численное превосходство дозорных и конвойных катеров противника под Севастополем, М.П. Подымахин попросил разрешения у командования отправиться на свободную охоту. В паре с катером Героя Советского Союза В.С. Пилипенко он нанёс фашистам большие потери.



За безупречную службу, храбрость и воинское мастерство М.П. Подымахину было присвоено в ноябре 1944 года звание Героя Советского Союза.

Ещё одно имя — **Владимир Ильич Давыдов** (1923–1944), Герой Советского Союза, погиб 27 января 1944 года в боях за

Крым. Владимир Ильич с 1934 года жил в Иркутске, где окончил 6 классов, а затем ФЗУ при заводе им. В.В. Куйбышева, затем работал токарем на заводе. В 1941 году добровольно ушёл в армию, сражался на Юго-Западном и Северо-Кавказском фронтах. Командир взвода, лейтенант В.И. Давыдов особенно отличился в боях за Тамань в 1943 году, участвовал в Керченской операции. Во время форсирования Керченского пролива был ранен рулевой катера. В.И. Давыдов заменил его, встав за штурвал, он привёл катер с бойцами в указанное место, а затем выполнил боевое задание в районе хутора Баксы. В ночь на 5 ноября в ожесточённой схватке у этого хутора В.И. Давыдов уничтожил 25 фашистов и привёл «языка», давшего ценные сведения о противнике. 27 января 1944 года он погиб в одном из боёв в Крыму, был похоронен на воинском кладбище в станице Фантяловской Краснодарского края. Решением Иркутского горисполкома одна из улиц города в Октябрьском районе в январе 1962 года была названа именем героя.



Константин Иванович Провалов звания Героя был удостоен в 1938 году за воинскую доблесть и мастерство, проявленные в боях у озера Хасан. Он родился в 1906 году в Черемховском районе в семье шахтёра-коногоня. С сентября 1928 года его жизненный путь связан с армейской службой. В 1939–1941 годах он учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе. Началась Великая Отечественная война. По поручению Ставки Главного командования он формирует 383-ю Донбасскую добровольческую дивизию. Её называли «шахтёрской», потому что, узнав о том, что К.И. Провалов — сын шахтёра и герой Хасана, жители Донбасса в большом количестве вступали в 383-ю дивизию добровольно. Эта дивизия успешно сражалась с врагом в Донбассе, стойко обороняла Туапсе, громила врага на Кубани. Константин Иванович пользовался большим и заслуженным

авторитетом у подчинённых, он — активный участник операции по освобождению Крыма. К.И. Провалов командовал в это время 16-м стрелковым корпусом, который в апреле 1944 года первым ворвался в Керчь и таким образом решил исход боя за этот крупный стратегический пункт Крыма. Воины корпуса добились остатки крымской группировки гитлеровских войск на Херсонесском мысу и сбросили их в Чёрное море. Мужественный и умелый военачальник, генерал К.И. Провалов одним из первых командиров был награждён орденом Суворова (а всего у него было три ордена Суворова), орденом Кутузова и другими орденами за воинские заслуги. А ещё до последних дней он не терял связей с родными местами. Он автор интересных мемуаров «В огне передовых линий». В этой книге он приводит интересный эпизод, относящийся к Крыму.

16 апреля 1944 года ему пришлось стать спасителем массандровских подвалов, которые немцы перед бегством заминировали. Он честно признался в своих мемуарах, что «не представлял тогда, что такое Массандра», и только, предотвратив взрыв подвалов, спасители узнали, что в подвалах Массандры хранились коллекции вин, представляющих огромную ценность. И если когда-нибудь иркутяне будут пить массандровское вино, то пусть они помнят, что в спасении этого уникального места есть большая заслуга нашего земляка К.И. Провалова и его воинов.

В освобождении Крыма принимали участие воины всех родов войск, в том числе и лётчики. Один из них — **Николай Васильевич Челноков**. Он родился в нашем городе в 1906 году в семье железнодорожника, затем семья переехала в Ленинград, где он окончил школу. В 1928 году по путёвке комсомола окончил Севастопольскую школу военных лётчиков. В годы Великой Отечественной войны командовал частями штурмовой авиации на Балтийском и Черноморском флотах. 14 июня 1942 года командировали авиаэскадрильи 1-го минного торпедного авиаполка



полковнику Н.В. Челнокову было присвоено звание Героя Советского Союза. А 19 августа 1944 года подполковник Н.В. Челноков за участие в боях по освобождению Крыма и Севастополя был удостоен этого звания вторично. На Черноморском театре военных действий Челноков воевал с июня 1943 года. Он был командиром 8-го гвардейского штурмового полка Черноморского флота. Его полк наносил удары по врагу в районе Керчи, Феодосии и Севастополя.

Обратимся к очерку И.И. Кузнецова о Челнокове «Морской лётчик»: *«Полк Челнокова принял участие в боях по освобождению солнечного Крыма. 11 марта 1944 года группа Ил-2, возглавляемая им, уничтожила два торпедных катера и четыре повредила; 13 апреля в порту Судак челноковцы уничтожили быстроходно-десантную баржу, подготовленную для эвакуации войск. Ночью 10 мая два дизель-электрохода и самоходные баржи погрузили на мысе Херсонес гитлеровцев, выбитых из Крыма, и взяли курс на Констанцу. Но лётчики полка не дали им уйти. Оба дизель-электрохода и несколько десантных барж с войсками нашли себе могилу в водах Чёрного моря. За время этой операции лётчики полка Н.В. Челнокова произвели около двух тысяч боевых вылетов, потопили много транспортов и боевых кораблей фашистов. Сам командир потопил транспорт, сторожевой корабль, торпедный катер и две баржи. За успешные боевые действия, героизм личного состава полку было присвоено почётное наименование Феодосийский, а Н.В. Челноков награждён орденом Красного Знамени».*



Выпускник Иркутской авиатехнической школы, окончивший её в 1934 году, **Михаил Петрович Цисельский** также принимал участие в боях в Крыму. Он начал войну 22 июня 1941 года, когда 83-я отдельная авиаэскадрилья Черноморского флота, где он был штурманом звена, вылетела на разведку и поиск кораблей противника в море. М.П. Цисельский — участник обороны Севастополя. На самолёте «Дуглас» он совершил ночью тридцать вылетов в осаждённый город, доставляя его защитникам боеприпасы, продовольствие, а на обратном пути, забирая раненых. В книге И.И. Кузнецова «Золотые звёзды иркутян» говорится: *«Большой ущерб врагу в живой силе и технике нанёс М.П. Цисельский во время бомбардировки портов, занятых фашистскими войсками, Керчи, Феодосии, Анапы, Мариуполя. Так, в районе Анапы его самолётом*

была потоплена крупная десантная баржа с войсками и боевой техникой. За успешное выполнение боевых заданий 20 января 1942 года он получает свою первую боевую награду — орден Красного Знамени...

Наступил момент освобождения Крыма. В это время приходилось особенно много летать М.П. Цисельскому, назначенному штурманом авиаэскадрильи 29-го пикировочного авиаполка Черноморского флота. Враг пытался эвакуировать свои войска и технику из Крыма. По приказу командования, морские лётчики наносили бомбовые удары по транспортам и конвоям, шедшим из Крыма в румынские порты.

12 апреля 1944 года экипаж самолёта получил задание нагнать транспорт, удиравший из Севастополя в Констанцу. М.П. Цисельский вывел самолёт прямо на цель. Перейдя в пикирование, самолёт разбомбил транспорт водоизмещением в 4500 тонн. На дно Чёрного моря ушли пехотинцы врага, много оружия. 18 апреля бомбардировщик настиг караван кораблей. Несмотря на ожесточенный огонь зенитных орудий кораблей охранения, он точно выбрал цель и с пикирования сбросил бомбу на транспорт водоизмещением 5 тысяч тонн».

Всего с начала войны до октября 1944 года М.П. Цисельский участвовал в 269 успешных боевых вылетах. По результатам боевой деятельности он был представлен к званию Героя Советского Союза.

26 октября 1944 года звание Героя было присвоено и старшему лейтенанту **Г.Б. Гофману**. Он родился в Иркутске в 1922 году. В мае 1940 года по комсомольскому набору



был направлен в военную школу лётчиков. С марта 1943 года лётчик-штурмовик Г.Б. Гофман участвовал во многих боях, в том числе в Керченской операции, проявил мужество, умелое владение техникой обнаружения противника и нанесения ему эффективных боевых ударов. Во время освобождения Крыма весной 1944 года лётчик Гофман продолжал свои успешные боевые операции. 15 апреля при выполнении боевого задания в районе Ялты цель была прикрыта сильным заградительным огнём зениток. Но, применив умелый манёвр, Г.Б. Гофман сделал три захода и взорвал склад с боеприпасами. 20 апреля, штурмуя живую силу и технику врага в бухте Северной, он прямым попаданием взорвал склад с боеприпасами, а также заставил замолчать зенитные орудия.

В борьбе с фашистами в Крыму участвовали не только военные, но и представители разных профессий. В «Иркутской летописи 1941–1991 гг.», составленной Ю.П. Колмаковым, есть запись, датированная 10 апреля 1944 года: *«Бывшая актриса Иркутского драмтеатра Александра Фёдоровна Перегонец и её товарищи по театру за участие в антифашистском подполье в г. Симферополе были расстреляны за день до прихода Красной Армии».*

В грозную и героическую атмосферу Великой Отечественной войны возвращают нас фронтовые очерки и статьи писателя Л.С. Соболева. **Леонид Сергеевич Соболев** (1898–1971) не только писатель, но и морской офицер. Он родился в нашем городе в семье отставного офицера Русской армии. Окончив несколько классов в Иркутской мужской гимназии, он становится курсантом Петербургского кадетского корпуса, а в 1916 году поступает в морское училище. В октябре 1917 года Л.С. Соболев принял первое боевое крещение в морском бою в Моондзунском проливе. В 1926 году вышел первый сборник его рассказов «Капитальный ремонт». В годы Великой Отечественной войны он в качестве военного корреспондента побывал на многих фронтах. В его очерках и корреспонденциях, которые публиковались в центральных газетах и звучали на Центральном радио, рассказывалось об обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, боях под Новороссийском. За сборник рассказов «Морская душа», вышедший в 1943 году, был удостоен Сталинской премии, которую передал в фонд обороны страны. Очерки и дневниковые записи Л.С. Соболева, включённые в сборник «Свет Победы», — подлинное и правдивое свидетельство участника исторических событий всенародного подвига во имя Победы. Их ценность не только не утратилась со временем, а напротив, возросла. Л.С. Соболев был в Севастополе в дни его героической обороны, сразу же после его освобождения, был он и в других городах Крыма, освобождённых от фашистов. Об этом очерки «Гнилое море — Сиваш», «На подступах к Севастополю», «Возмездие», «На Южном берегу», «Севастополь» и другие. В них писатель рассказывает о мужестве и благородстве, верности родине и ненависти к врагу воинов всех подразделений и жителей Крыма, разных по возрасту и профессии, в том числе и детей. В этих очерках и дневниковых записях писателя нет казённых, дежурных патриотических фраз, здесь краткие рассказы о самоотверженности и мужестве не только воинов, но и гражданского населения. В очерке «В подземном царстве» читаем: *«Граждане города-богатыря, всякий по-своему, но в полную меру своего умения и сил, сражаются с врагом с той же яростью, с какой дерутся на передовых армейцы и бойцы морской пехоты, с какой бьют врага в море и в воздухе моряки и лётчики. В этом величии гражданского населения Севастополя, города-богатыря, города старой славы первой Севастопольской обороны».*



Соболев приехал в Севастополь в день его освобождения от фашистов. Он увидел чёр-

ные дымящиеся руины на месте потерявших очертания улиц: «Вот что осталось от него [Севастополя]: скалы, море да солнце. Да бессмертная слава, которая возродит эти груды камней...» Писатель проехал по Южному берегу и увидел «печальное зрелище разрушений, разграблений и бед». Соболев рассказывает, что у Байдарских ворот он остановил машину: «Сколько раз я любовался отсюда Черным морем, но никогда еще эта мысль не приходила ко мне с такой волнующей ясностью. Бесконечная даль — даль пространства, времени, славы — растилалась передо мной. Далекие горы невидимых берегов как будто ясно виднелись в дрожащей дымке. Боевые походы славян, походы предков наших и современников, ожили в волшебных переливах голубизны.

И на валких дубовых челнах, на высоких деревянных кораблях, белеющих громадами парусов, на стройных стальных крейсерах, несомая вперед и вперед ударами грубых весел, свежим брамсельным ветром, рокочущим пением турбин, — плыла по Черному морю слава русского флота, плыла в века, в бесконечность грядущих времен, бессмертная, великодушная и огромная, как само Черное море».



22–26 августа 1942 года в Иркутске состоялось межобластное совещание главных хирургов эвакогоспиталей Сибири и Дальнего Востока, в котором принимал участие профессор **В.Ф. Войно-Ясенецкий** (1877–1961), выступивший с докладом и практическим показом хирургических операций. Он сделал анатомическое обоснование воспалительных процессов в суставах и указал меры борьбы с ними. В.Ф. Войно-Ясенецкий — автор свыше 30 научных трудов, за труд «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях» он был удостоен в 1944 году Государственной премии СССР. Глубоко религиозный человек, он не скрывал своих взглядов, за что подвергался ссылке (Ташкент, Красноярский край). После окончания Великой Отечественной войны жил в г. Симферополе, посвятив себя церковной деятельности. Он был известен прихожанам под именем Лука, после смерти канонизирован Русской православной церковью.

После окончания Великой Отечественной войны связи Иркутска и Крыма продолжались. В восстановленных крымских здравницах отдыхали многие иркутяне, дети, отличники учёбы, отдыхали во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». «Артек» и Иркутск связывает имя одного замечательного человека.

Памятником деревянного зодчества Иркутска, привлекающим внимание многочисленных туристов, является «кружевной дом», пышно декорированный пропиленной и объёмной резьбой (ул. Энгельса, 21). Он принадлежал семье Шастиных. Эта фамилия дала много замечательных иркутян.

Но, пожалуй, самым известным из них стал врач **Павел Николаевич Шастин** (1872–1953). Получив образование в Иркутской мужской гимназии, Павел Николаевич обучался на медицинских факультетах Казанского и Томского университетов. Затем работал врачом в иркутских больницах, преподавателем народной медицины в Духовной семинарии. Он вёл активную общественную деятельность: был гласным городской Думы, предсе-





дателем общества врачей Восточной Сибири. В годы Первой мировой войны возглавил госпиталь, сформированный в Иркутске. Госпиталь находился на Западном фронте. После возвращения в Иркутск он возглавил самую известную в городе больницу — Кузнецовскую. В конце 20-х годов по решению правительства был направлен в Монголию и стал организатором медицинского дела в этой стране. Вместе с другими медиками активно участвовал в ликвидации эпидемий, консультировал и обучал монгольских специалистов. В этой стране хранят память о П.Н. Шастине, его имя занесено в книгу «1000 знатных людей Монгольской народной республики», в Улан-Баторе открыт обелиск, посвящённый ему, одна из городских больниц названа его именем. Заслуженный врач РФ, награждённый ещё в царское время орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степени и Святой Анны 2-й и 3-й степени, последние годы жизни провёл в Крыму. Он работал врачом в «Артеке», где и скончался 28 февраля 1953 года. Многим иркутянам, как в советское, так и в постсоветское время, довелось отдыхать в «Артеке». Сейчас воспоминания о счастливых днях, проведённых в «Артеке», собирают сотрудники Музея истории г. Иркутска им. А.М. Сибирякова.

О связях Иркутской и Крымской земли напоминает и карта звёздного неба. Иркутский педагогический институт окончили исследователи малых планет супруги **Н.С. и Л.И. Черных**. В Иркутске же началась и их научная деятельность. Ещё студентами супруги Черных наблюдали звёздное небо через телескоп Цейса в обсерватории ИГУ. В 1963 году они уехали работать в Крымскую астрономическую обсерваторию. Николай Степанович до своей смерти (2004 год) возглавлял в этой обсерватории научную группу, занятую исследованием астероидов, т. е. малых планет. Когда астероид обнаружен и у него определена орбита, ему присваивается номер. По желанию автора открытия ему присваивается имя, которое затем утверждает комиссия Международного астрономического союза, а астероид вносится в каталог малых планет. Супруги Черных стали своеобразными рекордсменами по числу открытых малых планет. Николай Степанович открыл 537 планет, Людмила Ивановна — 268. Значительную часть открытых ими малых планет супруги Черных назвали именами, связанными с Сибирью и людьми, которые в ней жили и живут. Так появилась в космосе планета Ирпедина, названная в честь вуза, где учились супруги. Есть астероиды Ангара, Байкал, Саяны, Декабрина, Вампилов, Трубецкая, Волконская, БАМ, Сибиряк и др. В 1987 году супруги Черных открыли малую планету в районе главного пояса астероидов, находящегося между Марсом и Юпитером, и назвали её — Иркутск. Номер малой планеты в каталоге — 3224. Свидетельства об открытых астероидах и их названиях хранятся в иркутских вузах и музеях.

В 2010 году в областном краеведческом музее состоялось торжественное вручение присланных из Крымской обсерватории свидетельств, в которых зафиксированы сибирские названия астероидов. Астероид 2325 назван именем супругов Черных. И космос хранит память о нерасторжимой связи Иркутской и Крымской земли.

Подавляющее большинство иркутян искренне рады возвращению Крыма и Севастополя в состав России. Общественные организации, учреждения культуры и образования



ведут просветительскую работу, рассказывая иркутянам о многолетних связях наших территорий, связях, которые скреплены кровью и которые объединяет созидательный труд многих поколений наших предков.

В областном художественном музее им. В.П. Сукачёва открылась экспозиция «Таврида... Вре́мён и судеб чудный край. Крым... Взгляд из будущего». Иркутский Театр народной драмы планирует поездку в Крым и серию патриотических концертов в разных городах полуострова.

О Крыме иркутянам напоминают и названия иркутских улиц: Севастопольская и Крымская, находящиеся в Ленинском округе города. Одна из улиц г. Иркутска названа именем Тридцатой дивизии. 30-я стрелковая дивизия, сформированная 28 июля 1918 года, первой из регулярных войск Красной Армии 7 марта 1920 года вступила в Иркутск. В сентябре 1920 года дивизия, состав которой пополнился иркутянами, была переброшена на Южный фронт, на борьбу с Врангелем. Бойцы дивизии овладели г. Мелитополем, а в ноябре 1920 года отличились при штурме укрепленных позиций в районе Сальково и Чонгарского полуострова в Крыму. До марта 1921 года дивизия сражалась с отрядами Н.И. Махно. 13 декабря 1920 года по ходатайству жителей Иркутской губернии и приказу Реввоенсовета республики дивизия была удостоена почётного наименования «Иркутская». Участвовала дивизия и в сражениях Великой Отечественной на разных фронтах. 18 декабря 1942 года Иркутская стрелковая дивизия была преобразована в 55-ю гвардейскую дивизию, которая сражалась на Тамани и Кубани, участвовала в освобождении Новороссийска. В ночь на 4 ноября 1943 года дивизия высадилась в Крыму, в районе Еникале и посёлка Камыш-Бурун. Преодолев сопротивление противника, воины дивизии захватили плацдарм на участке от Азовского моря до предместья Керчи.

На плацдарме шли ожесточенные бои. В ходе боев части 55-й дивизии освободили район Аджимушкайских каменоломен. Через полуразрушенные входы разведчики спустились в тёмные безмолвные галереи катакомб. При свете факелов перед ними открылась картина словно бы уснувшего боевого лагеря. На железных кроватях, на каменных лежаках и прямо на полу лежали белые, словно одетые в саваны мумии. В карманах одежды оставались красноармейские книжки, удостоверения личности, комсомольские и партийные билеты.

«Керченский Брест», непокорённая крепость на Крымской земле — так назвали легендарный Аджимушкай. Это одна из наиболее героических и вместе с тем трагических страниц Великой Отечественной войны. Страна узнала позднее имена героев подземной крепости. Нашлись живые участники борьбы в катакомбах. Но всё это будет потом, через годы и десятилетия. А первыми узнали о подвиге в Аджимушкайских каменоломнях воины гвардейской Иркутской дивизии.

За время боёв в Крыму восемь воинов дивизии, включая командира, генерал-майора Б.Н. Аршинцева, стали Героями Советского Союза. 3 февраля 1944 года дивизия была выведена в район Ейска на многомесячный отдых и пополнение. В июне 1944-го дивизия участвовала в Белорусской операции, в боях за Восточную Пруссию, участвовала в штурме Берлина, всегда показывая примеры мужества и воинской доблести. Немецкий генерал Хейнциус писал о воинах 30-й дивизии: *«Адская артиллерия и походные дьяволы солдаты четырежды награждённой орденами дивизии непреоборимы»*.

После окончания Великой Отечественной войны полное название дивизии — 55-я гвардейская стрелковая Иркутско-Пинская ордена Ленина, трижды Краснознамённая, ордена Суворова II степени дивизия имени Верховного Совета РСФСР. Местом дислокации дивизии стала после войны Белоруссия. Во все времена не прерывалась связь иркутян с воинами дивизии. Призывники из Иркутска направлялись на службу в неё.

Весной 1957 года дивизия из стрелковой стала мотострелковой, размещалась она в г. Гродно. В 1978 году дивизия была награждена орденом Октябрьской Революции, став шестиорденоносной. После распада СССР дивизия осталась в составе Вооружённых сил Республики Беларусь, была реформирована в бригаду, а затем — в базу вооружения и техники.

В Крыму снимал свои замечательные комедии наш выдающийся земляк, режиссёр Л.И. Гайдай, творчество которого любят и иркутяне, и крымчане.

Связи Иркутска и Крыма продолжались и в постсоветское время. 9 июля 2008 года был подписан договор о сотрудничестве между городами Иркутск и Симферополь. Симферополь стал городом-побратимом Иркутска.

Подписанию соглашения во многом способствовала общественная организация «Землячество сибиряков в Крыму», когда делегация этой организации посетила наш город. Возглавляет «Землячество сибиряков» бывший усольчанин, журналист, ныне директор Государственного архива Республики Крым О.В. Лобов, много сделавший для культурно-го взаимодействия наших территорий.

А в июне 2014 года было подписано соглашение между нашими территориями, предусматривающее долгосрочное и эффективное сотрудничество в промышленной, транспортной, строительной сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, науке и инновациях, спорте, туризме, молодёжной политике и, конечно же, культуре. Иркутяне были гостями съезда сибиряков Крыма, который проходил в Симферополе в апреле. Жители города и области, иркутские библиотеки активно включились в проводимую в городе акцию «Родная книга — Крыму». Библиотеки ЦБС города и их читатели собирают книги для читателей Симферополя, побратима Иркутска. Иркутяне приносят классическую русскую и зарубежную литературу, книги современных авторов, литературу для детей для пополнения библиотечных фондов города-побратима. Акция эта поддержана Общественной палатой города и Иркутским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов». Организаторы акции надеются, что она будет способствовать более тесным дружеским отношениям между нашими территориями.

Желающим более подробно ознакомиться с историей Крыма, вопросами, связанными с контактами наших регионов, рекомендую ознакомиться со следующими материалами:

Гольдфарб, Ст. Шастины и Францкие в Иркутске // Гольдфарб, Ст. Иркутск, Иркутск... Рассказы из истории старого города. — Иркутск, 2013. — С. 354–357.

Дулов, А.В. Вице-адмирал В.А. Корнилов — уроженец Иркутска // Сибирь. — 2011. — № 5. — С. 195–199.

Иркутск: историко-краеведческий словарь. — Иркутск, 2011. — 596 с. О людях, упоминаемых в пособии, см. на стр.: 266–267 (А.В. Колчак); 291 (Кутайсов П.И.); 344–345 (Муравьёв А.Н.); 365–366 (Обручев В.А.); 382 (Паллас П.С.); 479 (Сукачёв В.П.).

Кротов, В.А. Летопись города Иркутска. 1652–1856 гг. — Иркутск, 2013. — С. 231–233.

Кузнецов, И.И. Золотые звёзды иркутян. — Иркутск, 1982. — 352 с.: ил. О Героях Советского Союза, участниках битвы за Крым, см. стр.: 226–229 (Давыдов В.И.); 237–239 (Жуков В.Ф.); 125–126 (Погодаев С.Б.); 127–129 (Подымахин М.П.); 130–132 (Провалов К.И.); 14–18 (Челноков Н.В.).

Кочегаров, К. А. Крым в истории России : метод. пособие для учителей общеобразовательных организаций. — М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014. — 48 с.

Летопись города Иркутска. 1941–1991 гг. / сост. Ю.П. Колмаков. — Иркутск, 2010. См. стр.: О Войно-Ясенецком — с. 42, 608; об А.Ф. Перегонце — С. 68.

Люлько, М. Космический тёзка города // Иркутск. — 2011. — 1 март. — С. 1.

Муравьёв, А.Н. Сочинения и письма. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. — 448 с.: ил. — (Серия «Полярная звезда»).

Отторженная возвратихъ, или Отторгнутое присоединяет!: сборник стихотворных, прозаических и публицистических материалов. — Клинцы: Изд-во ГУП «Клинцовская городская типография», 2014. — 224 с.

Пономарёва, Н.С. Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и образцы техники г. Иркутска. — Иркутск, 2008. — 192 с.: ил. О Жукове В.Ф. — С. 47, 123, 126, 128; Колчаке А.В. — с. 4, 7, 40, 68, 119, 161; Обручеве В.А. — с. 19, 40, 56.

Соболев, Л. Собрание сочинений в шести томах. Т. 3: Зелёный луч. Повесть. Статьи, очерки военных лет. — М.: Худож. лит., 1973 — 640 с.

Сытин, А.К. Ботаник Пётр Симон Паллас. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. — 456 с.: ил.

Тридцатая стрелковая дивизия // Иркутск: Историко-краеведческий словарь. — Иркутск, 2011. — С. 497–498.

Трубецкой, С.П. Материалы о жизни и деятельности. Т. 2: Письма. Дневник 1857–1858 гг. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1987. — 608 с.: ил. — (Серия «Полярная звезда»).

Фатьянов, А.Д. Владимир Сукачев. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. — 344 с.: ил. (Замечательные люди Сибири).

Цветков, В.Ж. Генерал-лейтенант барон П.Н. Врангель // Белое движение: исторические портреты. — М., 2012. — С. 523–607.

Чехов, А.П. Из Сибири; Остров Сахалин: Рассказы; Письма. — Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. — 446 с.

Рекомендуя также обратиться к материалам Интернета на сайты:

О Крыме: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%FB%EC>

<http://www.crimea.ru/>

<http://slovari.yandex.ru>

О Симферополе: <http://ru.wikipedia.org/wiki/>

<http://www.simferopol.info/>

О Севастополе: <http://new-sebastopol.com/>

<http://www.sevastopol.info/>

О Героях Советского Союза: <http://www.warheroes.ru/main.asp>

<http://sevastopolnashgorod.starbb.ru/viewtopic.php?id=6349>

О Корнилове В.: <http://ru.wikipedia.org/wiki/>

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/60750/

О Колчаке А.: <http://slovari.yandex.ru/>

http://irkipedia.ru/content/kolchak_aleksandr_vasilevich

О Врангеле П.: http://www.hrono.info/biograf/bio_we/vrangel_pn.php

http://www.xliby.ru/voennaja_istorija/belye_generaly/p6.php

О Войно-Ясенецком : <http://slovari.yandex.ru/>

<http://episcop.ru/>

О Соболеве Л.: <http://www.etolen.com/>

О Черных Н.С. и Л.И. : <http://www.okrugshuya.ru/>

http://irkipedia.ru/content/chernyh_nikolay_stepanovich



ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

По Европам

Записки путешественника

Для меня самой приятной частью любого путешествия является дорога. Вспомните, как хорошо об этом сказано у Николая Васильевича Гоголя! О его волнении и неясных, но приятных предчувствиях, с той самой минуты как только он садится в дорожную кибитку. Современному человеку кибитку заменяют автомобили или поезда. И хорошо, если это поезда дальнего следования.

В 2012 году, на излёте лета, мы с моей избранницей (более чем через три с половиной года моего вдовства) совершили предсвадебное путешествие на Чёрное море. А точнее, в Туапсе, к её дальней родственнице, проехав пять суток поездом туда и столько же — обратно. Но нисколько не устав при этом от длительности путешествия. И не пожалев о потраченных в дороге днях. Может быть, ещё и потому, что у нас было очень маленькое, предназначенное для проводников, но такое милое, уютное купе на двоих. Вот и на сей раз, уже в свадебное путешествие, в Карловы Вары, и теперь уже в начале осени 2013 года, мы собирались отправиться тоже поездом, заранее предчувствуя те чудесные минуты, когда вволю спишь, никуда не спешишь, просыпаясь уже в новых местах. И за утренним кофе, под мерный стукоток колёс ведёшь неспешные беседы с приятным тебе человеком, созерцая новые города и станции, на которых можно при остановке какое-то время погулять по перрону, размяться. И, снова зайдя в вагон, по расписанию поезда намечать, что вот, например, после Саратова можно будет уже пообедать, погуляв там до того по платформе минут так двадцать. А после такой-то станции можно уже ужинать, а там, через какое-то время, и укладываться спать...

Особенно приятно, отчего-то, ехать в дождь, когда его безутешные слёзы косо катятся струями по стеклу. А в купе тепло, спокойно, чисто. И можно вволю читать, лёжа на своей верхней полке, или смотреть, не думая ни о чём тревожном, в окно. Или — даже вздремнуть часок после обеда, с обязательной рюмочкой водки во время оно.

МАКСИМОВ Владимир Павлович, прозаик, поэт (род. в 1948 г. в пос. Кутулик Аларского р-на Иркутской обл.). Автор книг прозы: «Морозный поцелуй» (1998); «Формула красоты» (Иркутск, 1998); «В то лето» (Иркутск, 2004); «Не оглядывайся назад»: роман (Иркутск, 2005); «Предчувствие чудес»: повесть, рассказы (Иркутск, 2008); «Куда всё это исчезает»: повесть, рассказы (Иркутск, 2010); «Парижская тетрадь»: поэтич. сб.: (Иркутск, 1996); «Сестра моя осень» (Иркутск, 1999); «Памяти солнечный зайчик» (Иркутск, 2007); «Подарок для бездомной кошки» (Иркутск, 2013) и др. Член Союза писателей России.

Однако в наши радужные мечты вмешалась, увы, безжалостная для многих из нас, особенно пенсионеров, экономика. Когда целый год по крохам собираешь деньги на двухнедельную поездку, то лишних денег, естественно, нет. Железная же дорога, видимо, совсем обезумев от собственного монополизма, так взвинтила цены на билеты, что лететь самолётом до Москвы, а оттуда до Праги, получалось почти в два раза дешевле, чем ехать поездом. Пришлось, хоть и с неохотой, брать билеты на самолёт, туда и обратно, лишив себя тем самым самой приятной части путешествия — неспешной дороги, с постепенным привыканием к многочисленным часовым поясам.

День первый — непомерно длинный

Надо сразу же оговориться и сказать, что первые сутки нашего путешествия, по объективным причинам, растянулись на 31 час. Впрочем, бог времени Хронос никогда не дарит людям за просто так лишние часы. Именно поэтому сутки нашего возвращения домой, в Иркутск, были уже на семь часов короче, то есть 17 часов.

Вылететь в Москву мы должны были 9 сентября в 6.30 утра по местному времени.

На регистрации на рейс предполагалось быть за два часа до вылета. Поэтому такси было заказано на 4 часа утра. В Праге, в тот же день, в оговоренное заранее время, нас должен был встретить знакомый нашего приятеля Ян, чтобы отвезти из аэропорта, за 130 километров, в Карловы Вары.

Но, увы, не может наш Аэрофлот без сюрпризов! Впрочем, от него порою не зависящих. В час ночи на мобильный телефон Натальи пришла SMS-ка, в которой сообщалось, что «в связи с неприбытием самолёта из Москвы, по метеоусловиям Иркутска (сильный туман) рейс 1441 до Шереметьева переносится на 12.30 местного времени». (Вот вам и ещё одно преимущество железной дороги — поезд идёт в любую погоду. В дождь, метель, туман.) Пришлось звонить в аэропорт, уточнять, верна ли информация? Потом — в службу такси, переносить прибытие автомобиля по указанному адресу на другое время. Пришлось звонить и Яну в Прагу, объясняя, что мы прилетим позже, чем было намечено ранее. Благо, что в Праге был ещё вечер, а не ночь, как у нас.

Правда, в данной ситуации (а в любой ситуации надо искать лучшее) было два несомненных преимущества. Во-первых, хотя и SMS-кой, но нас всё-таки уведомили о задержке рейса заранее и поэтому нам не пришлось торчать всё это отсроченное время в аэропорту. Во-вторых, можно было после всех ночных тревожений — многочисленных звонков, стыковок рейсов, выспаться, поскольку время приезда такси было перенесено на 10.30 утра.

Иркутский аэропорт, в который мы прибыли часов в одиннадцать и в котором я не был, наверное, лет двадцать, приятно удивил своей чистотой, ухоженностью, какой-то несуетливостью персонала и малолюдьем. После двух серьёзных досмотров, чему я был, кстати, рад, ибо всё делалось серьёзно и со знанием дела, а оттого и верилось, что никакой террорист после подобных фильтров на борт самолёта не проникнет, мы уселись с Натальей в баре на втором этаже и выпили по бокалу martini со льдом: «За успех нашего путешествия». И, к счастью, всё потом шло действительно слаженно, без каких-либо досадных сбоев.

Перед самым отлётом, поскольку летать я боюсь, посетил часовенку, расположенную тоже на втором этаже аэропорта, с иконой Богоматери «Благодатное небо», и, поставив перед ней зажжённую красную восковую свечу, помолился мысленно о благополучии нашего небесного путешествия.

В 12.55 по-местному времени наш самолёт А-320 с надписью на его борту синей краской «Сергей Рахманинов» оторвался от земли и взял курс на запад.

В 14.30, когда мы уже давно летели над облаками, улыбочивые стюардессы в красивой алой униформе подали обед. Во время этого обеда над неподвижными, казалось, белыми

горами облаков я отчего-то вдруг вспомнил песенку Александра Галича и начал её едва слышно мурлыкать: *«Облака плывут, облака. Не спеша плывут, как в кино. А я цыплёнка ем табака. Я коньячку принял полкило...»* Правда, никакого цыплёнка-табака не было, а был рис, рыба, бутерброд с бужениной, очень маленькая булочка с маслом и сыром, кофе. Что же касается спиртных напитков, и непосредственно коньяка, то их подают только в салоне бизнес-класса, предназначенного для более состоятельных, чем мы, людей. Салон этот находился, кстати, прямо перед нами, потому что мы сидели на первых креслах. Он был совершенно пустой. Как пустовал потом и на обратном пути. Нету, видимо, у большинства россиян лишних денег. Да и кастовость эта в нашем обществе вряд ли приживётся. Менталитет русского человека всё-таки жаждет справедливого общества, когда нет вопиющей роскоши за счёт украденных у народа ресурсов, и нет унижающей бедности и даже нищеты. Недаром же ещё Конфуций говорил, что хаос в любой стране начинается не из-за бедности, а из-за неравенства. Но это так, к слову, мои попутные мысли.

Весь последующий полёт до Москвы я или делал какие-то записи в своём блокноте, или читал повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», которая в юности, когда я прочёл её впервые в журнале «Иностранная литература», мне очень понравилась. На сей же раз она мне показалась слишком претенциозной, легковесной, прямолинейной и совсем неинтересной. Что-то вроде инструкции по скоростному полёту чаек. И отчего-то после её прочтения вспомнился уже не Галич, а Баратынский с его печальным осознанием простых, казалось бы, вещей: *«Не властны мы в самих себе // И, в молодые наши леты, // Даём поспешные обеты, // Смешные, может быть, всевидящей судьбе».*

Через шесть часов полёта, в 19 часов по иркутскому и в 14 по московскому времени, самолёт, проткнув облака, благополучно приземлился в Шереметьево. Хорошую, мягкую посадку весь наш салон эконом-класса ознаменовал громкими аплодисментами, как после удачной театральной премьеры. Про себя я отметил, что раньше такого не бывало.

В Шереметьево было многолюдно, многоязычно и как-то по-московски бестолково. Однако все указатели работали. И, никого не спрашивая, мы смогли перейти, километра за полтора, из терминала Д, куда прилетели, в терминал Е, откуда в 15.40 по московскому времени должны были вылететь в Прагу.

За час сорок, что у нас были в запасе, мы успели пройти паспортный и таможенный контроль, где пришлось снимать даже брючный ремень, и оказались уже в международной зоне. Тихой и какой-то даже сонной. Один раз только мимо нас прошествовала довольно многочисленная делегация ортодоксальных иудеев. Все её представители были в чёрных костюмах, чёрных шляпах, с обязательными пейсами. Некоторые вместо шляп имели на голове маленькую круглую шапочку, немислимым образом удерживавшуюся на затылке и, кажется, называющуюся не то кипами, не то кепами, точно не знаю. Вся эта чёрная (по цвету) делегация деловито и сосредоточенно двигалась куда-то за невысокого роста пареньком с красным флажком в его правой руке, высоко поднятым. Провожатый что-то очень быстро, не оборачиваясь, говорил идущим следом за ним людям. Вся эта процессия меня отчего-то позабавила. Может быть, своей предельной серьёзностью? И когда они прошли, мне тоже захотелось пройтись. Выпить где-нибудь, пока есть время, чашечку кофе, поразмышляв заодно о том, как много в этом мире всего нового, порою непонятно. Однако желание своё мне претворить в жизнь не удалось. И снова по экономическим причинам. Чашка любого кофе стоила 450 рублей! «Тут впору не попить кофе, а напиться, или хотя бы выпить чуть-чуть», — подумал я и спросил у скучающего за барной стойкой кафе паренька:

— Сколько стоит пятьдесят грамм водки?

— Двести рублей, — лениво ответил он.

К счастью, в этот момент объявили о начале посадки на рейс 2014, следующий по маршруту Москва — Прага. Это был наш рейс, и я поспешил к Наташе, сидевшей возле наших сумок.

По длинному извилистому, складывающемуся при нужде в гармошку, металлическому коридору мы прошли прямо к дверям самолёта, на борту которого крупно и всё теми

же синими буквами было написано, но уже «Владимир Обручев»; значит, экипаж на нём тоже российский, как и на предыдущем, — «Сергее Рахманинове».

Самолёт был такой же — аэробус А-320. И я про себя подумал: «Рахманинов хорошо нас доставил в Москву. И ты, Владимир, уж не подкачай. Доставь нас в целостности и сохранности в Прагу». К счастью, именно так всё и получилось. И, вылетов из Москвы в 20.40 по иркутскому, а в 15.40 по московскому времени, через два с половиной часа полёта мы приземлились в Праге.

Пройдя паспортный контроль, вышли в зал ожидания очень чистенького пражского аэропорта. Большие круглые часы, висевшие на одной из стен, показывали 17 часов по средневропейскому времени. Весь этот невероятно длинный день мы догоняли солнце, движущееся, как и мы, с востока на запад. И проведя, только в полёте, почти девять часов, вылетов из Иркутска в 12.55, оказались в Праге в 17 часов. Непонятен и необъясним, для меня во всяком случае, феномен времени.

В небольшой группе встречающих мы увидели высокого симпатичного и сосредоточенного парня, держащего в руке довольно большой белый лист, на котором крупными буквами было написано: «Наталья Садохина». Значит, это был Ян, с которым мы ни разу до того не виделись. Все переговоры с ним вела по телефону Наташа.

Ещё через два часа, миновав по чудесной дороге множество ухоженных, не заброшенных полей, в том числе и с уже убраным для варки пива хмелем, от которого остались только длинные шести, по которым он поднимался вверх, и несколько маленьких городков с красными черепичными крышами, мы оказались в совсем уж сказочном Карлсбаде. Именно так назывались Карловы Вары, известные мне в основном по романам русских писателей девятнадцатого века и особенно Ивана Сергеевича Тургенева. Ведь во времена Австро-Венгерской империи Габсбургов Чехия входила в её состав. И Карловы Вары на немецкий манер назывались Карлсбадом.

Городок разноцветными террасами поднимался по склонам гор. И своей красочностью походил на какую-то чудесную декорацию к какой-нибудь рождественской сказке. Красные черепичные крыши, непривычная для нас архитектура небольших, прижимающихся боками друг к другу зданий. Всё это поражало и радовало глаз. В том числе и своей добротностью, опрятностью, разноцветьем фасадов.

Ян подвёз нас прямо к дверям нашей гостиницы Сан-Суси и, получив свои сто долларов, о которых было заранее оговорено, отбыл в Прагу.

Не успел он отъехать и нескольких метров, как стеклянная дверь отеля бесшумно растворилась. Из неё навстречу нам прямо-таки вылетел невысокий, полноватый, улыбающийся человек лет тридцати, в малиновом жилете с бейджиком, прикрепленном на отвороте лацкана. На бейджике было написано имя встречающего нас человека — «Мартин». Он

проворно подхватил наши сумки, поставил их на специальную тележку и, всё так же улыбаясь, проследовал к стойке регистратора. Там нас, тоже приветливой улыбкой, встретила симпатичная женщина лет тридцати по имени Власта. Её имя мы тоже прочли на бейджике. Проверив по компьютеру нашу заявку, она выдала нам ключ от номера и сказала, что мы ещё успеваем на ужин. Кроме ключей нам была предоставлена и красочная карточка, позволяющая взять в баре, в день приезда, бесплатно какую-нибудь выпивку.



Карловы Вары, речка Теплица

— Это наш подарок вам. Можете после ужина заказать в баре вина, шампанского, «Бехеровки», — подавая нам карточку, снова любезно улыбнулась Власта. — И не забудьте посетить медсестру. Она работает до 19.45. Это нужно для того, чтобы вам было назначено время для встречи с врачом завтра утром. А доктор уже назначит все необходимые процедуры, — закончила она.

Наш номер 253 на втором этаже оказался небольшим, но очень уютным. Там было всё, что нужно для временного и притом недолгого, увы, проживания: широкая двуспальная кровать, бар со стеклянной дверцей, в котором находились, видимые снаружи, алкогольные и безалкогольные напитки, небольшой столик, два стула, не тусклое освещение, в том числе и в изголовье кровати — для чтения, телевизор, показывающий пять российских каналов (который мы, кстати, за две недели пребывания в Карловых Варах, включали только раза два и то очень ненадолго), маленький балкончик, душевая кабина и, само собой разумеется, унитаз. И всё это сияло идеальной чистотой. В ванной комнате, кроме полотенец, вкусно пахнущих шампуней, мыл, висело ещё два белых махровых халата. Как выяснилось на следующий день, на все процедуры здесь принято ходить в этих самых халатах. Именно поэтому с утра и до обеда, когда в основном и назначаются процедуры, по всем коридорам трёх наших корпусов носятся в этих самых халатах, как белые лабораторные мыши, люди разных возрастов и национальностей, сразу становящиеся одинаковыми и ничем, кроме языка, не отличимыми один от другого.

Большинство отдыхающих, кстати, россияне и выходцы из бывшего СССР. Есть немцы, но их немного. И ещё меньше чехов.

В ресторане «Melody», где мы завтракали, обедали и ужинали, был шведский стол. И поэтому на многих трапезничающих там грустно было смотреть, поскольку они не могли съесть столько, сколько набирали в свои тарелки. Более того, многие отдыхающие приходили в ресторан в шортах или в спортивной одежде. И как ни печально, в основном это были россияне. Зато во время одного из музыкальных вечеров в холле гостиницы, с пирамидальной стеклянной крышей, только россияне и слушали внимательно пианиста-импровизатора, исполняющего различные мелодии, во многих из которых узнавались русские композиторы, — Чайковский, Свиридов, Таривердиев... Музыка из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», шлягер всех времён и народов «Дорогой длинною...», «Очи чёрные...». Тут уж россияне аплодировали от всей души, благодаря исполнителя за его мастерство и заглушая аплодисментами, хотя бы на время, и сорочью трескотню, в большинстве своём расплывшихся, бесформенных турчанок, завёрнутых, как в кокон, до самых глаз в цветастые одежды и пьющих зелёный чай, и громко гогочущих немцев, пьющих там же в холле, за дальним столиком, своё пиво и совершенно, как и турчанки, не обращающих на пианиста и его работу в данный вечер никакого внимания.

Но я чуть забежал вперёд. В конце же того первого дня нашего путешествия, приняв в своём номере душ, сменив дорожную одежду, посетив медсестру и поужинав, мы спустились в бар и взяли на выданный нам в честь приезда талон спиртное. Наташа — бокал шампанского, а я рюмочку неведомой ещё мне «Бехеровки». Это оказался зеленоватого цвета, довольно тягучий, вкусный и весьма крепкий ликёр, который мне очень понравился своим необычным вкусом. К тому же производится он только в Карловых Варах, на местной минеральной воде, с добавлением различных целебных трав.

С этими, как говорится, подарками от заведения мы вышли на открытую террасу, уселись за самым дальним столиком, на котором светилась неяркая лампа, и, неспешно беседуя, маленькими глотками потягивали каждый свой напиток. Тем более что на террасе в этот вечерний час мы были почти одни. Какая-то дама, в некотором отдалении от нас, в шикарной шляпке с огромными полями, курила сигару и листала газету. Да ещё одна молодая пара, недалеко от неё, за своим столиком пила кофе и весело смеялась. Скорее всего, от полноты жизни, от радости, что они на отдыхе и вдвоём.

И для нас тоже, за весь этот бесконечно долгий день, когда мы утром, до прибытия такси, с Наташей на её кухне пили кофе в Иркутске, до сей минуты, когда в тёплый осенний вечер сидим на террасе гостиницы в Карловых Варах, это были, пожалуй, самые счастли-

вые мгновения. Правда, мы не смеялись так громко, как молодая пара, ибо таковыми уже не являлись. Но зато мы молча улыбались друг другу. И нам было этого достаточно.

Спать мы легли в десять вечера, когда в Иркутске было уже пять часов утра следующего дня. А мы всё продолжали жить в дне сегодняшнем, как резину, растянув неуловимое, непознаваемое время.

Прогулки под дождём

На следующий день в девять утра, когда мы только вошли в номер после завтрака, зазвонил телефон, и нам на русском языке, с небольшим, приятным мягким акцентом, любезно напомнили, что в 9.30 пани Садохина, а в 10 пан Максимов (с ударением на последнем слоге) должны быть у врача Александра Дмитриевича Михайловского, в четвёртом кабинете на третьем этаже «Виллы Мерседес» для получения направления на процедуры. Кстати, все три здания, входящие в наш гостиничный комплекс, назывались по-своему: «Green House», «Blue House», «Villa «Mercedes». И соответственно названию корпуса стены в них были окрашены в соответствующие цвета. В «Зелёном доме» — в зелёный; в «Голубом...» — в голубой; на «Вилле «Mercedes» — в оранжевый. И на выдаваемом каждому пациенту бланке, с обозначением процедур, значки этих самых процедур тоже были помечены соответствующим цветом, так что посетитель точно знал, в каком из трёх корпусов у него будет проходить та или иная процедура. Очень удобно.

Врач, принимающий нас, как выяснилось при общении с ним, оказался из Белоруссии. Закончил в своё время Минский медицинский институт. Однако вот уже много лет живёт и успешно работает в Чехии. Он очень внимательно и даже дотошно расспрашивал о здоровье, о перенесённых болезнях, о пожеланиях: что бы хотелось подлечить? В конце получасового осмотра-разговора Александр Дмитриевич измерил мне давление, на ростометре определил рост, взвесил на маленьких напольных весах, дав совет не набирать лишнего веса, как это, увы, зачастую случается с большинством пациентов Карловых Вар, — из-за шведского стола, посетовал он. Я пообещал исполнить его просьбу и выполнил своё обещание, все те же процедуры повторив в кабинете врача в последний день отдыха. То есть веса не набрал, правда, и не вырос ни на сантиметр, как бы хотелось, но зато отлично отдохнул.

При первом же осмотре, выдавая мне распечатанную тут же на компьютере процедурную карту, Александр Дмитриевич, улыбнувшись, сказал:

— Вообще-то по всем показателям для своего возраста вы просто неприлично и даже подозрительно здоровы. Вам лечить нечего, разве что давление чуть-чуть стабилизировать. Так что просто отдыхайте. Ходите в бассейн, в сауну. А общеукрепляющие процедуры я вам назначил, — протянул он карту.

— Надеюсь, что на счёт моего «подозрительного здоровья» — это не намёк на то, что я продал душу дьяволу за вечную молодость? — тоже улыбнулся я, беря у него из рук карту.

С процедурами одного только дня из сего документа я хочу вас ознакомить. Думаю, что это будет интересно. Итак:

16.09.2013 Понедельник

07.00 Вилла Мерседес, каб.3, 1-й этаж — углекислые ванны минеральные;

07.40 Голубой дом, каб. 4, 0-й этаж — ингаляция;

09.45 Голубой дом, каб. 12, 1-й этаж — пелотерм (прогревание глиной);

12.00 Зелёный дом, каб. 6, 0-й этаж — классический массаж

Так что особенно при такой-то плотности процедур не разоспишься, как видите. К тому же за полчаса до завтрака надо выпить стакан минеральной воды из источника, проведённого прямо в корпус. Причём температура воды в разных источниках колеблется от сорока до семидесяти градусов.

Для удобства посетителей завтрак в нашем ресторане (а всего их три) проходил с 07.30

до 10.30; обед с 12.00 до 15.00; ужин с 17.30 до 20.30. Так что какие бы у вас ни были процедуры, поесть вы всегда успеваете.



Карловы Вары

ной точностью, безукоризненно соблюдая время расписания, вывешенного под прозрачным пластиком на каждой остановке.

Мы же с Наташей решили ходить к источникам по короткой пешеходной дорожке, выложенной камнями и не так сильно петляющей, в отличие от шоссейной дороги. Пешеходная была к тому же раза в два короче. В день, таким образом, по левому берегу Теплы — туда, и по правому — обратно, мы проходили километров десять, в любую погоду. Причём погода все две недели нашего пребывания в Карловых Варах, с 9 по 23 сентября, надо сказать, нас совсем не баловала. Почти каждый день шёл дождь, мелконький и противный. В Польше такой, почти невидимый, но явно ощутимый, дождь называют сиф, а у нас в Сибири — бус. Однако это обстоятельство совершенно не огорчало и не смущало нас. И наши неспешные прогулки под дождём, когда по зонту почти неслышно шуршат или тихо стучат струи и капли дождя, нам даже очень нравились.

Мы шагали вдоль тихо журчащей, небольшой быстрой реки с какими-то коричневатыми водами, любовались красивыми зданиями, террасами, поднимающимися на невысокие и совсем ещё зелёные горы. Останавливались у парапета реки посмотреть на пасущихся в ней, довольно покрякивающих уток. Или на мостовой, напротив маленькой гостиницы «Моцарт», где композитор когда-то жил, о чём удостоверяла мемориальная доска на фасаде здания, на музыкальном квадрате — из девяти металлических плит золотого цвета, наступая на которые и чуть вдавливая их, можно извлечь определённые звуки, я всякий раз исполнял какую-нибудь произвольную мелодию, и танцую на них в определённом ритме. И даже один раз немногочисленные, впрочем, прохожие не то за мой азартный танец, не то за довольно стройную мелодию, извлечённую на свет божий ногами, одобрительно улыбаясь, удостоили меня довольно продолжительных аплодисментов. В ответ на подобные действия я галантно раскланялся на все четыре стороны, приложив правую руку к груди, а в левой держа над головой зонт.

Проходили мы и мимо зазывных огней магазинных витрин, особенно привлекательных своим ярким светом на фоне серого дня, мимо маленьких кафе, где на столах посетителей, неспешно пьющих из высоких бокалов янтарное или тёмное пиво, горели высокие разноцветные свечи — синие, белые, зелёные. А у совсем уж крохотного бара «Швейк» в натуральную величину в кресле перед входом в заведение восседал и сам Йозеф Швейк, с весёлой, круглой, как свежиспечённый блин, физиономией и кружкой тёмного пива в руке. И многие фотографировались рядом с ним, этим неунывающим рядовым Первой мировой войны, так прекрасно изображённым в книге «Похождения бравого солдата Швейка» Ярославом Гашеком. И порою даже казалось, что этот улыбчивый манекен подмигнёт тебе или смахнёт с козырька своей военной, защитного цвета фуражки повисшие на её полотняном козырьке многочисленные крупные капли дождя.

И если у дорогих отелей ещё слышалась иностранная речь, то ближе к Колоннаде она сменялась уже почти что повсеместно на русскую. И сразу вспоминалось каждый раз стихотворение моего приятеля Александра Обухова: «Здесь слышится русская речь. Здесь топится русская печь...» Правда, печи русской нигде не было. А вот близкие горы курились белым, так похожим на дым туманом. И за просторными окнами фешенебельного ресторана на первом этаже какого-то очередного гостиничного комплекса было видно игривое пламя в зажжённом там камине. А в витринах очень дорогих магазинов всё чаще попадались объявления: «Требуется продавец со знанием русского языка». И все эти признаки говорили о том, что экономика Карловых Вар, в основном туристическая, в очень большой степени держится теперь на россиянах. Что же касается самих минеральных источников, то они распложены на Колоннаде в два крыла. От первого до десятого под общей крышей, держащейся на множестве колонн. Получается такой длинный, примерно в полкилометра, коридор. В беседке отдельно располагается источник № 11. Затем, за углом здания, поворачивая почти на девяносто градусов, снова идёт уже более короткая колоннада с источниками от 12-го до 15-го.

Я заметил, что больше всего людей собирается обычно у источника под шестым номером. Там даже частенько выстраивалась довольно длинная очередь. Очень много людей всегда толпится и у 15-го источника, Правда, если у шестого собирается разномастная и разноязыкая толпа мужчин и женщин, то у источника 15-го — исключительно мужчины. Причём, судя по говору и одеянию, — это в основном выходцы с Кавказа. И дело тут в том, что по местным поверьям именно 15-й источник даёт неувядающую мужскую силу. И забавно было смотреть, как с фарфоровыми кружечками разной конфигурации, называемыми здесь пивнечками, с изогнутым носиком и продающимися здесь на каждом углу, сосредоточенно и задумчиво пьют воду именно из этого источника разновозрастные мужчины с орлиным взором в больших кепках, где козырёк больше похож на взлётное поле небольшого аэродрома.

— Может быть, и мне пристроиться к этому источнику? — как-то полушутя спросил я Наташу, когда мы проходили мимо.

— Тебе без надобности, — беззаботно ответила она.

А я так до конца и не понял, то ли это был комплимент, то ли констатация факта. Но в любом случае, и то и другое было для меня, в мои 65 лет, весьма приятно.

Нам же с Наташей нравился 11-й источник. Там можно было, набрав в свои кружечки с изображением Карловых Вар постоянно текущей из медного крана парящей воды, сидя на белых лавочках, устроенных по периметру просторной беседки, неспешно пить эту горячую минеральную воду, потягивая её через изогнутый хоботок кружки, слушать досужие беседы, обычно ведущиеся здесь среди знакомых, кучкующихся небольшими группками и говорящих порою нарочито громко, чтобы слышали не только собеседники, но и окружающие. И так же, как и во времена Тургенева, на этих водах по-прежнему обсуждаются различные — в девятнадцатом веке это были светские — новости, наряды, нравы. Хотя век девятнадцатый давно уже сменился веком двадцать первым. Правда, петербургская знать, приезжавшая в Карлсбад подлечиться на водах от влияния гнилого петербургского климата да присмотреть для своих дочерей достойных женихов, говорила в основном по-французски. Нынешние же москвичи и петербуржцы говорят по-русски. И вот лишь один образчик подобного разговора.

Изысканно одетый и ещё совсем не пожилой мужчина, с шёлковым шейным платком, виднеющимся из-под ворота белой сорочки, громко рассказывал одной очень молоденькой и несколькими молодящимся дамам, весьма приятной наружности, но, увы, уже не первой свежести, как день тому назад он ещё успел сходить на премьеру какого-то спектакля в Москве, потом по компьютеру заказал себе билет до Карловых Вар и вот прилетел на недельку попить водички, как это делали прежде дворяне.

— Кстати, — обернулся он к юной особе, зачарованно глядевшей на него, — нынче здесь Валерий Гаркалин выступает (действительно, афишами с улыбающимся лицом этого актёра были обклеены все театральные тумбы, встречающиеся на пути к Колоннаде). — Я

с ним неплохо знаком. Можем сходить, если желаете, на его концерт. Кажется, он будет читать стихи Цветаевой и Есенина. Могу достать контромарку. Всем, правда, пообещать этого не могу, — одарил он улыбкой с идеально белыми, по-видимому, вставными, зубами остальных дам. — По дороге на концерт я вам, кстати, смогу показать и дом Никиты Михалкова, как и обещал. Правда, самого Никиты сейчас здесь нет. А домик он тут себе купил очаровательный! — снова обернулся он ко всем дамам.

И из его слов, правда, косвенно, получалось, что он и с Никитой Михалковым на короткой ноге и мог бы запросто пойти к нему в гости, будь тот на месте.

Мы с Наташей, допив воду, улыбнулись друг другу, положили свои пивнечки в пакет и, раскрыв зонты, вышли под дождь. Нам, к счастью, не грозило попасть в гости к Михалкову, на концерт Гаркалина мы особо тоже не рвались. А уж тем более не собирались приобретать частную собственность в этом милом городке, по простой причине отсутствия к тому средств. Да ещё вспоминаются слова одной художницы, живущей в Карловых Варах уже четверть века и продающей у Колоннады свои картины: «Здесь для чехов вы всегда будете чужими, как бы вы хорошо с ними ни жили...» И, к тому же, где сокровища человека, там будет и сердце его, как говорится в Евангелии. А нам наши сердца пригодятся для чего-нибудь другого, более приятного, надеюсь, чем дума о недвижимости.

И ещё мне тогда припомнилось отчего-то, как мы когда-то гуляли с моей приятельницей из германской партии «Зелёных», Ренатой, очень хорошо знающей русский язык, по её родному Баден-Бадену, где тоже есть горячие источники и где римляне, когда эта территория входила в состав Римской империи, устраивали свои термы. Мы шли вдоль какой-то речушки, на противоположном берегу которой располагалось множество чудесных пустыющих теннисных кортов (в Баден-Бадене, к слову, я тоже был не в сезон, поздней осенью и очень давно), а на нашем — красовались различные изысканной архитектуры дома. И уловив мой восхищённый взгляд, Рената пояснила:

— Этот дом принадлежал раньше графу Орлову. А этот, — когда мы прошли чуть дальше, — князю Шереметьеву. В девятнадцатом веке, Владимир, каждый немец считал за большую честь попасть в услужение к какому-нибудь русскому вельможе и уехать с ним в Петербург. Это сразу обеспечивало безбедное существование и ему, и его семье. Назад из России он возвращался, как правило, весьма состоятельным, по немецким меркам, человеком. Но, к сожалению, вместе с нажитым в России состоянием, бывало, и, увы, нередко, немцы привозили оттуда ещё и приобретённые там дурные привычки. Например, чрезмерную страсть к винопитию или азартным играм. И такой человек, вернувшись в Баден-Баден, мог в одночасье проиграть всё своё состояние. Вот почему со времён Бисмарка, по его специальному указу, немцам не разрешается посещать казино. Поскольку частенько из городской казны оплачивался проигрыш, чтобы немецкая семья из-за неудачливого кормильца не впала в нищету. И поскольку долгов таких бывало немало, они стали обременительными для городской казны...

— О, а это чей же такой дворец! — воскликнул я, когда мы подошли к роскошному белому зданию со множеством белых колонн. — Никак самого русского императора?!

— Нет, Владимир, это и есть знаменитое Баден-Баденское казино, в котором, кстати, очень любил играть ваш Фёдор Михайлович Достоевский, проигрывал здесь свои деньги. Занимал, кстати, на обратную дорогу до Петербурга у Ивана Сергеевича Тургенева, тоже какое-то время жившего здесь, напротив дома своей пассии Полины Виардо. Так что вам я туда заходить не советую, а мне — нельзя. А если вам мешает ваш гонорар (Рената перевела несколько моих рассказов, и я получил от неё две тысячи марок; на эти деньги я мог бы, например, в Мюнхене — столице германского автомобилестроения, купить не слегка подержанный автомобиль) — оставьте его мне. Я посижу и подожду вас здесь на лавочке. Ну, или возьмите десять марок, сделайте ставку, на том же столе, где играл Достоевский. Сорвёте, как говорят у вас, охотку.

— Да вы что, Рената, я же взрослый и притом совершенно не азартный человек! — искренне изумился я. — Только зайду посмотрю. Ведь я же всё это — столы, рулетку — представляю лишь по повести Достоевского «Игрок», в которой он назвал Баден-Баден

Рулетенбургом. Посмотрю и вернусь, — заверил я её, уловив на себе весьма ироничный взгляд.

Вернулся я, увы, не так быстро, как обещал и как предполагал сам. И в кармане у меня от всего гонорара осталось ровно десять марок, которых нам хватило на две сосиски в булочках со сладкой горчицей и на одно пиво. В каком-то маленьком кафе, куда мы зашли, Ренате пришлось покупать уже за свой счёт, хотя я бещал угостить её за столь приличный для меня гонорар. Но зато Господь избавил меня от дум, где и какой подержанности купить автомобиль и как его вывезти потом в Россию. Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше — вечные слова, и не грех их повторить ещё раз, поскольку многие и даже очень многие думают, что богатство может сделать человека счастливым. А вот вы спросите у любого олигарха, наворовавшего кучу денег, счастлив ли он? Не уверен, далеко не уверен, что ответ будет утвердительным. Если, конечно, ответ будет искренним.

Дрезден, Прага, шенгенская виза...

Поскольку у нас была шенгенская виза, мы могли ездить по всей Европе, не оформляя дополнительных виз в государства, входящие в Евросоюз. Предложений по разнообразным путешествиям, кстати, было немало. Причём оформить любую поездку у специального сотрудника можно было прямо в нашей гостинице. Красочные проспекты за весьма умеренную, подъёмную для нас цену предлагали поездки в Рим, Венецию, Париж, Вену, Нюрнберг... Однако многие из них были не однодневными, а прерывать процедуры, такие приятные в большинстве своём, нам не хотелось. Поэтому мы решили в конце первой недели, в субботу, съездить в Дрезден, посетив там знаменитую на весь мир картинную галерею. А в воскресенье (в эти два дня процедур не бывает) отправиться в Прагу, которую я считаю одной из самых красивых европейских столиц; возможно, ещё и потому, что она не потеряла своего оптимального человеческого объёма (население Праги на сегодня составляет один миллион двести пятьдесят семь тысяч человек), когда по городу можно неспешно гулять, не растворившись в толпе и не потерявшись среди однообразных кварталов. Ибо новострой, что в Париже, что в Москве, что в Праге, — везде безлик и почти одинаков. Город же с его неповторимой архитектурой строиться быстро просто не может. И я, например, считаю, что оптимальный для жизни город не должен превышать миллиона жителей; всё остальное уже плохо управляемо, да и просто безумно. Именно поэтому жизнь в мегаполисах — будь то Токио, Москва или Нью-Йорк — больше похожа на тараканьи бега, чем, собственно говоря, на нормальное человеческое существование. И если бы мне предложили присудить призовые места европейским столицам (а в большинстве из них я бывал), на первое место я бы поставил Прагу. На второе — Будапешт. И только на третье — Париж. Впрочем, это моё личное мнение. А как известно, у каждого оно своё...

Запись из дневника:

14. 09. 2013 г.

В небольшом, чистеньком и, что немаловажно, не с запахом солярки, а с приятным запахом, автобусе в 7.25 отправились от нашей гостиницы в Дрезден, ехать до которого, как сказала нам экскурсовод Ленка, часа два, два с половиной. Впервые за все дни нашего пребывания в Карловых Варах проклюнулось солнце и нет дождя. Дорога отличная! И ехать по ней приятно. Группа наша сборная. Часть людей подседа у гостиницы «Империал», часть у «Виллы «Мерседес». Всего шестнадцать человек, вместе с очень говорливым гидом и, напротив, очень молчаливым водителем Владимиром. Дорога настолько ровная, что можно спокойно писать. Вот я и пишу, пользуюсь свободным временем, которого не так уж много у нас здесь на отдыхе. То процедуры, то надо идти на Колоннаду пить воду, то ужин, то обед... Сегодня утром, например, когда у Натальи на мобильном телефоне в 6 часов утра зазвонил будильник и она, ещё полусонная, направилась в ванную, я по-

шутил: «Ничего, Наташка, терпи. Дома выспимся, а на отдыхе надо рано вставать, чтобы побольше всего увидеть». Завтра, кстати, нам тоже вставать не поздно. Автобус в Прагу отправляется от нашей гостиницы в 8.25.

А сегодня в 6.30 попили минеральной воды. С 7 до 7.20 позавтракали, получив в ресторане в специальном бумажном пакете сухой паёк: бутерброды с сыром и колбасой, фрукты, воду и две бутылочки тёмного пива «Крушовице».

Ленка что-то рассказывает про Крушны горы, часть которых находится в Чехии, по которым мы, собственно говоря, сейчас уже и едем, а часть — в Германии, в Саксонии. Я вспомнил, что первый русский академик Михаил Васильевич Ломоносов, будучи студентом и находясь с 1736 по 1741 год в Саксонии, тогда, кажется, отдельном государстве, в этих самых горах изучал минералогию...

Кто-то спросил Ленку, когда она сделала паузу, какова средняя зарплата в Чехии. Вот её ответ дословно: «Депутаты и прочие бандиты получают очень большие деньги. Средняя же зарплата по Чехии 1000 евро. Это не очень много. Тем более что 75% населения довольствуется значительно меньшими суммами. Более того, многие одинокие люди, особенно пенсионеры, не могут даже завести себе кошку или собачку, потому что за любое животное надо платить в городскую казну, за уборку улиц от собачьих экскрементов...»

Едем уже больше часа. Остановились на какой-то небольшой автозаправке.

— Стоим десять минут! Туалеты здесь бесплатные! — громко информирует выходящих из автобуса наш гид. — В картинной галерее в Дрездене вы по своему билету тоже сможете бесплатно посещать туалеты, — добавляет она, видимо, по собственному опыту зная, что данная информация весьма актуальна. О чём, кстати, свидетельствует и небольшая очередь, тут же образовавшаяся у женского туалета этой небольшой автозаправочной станции.

Следует, к слову, заметить, что билет в туалет стоит один евро, а в музей — девять. То есть около пятисот рублей в переводе на наши деньги.

Судя по всему, уже подъезжаем к Дрездену. Промелькнула у дороги православная церквушка. Пошли неприглядные, как, впрочем, и в любом большом городе, пригороды. Ленка рассказывает уже про местного Саксонского курфюрста Фридриха Августа I, избранного польским сеймом в 1694 году королём Польши и прозванного за его невероятную силу Августом Сильным. Он спокойно мог завязать узлом кочергу. Да и во многих других делах был отнюдь не слаб и, если верить историческим хроникам, имел 150 только официальных любовниц и 365 потомков. С 1700 по 1721 год участвовал в Северной войне против шведского короля Карла XII на стороне России.

— В Дрездене на левом берегу Эльбы установлена его конная статуя, покрытая золотом, — сообщает Ленка. — Кстати, он сам очень любил Дрезден и пожелал, чтобы после смерти хотя бы его сердце было захоронено в этом городе. И эта его просьба была исполне-



Карловы Вары, отель «Ритц»

на. Тело же погребено в Кракове, в усыпальнице польских королей... Вот мы уже въезжаем в центр города. Справа от нас вы можете видеть величественный костёл Девы Марии. Часть камней, из которых он сложен, — почти чёрная, а другая — более светлая. Дело в том, что английская и американская авиация почти полностью разбомбили Дрезден 13–14 февраля 1945 года, когда в этом уже не было никакой военной необходимости. Так вот тёмные камни — это те, которые уцелели после бомбёжки, а светлые — уже новые, ещё не по-

черневшие от времени. На шпиле костёла вы можете видеть позолоченный шар и крест — это подарок английской королевы Елизаветы Второй и принца Чарльза, в знак извинения перед Германией за напрасно разбомбленный город и бессмысленные, более ста тысяч, человеческие жертвы, причём в основном среди мирного населения...

Ну вот мы уже и приехали. Сейчас одиннадцать часов, в 16 отсюда же отправляемся назад. Пожалуйста, без опозданий. К ужину вы уже должны быть в своих отелях, — заканчивает Ленка, ожидая всех у выхода из автобуса и вручая каждому билет в Дрезденскую картинную галерею. И тут я слышу, что женщины, обступившие её, о чём-то тихо шипят. И лишь оказавшись рядом, я расслышал это змеиное слово «шопинг».

— Я вам всё расскажу, — отвечает на их «шипение» Ленка. — У вас для этого будет достаточно времени. Но всё-таки музей я вам советую посетить. Где вы ещё увидите в подлиннике «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля...

Почти два часа мы бродили с Наташей по музею. Столько чудесных картин, многие из которых я, правда, уже видел, но лишь на цветных репродукциях в журнале «Огонёк». Обошли все три этажа и поняли, что впечатления больше не вмещаются в нас.

Вышли на улицу. Погода чудесная. Температура, как летом, плюс двадцать. По старой крепостной стене прошли вдоль берега Эльбы, созерцая какое-то время, как на противоположной стороне реки, в конце моста через реку, сверкает в лучах солнца золотая конная статуя Августа Сильного. А на песчаном берегу, значительно ниже, в раскладных шезлонгах загорают люди. Не так много, но всё же... Отовсюду от столиков многочисленных кафе разносятся приятные ароматы жареных сосисок, от которых у нас разыгрался аппетит.

— Может быть, зайдём в какое-нибудь кафе и перекусим, выпьем пива, сравним его с чешским? — предложил я Наталья.

— А это, — указала она на бумажный пакет в моей руке, — назад домой повезём? Давай лучше вон на той уединённой лавочке перекусим. А потом ходим на Замковую площадь, погуляем по ней. И если нагуляем аппетит — зайдём куда-нибудь перекусить.

Так мы и сделали. Уселись на лавочку, стоящую в тени какого-то большого дерева. Достали свои припасы и с удовольствием поели, глядя на искрящиеся воды лениво катящейся куда-то Эльбы. Примерно через полчаса, подойдя к Замковой площади, мы полюбовались «Шествием Саксонских курфюрстов»; картина выложена на стене одного из замков из плит мейсенского фарфора. На этой длинной, в несколько десятков метров, мозаичной картине были изображены почти все саксонские правители. Был там и Август Сильный. И когда мы рассматривали мозаику, то слышали доносящуюся с Замковой площади лихо звучащую песню «Катюша». Обогнув дворец, мы вышли на площадь и увидели двух, уже немолодых, мужчин в казачьей форме, с красными лампасами, красными околышами фуражек. Значит — донцы. Один из них лихо играл на баяне, а второй samozабвенно и довольно хорошо пел. Кто они, что они, мы узнавать не стали. Во-первых, не хотелось их прерывать, а во-вторых, у нас не было мелких денег, чтобы бросить им в их раскрытый чехол от баяна.

Запись из дневника:

15.09.2013 г. Воскресенье

В том же небольшом автобусе, только уже с другим гидом, Георгием, едем в Прагу, в которой мне довелось бывать не один раз. Правда, последний мой приезд сюда состоялся аж двадцать лет назад. За окном снова дождь. Вчерашнее «лето», заставшее нас в Дрездене, кончилось. И сейчас по обочинам осенних дорог в дождевиках бредут люди из ближайших городков. Почти все они, кроме детей, с корзинами. И в своих остроконечных капюшонах дождевиков они похожи на братьев какого-нибудь иезуитского ордена. Гид объяснил, что люди идут в лес за грибами. И от этой мирной осенней картины почему-то сделалось так хорошо и спокойно. И как будто сквозь шуршание дождя до меня снова доносится не очень громкий голос нашего гида Георгия:

— Первая информация о Праге относится к концу 8-го века. Пражский Кремль начал строиться в 882 году. А к середине 9-го века Прага стала одним из центров по продаже рабов. Например, в Праге за крепкого мужчину платили 15 золотых монет весом в 3 грамма. Такой же раб в Мадриде стоил уже в десять раз дороже. С приходом в 11-м веке христиан-

ства, работорговля была прекращена... Рассветом Праги считается 14-й век, когда город стал резиденцией императора Священной Римской империи Карла IV. Он и позолотил во времена своего правления купола всех пражских костёлов. Отчего Прага получила название — Злата Прага. До 14-го века Прага не была единым городом — это было как бы шесть самостоятельных городов, каждый из которых имел свою ратушу, мэрию, крепостную стену... В 14-м веке в Праге проживало 90 тысяч человек. Это очень много для того времени. Для сравнения скажу, что в Венеции к тому времени проживало 200 тысяч человек, в Лондоне — 100 тысяч, в Риме — 50 тысяч человек... Прага, в переводе с чешского, означает порог. Может быть, она так названа из-за порогов на Влтаве, протекающей через город. И ещё Праге повезло в том, что она наиболее сохранившаяся из всех европейских столиц. Поскольку последний раз её обстреливали из пушек в 1758 году пруссаки, когда шла война за австро-венгерскую корону. При Габсбургах же, которые начали править с 1526 года и чья резиденция находилась в Праге, город процветал. И так было до середины 17-го века, пока двор не переехал в Вену. Население Праги тогда сразу же сократилось до 40 тысяч человек. То есть с ней произошло то же, что с Римом в 14-м веке, когда папы перенесли из него свою резиденцию во французский город Авиньон...

В свободное время мы с удовольствием погуляли с Наташей по Пражскому граду, расположенному на высоком холме, откуда открывается такой прекрасный вид на Прагу, побывали у собора Святого Вита, который строился в общей сложности почти 600 лет. Начало его строительства в 1344 году положил Карл IV, германский король и император Священной Римской империи, ставший с 1347 года ещё и чешским королём Карлом I. Он, к слову, основал и один из самых старых в Центральной Европе университетов, который в 1948 году, когда я родился, справил своё шестисотлетие, и который по праву называется Карловым университетом. В нём, кстати, учились и закончили его знаменитые писатели Карел Чапек и Франц Кафка. А в 1911 году в Карловом университете получил профессию Альберт Эйнштейн.

Спускались мы вниз, к Карлову мосту по сказочной Златой улочке, которая состоит из крошечных двухэтажных домиков и тянется над самым обрывом вдоль крепостной стены Пражского града, соединяя две оборонительные башни — Белую и Делиборку. И где, раскинув в стороны руки, можно, кажется, коснуться стен домов, стоящих на противоположных её сторонах. Прошлись по Карлову мосту. Полюбовались быстрым течением реки Чертовки, впадающей во Влтаву, по которой в это время как-то очень плавно, словно лебедь, скользил белый пароходик. И, глядя на все эти чудесно сохранившиеся костёлы, дома, замки, я подумал, что традиция, преемственность — это и есть та единственная скрепа, прочно удерживающая такую отнюдь непростую конструкцию, как человеческая жизнь. А вернее, множество человеческих жизней и поколений.



Владимир Максимов. Чехия. 2013 г.

Отобедали мы всей группой в каком-то небольшом тихом ресторанчике за Карловым мостом. Было мясо с картошкой, пиво. Я взял себе ещё рюмочку водки. Причём пятидесятиграммовая рюмка водки в ресторане стоит столько же, сколько двухсотпятидесятиграммовая бутылка этого напитка, скажем, в магазинчике на автозаправочной станции. Наш с Наташей столик оказался у окна, и мы могли любоваться и неспешным течением Влтавы, несущей свои воды в Лабу, или Эльбу,

где мы побывали вчера, и неторопливым людским потоком, текшим по улице мимо окон ресторана... И можно было без спешки, умиротворённо, даже лениво говорить о разных приятных пустяках, и это было здорово. Вообще я убедился, что очень хорошо никуда не спешить. Тем более что после обеда у нас снова предполагалось два часа свободного времени. И мы намеревались пройтись по Староместской площади, образовавшейся в 14-м веке на месте рынка. За окном иногда вдруг накрапывал дождь. И тогда кусочек неба, видимый нами из окна ресторана, сразу становился цветным от множества раскрытых над головами людей зонтов, проходивших по узенькой улочке мимо.



Карловы Вары, памятник миссионерам

И, несмотря на дождь, и этот день не стал исключением. Разноязыкие группы, каждая во главе со своим гидом, зачарованно смотрели, как в часах неспешно меняются фигурки разных персонажей. Есть здесь со своей косою и Смерть, напоминающая людям каждый час о бренности их жизни и тщете безмерных желаний. Посмотрев представление, мы с Натальей направились к Пороховой башне, возле которой, как я помнил по прежним временам, было небольшое, но очень уютное кафе с несколькими столиками, стоящими на улице. Именно на улице, под тентом, за одним из столиков мы и устроились. По хорошо натянутому цветному тенту, словно разговаривая с нами шёпотом (поскольку тайны старого города нужно поверять только шёпотом), шурша скользили струи дождя, повисая на краях материи целыми рядами светлых чистых капель... Мы заказали кофе и пирожные. И, попивая ароматный и горячий кофе, я осознал вдруг одну очень простую истину, что не мир, а мы стремительно меняемся. А мир как стоял, так и стоит на месте. И ничего в нём почти что не происходит. Только поколения сменяются одно на другое... «Род проходит и род приходит, а земля пребывает во веки. И что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем...» — вспомнилось мне из царя Давида, написавшего эти строки под «псевдонимом» Экклезиаст, что означает, кажется, Вестник. Вот и сейчас: всё то же кафе у Пороховой башни, где и двадцать лет назад я пил чудесный кофе... Дождя тогда вот, правда, не было, и мне было не шестьдесят пять, а сорок пять, и я, уже миновав Польшу, Германию, стремился в Париж, до которого оставалось не так уж далеко. Даже на велосипеде, на котором я тогда колесил по Европе, или, как иногда у нас говорят, — «по Европам».

И ещё я вдруг подумал, что формула счастья в общем-то довольно проста. *Счастье — это когда Господа благодарить гораздо чаще, чем чего-то просить у Него.* И я в данный

После обеда, как и планировали, мы прогулочным шагом отправились на Староместскую площадь, где я, как и прежде, только теперь «двадцать лет спустя» — почти по Дюма, — улёгся спиной на блестящую широкую медную стрелу, вделанную в тёмный камень мостовой, — Пражский меридиан, на котором Наташа меня и сфотографировала в таком положении. И слава Богу, что в этот момент не было дождя, который, кстати, а точнее, совсем не кстати, тут же припустил вновь, как только я поднялся. И мы с Натальей, раскрыв зонты, подошли к ратуше с часовой башней высотой около 70 метров, на южной стене которой расположены знаменитые «трёхэтажные» астрономические часы Орлой, созданные в период с 1410 по 1490 год часовых дел мастерами Микулашем и Ганушем и астрономом Шинделем. Ежедневно с 8.00 до 20.00 на этих часах происходит представление, посмотреть на которое за 15 минут до окончания каждого часа собираются толпы зрителей.

момент благодарил Господа. И за этот тихий дождь, раскрывающий тайны чудесного города, и за женщину, сидящую рядом со мной, до которой легко можно было дотронуться рукой, и за то, что ещё раз сподобило меня побывать в Праге — этом чудесном городе, и за многое, многое другое, что и словами-то выразить сложно.

Разговоры банные, откровенные...

Запись из дневника:

17 сентября 2013 года, вторник, отель Сан-Суси, 7.45

Как-то даже и не верится, что мы приехали сюда только в прошлый понедельник, неделю назад. Столько событий произошло за эти дни. Дрезден, Прага промелькнули перед глазами. И мы — в этих городах, как перелётные птицы, уносимые куда-то ветром перемен.

Вчера открыл для себя ещё одну здешнюю радость — бассейн и сауну. Здорово! Забавно смотреть на рыхлых турчанок, которые купаются в бассейне, с ног до головы завернутые в тёмные одежды... Я же сначала иду в сауну. Лежу на полке, греюсь, разомлев, как мартовский кот на прокалённой щедрым весенним солнцем крыше. Слушаю досужие разговоры мужиков. В бане они сокровенные, откровенные... Татарин из Казани и казах из Алма-Аты, обёрнутые простынями, рассуждают в полголоса о том, что уже дней через десять после пребывания здесь хочется домой. «Там внуки», — вздыхает один. «Вся родня», — поддакивает другой. «А я бы ещё лишнюю неделку, наверное, пожил здесь с удовольствием», — думаю я, растянувшись на полке, вбирая в себя жар прогретых осинового досок, в какой-то сладкой полудрёме.

— Не, мужики, — встревает в разговор кто-то ещё, с громким, хорошо поставленным начальническим голосом. — Вот я в Китае, в Даляне, в прошлом году отдыхал, и скажу вам: вот там баня так баня! На всю ночь. И кормёжка бесплатная, и залов разных и бассейнов множество. А массаж как делают — закачаешься! И такси в любую часть города — 4 юаня. Это на наши деньги 16 рублей, что днём, что ночью. Молодцы китайцы — далеко они нас обскакали по многим вопросам...

— А я в прошлом году с женой в Литве был, — присоединяется к разговору кто-то ещё, — недалеко от Каунаса. У них там примерно такой же санаторий, как этот, только цены пониже. А вот бани там, да не то чтобы с веничком, а хотя бы такой, как здесь, сауны, чтобы вот так посидеть на полке, погреться, не было. И этого сильно не хватало...

— Да, мужики, — поднимаясь с полка, встречаю в разговор и я, — баньку с веничком ничем не заменишь! Особенно, если веничек берёзовый сначала, а потом пихтовый, да ещё крапивой по поясничке пройтись. А потом, распарившись, как следует, сигануть в Байкал, как это водится у нас в Сибири, вообще красота! — слегка привираю я, потому что бежать от моей бани на даче в Порту Байкал до Байкала совсем не близко.

Из сауны я выхожу с видом победителя, под дружные, одобрительные и даже слегка завистливые возгласы «Да-а...» и окунаюсь, хоть и не в Байкал, а в небольшой, но тоже с очень холодной водой, малюсенький бассейн. После чего иду уже в бассейн настоящий, большой. Плаваю до лёгкой усталости. А потом снова в сауну, на полку. И так раза три кряду... Иногда, наплававшись вволю, отдыхаю минут пять-десять, лёжа на деревянном раскладном кресле, изредка поглядывая на большое табло с горящими на нём цифрами: температурой воды в бассейне и в зале, временем. За отпотевшими от потолка до пола окнами — дождь, мокрые осенние деревья, жидкие фиолетовые сумерки. А здесь тридцать один градус, лето. И можно ещё раз успеть до ужина зайти в сауну, где все девяносто. А потом выпить в номере пивка. Светлого — «Гамбринус» или тёмного — «Крушовице»...

Всё, увы, когда-нибудь кончается...

Запись из дневника:

21 сентября 2013 года. Отель Сан-Суси, суббота, 8.15

Впервые за почти двухнедельное пребывание здесь мы выпалились. Процедуры нет. Ехать в другие города не надо. И в возможности полениться тоже есть, оказывается, своя прелесть. Вчера, закончив назначенные процедуры и простившись в час дня с нашим доктором, мы отправились гулять. Нашли фуникулёр и поднялись на нём на самую высокую точку Карловых Вар. Там забрались ещё на смотровую башню со 150 ступенями, откуда весь город, с его красными черепичными крышами, как на ладони. Правда, на башне было холодно и ветрено, и мы вскоре спустились оттуда, занырнув по пути в ресторан «Диана», расположенный на плоской вершине горы у самого фуникулёра. Ресторан был почти пуст в это время, не сезон. Однако, несмотря на это, там был зажжён большой камин, и от его живого огня так было тепло и уютно. Над камином красовался портрет пана Крушевицкого, изобретателя тёмного пива «Крушовице», как объяснил нам официант, довольно сносно говорящий по-русски и принимающий у нас заказ. Вельможный пан на портрете был в старинном камзоле с белым жабо и с большой кружкой пива в правой руке. Отблески пламени, особенно когда кто-нибудь из персонала ресторана шурудил в огромном зеве камина кочергой или подбрасывал туда новые поленья, плясали на его затемнённом портрете, и от этого иногда начинало казаться, что мышцы лица двигаются, что портрет оживает и сей пан силится не то что-то сказать, не то дружески подмигнуть, одобряя наш выбор — тёмное двенадцатиградусное пиво «Крушовице». А я отчего-то припомнил за нашим обедом, что вчера в гостиничном ресторане первый раз за две недели в меню был борщ, к которому я, разумеется, взял немного водочки. И с таким удовольствием отобедал! Всё-таки я, видимо, традиционалист. А все эти утки с яблоками, запечённая свиная нога — это не по мне.

Спускаясь с горы пешком, мы решили зайти в православный храм, золочёные купола которого увидели со смотровой башни. Храм оказался очень красивым и совсем небольшим, каким представлялся сверху. Смотрительница из свечной лавки, где мы купили свечи, рассказала, что прихожан у них совсем немного, а вот «захожан» достаточно. Что храм называется имени Петра и Павла. И что у них есть иконы, подаренные царствующими особами из дома Романовых, бывавших в прежние времена здесь на отдыхе. А я ей, в свою очередь, сообщил, что и у нас в Иркутске тоже есть Петро-Павловский храм.

Свою свечу я поставил перед распятием Спасителя и мысленно помолился об удачной обратной дороге, поскольку через два дня нам уже улетать.

Наташа, как я заметил, возггла свою свечу перед Богородицей. Ну, что же, пусть пошепчется с матерью Господа нашего. У них свои женские секреты. А женщины всегда лучше поймут друг друга.

Выйдя из храма, прошли мимо здания российского консульства, с мокрым, обвисшим от влаги трёхцветным российским флагом. Спустились к Колоннаде. Полнобовались «долгождивыми» картинами художников с осенними улицами Карловых Вар и отправились в гостиницу...

Покупки, «Tax Free» и другие мелочи, о которых стоит знать

Дня за два до отлёта Наташа всё-таки уговорила меня съездить в супермаркет «Вариада», где отовариваются все приезжающие в Карловы Вары. Магазин этот находится на окраине города и ехать до него на автобусе минут сорок. Цены в нём действительно значительно ниже, чем в других магазинах. Это что-то типа парижского «Тати». И в «Вариаде», как и в «Тати», где я бывал, тоже слышится в основном русская речь.

Немного побродив с Наташей по магазину, я купил себе очень хорошие кроссовки чешской обувной фабрики «Baty», и поскольку они стоили больше тысячи крон, мне вы-

дали так называемый талон «тэкс фри», по которому прямо в аэропорту Праги возвращают часть денег от сделанной покупки. Это какие-то не совсем понятные мне таможенные законы. Однако приятные для покупателей. Дальше бродить по многочисленным павильонам я отказался, сказав Наташе, что буду ждать её в баре, мимо которого мы несколько раз до того проходили. Ибо ходить по любым магазинам для меня всегда тягостно.

В небольшом уютном баре, где я оказался один, я продегустировал (это бесплатно) два сорта вина: чудесное красное сухое «Мерло» и белое «Шардоне» урожая уже нынешнего года. Взял по литру того и другого на обратную дорогу, чтобы не так грустно было улетать отсюда, из этого чудесного города и гостеприимной Чехии. Да и цена имела значение. Литр вина стоил 65 крон (это около ста рублей на наши деньги), тогда как двухсотграммовый бокал такого же вина в ресторане гостиницы, которое мы обычно брали себе к ужину, стоил 60 крон. Столько же, сколько бутылка пива.

Дорога туда и дорога обратно — две разных дороги...

Запись из дневника:

22 сентября 2013 года, воскресенье, 8.45. Отель Сан-Суси, Карловы Вары

Вчера после обеда мы с Наташей в последний раз сходили на Колоннаду попить воды перед ужином из нашего любимого источника №11. Посидели в беседке, словно прощаясь с городом. На обратном пути зашли в кафе «Рурр», которому уже более трёхсот лет и в котором подают прекрасное пирожное и кофе. Более того, по словам персонала кафе, в нём водится очень старая летучая мышь, которая иногда появляется перед посетителями и которая живёт где-то на чердаке этого гранд-отеля «Рурр», на первом этаже которого, в левом его крыле, и расположено это самое кафе.

Пирожное в нём действительно было очень вкусное, а кофе — просто отменный. Правда, мне всё время казалось, что и кофе, и ликёр «Бехеровка», обычно такой вкусный, сегодня чуть больше меры горчат. Возможно, это оттого, что завтра мы покидаем этот дивный край.

Да это было вчера. А сегодня мы уже позавтракали. Все вещи уложили ещё с вечера.

С 12 до 13 мы ещё успеем пообедать. А в час за нами придет Ян, чтобы отвезти в аэропорт. Из Праги мы улетаем почти в семнадцать часов. И, если всё будет нормально, 23 сентября в 11.30 по иркутскому времени будем уже в Иркутске. И в тот же вечер, даже не переночевав дома, я уезжаю по делам на неделю в Тайшет. Представляю, какой это будет разительный контраст...

22 сентября, 16.55 средневропейского времени. Мы уже на борту самолёта чешских авиалиний. Через 15 минут должны взлетать. А я спешу записать наши предвзлётные страсти. Где-то в половине третьего Ян привёз нас в аэропорт. Мы прошли паспортный контроль. Я получил 10 евро по «Tax Free», предъявив чек на покупку кроссовок. Тут же в магазинчике, уже в свободной, или нейтральной, зоне, купил за 8 евро бутылочку «Бехеровки», лимонной. До таможенного контроля у нас ещё оставалось время, и мы с Наташей, сидя в удобных креслах, выпили по стаканчику вина «Шардоне», закусив яблоком. Оставшееся вино решили допить в самолёте, когда нас будут кормить. Однако на таможенном контроле, где на сей раз пришлось снимать не только ремень, но и туфли, вино у меня изъяли. «Бехеровку», за что я боялся, не тронули, потому что она была куплена в свободной зоне и была соответственно упакована. У Наташи забрали 6 упаковок кремов для рук, которые она покупала на подарки. Оказывается, всё, что больше 150 грамм, — изымается. Мы же этого не знали, и в травяной аптеке, где Наталья покупала эти крема, ей тоже ничего не сказали. Ну, что ж, сами виноваты — правила надо знать. Более того, если бы мы всё это сдали в багаж — всё осталось бы в целости.

Взлетели. Наверху, перед креслами, укреплен небольшой экранчик, на котором высвечивается вся информация о полёте: «Температура за бортом минус один градус. До Москвы 1670 километров. Время полёта 2 часа 20 минут». Причём самолётик на экране движется по стрелке и показывает, что мы уже миновали Варшаву, Минск... Скоро уже Россия. Недаром мне сегодня ночью под шум дождя снился дом.

Подали ужин. Цыплёнок с картошкой, красное вино — кто сколько желает. Я пожелал два стакана и с удовольствием их выпил за ужином. Так что мои винные потери в аэропорту Праги Господь компенсировал. Наташа тоже выпила вина, но белого. И отчего-то припомнились строки из «Валерика» Михаила Юрьевича Лермонтова: *«Судьбе, как турок иль татарин, за всё я равно благодарен...»* Действительно, лучшее лекарство против неизбежности — спокойствие.

Подлетаем к Москве... Из Шереметьева, которое показалось после пражского аэропорта каким-то неухоженным, вылетели уже 23-го в час ночи по московскому времени. Самолёт наш А-320 «Александр Алябьев». В иллюминатор светит грустная луна. Летим над облаками. Разносят ужин, правда, без вина.

После ужина мы уснули. И проснулись уже в Иркутске, прибыв туда точно по расписанию — в 11.30. Карнавал закончился, начинались будни...

И ещё напоследок, вместо послесловия. В Карловых Варах в номере гостиницы в первый же день я обнаружил несколько салфеток для протирки обуви. Мне понадобилось таких салфеток только две. В первый и в последний день. Хотя особой надобности протирать обувь в последний день не было. Обувь была чиста, несмотря на наши долгие ежедневные прогулки. В Иркутске же я чищу обувь каждый день. А иногда и по нескольку раз.

И ещё. Каждое утро я бегаю или гуляю по Новой набережной, построенной к 350-летию Иркутска, то есть в 2011 году, совсем недавно. Но ни разу я не видел эту набережную без изъяна, даже во времена её громкоголосой сдачи в эксплуатацию. То что-то недоделано, то плитка провалилась, то лавки сломаны, то вёдра для мусора валяются на боку... Вот, например, на расстоянии чуть меньше чем полтора километра от этого сооружения, я насчитал почти десять ям с провалившейся (на новой, по идее, набережной!) плиткой. На набережной той же Теплы все плитки были отчего-то на месте... Мы что, строить совсем не умеем? Или воруют много и оттого всегда чего-то не хватает? Или такие уж мы дикари, что не можем жить в чистоте и порядке? И почему это почти в любом российском городе лужи на тротуарах и дорогах — обычное явление. Неужели Миргородская лужа с лежащей в ней свиньёй и представляет основную реалию российской жизни? Обидно как-то, господа! Или — товарищи?



АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

«Ливень»

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Нынешней зимой совершил я путешествие в северный город Усть-Илимск, и в простолюдном, полнолюдном вагоне читал газетное славословие краю: «Усть-Илим — такое поэтическое название получил оваянный суровой романтикой край, раскинувшийся по обе стороны красавицы Ангары на севере Иркутской области. Река Илим — правый приток Ангары — дала имя знаменитому уже в XVII–XVIII веках административному центру Илимского воеводства — Илимску, созданному отважными русскими землепроходцами на пути от Москвы через Енисей, Ангару, Илим на Лену, Байкал и далее на северо-восток азиатского материка. История распорядилась так, что освоение первопроходцами необъятных просторов Восточной Сибири и, в частности, Иркутской области начиналось с северных районов (бывшего Илимского воеводства), вверх по Ангаре до Байкала. В 1631 году был построен Бурятский острог (ныне город Братск), а в 1661 году — Иркутский острог, в том месте, где в Ангару впадает ее левый приток — река Иркут. Но индустриальное освоение этих мест началось лишь три века спустя, уже в наши дни, когда в 50–60-е годы приступили к созданию Братско-Усть-Илимского территориально-промышленного комплекса, в состав которого вошли мощная Усть-Илимская гидроэлектростанция и Усть-Илимский лесопромышленный комплекс. Название «Усть-Илимск» географически происходит от устья реки Илим. Наиболее целесообразным местом для строительства Усть-Илимской ГЭС был признан створ в 20 километров ниже по течению Ангары, у скалистого Толстого Мыса. Здесь же впоследствии был построен современный город Усть-Илимск...»

Тревожно и глухо стучали колёса в ночи, вагон качало, словно хмельное судёнышко в морской зыби, и сонный сумрак кутал путников, а мне виделось: среди тайги рукотворные поля, где, словно гигантские муравейники, великие сибирские стройки, и дети солнца — задорные, певучие, крепко скроенные ребята и девочки в зелёных робах — строят великую Российскую империю.

Ближе к полуночи мимо вагонных окон поплыли, вытягиваясь радужными хвостами, приветливые огни города. Усть-Илимск... И когда ехал с вокзала до курортной гостиницы «Русь», и потом, когда гулял по широкой улице Мира, дивился своеобычности молодого северного городка, искусно встроенного в листьяки, сосняки, березняки: квартал высоких домов и вдруг... вроде дремучая тайга, а потом — библиотеки, магазины, балконы, завешанные мёрзлым бельём, храм Всех Святых, в земле Российской просиявших, и опять — тайга. И привиделось: среди солноликих сосен и бурых лиственниц растущие на глазах белые башни домов, а на высоком ангарском берегу палаточный город, откуда, словно синеватым костровым дымком, повеяло песенной романтикой сибирских строек:

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич. Родился 24 марта 1950 г. в забайкальском селе Сосновоозерск в большой крестьянской семье. После окончания филологического факультета (отделение журналистики) Иркутского государственного университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в средних учебных заведениях, в Иркутском госуниверситете. Автор книг: «Поздний сын» (М., 1988); «Боже мой...» (предисловие В. Распутина. М., 1996); «Диво» (Иркутск, 2001); «Утоли мои печали» (Иркутск, 2006); «Не родит сокола сова» (М., 2011); «Озерное чудо» (М., 2012); «Косопят — Борода до пят»: сказка для детей (на рус. и англ. яз.) (Иркутск, 2013) и др.

*Усть-Илим на далёкой таёжной реке,
Усть-Илим от огней городских вдалеке.
Пахнут хвоей зелёные звёзды тайги,
И вполголоса сосны читают стихи...*



В гостях у Валерия Шехирева

Будучи на воскресной службе в Усть-Илимском храме Всех Святых, в земле Российской просиявших, вглядывался я в молитвенные лица прихожан и думал: сегодня они, светлoduшные, яко чада Божии, искренно верят в рай небесный. А кажется, ещё вчера так же искренно верили в рай на Российской земле, весело и вдохновенно строили в таёжной глуши гидростанцию, теплостанцию, лесопромышленный комплекс и белоснежный город; вечерами в палатках, в дощатых избах, у костров пели под гитару романтические, походные, строительные песни.

И в библиотеках на литературных вечерах вглядывался я в коренных усть-илимцев и сквозь полувековую мглу прозревал в них светлоликих романтиков, кои в сибирской глухомани и надсадно, и азартно, и радостно возводили красивый таёжный город Усть-Илимск. А литературных вечеров с народом, чтением и пением выпало мне изрядно, за что поклон Ларисе Петровне Галиченко, директору Центральной библиотечной системы.

Вот хроника основных февральских вечеров, запечатлённая библиотекарями:

19 февраля — творческая встреча с литературно-музыкальным клубом «Ольховая серёжка» в библиотеке имени Ю.Ф. Федотова; ведущая — руководитель клуба Людмила Слободчикова, которая училась в университете рядом с Вампиловым и Распутиным, о чём интересно и поведала.

20 февраля — красивый, с видеофильмом, вечер-портрет в Центральной городской библиотеке имени Н.С. Клестова-Ангарского; ведущая — Евгения Росликова.

21 февраля — презентация моей книги «Косопят — Борода до пят» и встреча с юными сочинителями в Центральной детской библиотеке «Первоцвет», подготовленная директором Светланой Васильевой. В этот же день фольклорный праздник «Земли родной минувшие страницы» в библиотеке «Добродар»; ведущая — Тамара Кольца.

Вне плановых случались и стихийные, но не менее яркие, интересные литературные вечера, подобные литературно-музыкальному в Усть-Илимской районной библиотеке и на курорте «Русь», где я поправлял своё шаткое здоровье, где сподобилось послушать прекрасных усть-илимских поэтов Александра Федюковича и Ольгу Нетецкую.

Но ещё в Иркутске Иван Иванович Романов, мой старинный друг и, похвалюсь, мой читатель и почитатель, знаток русской истории, с грустью и неизбежной любовью вспоминал Усть-Илим, в котором, разгоняя таёжную тишь и глушь, гремела великая стройка, пролетели молодые романтические годы. Там Иван Иванович, нынешний подполковник милиции, начинал службу, про кою пели в советскую эпоху: «Наша служба и опасна и трудна...» Услышав, что я собрался в Усть-Илимск, Иван Иванович поскорбел, что не может поехать вместе со мной в таёжный северный край, ставший ему родным, и, конечно же, сразу вспомнил, что в городе живёт его друг и бывший сослуживец Валерий Николаевич Шехирев, опять же, подполковник милиции и знаток русской истории, да к тому же любитель философии и поэзии. Товарищи и вышли в отставку из одного Управления по борьбе с организованной преступностью, а Валерий Николаевич — ещё и с поста начальника Усть-Илимского отделения УБОП. Ко всем достоинствам офицера можно прибавить и то, что Валерий Николаевич и сам пишет умные стихи и даже был составителем сборника стихов усть-илимских поэтов «Родники», который в 2011 году вышел в издательском центре «Сибирь» под редакцией Василия Козлова, с предисловием Надежды Анучиной.

В первые же усть-илимские дни познакомился я с Валерием Николаевичем, да и подружился. И покружили мы по городу порядочно, посещая и прославленный на всю губернию Дом творчества, и картинную галерею, и краеведческий музей, и ТЭЦ, и негласный дружеский клуб, где от случая к случаю собирается городская элита, властная, промышленная и торговая.

Оказавшись в столь начальственном кругу я, от роду тихий простолюдец, поначалу оробел, но видя и слыша, что начальники не горделивые, в беседе простые и лёгкие, мало-помалу ос-



Усть-илимцы — герои путёвых заметок

мелел. Разумеется, разговор бурно закипел, лишь коснулись украинских событий, судьбы Киева, русской первоюлицы, матери городов русских, судьбы Крыма с Новороссией. И отраднo было сознавать, что я в кругу близких мне российских державников, среди коих оказался даже и природный украинец Анатолий Анатольевич Дубас, в лихие девяностые годы правивший Усть-Илимском, ныне губернский законодатель. Ведающий потаённые, изошрённые пути и перепутья не токмо губернской, российской, а и мировой политики, азартный, любомудрый и красноречивый, Анатолий Анатольевич завладел разговором.

Впрочем, вскоре беседа, покружив над горемычной Червонной Русью, плавно спустилась на родную усть-илимскую землю, и Анатолий Анатольевич бегло поведал о свершённых депутатских делах по улучшению жизни горожан, попутно вспомнил и о сказке «Розалинка», где юная сочинительница, его дочь, в согласии с мечтами отца о славном будущем Усть-Илимска, написала: «В сказочном городке Краснограде страны Палитра птички Розалинка и Розовая Краска с помощью Творца спасали город, привнеся в него гармонию красок...»

Говорили о многом, ныне всё и не упомнишь, остались лишь темы диалогов, монологов... Из короткого разговора с прокурором города Алексеем Павловичем Обыдённым я понял, что для него, православного христианина, Закон Божий и закон, созданный земными законодателями, превыше всего на свете. И Алексей Павлович требует от себя, от сослуживцев, от земляков неукоснительного исполнения закона земного, который, может быть, в некие спасительные времена станет близок Закону Божию. Разумеется, толковал прокурор и о причинах преступности. Среди причин выделял особо безработицу в «омертвевших» поселениях и отсутствие ясной правительственной программы возрождения российской провинции.

За дружеским чаем немногословный, вроде мысленно погружённый в хозяйственные заботы-хлопоты, Виталий Александрович Хомяков, глава Усть-Илимской районной администрации, воистину болеющий за многострадальных сельских жителей, сетовал на скудость бюджета, рассуждал о том, как простолудью из таёжной глубинки достойно жить, а не выживать. Опять же вся надежда на власти, которые, может быть, серьёзно возьмутся за возрождение села.

Степенный, вдумчивый Анатолий Константинович Плахотник вспоминал сочинские Олимпийские игры, где удостоился «болеть» за Россию. А про него самого, в прошлом депутата Законодательного Собрания Иркутской области, крупного усть-илимского предпринимателя, мецената, я был наслышан: он немало помогает горожанам и всегда готов подать милосердную руку труждающемуся.

Увы, хотя и предполагал, но не смог приехать на встречу директор Усть-Илимской ТЭЦ Александр Владимирович Кровушкин. Однако с ним мы вдосталь наговорились, когда он водил меня по ТЭЦ, где основной корпус, подобный высотному дому без этажных перекрытий, с переплетением труб, лестниц, эскалаторов, представлял для меня, закоренелого гуманитария, нечто гигантское и фантастическое. И с почтением глядя на Александра Владимировича, я дивился: и как человек управляет этакой машиной?! А находясь в зале автоматического управления, заставленного мониторами, подивился и тому, что вот эти люди в белоснежных халатах с помощью компьютеров управляют всем гигантским производством. После беседы с Александром Владимировичем осталось впечатление, что коль теплом в городе ведает специалист, знающий станцию как свои пять пальцев, любящий свою службу, усть-илимцы не замёрзнут в квартирах, не останутся без света и горячей воды.

Воспоминание от встреч с усть-илимскими читателями и с помянутой элитой отрадное: народ безунывный, радушный, хлебосольный. И — простой. Чем ближе к столицам — больше народа непростого: хитромудрого, крученого-верченого, скрытного, себе на уме, а удаляешься в российскую глубинку, тем паче северную, сибирскую, чаще встречаешь людей простых — добродушных, искренних. Есть люди, про коих насмешливо говорят: простой, как три копейки. Простота в характере человека может быть и хуже воровства, но простота может быть и высоким духовным свойством человеческой души. Простота, как у Иван-дурака: через простоту и доброту он стал Иваном-царевичем. Он с любовью воспет в русских народных сказках и по духу близок к святым, подобным Василию Блаженному или Ксении Петербургской...

Накануне памятной встречи с усть-илимской властной элитой чаевал я у Валерия Николаевича в его служебном кабинете, и хозяин торжественно снял с полки лакированную шкатулку, не собранную, а вырезанную из цельного дерева, открыл и вынул чашу из чистого серебра, а к ней приложил отпечатанную усть-илимскую легенду «Ливень», которую я и прилагаю к моим путевым заметкам.

* * *

Пролог. У каждого города есть свои легенды. У городов, построенных совсем недавно, легенды нарождаются. И в Усть-Илимске есть мифологическое сказание, основанное на реальных событиях недавнего прошлого.



Чаша «Ливень»

Воздвигнут был в тайге дремучей, у берегов Ангары-реки город. Строили его люди бескорыстные, романтики и мечтатели, в большинстве своём молодые и задорные. А ещё были мудрые, убеждённые седиными, но все с чистыми сердцами и светлыми помыслами. Привлекались также на строительство города люди подневольные, оступившиеся. Выстроили Усть-Илимск и стали жить: и в радости, и в печали, и в достатке, и в нужде — все вместе.

Шло время... Подули холодные ветры перемен, принесли с собой мысли и намерения алчные, поступки и дела недобрые. Стали они витать

над городом и окутывать улицы и дома, души и тела людские в виде пыли, грязи и нечистот.

Но обитали в среде людей силы скрытые, силы грозные, справедливые. Вышли они из Непроявленного, и была в них Синергия и Воля, и нельзя было эти силы обмануть. Потому что видели они прошлое и настоящее, и понимали будущее в его закономерностях и случайностях, так как знали, что будущее — это причина и следствие былого. Из Синергии и Воли создали они неизливаемой Чашу. Наполнили эту Чашу силой своей в образе всеочищающей воды. Мощные, всепроникающие потоки пролились на город и унесли пыль, грязь и нечистоты в клоаку. Очистился город, и радуга на небе возвестила об этом. И назвали Чашу «Ливень».

После этого силы скрытые, силы грозные ушли в Непроявленное, оставив Чашу из чистого серебра с надписью «Ливень», поручив беречь её Хранителю. Для Чаши этой мастер-краснодеревщик изготовил из скрученной древесины лиственничной породы ковчег-ларец цвета светлого, солнечного, с радужными разводами. Пропорции золотого сечения отразились в нём. На крышке ларца изображён контур Усть-Илимского района и земной шар, на котором золотой точкой отмечен город Усть-Илимск.

Каждый человек, делающий доброе и нужное, привносит в Чашу «Ливень» нескончаемые капли влаги, поэтому она неизливаемая, всегда наполнена правдой и справедливостью. И когда нужно очищение, изолюют Силы из Чаши на город сильный дождь — ливень.

А ещё пребывает Чаша «Ливень», образ её, у людей, добро совершающих.

Эпилог. Сия серебряная Чаша «Ливень», словно вымтел в советские времена, переходит из одного властного кабинета в другой, напоминая о добре и зле, о том, что сильны искушения мира сего, но сильнее искуса должна быть жажда праведной, благочестивой жизни.

* * *

Валерий Николаевич Шехирев, вдохновенный сочинитель сего краткого и кроткого, но яркого, мудрого гимна правде, изустно поведал и древнюю легенду: в неких землях поселился дракон, обративший народ в рабов. Но пришёл могучий воин, победил дракона, сел в его царское кресло и... постепенно стал превращаться в дракона. Сию легенду Валерий Николаевич поведал друзьям не забавы ради, а в назидание: Царь Небесный, оборони нас от соблазнов мира дольного, укрепи в душе любовь к Вышнему, любовь к ближнему, умиленную и сострадательную, и спаси, Блаже, души наши ради мира горного.

ОЛЬГА ОЛЁКМИНСКАЯ

Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» - 2014



Зал литературных вечеров

Наступление лета, времени плодотворного и цветущего, Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова отмечает традиционными литературными встречами с именитыми деятелями современной культуры, хранителями Слова и Порядочности в Слове, с теми, кому не безразлично духовное настоящее и будущее нашего народа.

Открывая Литературные вечера, известный критик, литературовед, прозаик Валентин Курбатов сказал: «Сегодня проходят VIII писательские встречи, родился же этот проект семь лет назад, в юбилейный для Валентина Распутина год — писателю исполнилось 70 лет. Столько же времени прошло со дня рождения драматурга Александра Вампилова. Раздумывая над тем, как отметить эти важные для Иркутска даты, мы вспомнили Вампиловскую пьесу «Прошлым летом в Чулимске», спектакль по которой и сейчас идёт на сцене Иркутского академического театра. В этой истории официантка Валечка постоянно чинит калитку, и когда у неё спрашивают: «Зачем?», отвечает: «Чтобы забор был целый». Так появилась мысль под этим негласным девизом провести в Иркутске Литературные вечера, и назвать их «Этим летом в Иркутске» — в память о «Прошлым летом в Чулимске». С тех пор литераторы приезжают сюда и упрямо поднимают «забор» культуры и русского духа, чтобы вместе с Валентином Распутиным стеной стать на защиту всего поистине дорогого и важного. Когда готовятся литературные встречи, мы поглядываем друг на друга через всё пространство России и чувствуем взаимную ответственность: нельзя солгать, участники прежних Литературных вечеров не дадут нам это сделать. И мы уже не можем разлучиться и слетаемся на эти встречи как одна семья».

Литературный вечер с Владимиром Толстым

В первый вечер иркутяне общались с Владимиром Толстым, праправнуком великого писателя Льва Толстого, заслуженным работником культуры России, советником президента России по культуре и искусству, председателем Совета при президенте России по



Владимир Толстой

номышленников. Есть сотрудники, которые посвятили ей более 50, 60 лет. Ушедший из жизни, но незабываемый Николай Павлович Кузьмин был дружен со старшим сыном Толстого — Николаем Львовичем. Валентину Александровну Лебедеву (которой совсем недавно исполнилось 90!) принимала на работу внучка Толстого Софья Андреевна Толстая-Есенина. Это всё вроде бы из какой-то прошлой, далёкой жизни, но вот они, эти люди, из рук в руки передававшие удивительные яснополянские традиции. Существование этих живых связей стало возможно благодаря отсутствию революционных преобразований, сокращений, оптимизаций. В коллектив постоянно вливаются группы молодых сотрудников, но остаются и старшие. Преемственность создала сплав хранительского консерватизма и молодого энтузиазма, нововведений энергичных, современных людей. В результате в «Ясной Поляне» действует множество проектов, из недавних — только что завершившийся «Весь Толстой в один клик», усилиями наших сотрудников и волонтеров позволивший за несколько недель перевести в электронный формат 90-томник Толстого».

Вопросы участников Литературных вечеров коснулись, прежде всего, развития русского языка и недавно созданного Совета при Президенте России. «В последние годы при реформировании системы образования русский язык стал отодвигаться на периферию школьной программы, — отвечал Владимир Ильич. — Я несколько лет добивался, чтобы в школах восстановили сочинения как обязательный экзамен. Это нужно не просто для проверки знаний, но и для того, чтобы в процессе работы над сочинением, человек учился думать, формулировать свои мысли. Когда президент откликнулся и дал прямое поручение Министерству образования восстановить сочинение в школах, я внутренне ликовал и ожидал такой же реакции от страны. Ничего подобного. Наоборот, подавляющее большинство восприняли возвращение сочинения негативно и настороженно. От учителей литературы это требовало обновления навыков, родители забеспокоились, сами школьники тоже не выразили большого счастья по этому поводу. Но я всё равно считаю, что сочинения необходимы, как необходимо всё то, что заставляет трудиться, напрягать свои возможности. Это принципиальный вопрос системы образования: нужно учить детей полноценно размышлять над литературным произведением и, следовательно, над проблемами современной жизни, а не составлять короткое эссе в сорок слов. Пока преждевременно говорить о том, что мы будем делать, но сам факт президентской инициативы по созданию такого Совета по русскому языку говорит о том, что руководство страны осознало: русский язык требует к себе иного отношения, большего внимания, чем ему уделялось в последние годы. В средней школе его преподавание уменьшается с 9 до 5 часов, в старших классах — с 3 до 1. Но не в одних часах дело, важно и в качестве преподавания. В этом году были вынуждены снизить баллы нижней границы пресловутого ЕГЭ по русскому языку до совсем неприличной цифры — 24 балла! Если бы этого не сделали, то существенная часть наших выпускников не смогла бы сдать экзамен по родному языку, государственному языку, который скрепляет единство страны. Решением этой проблемы и займётся новый

русскому языку. Владимир Ильич был гостем двух первых Литературных вечеров, и на этот раз на июньские встречи приехал вместе с супругой Екатериной Толстой, нынешним директором Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Своё выступление Владимир Толстой начал с рассказа о том, какие проекты реализуются сегодня в «Ясной Поляне», какие люди там работают: «В «Музее-усадьбе» сложился замечательный союз еди-

Совет. Готовить рекомендации будут ведущие лингвисты, языковеды, журналисты, руководители СМИ, писатели. Предполагается также рассмотрение вопросов русского языка в средствах массовой информации. Некогда именно телевидение и радио, печатные СМИ были эталоном правильной речи. Дикторы телевидения проходили специальные курсы классического русского языка в Малом театре. Сегодня это постепенно уходит, но то, что мы слышим с экранов, всё равно воспринимается как норма.

Есть проблемы у русского языка и в мировом пространстве. Две мои недавние зарубежные поездки были в довольно экзотические места. В Колумбию меня приглашали на празднование 70-летия Института культуры им. Л.Н. Толстого, открытого по инициативе колумбийцев в 1944 году. Эти люди всегда интересовались русским языком. В те страшные годы они внимательно следили за событиями фронтов Второй мировой войны, стремились через нашу литературу почувствовать душу русского человека, победившего фашизм. За пару недель до этой поездки я посетил Иран, где меня поразило количество людей, мечтающих читать русскую литературу в оригинале. Но ни в Тегеране, ни в Баготе нет российских центров науки и культуры, которые существуют во многих других городах, поэтому возможности изучать наш язык у местного населения нет. Это большая геополитическая ошибка России — мы теряем свои позиции там, где по-прежнему огромен интерес к нашей культуре, к нашей стране. Конечно, те процессы, которые происходили годами и десятилетиями, мгновенно не исправишь, но, бесспорно, нужно что-то делать».

Спросили Владимира Ильича и о том, какую литературу он любит, что мог бы посоветовать почитать из современной прозы. «Как член жюри «Большой книги» и премии «Ясная Поляна», на протяжении последних лет я ежегодно прочитываю около 60–70 современных произведений. Поверьте, это не развлечение, а каторжный труд. Произведения проходят тщательнейший отбор: эту премию не может получить яркая постмодернистская книга, производящая на читателя разрушающее действие. Мы ищем тексты, написанные в толстовской традиции созидания. Читая современную литературу, мы видим картину сегодняшней России: о чём пишут люди, о чём думают, чем живут. Поэтому шорт-листы и списки победителей премий — это знак качества, по которому можно отслеживать появление новых выдающихся произведений сегодняшней литературы. Хорошие авторы встречаются довольно часто. Могу назвать ярчайшие, на мой взгляд, имена в отечественной литературе последних лет — Захар Прилепин и Евгений Водолазкин. Достойны внимания произведения Павла Басинского, Алексея Слаповского, Владислава Отрошенко, Романа Сенчина, Алексея Иванова, Олега Павлова, Алексея Варламова. В историческом стиле хорошо пишут Антон Уткин, Сергей Шаргунов. Почти каждая книга Дины Рубиной — это настоящий прорыв (я больше всего люблю её роман «На солнечной стороне улицы»). Из юношеской литературы могу посоветовать «Облачный полк» Эдуарда Веркина. Из зарубежной литературы мне нравится не совсем современная: Ричард Бах, Джозеф Хеллер, Джон Фаулз, Торнтон Уайлдер, Джон Апдайк, Франсуа Мариак, Филипп Рок, Габриэль Гарсиа Маркес, Джеймс Джойс.



Владимир Толстой и Валентин Курбатов

Есть целый пласт качественной отечественной литературы 80–90-х годов, которую раньше мало печатали и сегодня почти не издают, например, произведения Виктора Лихоносова. И, конечно же, я всегда люблю перечитывать книги Валентина Распутина и Виктора Астафьева, людей, которых я хорошо знаю. Сегодня образовался незримый мощный мост между «Ясной Поляной», находящейся далеко в Тульской губернии, и Иркутском. Гостями Литературных встреч по большей части являются бессменные

участники яснополянских встреч, лауреаты самых престижных литературных премий России: Михаил Кураев, Игорь Золотусский, Лев Аннинский, Валентин Распутин, Алексей Варламов, Павел Басинский».

Рассказывал Владимир Толстой и о жизни, о творческой деятельности Льва Николаевича Толстого, о его религиозных взглядах: «Отлучения от церкви, в прямом значении этого слова, не было. Было определение Священного Синода об «отпадении графа Льва Толстого от лона Православной Церкви» — очень деликатная формулировка, по смыслу близкая к отлучению. Но такая форма, мне кажется, была не случайна. Действительно, в романе «Воскресение» есть сцены, отрицающие евхаристию, а потому кощунственные с точки зрения православного верующего. Не буду пытаться оправдывать Льва Николаевича, единственное, что хочется сказать: он очень долго колебался вставлять эти сцены в роман или нет. В конце концов, окончательно ввёл их по настоянию своего друга Владимира Черткова. Толстой в силу своей предельной честности не мог принимать на веру какие-то вещи, в которые не мог поверить умом. Он очень многое воспринимал буквально, а для религиозного чувства — это почти неодолимое препятствие... Но я убежден в глубокой христианской сущности всего творчества Толстого».

«У Льва Николаевича было выражение «православный из приличия», — добавляет ведущий вечера Валентин Курбатов. — Если мы взглянем в себя сегодняшних, то увидим, что слишком много сейчас среди нас православных из приличия. Такой неправды Лев Николаевич перенести не мог, потому что сам был весь открытая искренность. Сегодня чтение его произведений тем и драгоценно, что вглядываясь в Толстого, всей жизнью его, всеми стремлениями мы формируем в себе православное сознание, не просто «приличное», а точное, ясное, сильное и достойное».

На вопрос о том, чувствует ли Владимир Ильич близость к гениальному Толстому, гость Литературных вечеров ответил: «Можно произносить эти сложные «пра-пра», но когда нужно очень просто объяснить, кем мне приходится Лев Николаевич, говорю, что он дедушка моего дедушки. Помню, как будучи маленьким, я часто гулял со своим дедом и сидел у него на коленях. А он помнил, как он сидел на коленях у Льва Николаевича: когда Толстой умер, ему было 11 лет. Это расстояние двух коленей. Тепло ещё чувствуется».

Светлое ощущение встречи с человеком равнодушным, возвращающимся в Иркутск с радостью, подарило иркутянам общение с Владимиром Толстым. С каким пониманием на вопрос о том, кто из современных писателей является хранителем исконно русского языка, назвал он имя Валентина Распутина, сидящего тут же, в зале Иркутского академического театра. Как согласно, не сговариваясь, подался вперёд зал, услышав это родное имя, гордостью и надеждой отдающееся в сердцах земляков!

На вопрос о том, чему радуется душа, Владимир Ильич ответил очень просто: «От любой возможности побыть дома, в «Ясной Поляне». Сейчас часто нахожусь в Москве, на рабочем месте, поэтому время, проведённое с семьёй, особенно в те редкие случаи, когда все собираются вместе, это огромное счастье. Счастье — улучшение самочувствия мамы... Очень люблю природу: погулять по лесу, посидеть у речки. Большая радость, когда в огромном списке премиальной литературы, которую нам надо прочитать, попадается хорошая книга, новый автор или удача человека, которого ты знаешь. Вот всё, что мне нужно для счастья».

Поэт из царства цветов

Как сказал критик и публицист Валентин Курбатов, по тому, как собравшиеся 17 июня на Литературную встречу с Александром Карташовым жадно вслушивались в звучащие образы, мы увидели острую необходимость человека в простоте и красоте Слова. В этот вечер над Иркутском гремел страшный гром, перешедший в краткий, но мощный ливень. Удивительным образом слились на сцене читающий свои стихи поэт и грохочущая за стена-



Александр Карташов

не рисующих. Природы двойной каприз. Не знаю поэтов не рискующих — иду на риск». Существует некий внутренний код мира, и если ты его каким-то образом распознаешь, то одно может переходить в другое: слово — в цвет, цвет — в звук, звук — снова в слово. Отмечают, что мои стихи порой живописны, а картины — поэтичны. Одно перетекает в другое. Для меня каждая буква имеет не только свою форму и звук, но и цвет, и даже запах. Ещё строки: «Мои таланты и грехи в моей душе всегда едины. Когда я трезв — пишу картины. Когда я пьян — пишу стихи». Слово «пьян», конечно, связано не с алкоголем, а с ощущениями эйфории: когда накатывают сильные откровения — пишешь стихи, а когда настроение более прозаичное — картины. И вообще, мне кажется, что поэзия сама по себе является картиной. Только картиной иного, иррационального мира.

— Вы как будто не читаете, а выпеваете стихи. Вы слышите музыку стихотворения?

— Это состояние трудно передать. Каждый стих всегда читается мною по-своему, потому что определенная музыка заложена в составе самого стихотворения, в словах, которые каким-то образом там подобрались. Что здесь первично, я не знаю. Наверное, не надо ничего разнимать, пусть это делает наука: она пытается расчленишь, оторвать одно от другого. А я всё-таки занимаюсь созиданием.

*Стучит в висках. Стучит в висках:
мне двадцать восемь. Двадцать восемь.
...Уже октябрь в дождях отполоскал
и вывесил высушиваться осень.*

*Я ничего у жизни не просил,
теперь я думаю, что, может, и напрасно;
сквозь жёлтый цвет листвы моих осин,
как будто кровь, просачивался красный.*

*Уже и дни становятся светлей,
не оттого ли, что светает поздно?
В такие дни больной душе моей,
как яблокам на яблонях, морозно.*

*Уже холодный ветер обласкал
и трогает волос моих колосья...
Стучит в висках. О, как стучит в висках!
Мне двадцать восемь... Было двадцать восемь.*

— Вы посвящаете стихи конкретной женщине или у вас нет определённой «музы»?

— Женщины, с которыми я общался, часто на меня обижались, потому что я никогда никому ничего не посвящал: Наташе, например, или Кате. Какие-то черты в стихах всё равно просвечивались, и я с надеждой думал: ты сама себя там увидишь, и это будет вдвойне приятно... Мне кажется, поэзия никому не должна принадлежать: она всегда говорит о любви. В своих стихотворениях я очень редко использую слово «любовь», чтобы не затереть его. У меня есть написанная от женского лица поэма под названием «Ты». Очень странный опыт, но не специально придуманный, это просто случившаяся вещь. Мне было очень приятно, когда женщины, прочитав её, со слезами на глазах говорили: «Как точно вы показали женщину!»

*«Прости» похоже на «прощай».
Прости — и всё тебе простила.*

*Ты ничего не обещал,
я ничего не попросила.*

*«Прости» похоже на «пусти»;
прости — отпущен грех смертельный.
Уходишь ты других крестить,
на мне оставив крест нательный.*

*«Прости» похоже на «прошу»;
прости — и всё тебе простится,
пока однажды не решишь
в самой себе с тобой проститься.*

«Прости» похоже на «прощай»...

— *Что вам нужно для вдохновения?*

— «Вдохновение» звучит слишком пафосно. Я внимательно отношусь к словам, и порой мне кажется, что с ними что-то происходит: они отрабатывают себя, теряют вид. Слово — это живой организм, оно как человек может заболеть, может плохо себя чувствовать. Нужно просто положить его в «лазарет», спрятать, дать ему отлежаться. Пройдёт время, и всё с ним будет хорошо. «Вдохновение» относится как раз к таким словам, не потому что оно устарело, а потому что его затерли, часто использовали в графоманских вариантах. Давайте позволим ему немного отдохнуть. Возвращаясь к вопросу, скажу, что это чувство мне может подарить любовь во всех её проявлениях. Но бурные чувства — не гарантия создания произведения искусства. Иногда достаточно просто увидеть какую-то веточку — и складывается целая картина жизни. Можно увидеть мир, путешествуя, а можно узреть его и в капле росы.

*Как чудны эти свадьбы мая!
Цветов девичья суета,
и яблонь белая фата
летит, как ангельская стая!
И ветер, в лепестках играя,
доносит запахи с куста,
и с белой пеною у рта*

*сирень кричит, изнемогая.
То многоликая Весна
приходит со своим приданым.
Кругом бушует белизна!
И сад родителем коварным
пирует среди гостей без сна
и женит яблони обманом.*

Говоря о своём творчестве, Александр Карташов рассказывал об особой любви к цветам: «У меня своё ощущение природы: я понимаю её язык. Идёшь по лесу, и вдруг шиповник что-то нашепчет... Я очень люблю собирать полевые цветы, но рву только те, которые сами просятся в руки. Берёшь букет, несёшь его и слышишь, как они шуршат, радуются, что их заметили, бережно взяли и принесли на праздник. Иногда даже засохшие цветы долго не выбрасываю, потому что получаются очень интересные формы. В одном моем сонете есть такие строчки: «Не дайте умереть цветам, они и так живут недолго». Мне представляется, как Господь создал растения, животных, человека и сказал им: «Развивайтесь!» А потом, спустя миллионы лет, выставляет всем оценки. Человеку — воюет, истребляет сам себя и природу — трюечку. Животным — дерутся, рвут друг друга, но без злого умысла — четвёрку. Растения, цветы — посмотрите, какая жертвенность! Их все топчут, едят, а они позволяют это делать. И какое многообразие! Какие ароматы! Цветы — это яркий пример того, что нужно жертвовать, и тебя будет больше. Бытие цветка наиболее полно соответствует заповедям, по которым мы все стараемся жить».

*Не забудьте меня, незабудки!
Я был в жизни такой же, как вы,
невесомый, красивый и чуткий
среди тёмно-зелёной травы.
Я такой же доверчиво-дерзкий,
мне неведом житейский предел.*

*Даже в детстве совсем не по-детски
я подолгу на небо глядел.
Но во взгляде нездешнем всё меньше
и желаний, и жизненных сил.
В колокольне по птицам умершим
в синий колокол день отзвонил.
Певчих птиц отличают по грудке,
по глазам — неземные цветы.
Не забудьте меня, незабудки!
Я теперь не боюсь высоты.*

Мозаика древнерусской литературы

Гостем третьего Литературного вечера стал доктор филологических наук Евгений Водолазкин — серьёзный учёный, исследователь древнерусской литературы, работающий в знаменитом Пушкинском доме Российской академии наук, куда его пригласил Дмитрий Лихачёв. Многие годы Евгений Германович трудился бок о бок с этим удивительным человеком, которого называли совестью русской культуры. Совсем недавно Евгений Водолазкин буквально ворвался в русскую литературу: его первое произведение «Соловьёв и Ларионов» вошло в шорт-лист премии «Большая книга», второй роман «Лавр» получил все главные российские призы и награды в области литературы. На вечере в Иркутском академическом театре Евгений Германович рассказал слушателям о том, какой была литература Руси до того, как стала литературой в сегодняшнем понимании этого слова.

«В средневековых текстах сочинительство было недопустимо, и вот почему, — рассказывал Евгений Германович. — Тот, кто придумывает, лжёт, а ложь связана с тёмными силами. Самым главным для человека того времени была Истина, которую авторы и пытаются в каждом тексте бережно передать потомкам. Литература не была художественной: она почти не задумывалась над тем, как писать, важно — о чём.

На Русь литература пришла вместе с Крещением. С принятием христианства появились книги, толкующие Священное Писание, дающие возможность отправлять богослужение. Именно религия стала тем центром, вокруг которого образовалась русская культура в том виде, какой мы знаем её сейчас. Для нашей страны это событие стало этногенетическим фактором: из многочисленных племён был создан и осознал себя единый русский народ. До Крещения Древняя Русь стояла вне исторического времени. Когда летописец начинает рассказывать о русской истории, он находится в очень трудном положении. Ему известны какие-то легенды, устные воспоминания, и из отдельных событий нужно сделать историю. Рассказывая, например, об Олеге, который умер от своего коня, летописец сомневается: история это или нет? Можно о таком говорить в летописи или нельзя? Поэтому в начале рукописи он опирается на Библию, рассказывая о разделении земель между сыновьями Ноя. Встраивая Русь в определённый исторический контекст, выясняет, какое место в мире занимает русский человек, и определяет, что он принадлежит к колену Иафетову.

По выражению Николая Лескова, литература того времени напоминала лоскутное одеяло орловских мещанок: тексты не придумывались, а составлялись из других, созданных ранее. Рассказывая о происшедшем, не просто пересказывали сюжет, но брали текст, описывающий похожее событие. Например, говоря о кончине Святополка Окаянного в «Повести временных лет», летописец использует фрагменты текстов о царе Антиохе IV Эпифане и об Ироде. Первый он берёт потому, что там описывается смерть в пути, в чужой земле. А во втором речь идёт об окаянном Ироде. И он одного окаянного описывает текстом другого окаянного. Это ещё одна особая черта в Средневековье: между должным и сущим часто ставился знак равенства. В литературе того времени причинно-следственных связей между событиями не было (это свойство не только русского текста, но и всей

средневековой историографии). Замечательно на этот счёт писал Дмитрий Сергеевич Лихачёв: «Летописец не устанавливает прагматической связи между событиями не потому, что он её не видит, а потому, что видит связи высшие». Например, один человек обидел другого, а тот, в свою очередь, оскорбляет его в ответ. С точки зрения современного сознания, логическая цепочка предельно ясна. Но у средневековых людей всё было иначе. Когда персонаж А обидел персонажа Б, в первую очередь, своим поступком он обидел не его, а Бога. И Бог наказывает его руками персонажа Б.

Переводились христианские тексты либо в княжеских скрипториях, либо в монастырях. Эти книги рассказывали о Боге и о мире как о творении Бога; показывали, какой должна быть история, как надо строить свою жизнь, чтобы не повторять ошибок предшествующих народов. Постепенно на Руси появляются святые, и этим новое государство утверждается не только само по себе, но и по отношению к окружающему миру. Например, византийцы — наши учителя в религиозном знании — не понимали, за что нужно канонизировать Бориса и Глеба, считая этот конфликт династической распрей. Им не казалось святостью то, что Борис и Глеб предпочли умереть, но не пошли на преступную войну с братом Святополком. А русские объяснили, что эти святые «Христу уподобишесь» — последовали примеру Иисуса, — и в этом их подвиг.

О жизни святых рассказывает агиографический жанр жития, и он имеет те же черты, что и летописные сказания. Если были сведения о жизни святого, переписывали их. Но когда о нём было мало что известно, брали историю его небесного патрона или другого святого с таким же именем. Например, житие Кирилла Новозерского включает в себя историю Кирилла Белозерского: считалось, что если они уподоблены в имени, у них в некоторой степени похожая судьба. Имя для христианина очень многое определяло, и в мистическом смысле агиограф чувствовал, что у него есть право так описывать святого.

Средневековый автор создавал «идеальный текст» из хороших. С нашей точки зрения, это плагиат, а известный византист, немецкий учёный Карл Кромбахер, называл это явление «литературным коммунизмом» — все тексты принадлежали всем. Как правило, большинство древнерусских рукописей анонимны. Летописец заимствовал написанное ранее не для удовлетворения своих амбиций, а из бескорыстной любви к Слову, и, завершив работу, тоже её не подписывал. Средневековый человек — выразитель не персонального мнения, а общей точки зрения на предмет. Потому так высоко было на Руси доверие к письменному Слову, на инерции которого мы живём до сих пор.

Интересно, что человек, не выражающий персональной точки зрения, не пользуется и персональным стилем. Есть стиль жанра: житие, летопись. Когда Нестор пишет житие Феодосия Печерского — это один стиль, когда составляет летопись — переходит в другой. Это одно из фундаментальных свойств древнерусской культуры. Существовал и так называемый «литературный этикет»: злодей говорит, что он злодей; хороший человек — что он добрый. Все персонажи передают читателю должные вещи или истины, которые нужно выразить. Так, в «Казанской истории», посвящённой взятию Иваном Грозным Казани, Мамай обращается к своим соратникам: «Братья мои измаиловичи, и вы, беззаконные агаряне!» Он называет своё войско беззаконным, потому что оно является таким с точки зрения русского человека.

В современной литературе тексты довольно быстро устаревают: прежние мгновенно закрываются новыми. Не так это было в Средневековье. Часто под одной обложкой находились тексты, разница создания коих составляла тысячу лет. Рукописи были невероятно долговечны и актуальны. И если в новом тексте встречалось то, что уже где-то написано, то это только подтверждало истинность сказанного. Тогда не было идеи прогресса, не считалось, что завтра будет лучше, чем вчера. Всё лучшее уже было. Главной точкой земной истории средневековый человек считал воплощение Иисуса Христа, и всё последующее — только отдаление от этого момента.

Средневековый текст безграничен: он продолжается во всякой рукописи. И осязаемый предел ему положило только зародившееся книгопечатание. С его появлением закончилось Средневековье и наступило Новое время с совершенно другим отношением к тексту. Мне кажется, что сегодня мы наблюдаем завершение и этого периода в развитии

общества: пройден очередной многовековой цикл, я чувствую это и как литературовед, и как литератор. Будущие поколения ждёт новая эпоха, которая в чём-то будет совпадать со Средневековьем. Дмитрий Сергеевич Лихачёв любил повторять, что время, как игла, проигрывает события, которые уже записаны на одну историческую пластинку. Сегодня новые власти в новообразованном государстве спокойно переписывают историю, но делают это из корыстных побуждений. Чем дальше, тем больше будет цениться не текст, а истина в нём содержащаяся; поиск её в огромном потоке информации — то, чем займутся будущие поколения».

Зрителей интересовал вопрос, касающийся авторства энциклопедии «Слова о полку Игореве». «Поиск автора — это наша беда, — рассказал Евгений Германович. — Каждый год читатели присылают нам свои мысли по этому вопросу. Часто пишут люди сумасшедшие или те, кто находится на грани нормального состояния. Почему-то сумасшедших очень интересует автор «Слова о полку Игореве»... Если им не отвечают, они пишут в прокуратуру. Есть исследователи из области «кто как не он!» Почему такой интерес? Это небольшое произведение, прочесть и разобрать его можно достаточно быстро. Но у литературоведов Пушкинского дом РАН нет ни малейших оснований приписывать его создание кому-нибудь из известных в то время людей. Я придерживаюсь позиции Дмитрия Лихачёва, который не определял личность, а описывал социальный портрет автора. Скорее всего, им был талантливый и весьма образованный дружинник или профессиональный поэт, состоящий при войске или дворе князя Игоря».

Спросили писателя и о природе времени в произведении «Лавр». «Одна из главных идей романа состоит в том, что времени нет, — отвечал Евгений Водолазкин. — Не в буквальном бытовом смысле, а в более высоком. Ведь если смотреть с точки зрения вечности, времени действительно нет. Его не было в раю, оно предьявляется человеку только при грехопадении. В Ветхом Завете описывается, что люди вели невероятно длинную жизнь. Адам жил 930 лет, Ной 950... Можно по-разному относиться к этим данным, но ощущение древних людей, что тогда жизнь была длиннее, они передают в любом случае. На лицах наших праотцев сияло райское вневременье. Потом возраст пошёл на убыль. Вечность всё уходила и уходила. В романе «Лавр» эта идея отражена на нескольких уровнях. Во-первых, там есть люди, которые постоянно что-то предсказывают. Это движение во времени даётся только святым людям. Исполняющиеся пророчества — если можно говорить о событиях, которые ещё не происходили, — тоже свидетельства того, что времени нет. И вместе с этим существует время, которого не будет: все мы уходим в вечность. Святые — это те люди, которые уже частично перешли в вечность при жизни».

Один из вопросов, заданных писателю, был посвящён происходящему сегодня на Украине. «Мы братские народы на генетическом уровне, ветви одного древа, — говорил Евгений Германович. — Я там вырос, на Украине, и мне особенно больно, что так всё происходит. Во времена моего детства и юности в Киеве ощущалось состояние, которое



Евгений Водолазкин

Солженицын очень точно определил как «дремотное неразличение наций». Сейчас всё по-другому. Идёт борьба между центрами силы: Россией, Евросоюзом, США (и Россия в этом конфликте совсем не активная сторона). Но как историк, я понимаю, что иначе быть не может. Всю историю человечества государства меряются силами. Это жестокий, в чём-то дарвиновский сюжет: выживает сильнейший. В древности это противостояние выражалось примитивно, сейчас оно приобрело более рафинированные формы, но стало

не нравственнее, а в чём-то даже безжалостнее. Как смогли из единого народа, которым были мы с украинцами, сделать два подозрительно смотрящих друг на друга клана!

Это один уровень истины, политический, исторический. Но есть и другой — духовный, персональный. Отношения между народами не могут иметь нравственную составляющую, потому что у государства есть только целесообразность. Нет нравственных или безнравственных стран, таким может быть только человек. Эпохи переворотов, войн, революций страшны тем, что высвобождают в нём всё худшее, что только может быть, подавляемое в спокойное время государством и правосознанием нормального общества. Все эти механизмы отказывают в моменты потрясений, и человек начинает творить мерзости, на которые не осмелился бы в нормальной ситуации. Мне кажется, период такого забвения сегодня наступил на Украине. Очень важно не поддаваться общей злобе, сохранять своё «Я». Христианство — очень персоналистическая религия, потому что наш ответ на Страшном Суде персонален. Спрашиваться будет не с коллектива или толпы: каждый отвечает только за себя и за тех, кто входит в его «Я», — за своих детей. Свою жизненную позицию я определяю как христианский персонализм: не вступаю ни в какие партии, ассоциации по политическим, идеологическим мотивам, потому что когда ты к кому-то присоединяешься — это как комплексный обед, в котором обязательно есть блюдо, которое ты не ешь, а ведь съесть заставят. Если бы я сейчас жил в Киеве, то постарался бы сохранить своё персональное начало и спокойствие оценки происходящего.

Традиционно к Литературным вечерам издательством Геннадия Сапронова были выпущены две книги: поэтический сборник Александра Карташова «Трилистник» и «Пара пьес», в которую вошли две пьесы Евгения Водолазкина — «Музей» и «Пародист».

Завершить рассказ о Литературных вечерах «Этим летом в Иркутске» 2014 года хочется словами Валентина Курбатова, которые он произнёс на встрече с читателями Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского: «Когда-то Михаил Бахтин, философ и учёный, мальчиком в двадцать один год написал лучшую свою статью «Искусство и ответственность», где было сказано самое дорогое: «Если вам не нравится ваше искусство, взгляните в зеркало: не вы ли дали ему повод быть таким низким. А если вы не понравились в зеркале сами себе, вспомните, что прочитали вчера — не дурная ли книга исказила ваше лицо. Мы связаны с книгой, кино, телевидением смертельной связью, и если одно звено окажется повреждено, исказится вся цепь».

Все мы дети Толстого, Достоевского, Некрасова, Пушкина — все до одного. Конечно, мир вокруг нас меняется, всё чаще раздражает поэтов политическая мысль, но мало кто её слышит. Прохожие идут мимо, прорываются сквозь текст, который (как кажется тещу) и мёртвого мог бы остановить! Но политический глагол уже не достигает нашего сердца. Уходит из литературы и пейзаж. Она предпочитает говорить о разборках, убийствах, деньгах, а меж тем пейзаж писали не для того, чтобы словесно изобразить картину. Он

был необходим для того, чтобы потом, когда человек заговорит, было понятно, дитя какого он пространства. Звучат ли в его речи туманы, летит ли кукушка, поднимаются ли рассветы... живёт ли он посреди России. Сегодня не принято так говорить. Когда мы с вами в последний раз слышали слова «народ», «Родина», «Отечество»? Они стали забытыми, устаревшими. Раньше, произнося «народ», знали, о чём мы говорим, чувствовали это спиной. А сегодня скажем «народ» — и провалимся. Поэтому сейчас мы с таким беспокойством глядим на Слово, на то, как оно расточается, становится непонятным. Если мы вернём его, то спасём



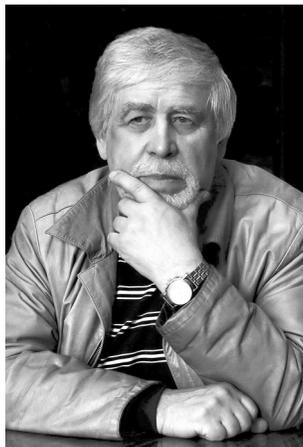
Валентин Курбатов

Отечество, и детки наши будут здоровы, и внуки, и правнуки. Вот для этого мы с вами и собираемся на Литературных вечерах «Этим летом в Иркутске». На них Слово возвращается в культурное пространство, но не в том развязном виде, который часто наблюдается в книжных магазинах, с кричащим на роскошных, блистательных обложках желанием: «Купи меня, и меня купи!» Оно приходит к нам в первоначальном высоко-сущностном значении. Странно представить, что где-нибудь, кроме Иркутска, можно было бы сегодня собрать полный зал на вечер литератора. Здесь слышится особая интонация, внутреннее настроение, ответственность перед Валентином Распутиным за состояние духа, за чистоту, за внутренний порядок».

Фото Анатолия БЫЗОВА



ВЛАДИМИР СКИФ



Байкальское Переделкино

Главы из книги

Леонид Бородин

Нет Байкала без выдающегося русского писателя Леонида Ивановича Бородина, и нет Бородина без Байкала. В последние годы жизни при всяком удобном случае Леонид Иванович стремился на родные байкальские берега, где среди фантастической красоты скал и деревьев, туманов и бескрайних горизонтов, в искрящемся сиянии многоцветного озера проходило его детство. Родители Бородина трудились в Маритуйской средней школе, и, конечно же, из первых маритуйских впечатлений вырастала его звонкая, чистейшая проза «Год чуда и печали». Эти впечатления были самыми сильными и оставались рядом с ним во всей его жизни.

«К Байкалу мы подъехали в ночь на третьи сутки. Тщетно я вглядывался в дверную щель. Темнота, как назло, была непроглядная. Но на первой же остановке я сразу обратил внимание на незнакомый шум. Что-то большое и тяжелое вздыхало не то сердито, не то угрожающе где-то совсем рядом с вагоном, и от этих вздохов несло холодом и сквозняком,

СКИФ Владимир (Смирнов Владимир Петрович), поэт (род. в 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской обл.). Автор многих книг, в т. ч.: «Зимняя мозаика» (Иркутск, 1970); «Журавлиная азбука» (Иркутск, 1979); «Бой на ратирах»: литер. пародии (Иркутск, 1982); «Грибной дождь» (М., 1983); «Живу печалью и надеждой» (Иркутск, 1989); «К сопернику имею интерес»: литер. пародии (Иркутск, 1993); «Над русским перепутьем» (Иркутск, 1996); «Золотая пора листопада» (Иркутск, 2005); «Письма современникам» (Иркутск, 2005); «На срезе времени зелёном» (2006); «Новые стихи» (М., 2007); «Русский крест» (М., 2008); «Молчаливая воля небес» (Иркутск, 2012); «Все боли века я в себе ношу» (Иркутск, 2013); книг детских стихов: «Зайчик» (М., 2007); «Шла по улице корова» (Иркутск, 2007) и др. Член Союза писателей России. Секретарь Правления Союза писателей России.



Леонид Бородин и Владимир Скиф

и воздух был совсем не такой, как везде раньше, почему-то все время хотелось вдохнуть его как можно больше, и оттого кружилась голова и грудь распирало то ли свежестью, то ли сыростью, а запах, шедший оттуда, из темноты, не напоминал ни о чем знакомом и был так силен, что подавил все запахи вагона и как бы сам просился в ноздри. Несколько часов мы ехали по берегу Байкала, хотя я никак не мог представить, как можно ехать по берегу и, тем более, как выглядит этот берег. Была такая же непрглядная темнота, когда отец возвестил, что мы приехали, и удивительно, что во тьме этой нас встречали. Двое мужчин влезли в вагон, жали руки отцу с матерью, поздравляли их с прибытием и меня тоже, а меня каждый из них хотел чем-то угостить, лез в карман, но ничего там не находил и обещал завтра: один — показать шкуру медведя, другой — покатать на лодке. Так много было новых впечатлений и ощущений, что я с какого-то момента впал в транс и плохо помню дальнейшие события. Помню, как в темноте разгружали вагон, перетаскивали вещи, по темноте меня вели куда-то, а с одной стороны теперь уже отчетливо и, казалось, где-то рядом, под ногами, вздыхало все то же неизвестное существо, и холод с той стороны, не летний, скорее позднесенний, шел сплошным потоком и ощущался лопатками».

Всякий раз, в Дни праздника русской духовности и культуры «Сияние России», который вот уже двадцать один год «сияет» в Иркутске, мы отправляемся в путешествие по Кругобайкалке. Двигаться по берегу Байкала мы можем как со стороны порта «Байкал», так и со стороны Слюдянки и Култукка. Я заметил, что каждый раз, попадая на станцию Маритуй, поезд стоит дольше, чем на других остановках. Позже я узнал, что в Маритуге наш поезд ждёт встречного и уступает ему дорогу (путь-то один), а раньше мне казалось, что стоял он больше положенного времени в угоду нашему земляку, большому московскому писателю и главному редактору одного из лучших русских национальных журналов «Москва» Леониду Ивановичу Бородину. У меня и тени сомнения не возникало в обратном, поскольку Бородина знали многие, а в Маритуге особенно — ведь это его родина. И если гостем праздника оказывался Леонид Бородин, то он максимально использовал полчаса времени на Маритуге, чтобы обойти родные места, и всякий раз за ним шла большая группа писателей, как иркутян, так и гостей «Сияния». А Бородин, оживлённый и счастливый, шёл вдоль станции, показывал на высокую гору, где он встречался со старухой Сармой, стариком Байколлой и девочкой Ри, жестикулировал и вспоминал односельчан и одноклассников, здесь когда-то живших. А передо мной, как будто наяву, являлись строки из «Года чуда и печали»:

«Помню, прежде чем войти в дом, на первой ступеньке крыльца я взглянул вверх на небо и ужаснулся: оно было обрезано по бокам темными громадами, и я догадался, что это горы, а дом наш внизу между ними. А место, где мы теперь будем жить, это... могила для тысячи слонов! — именно так мне подумалось. Стало страшно и захотелось спать. Проснулся я, как в сказке, совсем в другом, новом мире. В комнате было ослепительно светло, на стене напротив меня — это первое, что я увидел, — висел косой и теплый квадрат солнца. Комната уже приняла жилой вид, и я сам оказался не на матрасе в углу, где свалился ночью, а на кровати у самого окна, по краям которого уже висели знакомые занавески, на подоконнике стоял знакомый горшок с цветком, и в окно всей полнотой диска глядело солнце, так что и взглянуть было нельзя, и я совсем напрасно,

прикрывая глаза ладонью, пытался рассмотреть, что же там, за окном. Но вспомнив, что это не вагон, что у дома есть дверь и что за нею все в моем распоряжении и навсегда, — я тут же натянул брюки, рубашку, кое-как завязал шнурки на ботинках, еще не зная расположения дома, чутьем бросился к одной из двух дверей, попал на кухню и, не сказав ни слова маме, даже не взглянув на нее, даже носом не поведя на вкусные запахи с плиты, всем телом стукнулся по входной двери, затем по сенной и выскочил на крыльцо. «Могила для тысячи слонов» оказалась громадным ущельем, куда можно было упрятать и сто тысяч. Горы оказались намного выше, чем это угадывалось ночью, ничего подобного я и представить не мог. Крыльцо выходило в сторону ущелья, и справа от меня на самой вершине горы, на желтой отвесной скале сидело, свесив ноги, солнце. Сидело оно так удобно и уютно, что можно было подумать, будто в этих местах оно вовсе не ходит по небу, а весь день пребывает в каменном кресле, к ночи лишь прячется за его спинку. Оба склона ущелья снизу были покрыты кустарником, дальше начинался березняк, а еще выше хвойные деревья вплотную друг к другу — и это была уже, наверное, тайга. Я еще не знал, что кустарник — это багульник, а хвойные деревья — кедры, а лес называется кедрачом, я еще ничего не знал о том, что вокруг, я только стоял на крыльце и шалел от небывалости и невиданности».

Я точно знаю, что ни у кого из писателей, живших или ныне живущих на Байкале и в Иркутске, в их очерках и рассказах нет описания ранних, детских впечатлений о великом море-озере. Каждый из тех, кто рассказывал о Байкале, рисовал картину, увиденную во взрослом состоянии, и эти впечатления, какими бы они ни были яркими и неожиданными, не передают подобных картин и чувств, какие испытал Леонид Бородин:

«Впереди, где ущелье словно сходило на нет, поперек ущелья просматривалась другая гора, она казалась еще выше. А слева по каменистой ложбинке мне навстречу прыгала по камням речушка, и как только глаза мои притерлись к увиденному, слух заполнился журчаньем этого горного ручья, бегущего куда-то за дом. Вдоль этого ручья-речки, дальше по ущелью, стояли дома, причем один над другим, между ними петляла и горбилась дорога и упиралась затем в большое двухэтажное здание в глубине ущелья; я догадался, что это школа. Левая сторона ущелья была ближе к нашему дому, и я снова окинул ее взглядом всю от подножья до горизонта, который так непривычно висел над головой. Тут я впервые испытал то чувство, которое сохранил на всю жизнь: горы существуют для того, чтобы на них взбираться. Не помню, сколько лет назад я последний раз забирался на какую-нибудь гору, но каждый раз, попадая в горную местность, каждую гору, каждую скалу примериваю и оцениваю: здесь бы уцепился, там подтянулся, тут перепрыгнул... И каждый раз, когда мне встречается решительно неприступная гора или вершина, это волнует меня, раздражает настолько, что может испортить настроение, хотя, наверно, для альпинистов не существует недоступных вершин. Но я никогда не был альпинистом, и покорение высоты при помощи веревок и прочих приспособлений мне представляется таким же кощунством, как если бы залететь туда на вертолете!»

Полагаю, что станция Маритуй стала бессмертной благодаря слову Леонида Бородина. Как-то на «Сиянии России» мы выступали перед преподавателями и студентами Иркутского университета путей сообщения, и Леонид Иванович долго и вдохновенно рассказывал о железнодорожниках, о своей любимой байкальской станции, о необычайно трудной физической работе путевых ремонтных бригад. Рассказывал о быстрой безотлагательной замене на путях шпал и рельсов в труднопроходимых местах Кругобайкальской дороги среди скальных навесов и камнепадов, до мельчайших подробностей вспоминал все перипетии этой работы, поскольку постигал её своими мускулами и своим хребтом. Характеризуя тот давний период жизни, он называл себя в книге «Без выбора»: «рабочий путевой бригады на родной Кругобайкальской дороге». Но это всё впереди, а в начале жизни был приезд на глухую таёжную станцию, постижение Байкала и окрестностей Маритуй как невероятных, таинственных субстанций, будто бы явленных из ниоткуда.

«Тогда же, двадцать пять лет назад, все мое существо непосредственно откликнулось этой жажде подъема, и я, сбегав с крыльца, прыгая с камня на камень через речку, с ходу, с разбега начал забираться по склону ущелья, а он оказался много круче, чем виделось с крыльца, и только несколько первых шагов я сделал на ногах, затем уже на четвереньках, цепляясь за траву, мох, кусты, карабкался по прямой, пока совсем не выдохся, запала моего хватило едва ли на пятьдесят метров. Но когда остановился, выпрямился и развернулся лицом к ущелью, высота, на которой оказался, так напугала меня — особенно вид уменьшившихся домов, — что одышка перешла в спазмы. Я закачался и в тот момент впервые в жизни познал противоречие между устремленностью души к высоте и склонностью тела к падению. Я присел, сцепившись руками в мох, и никак не мог оторвать взгляда от крутизны под ногами и какой-то объемной пустоты передо мной. Но мне удалось наконец отвернуться, и я взглянул туда, куда еще не смотрел. Та сторона, когда я стоял на крыльце, закрывалась домом. Поперек опрокинутого треугольника ущелья высоченной насыпью проходила железная дорога, двухарочным мостом упираясь в самую горловину ущелья. Это было красиво, но это что! Это ерунда! Вот что было дальше, за полотном, за ущельем! Там было одно сплошное белое ничто! В учебнике географии для пятого класса я уже видел картинку, как представляли себе древние конец света. Чудак, высунув голову, видит за пределами мира хаос в виде разбросанных вещей и предметов. Ужасно нелогично: какой же это конец света, если там еще что-то есть! Если бы конец всего действительно существовал, то он бы должен выглядеть именно так — сплошным белым ничто. Конечно, я не первую минуту жил на свете и догадался, что это туман! Но какой это был туман! Ведь чаще всего туман бывает ключьями, сгустками, полосами; здесь же ровное белое молоко, оставив в отчетливой яркости контуры склонов ущелья, сплошь до самого неба растворило в себе все, что за ним было, и пребывало в покое, который, если абсолютный, то тоже, наверное, есть ничто...»

Мне довелось на протяжении нескольких лет встречаться и общаться с Леонидом Ивановичем в Москве, в Иркутске и на берегах Байкала, куда мы однажды втроём — Бородин, я и его иркутский племянник Олег рванули на Олеговой иномарке. Стояла умопомрачительная байкальская осень с пронзительным солнцем и кристально-аквамариновой водой, кажется, бегущей по всему земному шару, так она широко разбегается перед глазами. Иногда начало октября на Байкале бывает удивительно мягким и по-летнему тёплым, даже можно купаться, не боясь простыть, потому что байкальская вода не враждебна здоровью, а воистину целебна. Она пронзает нырнувшего в Байкал вспышкой холодного электричества, тысячами острых иголок охватывая всё тело, и, кажется, рождает тебя заново. Телу становится жарко, и даже если подует ветерок, засвежит воздух, то он не знобит тебя, потому что тело горячо пылает, как будто растёртое снегом. И вот какие чувства испытал маленький Лёня от первой встречи с байкальской водой:

«Я наконец пришел в себя и опрометью кинулся прочь из-под моста навстречу и в самые объятия чудесному туману. От моста пробежал не более двадцати шагов, как вдруг ноги мои обожгло. Не сообразив сразу, в чем дело, нагнулся и только тогда увидел воду. Когда же сделал несколько шагов назад, посмотрел перед собой и опять ничего не увидел, кроме белого тумана перед собой и везде впереди. Тогда я опустился на корточки и шажками стал подкрадываться к воде и обнаружил ее, притворившуюся тонким, светлым стеклышком. Зрение она могла обмануть, но осязание — нет! И когда я осторожно дотронулся до нее пальцами, она, словно устав от притворства, охотно расступилась, пропустив пальцы в свой нелетний холод, но замкнулась в стекло тотчас же, как только я убрал руку.

Долго я сидел на корточках и рассматривал камешки под стеклом, иногда вынимая тот или другой, словно проверяя, такие ли они в действительности, как видятся. Когда я поднял глаза, туман уже отступил достаточно далеко, хотя все еще стоял сплошной белой завесой, но все же отступал он уже прямо на глазах, и передо мной все больше и больше открывалось застекленное пространство, ни малейшим движением, ни единой

морщинкой не выдававшее своей подлинной сути. И чем больше пространства открывалось впереди, тем упорнее создавалось впечатление громадного, бесконечного стекла, от ног моих уходившего к небу и перекрывшего всю остальную землю.

Стекло — это хрупкость! Жажда познания выявляется у детей потребностью проверки качества предмета, и я, нагнувшись, взял в руку большой камень. Притом ощущение было такое, будто стою перед окном с хулиганским помыслом. Помысел оказался непреодолим, и, размахнувшись, я кинул камень как мог дальше. Раздался типичный треск разбитого стекла, полетели вверх осколки, пошли круговые трещины, расходясь в стороны, как борозды грампластинок. Первая, самая крупная борозда достигла меня и укоризненно облизнула мои и без того уже мокрые ботинки. Но через мгновение от моего хулиганства не осталось и следа, след от удара зарос гладким, спокойным стеклом, как будто ничего не случилось. Если бы окна домов обладали тем же свойством, насколько счастливее было бы детство мальчишек!»

В тот наш осенний приезд на Байкал мы оставили машину внизу, недалеко от заброшенной ныне судоверфи, и взобрались на крутой, резко вниз обрывающийся берег. Здесь, на самом краю стояло несколько могучих древних лиственниц, а слева, на прочном пояске гористого выступа уже появились разношёрстные новостройки, бизнесмены не тратили время даром, молниеносно захватывали экзотический берег посёлка Листвянка. Вообще-то он, этот берег, захватывался с самого начала перестройки, и по всей Листвянке в невообразимой толчее, почти один на одном, с начала девяностых росли коттеджи и каменные дома-монстры, напоминающие тяжёлые орудия с башнями, нацеленными в створ Байкала, невообразимо безвкусные по архитектуре замки и гостиницы, рестораны и частные ночлежки.

Мы стояли на высоком берегу, вернее, не стояли, а парили над Байкалом. Внизу, в чутких, едва колышущихся волнах, серебрилось, золотилось и взблёскивало разбитое в осколки солнце. Над морем стонала, то садясь и взлетая, то ныряя в Байкал, огромная стая чаек, и эти белые чайки, перемешанные с яркими блёстками и перьями отражённых солнечных лучей, напоминали своим кружением и сверканьем какой-то неземной мистический танец то ли инопланетян, то ли шаманов.

Леонид Иванович, замороженный и молчаливый, смотрел вдаль и вспоминал своё детство, потом, повернувшись к нам, сказал:

— Не верится, что Байкал можно так просто умертвить. Хотя, кто его знает? Вон, даже отсюда виден чёрный столб дыма над Байкальском. С детства я, как тайну, храню свою привязанность к Байкалу, к станции Маритуй, к тем скалам и тропкам, по которым спускался или поднимался, и никому не рассказывал о своих чудесных снах и открытиях. Всё то волшебство, которое со мной случилось и которое меня окружало на Байкале, оно как будто бы меня воцерковило, как воцерковляет человека православная вера. Эта религия Байкала стала первоосновой в моём понимании окружающего мира.

В тот день мы, насладившись Байкалом и собираясь отъезжать в Иркутск, сидели в машине, пили чай из термоса и ели пирожки с байкальскими грибами и поглощали куски вкусного, сладкого пирога с брусникой, которыми снабдила нас моя мастерица-жена Евгения Ивановна. Бородин с удовольствием вкушал пироги, хвалил Женю (Бородин был у нас дома в гостях), и вдруг я увидел на причале хорошо знакомого мне Алексея Фёдоровича Тирских, который когда-то давно капитанил на огромном плотозове то ли «Севан», то ли «Балхаш», а сейчас трудился на небольшом «Ярославце» у одного из частных владельцев. Я выскочил из машины и пригласил Тирских подойти к нам.

— Вот, Леонид Иванович, — обратился я к Бородину, — это наш портовый капитан Алексей Фёдорович Тирских, он когда-то жил в Маритуге и учился у ваших родителей.

Бородин заблестел глазами, радостно улыбнулся и, пожимая Тирских руку, пригласил его в машину. Они сели на заднее сиденье, и мы с Олегом, чтобы им не мешать, вышли из иномарки. Хотя со мной была видеокамера и я снимал почти всю нашу поездку и пребывание на Байкале на камеру, я всё-таки стал прогуливаться по берегу, но кусочек этой встречи всё-таки записал.

В этой поездке на Байкал мы много говорили о политике, о том, что может случиться

с Россией на её поворотных путях и заносах, Бородин на всё имел свою неопровержимую точку зрения:

— Советский Союз уничтожили, прежде всего, как основу национального государства! Русской державы почти нет, — говорил он жёстко. — Мне кажется, что грядёт разрушение России, причём тотальное разрушение. Во времена доходящей до бешенства смуты, в дичайший век проходимцев и авантюристов, специально насаждаемого в стране бесчестия и бесстыдства очень сложно выстоять.

Всё то, о чём мы говорили, основные его мысли и тезисы, его предсказания впоследствии, к сожалению, сбывались. В марте 2007 года он писал: *«ГОСУДАРСТВО как единственный способ самоорганизации народа и ПРАВОСЛАВИЕ, пусть хотя бы как система незыблемых нравственных основ, — вот те базовые ценности, без которых не восстановиться России, если ей ещё суждено восстановиться».*

Спорить с ним было бесполезно. Он был чётко, упрям и в споре не уступал никому. Я помню эти неуступчивые с обеих сторон споры с Владимиром Личутиным в Иркутском гуманитарном центре (библиотеке им. Семьи Полевых) или споры с пылью до потолка со Станиславом Куняевым в отстаивании главных направляющих линий журналов «Москва» и «Наш современник». Бородин был чрезвычайно доказателен, неумолим и держался стойко, надёжно, не раскалялся до бела, не опускался до оскорблений и не позволял себя оскорблять.

Однажды в Москве в его кабинете накануне 50-летия журнала «Москва» вся редколлегия отмечала успешную сдачу очередного номера в печать, и Бородин попросил меня поздравить редакцию журнала. Я поднял бокал и произнёс тост за Леонида Ивановича, на что он мне ответил:

— Бородина нет без редколлегии, переадресуй свой тост.

Я поздравил редакцию журнала, но всё равно прочёл стихи, посвящённые Бородину:

Леониду Бородину

автору повести «Третья правда»

*Трижды светел твой лик на Байкале!
Посреди несвершённых идей
Третью правду всем миром искали,
Ты нашёл её в сердце людей.*

*Ты нашёл её не на парадах,
А в простой православной избе.
Эта третья — народная правда —
Путеводная в русской судьбе.*

*О вершителях зла памятуя,
Ты за Веру и Крест воевал.*

*Третью правду, как свет Маритуя,
Ты в застенках к себе призывал.*

*И на голос сыновнего зова
Из души, из народных глубин
Приходило Высокое Слово,
Как сиянье байкальских рябин.*

*И с тобою свиданию рада,
Раскрывала объятья свои
Третья правда — великая правда,
Бородинская правда любви.*

2002 г.

Всё чаще вспоминаются наши разные встречи, а в Москве особенно, куда я, будучи в командировках, постоянно заглядывал к нему в редакцию. Он, бывало, курил в кабинете, но иногда уходил с сигаретой на небольшой узкий балкончик и там, сидя на стуле, глубоко затягивался и вёл со мной разговор. Как-то года за два до кончины сказал вдруг неожидан-но, так что я растерялся:

— Возьмёшь на себя журнал? Переезжай в Москву. Ты — умный, хваткий, талантливый. Умеешь к себе притягивать людей, сможешь и деньги найти, и журнал вытянуть.

— Что вы, Леонид Иванович, — обрёл я дар речи. — Да кто же меня здесь поселит и куда?

— Сначала у Валентина поживёшь, он тебя не прогонит. Ты же у него останавливаешься?

— Да, у него. Но я приезжаю дня на два, на три. Правда, в 2008 году во время моей операции на сердце жили мы с Женей почти весь апрель. А потом ещё в августе — месяц: у Светланы Ивановны случилась операция.

— Да... — Бородин задумался, — тяжело Вале. Мария погибла, теперь вот у Светланы проблемы.

— Да и не справлюсь я, Леонид Иванович, тут как на амбразуру надо броситься, да и огромный опыт нужен. Нет, это не для меня, — закончил я этот странный разговор.

Кстати, книги, которые он мне дарил, подписаны тоже в разные годы и при разных жизненных обстоятельствах: в Москве и у меня дома, в поездках по Байкалу и на совместных наших выступлениях перед иркутянами, в каюте теплохода и на вечерних посиделках в гостинице «Русь»:

Леонид БОРОДИН «Год чуда и печали»: повесть. — СПб.; Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1991.

Володе Скифу, по-сибирски истинному — от земляка и коллеги со всяческими добрыми пожеланиями.

11-X-94 г. Бородин. Иркутск

Особо — Саше с благодарностью за внимание к повести, которую писал сердцем, а не рукой. Бородин

Леонид БОРОДИН «Ловушка для Адама»: повести. — СПб.: АКМЕ, 1994.

Владимиру Скифу — земляку и поэту с благодарностью за дружбу. 15.10.98 г. Бородин

Леонид БОРОДИН «Царица смуты»: повесть. — М.: Москва, 1998.

Владимиру Скифу — певцу Байкала — добрейшие пожелания.

7.10.2000. Бородин

Леонид БОРОДИН «Посещение»: повести, рассказы. — М.: Андреевский флаг, 2003.

Владимиру и Евгению от земляка-беглеца.

1-XII-03. Бородин

Леонид БОРОДИН «Русская смута»: повесть, роман. — М.: Изд. дом «Хроникёр», 2001.

Владимиру — земляку и другу — и членам его семьи с любовью.

4.10.06. Бородин

Леонид БОРОДИН «Без выбора»: Автобиографическое повествование. — М.: Молодая гвардия, 2003. — (Б-ка мемуаров: Близкое прошлое. Вып. 5).

Владимиру Петровичу Скифу — земляку и поэту с пожеланием в жизни успеха, в поэзии — вдохновений.

1-XII-09. Бородин

Не в начале, а в конце своего повествования хочу добавить ещё несколько абзацев о родителях Леонида Ивановича и о его любимой бабушке.

Леонид Бородин — истинный сибиряк, поскольку родился 14 апреля 1938 года в Иркутске и очень гордился тем, что его называли коренным сибиряком, иркутянином. Фамилию и отчество ему подарил отчим Бородин Иван Захарович, учитель, директор школы. Но и родной отец Леонида Бородина, Феликс Казимирович Шеметас, тоже был учителем, литовским офицером, осуждённым в СССР за шпионаж и после второго срока в Соловках сосланным в Иркутск и расстрелянным в 1941 году. Воспоминаний о родном отце у маленького Лёни не осталось, да ему особенно о нём и не рассказывали. И лишь к двенадцати годам он кое-что узнал о настоящем отце.

«Отец ушел из моей жизни, когда жизнь моя только началась. Его «забрали» однажды и навсегда, и проделали это так добросовестно, что не осталось от него ни фотографии,

ни письма и вообще ни строчки, и в итоге к тому времени, когда я научился задавать вопросы, повода для «вопроса» не существовало вовсе, потому что в доме не сохранилось ни единой, даже самой пустяковой, вещицы, принадлежавшей отцу. Самые первые мои воспоминания о себе связаны с присутствием в моей жизни отчима. Это я сейчас так говорю — отчим. Говорю и тем словно обижаю человека, которого и по сей день именую отцом, и никак иначе, потому что дай Бог каждому такого родного, каким был для меня неродной.

Я выросал с величайшим почтением к своим родителям. Мое уважение к ним было беспредельно. По сей день загадка — как им удалось произвести и ежедневно производить на меня такое впечатление. После Сталина мои родители были самыми умными и самыми работающими, самыми сознательными и самыми честными гражданами страны. По профессии учителя, они были в полном смысле слова одержимы своим учительством. Мы и жили чаще всего при школе, то есть в помещении школы. Разговоры в семье — об учениках и учителях. Споры в семье о том же. Скорее всего, именно одержимость работой и полнейшее отсутствие каких-либо иных интересов, хозяйственно-собственнических, к примеру, и было основанием моего глубочайшего уважения, почти преклонения, почти обожествления родителей. Мать, окончившая в свое время библиотечный техникум и какие-то учительские курсы, была для меня образцом образованности. Начитанность ее и вправду могла поразить кого угодно, а культ книги в нашей семье удивлял даже коллег-учителей. Отец (отчим — до чего ж дурное слово!) сын крестьянина Орловской губернии — через те же учительские курсы выбился в учителя и, я бы сказал, воплотился, то есть обрел этот новый социальный статус, прекраснейшим образом сохранив в душе лучшее, что получил в крестьянском детстве, например, почти цыганскую любовь к лошадям. Он, отец (отчим) мой, за всю жизнь ни разу не выматерился, не курил и был решительно равнодушен к алкоголю. Имел он и многие другие достоинства, кои не потеряли ценность в моих глазах позже, когда научился смотреть на родителей своих трезво...

Но к двенадцати годам, то есть к тому времени, к тому дню и часу, когда случайно узнал о неродстве отца, был он для меня воплощением всех возможных человеческих достоинств, и удар, нанесенный полученной информацией, был столь силен, что только детство — это особое состояние души и психики, только оно спасло меня от надлома, которого не избежать бы в том же юношеском возрасте. Я попросту не понял, что значит быть неродным сыном отцу или неродным отцом сыну. Неродной отец — это же нелепость! Он — отец или не отец. И я — сын или не сын. Слово «неродной» не имело самостоятельного смысла. И мое отношение к отцу (теперь отчиму) не изменилось ничуть, как и его ко мне.

Но и любопытство к тому, другому, от которого в доме ничего не осталось, оно, это любопытство, также поселилось в душе, тем более что, как оказалось, ТОГ отец был литовских кровей, и этот факт имел ко мне какое-то отношение, которым я даже несколько кокетничал, ведь вокруг все сплошь были русские, а я — вот нате вам! — не так...

В пятнадцать лет с благословения (или с согласия?) родителей я предпринял некоторые розыски следов ТОГО отца, нашел знавших его, получил не очень внятные мнения о нем (как-никак — враг народа!) и, сколько помнится, был вполне удовлетворен достигнутым. Во всяком случае, факт «двуотцовства» ни в малейшей степени не отразился на моих первых самостоятельных шагах по жизни».

Мама Валентина Иосифовна и отчим Иван Захарович действительно были самыми любимыми, самыми преданными ему людьми. Они воспитывали в своём сыне любовь к ближнему, добропорядочность, справедливость и осмотрительность, но совершенно особенный след в жизни будущего выдающегося писателя оставила бабушка Ольга Александровна Ворожцова, дочь небогатого сибирского купца, тоже учительница и, как говорил сам Леонид Бородин, «в памяти моей — энциклопедистка». Она преподавала в Иркутском сиропитательном приюте, а в Русско-японскую войну служила санитаркой в офицерском госпитале при штабе генерала Куропаткина. Потом она будет работать на первой байкальской метеостанции в Маритуге, ставшим для юного Лёни Бородина отправной точкой его жизни и творчества. И главной здесь будет бабушка.

«Это она научит и приучит меня всему, что нужно детству — от трех лет до одиннадцати. Первое и главнейшее — жить с книгой. Она же в самом моем раннем детстве сумеет нарисовать по уровню понимания моего картину русской истории, ту, что началась в незапамятные времена, где-то с «царя Салтана», трудно, но славно длилась тысячу лет, а в семнадцатом году только запнулась о колдобину накопившейся человеческой злобы — и, как говорится, рожей в грязь; да на то Божии дождики, чтобы отмываться и светлеть ликом более прежнего».

Русская культура, книги и фольклор, музыка и поэзия — всё это формировало Бородину как творческую личность. Воистину путеводной и незаменимой в его жизни станет книга.

«Как ныне собирается...» знал в восемь, «Песнь про купца...» — в девять, в это же время — «Тарас Бульба» и «Капитанская дочка». Фет, Гютчев, Майков, Полонский — это во время наших с ней постоянных прогулок по ближайшим лесам. (Когда позднее начинал читать Маяковского — словно гвозди заглатывал.) Горестные ямщицкие песни — перед сном. Мировой оперный репертуар — весь до двенадцати лет. Дочь девятнадцатого века, она не изжила романтики народолюбия, и некрасовский плач о страдальце-народе образом «несжатой полосы» прочно окопался в душе, формируя ту самую «отзывчивость», каковая в итоге и образовала мою жизнь так, как она прошла.

Много мне поведала купеческая дочь, но ни слова о Боге и ни слова о советской власти. Пока она была жива, мы существовали с ней вдвоем в несколько странном национальном поле, куда злоба или доброта дня длящегося не залетала. То было поле духа, единого национального духа, но, как понял много позднее, духа все же ущербного, ибо без высшей явности духа — Духа Свята; о Его присутствии в мире мне поведено не было. И эта ущербность воспитания так и осталась до конца не преодоленной. По молодости она компенсировалась особенным, испуганным отношением к Родине, в чем, безусловно, был изъян, поскольку в моем взыске к Родине первичной была требовательность: как у любимой женщины, у нее не должно быть недостатков. При обнаружении таковых я испытывал почти физическую боль, потому что, в отличие от взаимоотношений с женщинами, которых любил, любви к Родине у меня не было, не могло быть, ибо в сознании вообще не существовало разделения на субъект-объект. Если б кто-нибудь спросил, люблю ли я Родину, то, конечно, какой-нибудь ответ прозвучал бы, но сам вопрос остался бы непонятым по существу. Как можно любить или не любить то, чего крохотной, но все же неотъемлемой частью являешься сам? Разве в любви дело? Дело в соответствии: если я плох (а я не сам по себе, я часть), то своей плохотой я уплошаю и все, от чего неотрывен...»

В 2003 году Леонид Иванович издаст книгу автобиографической прозы «Без выбора», в которой расскажет о своей непростой, непохожей ни на чью, жизни, наполненной самыми разными событиями, настолько поразительными, что кажется, будто это жизнь не одного человека, а нескольких. Леонид Бородин не только выдающийся русский прозаик, он ещё и настоящий, истинный поэт. Вот одно из самых ранних стихотворений, которое он скромно называет «стишок»:

*Страна моя! В твоём просторе
От тех дорог до тех дорог
Сто иностранных территорий
Я б без труда упрятать мог.*

*Страна моя — кусок что надо!
Не на аршин, не на пятак
Авансом выдана награда.
И жить хочу не просто так!*

А вот уже совсем другие стихи, написанные через пятнадцать лет, и, как пишет сам Бородин, «легко ль поверить, что написаны они в камере Владимирской тюрьмы на шестой день голодовки — по поводу чего, уже и не помню»:

*Мне Русь была не словом спора,
Мне Русь была — судьба и мать.
И мне ль российского простора
И русской доли не понять,*

*Пропетой чуткими мехами
В одно дыхание мое.
Я сын Руси с ее грехами
И благодатями ее.*

*Но нет отчаянью предела,
И боль утрат не пережить.*

*Я ж не умею жить без дела,
Без веры не умею жить,*

*Без перегибов, перехлестов,
Без верст, расхлестанных в пыли.
Я слишком русский, чтобы просто
Кормиться благами земли.*

*Знать, головою неповинной
По эшафоту простучать...
Я ж не умею вполонину
Ни говорить и ни молчать...*

Путевой рабочий на Кругобайкальской железной дороге, учащийся школы милиции в Елабуге, студент-историк Иркутского госуниверситета, студент Улан-Удэнского пединститута, бурильщик на Братской ГЭС, проходчик норильского рудника, учитель и директор школы в селе Серебрянка Лужского района Ленинградской области, сторож базы зверопромхоза в сибирской тайге над Култуком и Слюдянкой, кочегар, конюх и дворник в Иркутском медучилище, поэт и прозаик, философ и мыслитель, публицист и главный редактор журнала «Москва», преподаватель Литературного института имени А.М. Горького, член Общественной палаты Российской Федерации, писатель-классик, автор только что вышедшего в свет 7-томного собрания сочинений — это всё Леонид Иванович Бородин.

А ещё — член Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН), знаменитый диссидент, «сиделец», политический заключённый, отмотавший два срока в советских лагерях. Первый срок с 1967 по 1973 год за «антисоветскую пропаганду и агитацию», который отбывал в исправительно-трудовой колонии ЖХ 385\11 (Мордовия), а с 1970 года — во Владимирской тюрьме, куда был переведён по требованию лагерного начальства. Освобождён в феврале 1973 года после полного отбывания срока.

Самыми счастливыми годами жизни Леонид Иванович считал годы работы вместе с женой Ларисой в сибирской тайге на базе зверопромхоза в районе Култука, куда они, счастливые и влюблённые, отправились 11 июня 1973 года. В этих благословенных местах они фактически были хозяевами огромного кедрово-таёжного пространства, где все остальные, кто приходил в тайгу с наступлением сезона на шишкособой или сбор грибов и ягод, действительно относились к ним как к хозяевам, с уважением и почётом. И где под ненавязчивый стук дождя Бородин писал совершенно удивительную повесть «Третья правда», сюжет которой он обдумывал ещё во владимирских камерах.

Там, в сиятельной тайге, в трудах и заботах по обустройству таёжного лагеря, в свечении русского Слова, в благолепии природы, во взаимной радости и любви обретал себя будущий великий писатель Леонид Бородин. Испытания и радость взаимного бытования, неурядицы и романтика — всё шло рядом.

«Поедем, красотка, кататься!» — предлагаю я жене и седлаю обеих лошадей. От базы вдоль гривы километра на четыре укатанная тракторная дорога. Без седла я не усижу на лошади и километра, зато в седле хоть так, хоть этак, то есть боком, хоть с уздой, хоть без. Монголки рысью не умеют, с шага сразу в галоп. Зато не галопируют — стелются вдоль дороги. Все это конспективно объясняю жене, до того видевшей лошадь в основном в кино. Возмущен ее робостью, оскорблен неразделенностью настроения. Не уговариваю — заставляю водрузиться на кобылу. Ну, как же! Такая луна и дорожка прямая! Это ж на всю жизнь запомнится! При посадке лошадь наступает копытом жене на ногу, я слышу вскрик, но не обращаю внимания: я уже вижу, как мы вдвоем скачем по ночной безлюдной, лунной высвеченной тайге.

*Мы уходили от тумана
на длиннохвостых кобылицах,
росу копытами сбивая,
в росе копытами звеня.*

*Сквозь удила храпели кони,
хлестали гривами по лицам,
и в нашем радостном побеге
ты не отстала от меня!*

*Мы уходили от тумана,
и мы неслись, и мы летели...
и все случилось, как случилось
в забытых юношеских снах,
мы в этом яростном галопе
смогли познать на самом деле,
что могут двое, если двое
на стреленах!*

*Без колдовства и без обмана
вдруг стала явью небылица
в одном рывке, в едином вихре
навстречу призрачности дня
мы уходили от тумана
на длиннохвостых кобылицах,
и в нашем радостном побеге
ты не отстала от меня!*

Но 13 мая 1982 года за публикации на Западе и в самиздате Леонид Бородин был повторно арестован и осуждён к десяти годам заключения и пяти годам ссылки. ТАСС облыжно сообщило, что Бородин «в течение многих лет вёл незаконную деятельность... хранил и распространял работы, содержащие клевету на советский государственный и общественный строй, переправлял на Запад по нелегальным каналам собственные клеветнические произведения, которые публиковались в издательстве НТС «Посев» и незаконно ввозились назад в СССР для распространения». Отбывал срок уже в другой исправительно-трудовой колонии, в Пермской области (политическая зона Пермь-36), откуда освобожден в 1987 году после принятия решения Политбюро ЦК КПСС об освобождении (помиловании) осуждённых по статьям 70 и 190-1 Уголовного кодекса. Писать прошение о помиловании Леонид Иванович Бородин отказался.

В камере второго срока он напишет жене ободряющие стихи:

*Обмануты вещими снами,
Поверим, что жизнь не окончена.
Все злое случилось не с нами,
А с кем-то, прошедшим обочиной.
И снова дорога брусничная
Кедровым кореньем подкована,*

*Все главное, важное, личное
У нас в рюкзаках упаковано.
Во все, до сих пор невозможное,
Мы снова уверуем истово.
Распахнутся пади таежные,
Расстелются тропы змеистые...*

По прошествии многих лет он будет снова и снова вспоминать былые годы, свою малую родину Сибирь, куда он приезжает всё реже и реже, и однажды на больных ногах взбирается в Маритуге на знаменитые, сохранённые в памяти и в книге «Год чуда и печали» скалы, и опять вспоминает:

«И нынче грустно и умильно смотрим на сохранившиеся фотографии, снимки подтверждают, свидетельствуют — оно было, стихийное, неререфлектируемое счастье, иначе зачем бы их хранить, фотографии эти...»

Или вот еще: стоим мы с женой на том самом месте, где великая Ангара выпадает-вытекает из великого Байкала. С другой стороны ангарского пролета, из-за горы, что над поселком Листвянка, выплывает-возносится красный шар луны. Он так огромен, как бывает огромен, рассказывают, только в африканских пустынях. Только в пустынях, сколь ни велик шар, он все равно далеко. А тут — рукой подать — красно-оранжевое чудище с таинственной ухмылкой... И тотчас же с того ангарского берега к нашему — красно-оранжевая дорога и прямо в ноги упирается, если ноги у самой воды. Иноприродная плотность лунной дороги до того обманчива, что от отчаяния вопиешь к разуму, чтоб не ступить и не зашагать... От соблазна шаг назад. А шар завис над горой в раздумье: дескать, ну что им еще надо, людишкам — мотылькам вечности...»

В прошлом году и нынче я заглядывал в редакцию журнала. Помню, как прямо у дверей редакции, вместе с водителем он ремонтировал старую редакционную «Ниву» и, увидев меня, улыбнулся, заговорил:

— Вот, видишь, старушку-легковушку чиним, авось доведёт нас до хорошей жизни.

В последнее время меня с ласковой улыбкой встречает бывшая заведующая редакцией Саша Соловьёва, которая сегодня работает в книжной лавке журнала «Москва», радуется нашей встрече, предлагает новые книги, и среди них собрание сочинений Бородина. Мы вспоминаем Леонида Ивановича, и мне почему-то не хочется подниматься в редакцию...



Праздник души на родине Фатьянова



Настоящий праздник в очередной 41-й раз состоялся в этом году на родине выдающегося советского поэта Алексея Ивановича Фатьянова в городе Вязники на реке Клязьме.

И все, кто приехал сюда из разных концов и населённых пунктов страны, области и района, и все, кто пришёл сюда из своих домов и квартир этого утопающего в зелени городка на благодатной владимирской земле, получили огромный заряд положительной энергии и светлых эмоций на целый год — до следующего Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни.

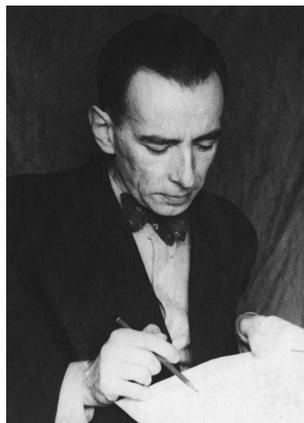
На заключительном мероприятии праздника, длившемся пять с лишним часов, на «солнечной поляночке», прекрасно оборудованной в духе «в городском саду играет» Фатьяновской площадке, прозвучало не только огромное количество фатьяновских песен и стихов, а что ещё более важно, и других, созвучных по духу с его творчеством, чудесных произведений и даже подлинных шедевров. А некоторые из них не просто звучали, а были удачно показаны и поставлены разнообразными и, на первый взгляд, даже несколько непривычными, но интересными средствами культурного воздействия на человека — хореографические этюды и сценки, танцы, большой экран, звуковые ряды, выходы в зал и др.

Единение выступающих на сцене и зрителей, тоже непосредственных участников этого великолепного действия, было абсолютно полным и душевным. Все были погружены в эту трогательную фатьяновскую атмосферу настоящих чувств, неподдельных маленьких и больших радостей, непосредственных отношений, искрящихся глаз, сияющих лиц, искренних улыбок, добрых, тёплых, ласковых и нежных слов... А с каким воодушевлением и мастерством все выступали: и «заслуженные», и «народные», и повидавшие разные фестивали и сцены исполнители, а также менее опытные и даже только начинающие и совсем юные... Прекрасно, что на празднике многим из них удалось не только порадовать зрителей, а и самим показать свои способности и растущие творческие возможности. И это относится как к вязниковцам и владимирцам, которые на правах хозяев, несомненно, должны были быть и были, как говорится, на высоте, так и к представителям других регионов нашей необъятной России. К сожалению, именно они-то не могут зачастую «прорваться» на всероссийские телеканалы и в столичные залы. А как бы их там тоже хотелось видеть и слышать — ведь они заслуживают истинного признания!

Этот, промелькнувший как одно мгновение, калейдоскоп имён и лиц вызывает уважение к организаторам, а также говорит о растущем авторитете Фатьяновского праздника, и ещё о том, что он действительно уже является и Всероссийским, и воистину народным.

По завершении этого длинного — по меркам обычных концертов — и прошедшего даже без перерывов удивительного мероприятия никому не хотелось уходить, не чувствовалось усталости, а возникло ещё большее желание снова петь и восторгаться непреходящими сокровищами фатьяновской поэзии и другими культурными ценностями и традициями нашего народа.

Виктор ВОРОНОВ, профессор, член Союза писателей России, Москва



Юрий Дмитриевич Матвеев

ИВАН КОЛОКОЛЬНИКОВ

«Город мой, город на Ангаре...»

Имя композитора Юрия Дмитриевича Матвеева сегодня практически забыто. Между тем в годы войны, а особенно в послевоенное время, он играл заметную роль в музыкальной жизни Иркутска. Этот человек приехал в Иркутск ровно 75 лет назад и с осени 1939 года начал работать в драматическом театре в качестве дирижёра оркестра и музыкального оформителя постановок. После войны Юрий Матвеев в течение ряда лет был руководителем Иркутского отделения Союза композиторов СССР, существовавшего с 1943 по 1951 год. А главное то, что именно Матвеев был автором музыки «Песни о нашем городе», ставшей своеобразным символом послевоенного Иркутска. Стихи этой песни написаны молодым иркутским поэтом Юрием Левитанским, который впоследствии приобрёл всесоюзную известность. Иркутяне старшего поколения без труда вспомнят припев:

*Студёный ветер дует от Байкала,
Деревья белые в пушистом серебре,
Родные улицы, знакомые кварталы —
Город мой, город на Ангаре.*

Годы всевозможных перестроек в стране и общественном сознании не стерли эту песню из памяти иркутян. Её поют во время дружеских встреч коренные жители города, а в радиопередачу «Споёмте, друзья», выходящую на «Радио России — Иркутск», поступают звонки с просьбой разучить и исполнить дорогое людям произведение. Наконец, недавно в Интернете появилась современная запись песни, произведённая в иркутской студии «Планета звука». Остаётся только сожалеть о том, что исполнитель допустил досадную ошибку в словах первого куплета, случайно поменяв «таёжные пади» на «таёжные пяди». Тем не менее, радует, что старая добрая песня продолжает жить.

Историей «Песни о нашем городе» и судьбами её авторов — композитора Юрия Матвеева и поэта Юрия Левитанского — я заинтересовался несколько лет назад. Постепенно стали накапливаться интересные сведения. Однако долго не удавалось найти запись памятного иркутянам произведения. В январе 2012 года в «Восточно-Сибирской правде» была опубликована моя статья «По следам потерянной песни», посвящённая истории

КОЛОКОЛЬНИКОВ Иван Арсеньевич, журналист, аспирант исторического факультета ИГУ. Родился в Иркутске. В настоящее время сотрудничает с газетой «Восточно-Сибирская правда» и с «Радио России — Иркутск». В планах подготовка книги очерков о музыкальной культуре Иркутска 1930–1960 гг. Победитель конкурса «СМИ о народной культуре Иркутской области» в номинации «Лучшая радиопередача» (2013).

творения Матвеева и Левитанского. После опубликования статьи поступило несколько интересных откликов: иркутяне хотели поделиться своими воспоминаниями о песне. А вскоре обнаружилась и звукозапись, хотя поначалу не было ясно, когда она была сделана и кто именно исполняет матвеевское сочинение. Однако на основе воспоминаний очевидцев, рассказавших о том, чем дорога им «Песня о нашем городе», я подготовил передачу, которая прошла в эфире «Радио России — Иркутск» 14 сентября 2012 года. В конце звучала найденная запись. Вскоре во время работы с фондами радио удалось найти ленту с идентичной фонограммой. На коробочке, в которой лежала лента, были данные о том, что исполняется песня Александром Барановым и хором Иркутского радиокомитета под управлением Василия Патрушева, легендарного иркутского хормейстера. Позже выяснилось, что это единственная полная фонограмма хора радио, которая дожила до наших дней. Причём запись поистине давняя, поскольку музыкальные коллективы радиокомитета были расформированы ещё в 1953 году. Значимость этого звукового документа трудно переоценить. Итак, старая запись песни была найдена. Кроме того всё в том же 2012 году был опубликован труд С. Гольдфарба, посвящённый пребыванию в Иркутске Юрия Левитанского. А вот о Юрии Матвееве до недавнего времени было известно крайне мало.

Информацию о Матвееве мне пришлось собирать по крохам, работая с подшивками старых иркутских газет, материалами местных архивов и изданиями, которые находятся в собрании Российской Государственной библиотеки в Москве. Удалось выяснить, что последние годы жизни композитора прошли в посёлке Загорянка Московской области, и даже удалось узнать адрес дома композитора, принадлежащего ныне его дочери Светлане Юрьевне. Недавно, находясь в столице, я решил разыскать её. С этой целью, захватив московского товарища, отправился в Загорянку. Мы застали Светлану Юрьевну в доме отца. Как выяснилось позже, она долгие годы живёт в Таллинне, а в Загорянке бывает крайне редко. «Мы с мужем на днях приехали, а через два дня уезжаем обратно в Эстонию. То, что вы нас застали, это прямо-таки судьба!» — удивлялась Светлана Юрьевна. В день нашей встречи она рассказала немало интересного о своём отце и разрешила познакомиться с некоторыми документами, повествующими о его жизненном пути. Бесспорно, теперь есть возможность достаточно полно рассказать о судьбе Юрия Дмитриевича Матвеева.

Будущий композитор появился на свет 1 (14) сентября 1907 года в Новоалександровске. Его отец, Дмитрий Николаевич Матвеев, был потомственным дворянином. Он находился в дальнем родстве с представителями многих известных семейств: Тургеневыми, Шеншиными, Долгорукими... В числе его дальних родственников можно найти даже Александра Васильевича Суворова.

Перед революцией в течение нескольких лет Дмитрий Николаевич был вице-губернатором Чернигова, куда переехал вместе со своим семейством. Несмотря на то, что он имел дворянское происхождение и занимал до революции солидную должность, в годы советской власти не пострадал. По словам дочери, он был арестован, однако вскоре дело закрыли.

Дмитрий Николаевич и его жена были людьми высокой культуры и воспитали такими своих детей. Поэтому неудивительно, что Юрий захотел связать свою жизнь с музыкой. Он поступил на дирижёрское отделение 1-го Ленинградского музыкального техникума, который окончил в 1931 году. К сожалению, высшего музыкального образования Юрий Матвеев так и не получил, хотя известно, что он брал уроки у двух видных ленинградских музыкантов — Копаневича и Николаева. Леонид Владимирович Николаев был известнейшим педагогом и пианистом. С 1909 года он преподавал в Петербургской (затем — Ленинградской) консерватории. Помимо всего прочего, Николаев остался в памяти современников и как композитор.

После окончания музыкального техникума Юрий Матвеев на протяжении двух десятилетий работал в разных театрах страны: сначала в филиале Ленинградского ТЮЗа, находившегося в Старой Руссе, затем в театрах Ржева, Середы (Ивановской области), Иванова и Уфы. А в 1939 году Матвеев приехал в Иркутск и начал работать в драмтеатре в качестве музыкального оформителя и дирижёра. Стоит заметить, что небольшие оркестры,

существовавшие в те годы при многих театрах страны, играли важную роль в музыкальном и шумовом оформлении спектаклей, поскольку звукозапись ещё не шагнула на ту ступень, когда стало возможным включать ту или иную фонограмму в необходимый момент. Работа музыкального оформителя была ответственной, поскольку он должен был тонко чувствовать настроение героев спектакля, специфику той или иной сцены, чтобы усилить эмоции зрителей при помощи музыки. Интересно, что во многих спектаклях, музыкальное оформление которых осуществлял Юрий Матвеев, звучали его собственные сочинения.

По рассказам дочери, приехав в Иркутск, Юрий Матвеев с семьёй проживал в Доме специалистов на улице Марата. Вот что говорит Светлана Юрьевна: *«Я очень хорошо помню этот дом и сам по себе город. Например, вспоминается такой случай. Как-то в раннем детстве я побежала на улицу погулять. Увидела какую-то женщину с девочкой и увязалась вслед за ними. Наконец, пришли на городское кладбище. Я там гуляла между надгробий, рассматривала их. А потом не могла найти дорогу домой. Но какой-то мужчина меня отвёл. Встретил отец. Помню, как шепнул мне: «Скорее в кровать, чтоб мать не видела». Он вообще был очень-очень добрый и светлый человек. А мама была строгая, могла и наказать».*

В годы войны, в связи с эвакуацией в Иркутск оперных театров Харькова и Киева, работников Одесской консерватории и других культурных заведений центра и юга страны, музыкальная жизнь города стала в высшей степени интенсивной. В 1943 году при активном участии эвакуированных музыкантов было создано Иркутское отделение Союза советских композиторов. Поначалу его возглавил дирижер Киевского оперного театра Владимир Йориш. Со дня появления иркутской композиторской организации Матвеев принимал активное участие в её работе. В годы войны он создаёт немало песен на «оборонную тематику», как тогда выражались. Чтобы почувствовать настроение этих вещей, достаточно уже перечислить названия некоторых песен: «Вечерняя партизанская», «Штык советский», «Великий Сталин нас ведёт»...

Любопытно, что сохранились рукописные ноты песни Юрия Матвеева «Давай закурим» на известные стихи Ильи Френкеля. Эти ноты, которые удалось обнаружить в фондах краеведческого музея, были подарены автором Иркутскому дому Красной Армии 5 марта 1942 года. По всей видимости, песню, сочинённую на эти стихи композитором Модестом Табачниковым, в нашем городе тогда ещё не знали, хотя впоследствии она приобрела всесоюзную известность.

В 1946 году Юрий Матвеев возглавил иркутскую композиторскую организацию. К сожалению, её работа осложнялась разными обстоятельствами, главной причиной которых было отсутствие реальной поддержки со стороны отдела искусств при облисполкоме. Этот факт отмечался в «Восточно-Сибирской правде» ещё до того, как Матвеев возглавил организацию. Впрочем, можно предположить, что многие трудности возникали из-за того, что Матвеев, запомнившийся родным и знакомым как человек мягкий, не обладал в должной мере решительностью, которая так необходима руководителю подобной организации. По крайней мере, иркутские композиторы так и не смогли приобрести устойчивых связей с исполнительскими коллективами и местными издательствами.

Тем не менее, в творческом плане послевоенное время было в жизни Юрия Матвеева необыкновенно ярким. В эти годы он создал ряд хоровых и симфонических произведений. Однако в первую очередь Матвеев проявил себя как создатель песен и романсов. Их основами служили стихи Самуила Маршака, Павла Забора, а также иркутских авторов — Александра Гайдая, Ивана Молчанова-Сибирского, Анатолия Ольхона, Юрия Левитанского... Обращался композитор и к классической поэзии.

Особенно интересным было сотрудничество Юрия Матвеева с Юрием Левитанским. В их творческом содружестве родились кантата и несколько песен. Сохранились ноты трёх песен, созданных Матвеевым на стихи Левитанского. Это «Родимая Сибирь», «Весенняя песня» и «Песня о нашем городе». Последнее сочинение сразу после своего появления полюбилось иркутянам.



Стоит сказать, что песни об Иркутской земле возникали ещё в дореволюционное время. Достаточно вспомнить такие вещи, как «Далеко в стране Иркутской» или «С Иркутска ворочуся». В тридцатые годы появилась песня «Мальчишку шлёпнули в Иркутске» Матвея Блантера на стихи Иосифа Уткина. В годы войны родился проникновенный романс «Далеко в Иркутской области» на стихи Михаила Светлова. Его музыка также была создана Блантером. Но во всех упомянутых песнях наш край — не более чем сюжетный фон. А в сочинении Матвеева и Левитанского пелось непосредственно об Иркутске. Это уже был залог успеха произведения у жителей города. Кроме того песня удивительно живо запечатлела настроения и чувства людей своего времени. Особенно современно звучала строка «И скоро над ангарскими порогами зажжём, как солнце, яркие огни», ведь уже с 1947 года велась непрерывная подготовка к возведению гидроэлектростанции на Ангаре.

Впервые ноты и стихи «Песни о нашем городе» были опубликованы в «Восточно-Сибирской правде» 25 апреля 1948 года. Однако ещё 14 апреля газета упоминала об исполнении этого произведения на смотре самодеятельности школ города. В том же году «Песня о нашем городе» была записана для 29-го выпуска киножурнала «Восточная Сибирь», который подвергся критике за то, что на словах о «студёном ветре» и «деревьях белых» демонстрировались кадры летнего Иркутска. Было бы очень интересно разыскать этот выпуск киножурнала. К сожалению, в фильмотеке Восточно-Сибирской студии кинохроники он не сохранился.

«Песню о нашем городе» с удовольствием включали в свой репертуар различные коллективы, существовавшие в то время в Иркутске. Её популярность всё возрастала. Вот что вспоминает Марина Павловна Левитанская, которая во время рождения песни была замужем за автором её стихов: *«Мы с Юрием Левитанским жили после свадьбы в гостинице «Центральная». В те годы она была постоянным местом проживания многих деятелей культуры Иркутска. Помню, там жили артисты музкомедии Гросс и Воробьёва, артист драмтеатра Ситко. Там же обитал в послевоенное время Юрий Матвеев. Он запомнился мне как очень приятный и какой-то беззащитный человек. Когда они с Левитанским создали «Песню о нашем городе», её стихийно запели все вокруг. Помню, даже ночью идут люди по улицам и поют о студёном ветре, дующем от Байкала».*

За создание массовой песни о городе исполком Иркутского областного Совета депутатов трудящихся наградил Матвеева и Левитанского почётными грамотами и порекомендовал областному отделу культпросветработы, Иркутскому отделению КОГИЗа и Облпотребсоюзу принять меры к распространению этого произведения. Впрочем, нельзя не сказать о том, что ещё до того, как исполком объявил благодарность авторам песни, её ноты и стихи были выпущены в качестве отдельного издания, отпечатанного в типографии газеты «Советский боец».

К сожалению, большинство произведений, созданных иркутскими композиторами в послевоенное время, так и остались в рукописях. За всю историю существования Иркутского отделения Союза советских композиторов вышло всего лишь две книги с нотами произведений местных авторов — «Песни композиторов Восточной Сибири и Бурят-Монголии» (1948) и «Песни нашей Родины» (1951). Каждая включала по три сочинения Матвеева. Таким образом, за исключением песен, печатавшихся в иркутской периодике, известно лишь семь произведений композитора, ноты которых попали в печать. Безусловно, это немного. Однако стоит заметить, что песни Юрия Матвеева достаточно часто исполнялись в различных концертных программах. В разное время их пели такие иркутские артисты, как Леонид Тульпо, Клавдия Булгакова, Августа Воробьёва, Евгения Бобрышева и другие.

В жизни Матвеева 1948 год ознаменовался не только рождением «Песни о нашем городе», но и тем, что Юрий Дмитриевич был принят в Союз советских композиторов. Дело в том, что до этого, возглавляя региональную композиторскую организацию, членом «общего» Союза он не являлся.

Безусловно, в военное и послевоенное время Юрий Матвеев был заметной фигурой в музыкальной жизни города. Он не раз становился членом различных авторитетных комиссий. Например, участвовал в отборе хористов при комплектовании Сибирского ансамбля песни и танца. Некоторое время Матвеев находился в составе художественного совета Иркутской филармонии. Ещё он занимался музыкальным оформлением киножурналов «Восточная Сибирь» и работал с самодеятельностью. Кроме того, несколько раз в «Восточно-Сибирской правде» публиковались его заметки о событиях музыкальной жизни города. При этом Матвеев создавал музыку не только для постановок драмтеатра, но и для спектаклей Театра музыкальной комедии (вставные номера в оперетте «Таёжный соловей» Юрия Милютина) и Театра кукол. В 1950 году Юрий Матвеев выезжал на конференцию композиторов Сибири, проходившую в Новосибирске, где его произведения подверглись критике. Однако, как было впоследствии отмечено новосибирскими экспертами, высказывавшиеся на этой конференции замечания были крайне субъективны.

Как уже было отмечено, работа Иркутского отделения Союза композиторов во многом оставляла желать лучшего. 1 февраля 1951 года на заседании бюро горкома ВКП (б) был заслушан доклад секретаря горкома Мусиной о необходимости оказания помощи местным композиторам. Она отмечала: *«Отдел искусств стоит в стороне от работы местных композиторов, не организует просмотр и обсуждение их произведений, слабо привлекает композиторов к участию в обработке народных сибирских песен для эстрадного и хорового исполнения, к созданию репертуара для Театра музыкальной комедии»*. После этого заседания были приняты некоторые меры по усилению эффективности работы иркутских композиторов. Однако летом 1951-го Юрий Дмитриевич Матвеев принял решение покинуть Иркутск. В это же время из города уехал ещё один композитор — Эммануил Хинкис. После отъезда Матвеева и Хинкиса иркутская композиторская организация прекратила своё существование.

По словам дочери, Юрий Матвеев вынужден был уехать из Иркутска по семейным причинам. Однако резонно предположить, что решение это было принято и по той причине, что произведения композитора не раз вызвали замечания иркутских критиков, которые не оценили стиль и бесспорные достоинства сочинений Матвеева. Кроме того, не так уж просто было разрешить проблемы, с которыми сталкивалась всё время иркутская композиторская организация.

Направился композитор в Москву. Поначалу, разумеется, было трудно обустроиться на новом месте. Однако Матвеева поддержал Тихон Николаевич Хренников, в то время возглавлявший Союз композиторов СССР.

В Москве Юрий Матвеев в течение нескольких лет руководил сводным хором русской песни Метростроя. Затем около десяти лет преподавал в музыкальной школе города Щелково Московской области. Также он работал редактором издательства «Советский композитор», был корректором комбината Музфонда СССР.

Заведующая музыкальной библиотекой Союза московских композиторов Марина Петровна Савельева, хорошо знавшая Матвеева, вспоминает: *«Юрий Дмитриевич запомнился мне как человек в высшей степени интеллигентный. Он всегда был аккуратно и со вкусом одет. Матвеева отличала большая скромность. Этот человек был превосходным аранжировщиком. Многие композиторы обращались к нему, чтобы он сделал достойную обработку их творений. Однако он об этом почти не рассказывал как раз по причине крайней скромности»*.

С 1954 года Юрий Дмитриевич Матвеев жил в подмосковном посёлке Загорянка, где в то время нередко селились музыкальные и театральные деятели. К сожалению, ушёл он из жизни относительно рано — в возрасте семидесяти одного года. Причиной его смерти были слабое сердце и немалые жизненные трудности, которые пришлось преодолеть этому человеку. Похоронен Юрий Матвеев на поселковом кладбище.

Очень жаль, что сохранилось не так уж много сочинений композитора. Однако иркутяне продолжают помнить и любить старую песню с тёплым названием — «Песня о нашем городе». А пока жива песня, живо имя и дело её создателя.

ЭДУАРД АНАШКИН

Мир, который построим мы

О НОВОЙ КНИГЕ СВЕТЛАНЫ ВЬЮГИНОЙ «РЫЖИЙ СНЕГ»

Обнадёживает недавнее выступление президента России Владимира Владимировича Путина на съезде Российского книжного союза, где президент отметил не просто необходимость возрождения интереса к чтению книг. Владимир Путин присвоил этой задаче статус общенациональной, сказав: «Мы долгое время были одной из самых читающих стран мира. Есть опасность, что этот статус мы можем утратить. У нас растёт число людей, которые вообще не читают книг. Это очень тревожный факт. В данной ситуации повышение интереса к чтению становится без преувеличения общенациональной задачей».

Уже сделаны первые шаги в этом направлении в плане материального и государственного поощрения тех писателей, которые нравственно и духовно-эстетически окормляют души подрастающего поколения. Указом Президента учреждены три премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Цель награждения детских писателей — дальнейшее стимулирование их деятельности именно на данном творческом направлении. Премии будут вручаться ежегодно с 2014 года.

Я не вхожу в комитет по присуждению этих премий, но возьму на себя смелость утверждать, что творческий вклад таких писателей, как Светлана Вьюгина, о которой я писал не раз, будучи пристальным читателем её книг, вполне заслуживает рассмотрения на премию в области литературы для детей. Ни одной своей строкой, ни одним словом Светлана Васильевна не научит наших детей дурному — уж в этом можно быть уверенными! Мы, родители, дедушки, бабушки, желающие привить ребенку вкус к чтению, можем смело оставлять наших детей один на один с книгами Светланы Вьюгиной. Она спокойно и тактично, не подавляя волю ребенка, научит его любить окружающий мир. Любить маму, папу, дедушку, бабушку, заботиться о братьях наших меньших. Она покажет ребенку красоту окружающего мира родной природы и станет проводником ребёнка в этом созданном ею добром и светлом мире. Мире, где ребёнку спокойно и уютно, в мире, в котором хочется жить.

«Светлана Васильевна, откуда у вас такая любовь к животным и понимание их?» — поинтересовался я как-то, когда мы с Вьюгиной встретились на Всемирном Русском Соборе. Вьюгина по своему обыкновению застенчиво улыбнулась: «Просто мой папа Василий Арсеньевич работал зоотехником, мы жили в Подмоскowie. Он выращивал лис-чернобурок, был неоднократно участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, получал золотые и серебряные медали. А потом папу пригласили на работу в научно-исследовательский институт животноводства, это было престижное назначение, которое говорило о том, что папу высоко ценят как профессионала. Он попал в сектор, где занимались лошадьми, а их мой папа особенно любил. Однако проработал он с лошадьми недолго. Специфика научной работы была такова, что у лошадей брали кровь для изготовления сыворотки, а папа не мог это видеть. Ему было настолько жаль животных, которых фактически во имя науки сделали донорами, что он тяжело переживал и в конце концов ушёл с этой работы». Вот ещё раз подтвердилось высказывание, что все мы родом

из детства. И что личный пример родителей, их отношение к окружающему миру учат нас наряду с нашими добрыми друзьями-книгами.

От родителей перешло Светлане Васильевне обострённое чувство любви и сострадания всему живому, что бы она ни описывала в своих произведениях. У Вьюгиной живое всё, не только животные, но даже черёмуха, травы и кустарники. Этим, наверное, и так притягательны её произведения. Когда Светлана Васильевна рассказывает про яблони, сливы и крыжовник, что растут у неё на даче в Подмоскowie, понимаешь, что эти деревья и кустарники для нее ничуть не менее живые, чем были для её отца лошади. Дача — не только прекрасное место, где на лоне природы можно пообщаться с внучатами. Пятилетний Володя и десятилетняя Аня — первые слушатели новых произведений Вьюгиной. Ну и, конечно, её муж — писатель и поэт Иван Тertyчный. Это такие необходимые каждой семье «посиделки», когда происходит содружество разных поколений. Бабушка читает свои новые произведения и смотрит на реакцию своих будущих читателей, определяя её по реакции внуков. Они же дают бабушке-писательнице советы. А заодно приобщаются к литературе, которая является, не побоюсь этого определения, душеполезной.

А вокруг — чудесный лес! Грибов столько, что можно набрать и угостить всех — друзей, знакомых и просто хороших людей.

Маленькие читатели — особенно взыскательные читатели. Надо быть очень интересным собеседником, чтобы завладеть их вниманием. Детей не обманешь — они никогда не станут слушать то, что им неинтересно из одного лишь чувства приличия. Вьюгина в этом смысле очень интересный человек и рассказчик. Видимо, сказывается учёба на престижном факультете журналистики МГУ им. Ломоносова. Светлана Васильевна — лауреат Всероссийской премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина за книгу стихов для детей. Печатается во многих литературных журналах России и зарубежья. Но опять-таки, юным читателям не интересны все эти «взрослые» подробности в виде премий, образования, лауреатства. Дети ориентированы на живое общение с писателем как человеком. Чтобы их воспитывать, надо суметь заинтересовать. И Светлана Вьюгина это умеет отлично. Обаятельная, красивая женщина с негромким голосом и тихой улыбкой, она несёт в себе столько света, что в наше непростое время к нему не может не потянуться душой ребёнок. Даже если он увлечён компьютером в свои малые лета, но виртуальный мир сразу отступит, когда явится его душе мир реальный, полноцветный и живой.

Я от души поздравляю Светлану Васильевну с её новой книгой «Рыжий снег», что вышла совсем недавно — в феврале 2014 года. А также поздравляю с выходом этой книги всех тех ребятшек, кому она попадёт в руки. Потому что эта книга — о них, и написана с глубоким знанием детской психологии. Это знание растворено даже в самих названиях книг Вьюгиной — «Конопастик», «Облака-забияки», «Черёмуховое крылечко», «Сибирский Валенок», «Тайна зелёных ёжиков»... Надо просто, чтобы наши детки прочитали хотя бы несколько её рассказов. А потом уж, уверяю вас (дело проверенное!), они сами не выпустят книгу Вьюгиной из рук. А их родители скажут писательнице «спасибо» за то, что после прочтения её книг дети стали лучше, добрее и гармоничнее.

Так же благодарили Светлану Васильевну осенью 2013 года кавказские матери после выступлений писательницы в школах и библиотеках Владикавказа, Северной и Южной Осетии. Светлана Васильевна была приглашена туда на презентацию своей книги «Солнечные краски», вышедшей на русском и осетинском языках. Непросто сегодня живут дети Кавказа, но они всё равно остаются детьми, которым нужна доброта, душевная теплота и внимание взрослых. Эту нашу взрослую доброту наши дети, несмотря ни на какие войны, должны получать от нас.

Не помню, кто написал эти строчки, некогда запавшие мне в душу: «Война — войной. // Весна — весной. // А дети — это дети. // Дороже их стране родной // Нет ничего на свете!»

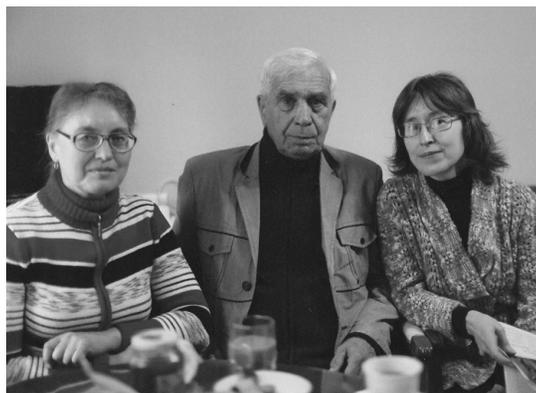
А еще добавлю к сказанному цитату из стихотворения Любови Захарченко: «Покидают нас вожди и обыватели, // Унося с собой все хлопоты пустые. // Остаются только детские писатели — // Даже после смерти молодые».

Видимо, секрет того, что детские писатели долго, если не всегда, остаются молодыми,

остаются открытыми миру детьми, именно в этом вот детском взгляде на мир, который они сохранили в себе. И тем стали интересны своим юным читателям. Хорошую детскую книгу уместно сравнить с качественным лекарством, которое вовремя попало к ребёнку. Ещё над входом во дворец фараона Рамзеса Второго было написано: «Библиотека — аптека для души». Фараон был увлечённый книгочей, уверенный, что книги сравнимы с лекарством, которое делает сильным ум человека, облагораживает душу, врачует тело. Только такой врачующей и формирующей душу ребёнка, наполняющей знаниями его ум, только такой и должна быть детская литература. Чтобы чтение книг с ранних лет стало потребностью души. Кто-то скажет, что без книг человек не умирает. А вот и нет — умирает, хотя не сразу. Но понемногу, лишаясь книжного «питания», начинает угасать сознание человека, его способность мыслить, сопереживать и сострадать... А там не исключён риск постепенного возвращения в пещеру к каменному топору! Не желая допустить этого, люди читают и перечитывают книги, приобщают к чтению своих детей и внуков, собирают книги, бережно хранят их. А есть ещё такие энтузиасты, которые называются «детские писатели». Энтузиасты и жизнелюбы, к которым принадлежит московский детский писатель Светлана Вьюгина. И от того, какие книги они напишут, в немалой степени будет зависеть будущее наших детей и нашей страны.

Уроки любви

О книге Любови Московенко «Дедушкины уроки»



Детский писатель Любовь Московенко, критик Эдуард Анашкин и художник Елена Павлова

В день приезда в Иркутск на Всероссийский литературный праздник «Сияние России» 30 сентября 2013 года зашёл я в штаб по проведению праздника, разместившийся на первом этаже гостиничного комплекса «Русь». Хотел узнать программу праздника, но жизнь в штабе уже кипела. В итоге я был вовлечён в её круговорот и познакомился с иркутскими прозаиками и поэтами. Тут были Владимир Скиф, Михаил Матвеев, Юрий Баранов, Василий Забелло... Знакомые все люди и лица! Кто лично, а кто по публикациям. Казалось, новых людей не предвидится. Но нет! Василий Константинович Забелло от-

рекомендовал меня своей землячке: «Вот наша жемчужина из тайги, пишет замечательные детские рассказы о природе, взрослые эти рассказы тоже с удовольствием читают...» Это была прозаик Любовь Московенко из села Алгатуй Тулунского района Иркутской области. «Жемчужина» с улыбкой преподнесла мне первый урок. Книга так и называлась — «Дедушкины уроки» (Иркутск, 2012). Подписала книгу душевным автографом и ускользнула на литературное мероприятие, уже проходившее в рамках литературного праздника «Сияние России».

То была встреча редакторов, литсотрудников и авторов детских всероссийских журналов «Русская земля» (главный редактор Марина Валерьевна Ганичева) и «Читайка» (главный редактор Дмитрий Анатольевич Рогожкин). Встречу инициировал детский литературный журнал «Сибирячок», издающийся в Иркутске... Позже я узнал, что рассказы Любови Московенко получили высокую оценку на этой встрече и были рекомендованы для публикации в Москве.

А ведь мы не зря говорим «природа творчества», «природа таланта», понимая, что всё лучшее в нас — от природы! Думая о природе творчества таких авторов, как Любовь Московенко, вспоминаешь великого «поэта русской природы» Михаила Михайловича Пришвина. Ему принадлежит мысль о том, что природа — самая естественная среда, из которой, как цветы, выросли все лучшие человеческие таланты. Что каждый человек, способный заглянуть в свою природу, в свою душу, обязательно обнаружит там какой-то талант, созвучный только ему. А вместе с талантом человек непременно обретёт оправдание своего существования на земле. Потому что любой талант, как цветок, как древо жизни, непременно тянется вверх, к солнцу, к свету... Я не случайно вспомнил о Пришвине. Он один из любимых писателей Любви Московенко, которого она считает своим творческим отцом и учителем. Впрочем, любовь Любви Московенко к «поэтам русской природы» не ограничена Пришвиным. Среди любимых писателей — Виталий Бианки, читинский детский писатель Георгий Граубин и, конечно, Валентин Распутин, в произведениях которого природа и человек — единое целое, разделять которое нельзя.

Любовь Московенко, ведя своих читателей к природе, ничуть не поучает их. Она как-то ненароком внушает им, что всё вокруг — живое, будь то травинки или муравей. Или зацветающая верба, которую взрослые обычно рвут перед Пасхой. На вопрос Андрюши: «Можно я наломаю веточек? Дома они быстро распустятся», дедушка ответил: «Зацветут они раньше своих подруг. Быстро опадут, а веточки — выбросишь. И кустарник повредишь, и радости мало получишь. Придём сюда попозже. Ты увидишь богатый пир: шмели, бабочки, мухи, пчёлы соберутся. Верба пушистая от цветов будет... Так как мы поступим? — оборотился к притихшему внуку. «Не будем ломать! — согласился Андрей. — Придём сюда на пир солнечных зайчиков, бабочек, мух...»

В словах дедушки не просто взрослая мудрая правда. Правда одновременно детская, но и библейская. Рассказы Любви Московенко очень православны по духу, хотя о Боге в них вроде и не говорится. Но такой библейской православной мудростью пронизаны они, такой любовью, которая, как известно, и есть Бог, ко всему живому на земле, что книги Московенко украсят любую православную библиотеку! Ведь даже солнечный зайчик у неё живой!

Откуда, спросим, эта любовь к природе и ощущение себя её неотъемлемой частью, а не каким-то самоназначенным «царём природы», которым в силу гордыни провозгласил себя когда-то человек? А гордыня, как известно из Писания, до добра ещё никого не довела, в то время как любовь и сострадание всегда ведут к Богу. Откуда у Московенко это понимание природы не просто как красивого пейзажа, но как духовной составляющей? А всё оттуда же, из детства, откуда все мы родом. От первой публикации Л. Московенко в 1978 году до выхода первой книги в ноябре 2012 года прошло немало лет. И вот первая её книга для детей «Дедушкины уроки». В эту скромно, но с таким вкусом, любовью и тщанием изданную книгу вошли двадцать два рассказа о природе. «Дедушкины уроки» оказались своеобразной книгой, которая не пожелала считать себя законченной. Сегодня уже готовы к публикации тридцать пять рассказов. Такие писатели как Любовь Московенко особенно нужны детской литературе в наше время, когда дети не видят не только природы, но и реальной окружающей жизни, прикованные к мониторам компьютеров. Московенко возвращает наших детей к реальности в самой живой ипостаси этой реальности — родной природе. Воспитание наблюдательности, понимания и сострадания к природе. Мы сегодня много говорим об охране окружающей среды, об экологии. Но кто станет охранять то, что не любит? Охрана природы начинается с воспитания любви к ней. И в этом смысле социальную значимость творчества таких писателей, как Московенко, сложно переоценить. И я уверен, только такие писатели, по-детски искренние и открытые миру, способны вывести наших детей из компьютерного зазеркалья в реальный мир природы и животных, вернуть наших детей к настоящей жизни.

Любовь Московенко каждую весну любит бродить в поисках вдохновения для своего творчества в резиновых сапогах по весенним лужам. Любит бывать одна в лесу. Наблюдает за муравьями, букашками, гусеницами, бабочками, мухами, считая их вполне осоз-

нанными и разумными существами... *«Бывая в лесу, забываю обо всём — так много интересного и непознанного! — призналась мне в разговоре Любовь Московенко. — Дружусь с муравьями, бабочками и птицами. По возможности подкармливаю их. Бабочки садятся мне на ладонь, сопровождают меня по лесу, прилетают на мой балкон. Ими движут вовсе не условные рефлексы, как учили нас в школе. Это разумные существа, непонятно каким образом понимающие отношение человека к ним. Я всегда в своих книгах стараюсь донести до людей мысль: «Оглянитесь, люди! Присмотритесь к окружающему миру. Всё живое радо дружить с нами. И немало в мире примеров того, как животные помогают человеку в трудную минуту. А вот когда они к нам взывают бессловесно о помощи, далеко не всегда они от нас эту помощь получают...»*

По сути, литературная деятельность Любви Московенко началась сразу после института, когда она приехала в село Аршан. И в дополнение к работе по специальности стала проводить просветительскую работу. Рассказывала детям о деревьях, кустарниках, водила школьников на экскурсии в лес. Понимая, что лекционный материал для детей скучен, попыталась писать рассказы о природе сама. Так любила природу, что хотелось влюблять в окружающий мир всех, кто её окружал! Читая рассказы Московенко, влюбляешься в Сибирь, в Россию, в неоглядные наши просторы, на которых зоркий глаз Любви Московенко способен различить и узнать «в лицо» любую травинку. Уроки любви от Любви Московенко нужны не только детям, но и взрослым.

Дата России



БАМу — 40 лет!



Торжественный вечер

Казалось бы, совсем недавно, а именно, 40 лет назад, 8 июля 1974 года было принято известное и определяющее многое на годы вперёд постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. А несколько раньше, в апреле того же знаменательного года, прямо с XVII съезда ВЛКСМ из Кремлёвского Дворца съездов на БАМ был отправлен Всесоюзный ударный комсомольский отряд во главе с Героем Социалистического Труда, бригадиром знаменитой тогда стройки — Хребтовая — Усть-Илимская — Виктором Ивановичем Лакомовым.

Всё это снова и снова встает перед нашими глазами и в нашей памяти — в Колонном зале Дома Союзов (кстати, отсюда не один раз отправлялись ударные отряды на комсомольские стройки), где идёт праздничный концерт, посвящённый 40-летию БАМа. В кинохронике, постоянно показываемой на экране по ходу концерта, в словах ведущих и выступающих на сцене и непосредственно в зале и в исполняемых песнях звучит и всплывает много и много такого до боли в сердце знакомого. Прекрасно, что рядом сидят некоторые (понятно, что всех сейчас в Колонный зал и не соберёшь) герои БАМа: Леонид Давыдович Казаков, Феликс Викентьевич Ходаковский, Ефим Владимирович Басин, Анатолий Дмитриевич Гусев и ещё многие-многие из тех, кто вложил в БАМ частичку своей жизни и души.

Замечательно, что многие совершенно заслуженно получили к этому дню юбилейную медаль «40 лет БАМа», учреждённую Министерством транспорта Российской Федерации.

Конечно, если подойти очень строго, то можно найти немало неточностей, неправильных и несколько искажённых оценок, описаний, формулировок, акцентов, нюансов и т. п. по содержанию концерта. Где-то мало сказали о строителях (а больше — о железнодорожниках), где-то недостаточно упомянули об огромной роли комсомола, где-то совсем забыли о партийном руководстве великой стройкой... Пусть это будут просто «мелочи», хотя, бесспорно, и они очень важны. Но всё-таки, главное, что страна отметила 40 лет БАМу и даже с приветствиями Президента и Председателя Правительства России, что само по себе уже очень здорово!

«БАМ — будущее России» — звучало в Колонном зале. Это чрезвычайно важно! И общалось, что принято решение не только о его модернизации и увеличении пропускной



Фойе Колонного зала

способности в полтора раза, а и о дальнейшем (наконец-то после стольких лет забвения и упрёков!) развитии зоны, прилегающей к БАМу. Это то, ради чего в тяжелейших условиях магистраль строилась и что должно было бы делаться уже давным-давно.

БАМ вступает в своё пятое десятилетие, а мы все вместе продолжаем отмечать его сорокалетие уже по всей стране: в Тынде, Иркутске, Северобайкальске, Усть-Куте, Чаре... Москве!

*Виктор ВОРОНОВ,
профессор, заслуженный экономист РФ, член Союза писателей России,
директор Международной школы управления «Интенсив» РАНХиГС*

*Июль 2014 г.
Москва — Иркутск*

Полустанок с названием «БАМ»

Из книги Виктора Воронова «Пригоршни из туесков памяти» (М., 2010)

У каждого из нас немало своих своеобразных полустанков — мест, где жили и живём, где работали и работаем, где встречались, радовались, ликовали и просто были счастливы. Мне повезло, что у меня был и есть такой полустанок с названием «БАМ». Это не просто населённый пункт, город, столица, и не железнодорожная станция, а нечто большее, и не только в пространстве и во времени, а и в самом смысле и содержании этого короткого, но вместившего в себя так много слова БАМ.

...БАМ стремительно, как вихрь, ворвался в нашу жизнь зимой 1974 года — из радиоприёмников, с экранов телевизоров и кинотеатров, со страниц газет и журналов, из рассказов наших друзей, товарищей и коллег.

Вот так сильно-сильно БАМ гремел первые десять лет — до долгожданных фактической и символической стыковок Западного и Восточного его участков на разьезде Балбухта и станции Куанда и открытия сквозного движения поездов по БАМу в канун ноябрьских праздников 1984 года. Вся страна, весь народ вложили в это созидательное дело очень и очень много всего — и материального, и интеллектуального, и духовного, и даже частички своих сердец и кусочки своих «малых родин» со всех концов нашей необъятной великой Родины — Советского Союза.

Как жаль, что на большее тогда не хватило сил и воли — дальнейшее развитие регионов, прилегающих к построенной в короткие сроки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, практически приостановилось, а точнее, почти не началось. А какие прекрасные и даже детально просчитанные и с огромной эффективностью для страны были планы! Если бы реализовать даже небольшую их часть, то рынок в освоении несметных



Первостроители БАМа

богатств Сибири и Дальнего Востока на благо всего народа был бы, несомненно, значительным.

...Строительство БАМа, как и все объекты транспортного строительства, имело свою большую «линейную» и «протяжённую» специфику. Здесь не было, как на строительстве гидроэлектростанций и заводов, той захватывающей дух панорамы башенных кранов, бесконечных колонн динамично снующих самосвалов с бето-

ном и грунтом, моря сверкающих и тающих в ночи огней электросварки. Строящиеся объекты, трудовые коллективы и бригады были разбросаны друг от друга не на километры, а на десятки и даже сотни километров. Путькладчики, которые двигались навстречу друг другу с запада и востока и за которыми ежедневно следила вся страна, были своего рода «венцом строительства» — они как бы завершали то огромное дело, в котором до них принимали участие десятки, сотни и тысячи людей — рубили просеки, отсыпали насыпи дорог и железнодорожного полотна, строили мосты и придорожную автотрассу, временные посёлки, вокзалы, депо, жилые дома, социальные объекты. Бригады путькладчиков соединяли это с «внешним миром», с «Большой землёй», и это являло начало нового этапа продолжения строительства и обустройства всех районов, прилегающих к строящейся железнодорожной магистрали.

...В моей домашней библиотеке имеется большое количество книг и альбомов о БАМе, написанных прекрасными и увлечёнными людьми, с восторгом и спокойно, пусть даже местами немного преувеличенно, но в целом правдиво. Иногда, выбрав время, вновь перелистывая страницы этих книг и рассматривая многочисленные трогательные бамовские сувениры — от «золотого костыля» до куска ценного минерала — чаройта с Читинского участка БАМа, прихожу к выводу, что ничего переписывать (как иногда сейчас делается) в «написанном тогда» не нужно, и в своём, и в чужом тексте. Всё должно так и оставаться. Всеми, как говорят, своё время и место, а особенно — в истории.

...Итоговые материалы многих социологических исследований, проведённых в те годы на строительстве БАМа, показали, что это был всплеск очередного энтузиазма молодёжи, но теперь уже не двадцатых, не пятидесятых, не шестидесятых, а уже семидесятых годов. Подобное было ранее на других ударных комсомольских стройках. Но то было ранее, у них, а это — «...теперь и у нас — на БАМе!» И хотя в ответах на вопросы анкет социологических опросов многие стеснялись этого и пытались замаскировать чем-то более «земным», например, «желанием узнать новые места», «материальной заинтересованностью», «возможностью приобретения автомобиля» и т. п., всё равно бамовский романтизм просматривался, как говорится, невооружённым глазом. Молодёжь на БАМ действительно тянуло стремление проявить и испытать себя в трудных условиях, совершить в жизни достойный поступок и сделать полезное дело. Был при этом частично и «здоровый авантюризм», присущий, наверное, большинству первопроходцев и переселенцев во все времена — как, видимо, и у Колумба, и у Ермака. А всего на строительство БАМа по комсомольским путёвкам из всех уголков страны приехало свыше сорока пяти тысяч юношей и девушек!

Они, строители БАМа, на самом деле стали истинными героями нашего времени. И не только те девятнадцать Героев Социалистического Труда, что получили «звёзды» из рук секретаря ЦК КПСС Владимира Ивановича Долгих 27 октября 1984 года в г. Тынде. И не только те немногие, кто получил такие же «звёзды» до и после этого славного события. И не только те, кто был награжден другими высокими правительственными наградами за сооружение объектов БАМа. И не только те, кто получил медаль «За строительство БАМа» или другие комсомольские, партийные, профсоюзные и советские знаки отличия. А и все те, кто действительно самоотверженно трудился на стройке века — БАМе и кто считает это своей высшей наградой в жизни и на слово «бамовец» отзывается как на своё собственное имя, данное родителями при рождении.

...Комсомол, БАМ, Иркутск, Байкал, Чита, Чара, Тында, Усть-Кут, Таюра, Магистральный, Ния, Кунерма, Нижнеангарск, Беркамит, Кувукта... — бесконечный ряд слов, можно сказать, паролей, на которые мгновенно откликаются «серебряные» струны наших душ и сердец. За каждым названием всплывают яркие мгновения, тёплые встречи, незабываемые знакомства и познание людей, событий и окружающей нас действительности. Эти мгновения жизни невозможно забыть, они будут с нами навсегда как одни из самых дорогих, хотя тогда — в те моменты — мы этого ещё не ощущали.

...Посёлок Звёздный, июль 1974 года. Какой посёлок? Его ещё нет?! Отряд имени XVII съезда ВЛКСМ живёт в палатках. ...А вот уже первый поезд до станции Улькан — это 1977 год. ...1981 год — приезд отряда «Молодогвардеец» в Северобайкальск... Укладка «Золотого звена»... Открытие сквозного движения поездов по БАМу — 1984 год...

И, конечно, я благодарен судьбе, что лично знал и знаю людей, кто очень много вложил в сооружение магистрали. Это — Виктор Лакомов, Феликс Ходаковский, Леонид Казаков, Вячеслав Аксёнов, Александр Бондарь, Иван Варшавский, Владимир Степанищев, Юрий Бочаров, Владимир Мучицын, Валентин Сушевич, Анатолий Орлов, Владимир Сёмин, Юрий Вербицкий, Валерий Нестерович, Алексей Максимов, Баир Балбаров, Сергей Будажапов, Александр Тишутин, Тлюнтай Бирюкбаев, Александр Акимов, Сергей Рыбаков, Лазарь Бартунаев, Владимир Поздняков, Евгений Словецкий, Виктор Муконин, Владимир Полютов, Константин Владимирович Мохортов, Евгений Михайлович Тяжелников, Борис Николаевич Пастухов, Виктор Максимович Мишин, Николай Васильевич Банников, Ефим Владимирович Басин, Иван Алексеевич Панчуков, Юрий Афанасьевич Есаулков и многие, многие, чьи имена должны быть навсегда вписаны в Летопись строительства БАМа.

...Несмотря на прожитые годы, вместе со словом «БАМ» в нас по-прежнему оживает ощущение какой-то свежести чувств и эмоций, неподдельной искренности отношений, сибирского радушия и гостеприимства — всего, действительно, настоящего и стоящего, как сам БАМ...



ИРИНА ГЛАДКИХ

Исходы

О книге Андрея Антипина «Житейная история»

С хорошими литературными произведениями, как с людьми, — встречаешься, знакомишься, беседуешь, об одном споришь, а в другом находишь удивительное созвучие... Передо мной две книги молодого, но уже уверенно заявившего о себе автора — Андрея Антипина. Это «Житейная история» и «Капли марта», которые были опубликованы почти одновременно. Ознакомившись с ними, мне захотелось ещё раз поразмышлять об этом диалоге, который не отпускает сразу, и долгое время продолжает жить и развиваться в душе. При этом я поняла, что для меня невозможно объединить свои впечатления от обеих книг в одном материале. Прежде всего потому, что «Капли марта» — сборник рассказов, палитра образов, а роман «Житейная история» — целостное явление и требует самостоятельного рассмотрения.

Сначала я прочла «Капли марта», и у меня возникло впечатление об авторе как о человеке зрелом, опытном. Поэтому я весьма удивилась, узнав, что ему в этом году исполняется 30 лет. Ещё больше я поразились бы этому факту, если бы сначала взялась читать «Житейную историю» — о стариках, ищущих себе заделье пред исходом. Как заметил один из главных героев романа старик Колымеев, «*молодым жил для дела, стариком для жизни заделье ишу...*».

При этом в 2009–2010 годах «Житейная история» по частям была уже опубликована в журнале «Сибирь». Автору на тот момент едва минуло четверть века.

В повестях и рассказах «Капель марта» в жизнь вступают дети, в «Житейной истории» с нею прощаются старики. Старый да малый. Самые беззащитные... Детство для нас знакомая, хотя и изрядно позабытая страна, а как понять, постичь старость в 25 лет?! «*Ради усмирения молодости говорится, что старость настает незаметно. Нет, к Колымееву она подступила не с бухты-барахты и даже не так, как в конце месяца прилетают квитки на оплату коммунальных услуг... Он встретил старость задолго до её прихода, в мучительных размышлениях о том, каким он будет после...*» [выделено А. Антипиным]. После наступления старости, а может быть, и ещё дальше — после жизни...

Занимаясь долгое время театральной критикой, я пришла к выводу, что критик тоже должен работать по системе Станиславского. А у Константина Сергеевича главный вердикт какой? — «Верю!» или «Не верю!» Антипину я верю. Образы его героев настолько объёмно-собирательны, что кажутся хорошо знакомыми.

Роман «Житейная история» представляется мне матричной сетью так или иначе связанных между собой «умираний», будь то лист, дерево, люди и даже посёлок. Автор выявляет и прослеживает некие закономерности этого умирания.

Начинается произведение со Вступления, которое становится программой всего произведения. «*Тракт нарождался вдалеке, за стеклянным, ветрами резанным горизонтом, и живой аортой тянулся через сердце Округа*». Далее автор рисует нам весь жизненный путь Тракта от момента его зарождения до смерти, когда ему пришлось уступить место другому Трактору. Даже ритмически текст организован так, что в начале его слышится мерное сердцебиение, которое постепенно нарастает, но замедляется к окончанию Всту-

пления. Прослежены также внутренние мотивы Тракта, который воспринимается читателем как некто живой. Введён мотив бессмертия: через абзац после фразы «В этом месте тракт умирал», Вступление завершается предложением «Но Он всё помнил». Это местоимение, употребляемое во Вступлении с заглавной буквы, воспринимается как обозначение «...того, кто стоял надо всем». Если так трактовать этот момент, то мы приходим к выводу, что автор говорит с нами о закономерности конца всего живого и одновременно о его бессмертии как принадлежащего высшим силам.

Духовная подготовка к исходу является краеугольным камнем любого религиозного учения. И это естественно, потому что, пожалуй, ничто так не волнует человека, как проблемы любви и смерти. Неслучайно, эти же вопросы являются основополагающими и для искусства. Таким образом, Андрей Антипин прикасается к одной из наиболее трепетных тем, какие только могут стать достоянием литературы.

Главные герои романа — супруги Колымеевы — входят в последнюю пору жизни и готовятся к исходу. Наблюдая течение жизни, они становятся свидетелями и других умираний. Одни из них воспринимаются со светлой грустью, другие с тоской и сожалением.

Особенно щемящей становится тема умирания посёлка, в котором живут герои. Напрямую автор не говорит об этом, но ряд побочных мотивов поневоле приводит к таким размышлениям. Так, из повествования мы узнаём, что большое количество жителей посёлка уходит из жизни. *«Всю нынешнюю осень в посёлке один за другим умирали люди, что ни листок сорвётся с календаря, то покойник»*. При этом за время повествования ни один младенец на свет не появился.

О детях, живущих в деревне, мы узнаём совсем кратко — настолько они затеряны среди стариков и взрослых, которые зачастую тоже ощущают своё старение. Более того, в романе мы с болью сталкиваемся со смертью ребёнка. Приехал он с отцом, Алексеем Аршановым, из соседних Хорёт на рыбалку и утонул. Это нарушает созданную самим автором матрицу смерти ради жизни за счёт замены одного другим, освобождения места и пути новому.

Из-за этого возникает предчувствие обречённости посёлка, которое то тут, то там подчёркивается в тексте. Идя на почту, Владимир Колымеев видит, что по всему посёлку натянуты верёвки с привязанными к ним красными лоскутами. Кто-то из стариков подсказал так сделать, чтобы создать «оберег» от увеличившейся смертности. Посёлок напоминает волка, попавшего в облаву, — автор тонко сообщает нам этот образ всего одним предложением: *«И солнце не светило, а висело в небе — волчий флажок...»*

Прослеживается также и тема духовного вырождения — военное поколение уходит, а кто вместо него наследует землю? Мысль эта мельком звучит из уст Чебунова, соседа Колымеевых: *«...Подымали государство! А для кого, для алкашей этих?!»* Особенно горько, что указывает он при этом на своего сына Бориса. И впрямь, если оглядеть даже лучших из соседей Колымеевых, тех, которые в случае необходимости приходят старикам на помощь, то понимаешь, что почти все из них «пьют горькую». Мадеевы, которые притом ещё дерутся и буянят; Тамир Хорунжий, который своим пьянством и взрывным нравом измотал жену, поселковую учительницу Ренату Александровну; младший Чебунов и, может, в меньшей степени его жена Лариса... Также мы узнаём, что одна из дочерей Августины Павловны, Полина, умерла от алкоголизма...

Не злоупотребляют алкоголем только ненавистные соседи Упоровы, и они как раз представляют главный образ «наследников», потому что прямо и косвенно претендуют на всё, что принадлежит Колымеевым. Они захватили угольник, рассчитанный на две квартиры, перегородили общий проулок, перекрыли воду, которая через их квартиру должна была поступать к Колымеевым... В последнем эпизоде Алдар Упоров даже спрашивает Колымеева: *«...Как думаешь, дядя Володя, будете вы с тётъ Гутей на следующий год держать огород?»* Становится понятно, что после смерти Колымеевых именно они приберут к рукам всё их хозяйство, и жалко, что таким бессовестным людям достаётся земля. В экстремальных условиях, на грани выживания, в человеческом обществе вновь начинают действовать правила естественного отбора: выживает более сильный и наглый.

В то же время автор от имени Владимира Колымеева оправдывает всех словами: *«Русский человек почему кажется злым? Потому что много испытаний выпало на его душу... Нет, он... он не злой, он усталый...»*

Одной из важнейших причин душевного кризиса русского человека (а точнее даже, россиянина, потому что и в посёлке, как во всей России, тесно переплелись судьбы людей разных национальностей) автору видится чувство разобщённости, которое испытывают люди. Даже во время пира, ознаменовавшего постройку угольника, их не оставляет ощущение собственного одиночества: *«Неплохое было застолье — да только и сели, — а не чувствовалось отрады на душе. Каждый сам по себе жил за единым столом, под одним небом».*

В чём спасение от этого неизбежного одиночества — когда, на какое короткое время люди перестают его ощущать?! Как раз во время постройки угольника. Таким образом, спасение видится в общем деле, когда слабые, объединившись, становятся сильнее сильного и наглого. Угольник становится не только победой Августины Павловны над притеснителями Упоровыми, но и победой всех соседей. Ведь в первый раз, пойдя гурьбой «на разборки» к Упоровым, когда те перекрыли воду в квартиру Колымеевых, — они правды не добились. То есть сила их не в «русском бунте, бессмысленном и беспощадном», а в общем деле.

Оглядываясь на пройденный путь, Колымеевы пытаются осознать ценность собственной жизни: какова она, и есть ли вообще? Особенно этот вопрос становится актуальным для бездетного Колымеева. *«Владимир Павлович соизмерил жизнь тополя со своею: рос тополь — и вот лишь пенёк торчит, как деревянное надгробие; а от него, старика, что останется?»*

В духовных исканиях своих героев Андрей Антипин открывает нам простую истину о том, что ценность жизни заключается в ней самой. *«Старуха долго думала, что сказать людям. Нужно было сказать что-то важное, и она не имела права (да и не могла, как ни силсилась) забыть ничего из своей долгой и трудной жизни, кому-то, верила она, очень необходимой. А иначе, зачем же она несла свою боль, свой полынный опыт?»*

Одним из главных метафорических символов в этой истории стала черёмуха. Она появилась во дворе Колымеевых давно, когда Владимир Павлович боролся с порочной страстью. Боролся, потому что уходил от спящей любовницы, в душе с нею прощаясь, настраиваясь на *«чистый лад скорой встречи»* с Августиной. Но по дороге заметил эту черёмушку, покружил вокруг неё и не смог оставить: выкопал вместе с дёрном, посадил рядом с домом и ушёл... Утром, увидев этот покаянный дар, Августина Павловна сразу всё поняла, но всё же не смела поверить, что *«...повалился на старое Колымеев»* и напрасно ждала его до полуночи у незанавешенного окна...

Много воды с тех пор утекло: хилая черёмушка превратилась в большое раскидистое дерево. Но тихим ядом точила давняя обида сердце Августины Павловны. То, что в течение многих лет пребывала Колымеева в безмолвной борьбе с соперницей (которой в жизни Владимира Павловича уж и след простыл, потому что сам он в течение всего повествования ни разу об этой связи не вспоминает), свидетельствует и приснившийся ей накануне возвращения мужа из больницы сон. Будто старик умер, а на его поминки пришла та, незваная... Прогоняя её, старуха во сне глухо рыдала: *«Всю жизнь прожили, а она, вишь, пришла, се-ела! Думаешь, не знаю, кто ты?! Всю душу ты Колымееву изъела!»* Таила она в себе эту боль не год и не два, а потом настигло неверного супруга отмщение. Августина Павловна велела Колымееву спилить черёмуху, обосновывая это тем, что из-за неё все рамы прогнили.

«Он утопал валенками в январском снегу, ширкая пилой по мёрзлому дереву, которое вспухало под металлическими зубцами затаённой весенней пряностью.

— Взбрёт же в голову! — от волнения пот выступил на лбу, но старик не прекращал работу, проникаясь ею с разрушающим жизнь остервенением. — И всё, главное, мне назло делается! Соберусь да уеду в Хотхор, в дом престарелых...

Дрогнув на прощанье вершинкой, первый из трёх черёмуховых отростков рухнул в сугроб. Палыч, не отдыхая, чтоб не разнежить души, подступился ко второму — и вторая ветвь, хватая воздух ветками, полетела в окно, едва не выставив стёкла.

— Осторожней, чёрт, криворукий! — забрызгивая стёкла слюной, зашла в крике старуха, а когда старик сунулся к последней ветви, зыкнула в стекло: — Эту не пили, Колымеев! Обтеши топором, высохнет к весне, тогда уж...

Старик с боков подтесал черёмуху, ломкие чёрные щепки упали из-под лезвия... Неужто на его век не хватило бы рам?

— Вот и хорошо, — без уверенности в своих словах рассуждала Августина Павловна, когда старик стаскивал с опухающих ног валенки. — Сразу светлее стало. Правда?

Не отвечая, Палыч направился к трюмо, где в ящичке, среди отвёрток, шурупов и молотков хранились в непечатом пузырьке сердечные капли.

Словно почувствовав потаённую связь мужа с жизненной силой через это дерево, пощадил Колымеева третью ветку. Вскоре после этого побывал Владимир Павлович «в гостях у того света», да так, что уж справлялась у него Августина: «Где похоронить-то тебя, Володя? В Нукутах, либо здесь, на руднике?» Но получил от смерти «отсрочку в честь первая».

И вот в первое же после больницы утро Владимир Павлович без промедления начал спасать черёмуху. Лечил её, как себя, — словно слились их судьбы: заботливо смазал ствол чудодейственным глиняным раствором, обернул мешковиной: «Будем жить! Никуда мы... с тобой не денемся!» Августина Павловна ревниво относилась к этой тонкой связи человека и дерева: «Я её срублю, твою черёмуху, чтоб ты с ума не сходил!»

Но напрасно сержала Августина Павловна — не символом любви к другой женщине был для Колымеева этот черёмуховый куст, а символом любви к самой Жизни. Отождествление себя с не сдающимся напастям деревом помогало Палычу искать и находить каждодневное оправдание своему существованию. «Тот разгон, что он взял по выписке, не пошёл на снижение, ибо стоял не вскопанным огород, завалился стенка подвала, и крыша протекала у трубы. И много разных забот приятно тяжелили душу, как в бурлящий маленькими событиями мирок, выходил Колымеев во двор...»

Роман «Житейная история» состоит из трёх частей — «Отсрочка», «Заделье» и «Исход». Черёмуха вместе со стариком Колымеевым проживает эти заключительные жизненные этапы. Почти погибнув, она была спасена Владимиром Павловичем, цвела и плодоносила, успевая завершить всё, что должно, в своё последнее лето. И достойно встретила смерть, освободив место для постройки угольника.

Как борьбу со всеми несправедливостями мира, вела тётя Гутя свою заранее обречённую на неудачу войну с соседями Упоровыми. Самовольный захват ими угольника Августина Павловна воспринимала как то, что «Упоровы порушили последнюю социалистическую модель мироустройства...». Ей жизненно необходимо было доказать, что и она имеет своё место и «право быть» под общим солнцем. По всем расчётам выходило, что строить угольник негде, кроме как на месте черёмухи. И дяде Володе, как человеку более слабому, лишённому силы противодействия, а скорее, даже духовно более подготовленному к исходу, пришлось уступить. Августина Павловна ждала возражений, но Колымеев принял её предложение с внешним спокойствием. Однако ночью «старик подходил к окну и, напрягая глаза, смотрел в темноту... В огороде жило ещё одну ночь дерево...» А через несколько дней после гибели дерева к старику вернулась опухоль под левым коленом, как затаившийся враг.

В обретении душевного покоя, смирения пред лицом смерти как горестной, но необходимой части жизни, видится смысл дарованной старику «отсрочки». До этого периода много претензий было у Колымеева к Жизни, и в первый раз, «собравшись умирать», уходил он преждевременно — с неуспокоенным сердцем. Постепенно в делах, в ощущении сопричастности с жизнью земли, растений, в тесном мирке своего двора он обрёл «отдохновение от всяких дум».

Но главные прозрения были дарованы Колымееву в храме леса, куда он, «от благодатных трудов насмелев», отправился по грибы. Здесь он встретился со смертью, более чистой и прекрасной, чем смерть человеческая, замусоренная болью ошибок, страданием, неприятием её очищающей миссии. Осень — время лесных похорон. «На ветру умирали листья», а на поляне упала старая берёза, и другие деревья тут же забросали её погребальной листвой. Вскоре всюду установилась прежняя тишина. Владимир Павлович видит в этом незаметном уходе вселенскую правильность и утверждает в сердце своём лесную философию: «Если, к примеру, я помру, то жалеть не надо, потому что для другого человека место освободил...»

И может быть, впервые в жизни, «не боясь средь... муравьиных церквей покривить ду-

шой», Владимир Павлович стал неумело молиться. Так, выросший и живший в советскую, отринувшую Бога эпоху, не имея никаких религиозных знаний, Владимир Павлович сам, естественным образом, находит связь с Создателем. И даже не зная, как назвать Его, он обращается к небесам с несвязным, но пронзительным благодарением.

Августина Павловна также готовится к исходу, но отстаёт от Колымеева «на шаг». Её внезапная загадочная болезнь (вызванная, как она сама считает, сглазом соседки, прибегнувшей для этого к помощи деревенской «колдуньи», а на деле, скорее, психосоматика из-за неравной борьбы с молодой злобной бабой) как бы запускает тот же очистительный механизм, который уже набирает обороты в душе Палыча. Жестокая ссора, спровоцированная ею с супругом, на время отдаляет их друг от друга. Внутренне оставленная наедине с собой, Колымеева сначала тяжело переживает *«непоправимую поруху»*, но постепенно учится греться *«простотой мира, в буднях потерянного, а в горькие минуты найденного»*. И оказывается, одиночество — не такая уж плохая штука! В одиночестве Владимир Колымеев обретает свои прозрения. Пройдя испытание одиночеством в ссоре, Августина Павловна, глядя сквозь занавески на звёзды, начинает дивиться, *«сколь незыблемо и отлаженно протекает их небесная жизнь...»*.

Таким образом, разобщённость в социальной жизни несёт погибель, а одиночество в духовной жизни становится необходимостью. Всё главное, что обретает человеческая душа, она обретает в уединённых размышлениях. На примере героев Антипина мы видим, что жизнь протекает одновременно в двух планах: горизонтальном — от рождения до смерти, и вертикальном — пути возвышения души. Если Владимир Павлович уже устремлён к этому пути, то Августину Павловну суетность будней пока не отпускает. Несмотря на всю свою тяжкую трудовую жизнь, она только сейчас вступает в пору заделья — не простых житейских забот, а тех, которые принесут ей чувство причастности, уже обретенное её супругом. Как и Колымеев после выписки, она вдруг обретает энергию, которая позволяет ей завершить свои последние дела. Тогда как Палыч, который всё лето, как он говорит, *«за столблял за собой привилегию»*, стал увядать. Позднее получив свою отсрочку, Августина Павловна ещё пребывает в пору заделья, а Колымеев уже завершает исход. Понятно, что спустя некоторое время и жена последует за ним и примет свои откровения.

Готовясь к исходу, старик совершает простые ритуалы — последний раз бреется и швыряет станок и помазок в таз с углём, избавляя других даже от этой малой работы. Он пишет письмо, вероятно, оставляя последние заветы, — адресат письма неизвестен, но, похоже, некому ему больше писать, кроме жены. Надевает костюм и чинно отправляется на почту, помогая своему непрочному шагу берёзовым посошком. Ему навстречу попадается соседка по посёлку. Перекинувшись с ней несколькими фразами, Колымеев избегает смотреть на неё, пряча глаза, пробуждённые *«осознанием чего-то давнего, со временем подзабытого и вот теперь с проникновенным вящим ужасом припомнившегося»*.

Тема воспоминания о смерти, как о знакомом, словно когда-то пройденном, возникает и в том, как точно, словно боясь ошибиться, нарушить кем-то определённый порядок, уверяет он каждое своё следующее действие.

Закольцовывая истраченную отсрочку, Колымеев встречает старшего Чебуна и как бы завещает ему заботу об Августине Павловне после своей смерти:

«— Я тебя всё хотел спросить... Ты когда-нибудь думал... о Гуте?!»

Чебунов — его давний, хоть и не признанный Августиной, соперник. Во время колымеевской «отсрочки» вдовец Чебун всё время рядом, предлагает помощь, и как будто ждёт, когда можно будет занять место Палыча в жизни Августины. Но Колымеев отказывается от всяких эгоистических побуждений, понимая, что в этом мире нет ничего своего — ни вещи, ни дерева, ни человека — всё дано во «временное пользование». Со всем нужно в определённый момент без сожаления расстаться.

Впоследствии Чебунов отрёкся от этой встречи, сообщив, что в тот день за водой не ходил. Остаётся загадкой, говорит он так, ощущая неловкость ситуации, или на самом деле эта встреча и беседа была одним из видений Колымеева.

Сны и видения вообще становятся для стариков Колымеевых важным этапом подготовки к исходу. В них видится установление мистических, но в то же время каких-то свой-

ских взаимоотношений со смертью. Так, Августине Павловне кажется, что кто-то толкнул её в спину, когда она собирала уголь, а потом тёмная старуха окликнула её из сеней, предвещая скорую смерть Колымеева. Самому Владимиру Павловичу во сне, а порой и наяву неоднократно видится образ «*полуночной старухи*».

Когда, вернувшись с почты домой, Колымеев сжигает в огороде посох, ибо «*костыльём к жизни прибит*», — в дыме «*забластилось синее облако*»:

— *Готов?*

— *Всегда готов!* — как того и ждал, спокойно сказал Владимир Павлович, кинув в огонь закипевшую серником спичечную коробку. — *Чё ты спрашиваешь-то всё?! Как жас дам по башке!*

Старуха вспыхнула ярким пламенем и рассыпалась искрами...»

Самое крайнее дело, которое остаётся Владимиру Павловичу — прибрать в проулке, скосив засохшую траву. Колымеев идёт с Августиной Павловной в баню к соседу Чебунову и одалживает у него косу. Уходя на последний покос, он слышит, как Августина договаривается с Чебуном о грядущих совместных делах — заколоть боровка и других житейских заботах. «*Сговорились уже, как и нет меня!*» — обиделся было Колымеев, но ненадолго. Ковыляя в сторону дома, он размышляет, как бы подводя итог своей судьбе: «*Хорошо было жить!.. И жизнь, и баня была хорошей, чё там...*»

Андрей Антипин не показывает нам собственно смерть своего героя, но подводит читателя к ощущению закономерности конца жизненного пути Колымеева. Вот как он завершает роман «Житейная история»:

«Миновав огород, он вышел за ворота и, с оттягом взмахивая косой, с неожиданной силой в руках стал валить траву. Всё дым, всё огонь, всё уйдёт в трубу... — запрокидывались пряные заросли, марая сапоги и косу вязкой чёрной кровью, и сухие семена полыни ради жизни на земле сыпались перед смертью в карман болоньевой куртки, но Колымеев не жалел ничего... старик впервые подумал, что не наступит новое лето.

Он принял эту маленькую новость тихо, ни душой не дрогнув и не зашелестев раскурками.

И заложил сухую траву в баки.

И поджжёт от одной спички.

И пустил к небу не ведающий преград тьмы, горя и одиночества лебяжий клуб — как сигнал о своём затянувшемся существовании».

Мы видим, что Колымеев приближается к последнему порогу очищенным, примирившимся с жизнью и со смертью. Смерть для него становится желанным отдохновением от земных тревог, когда герой сам спрашивает её — дым последнего костра становится его призывом, заявлением о готовности перешагнуть черту жизни.

Отмечая важнейшие этапы исхода своего героя, автор обращается к традиционным символам народной культуры: баня как символ очищения, коса — смерти, дым — связи между мирами. Может показаться, что метафоры, используемые Антипиным, слишком явные, многократно повторённые (как в случае с образом черёмухи) и объяснённые. Но мне думается, что этот приём использования простых, чистых метафор сообразен самому тексту, заданной теме. Колымеевы — люди простые, они постигают важнейшие духовные истины в повседневных трудах, в тесной связи с жизнью земли.

Конечно, можно было бы более подробно говорить и о недостатках прозы Андрея Антипина. Диалоги его просты и сочны, хотя кое-где стилистика речи автора сливается с речевой стилистикой героев. А в описательных эпизодах автор местами затрудняет восприятие текста тем, что перенасыщает фразы образными сравнениями, региональной лексикой и словами, созданными в соавторстве с народом. Это видно уже и в тех примерах, которые были приведены. Но это не главное. Многократно важнее мысли и чувства, которые будит книга, темы, которые она поднимает. Всё это позволяет относить «Житейную историю» Андрея Антипина к настоящей, большой литературе. И это всего лишь первый, поверхностный взгляд на его творчество, которое заслуживает гораздо более внимательного прочтения.

Главное — чувство ответственности

Первый вопрос, который созревает у писателя, — для кого он пишет: для себя и своего окружения или для широкого круга читателей? Уверена, что большинство предпочтёт второе. В этом случае произведение автора должно быть изложено грамотно и понятно с точки зрения современного русского языка. Но вот тут и появляется заковыка. Оказывается, дружить с великим и могучим не всегда получается. Поэтому тонет порой читатель в «лужах» непонятностей, диалектизмов, жаргонов, а то и искусственных придумок. И рад бы он понять, о чём писатель сказать хотел, да не получается. Именно этим в известной степени отбивается у людей охота к чтению.

Отсюда реакция идёт дальше. Снижается грамотность, падает интеллект, общая культура поведения. Так что плохо написанный рассказ — не такая уж безобидная вещь. Не зря сегодня по этому поводу начали звонить во все колокола. Вот, к примеру, какую мысль высказала на страницах «Аргументов и фактов» иркутский библиограф Римма Михеева. «Литературная речь, — сказала она, — теряет свою значимость и отработанные долгими годами правила. Обиднее всего, что этому подвержено и наше писательство. Шедевры больше не пишут...»

Так ли это? — задалась я вопросом, решив познакомиться с прозой иркутских писателей в трёхтомнике «Бег времени», изданном в 2012 году. К моей радости хороших, интересных рассказов здесь много. Авторы разных поколений — Г. Пакулов, Г. Машкин, Ю. Баранов, А. Семёнов, А. Просекин, А. Гурулёв и, конечно, ставший классиком В. Распутин, — у них отработаны и тема, и сюжет, и владение языком. Одним словом, это большие мастера литературного цеха. Однако в издании есть и такие произведения, которые, к сожалению, мастерскими назвать нельзя, хоть их авторы члены Союза писателей России. То есть люди, по роду своей профессии призванные бороться с «занозами» языка. Именно эта причина заставила меня взяться за перо. Например, возникли у меня замечания к творчеству молодого писателя Андрея Антипина. Более всего мои претензии относятся к его рассказу «Чайки плакали». Хотя и в прочитанном мною впоследствии романе «Житейные истории» много случаев употребления местных просторечий — диалектизмов, также и жаргонов в таком количестве, в каком не принято употреблять в литературной речи.

Приведу только малую часть таких слов и словосочетаний: *«Живые губы; отпахнутые окошки; выносимыми словами; зримо восстало в сердце; валко чувствуя себя; обырjali кругом; оскоблiлся грамотей; бледные, голодные жилки на руках; ловлю баще тебя; орокая с соседними гульбищами; косточки помидоров; сопит в обе шморгалки; они слёзы тоже были тут, летели встреч кадыку сырым облаком; сытость нищих душ; понужнули из ружья; ну погнали пацки; чтобы всё шло на паях с природой; лишаи обыгавших озёр; товарищеское вспоможение опытом; доли мая думками; жить с ней, бросив старика, сомускает; сердце думало поперёд рассудка; бросил пачку сигарет, отпачившую от стекла...»* Как тут не вспомнить слова замечательного русского писателя Максима Горького, вышедшего тоже из народа, где диалектизмы исконе были употребимы в каждой губернии свои, непонятные жителям соседних губерний: «Уместно будет напомнить, что язык создаётся народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Всякий материал, а язык особенно требует тщательного отбора всего лучшего, что в нём есть — ясного, точного, красочного, звучного — и дальнейшего любовного развития этого самого лучшего...»

Нормы русского литературного языка постоянно отрабатываются писателями и учёными-лингвистами, они закрепляют то, что выработано языковой практикой. Это пополняет словарный запас языка по правилам употребления слов, грамматических форм произношения и правописания, действующих в данный период развития литературного языка.

Ещё несколько замечаний, но уже по поводу романа Андрея Антипина «Житейная история». Кстати, слово «житейный» я не смогла найти ни в одном словаре. Да и компьютер всё время подчёркивал красной чёрточкой это слово. В литературном языке есть слово — житейские. Так вот о недостатках в романе: это, во-первых, досадные длинноты повествования и, как и в рассказе, перенасыщенность речи автора и действующих лиц диалектизмами. Ну что значит выражение «валко чувствовать себя»? В народной речи есть выражение «ни шатко ни валко» — всё понятно с ходу. А «валко чувствовать» — это как? А слова «обырjali, оскаблilся, орокая, сомускает» вообще не могут быть понятными даже в нашей области, кроме может быть, в селе Казарки — малой родине писателя. Выражение «косточки помидоров» — просто досадная неточность: какие, ей-богу, могут быть у помидоров косточки?!

Такие ошибки вместе с множеством бытовых подробностей мешают усвоению смысла и главной темы произведений, оценке главных и второстепенных фактов в жизни героев и их окружения. А учитывая новые требования сегодняшнего читателя к сжатому изложению, молодому писателю особенно необходимо перед работой над каждым новым произведением составить очень чёткое представление о его сюжете, тематике и главной мысли. И всё это — исходя из основных требований законов литературного творчества.

К сожалению, жанры романа, крупных повестей сегодня практически не востребованы читателем. Долго сидеть за книгой современная молодёжь не любит, ведь есть другое занятие — компьютер. Постепенно и многие из старшего поколения начали отвыкать от чтения. Может, не случайно Валентин Распутин стал больше внимания уделять рассказам, небольшим повестям и публицистике сегодняшнего дня. Ведь их можно взять с собой в электричку, чтобы скоротать время, да иногда и дома почитать на досуге.

Первым сигналом культурного падения стало резкое уменьшение в нашей стране читающих людей, снижение грамотности в письменной и устной речи. Конечно, подобные проблемы коснулись не только России, но у нас пренебрежительное отношение к языку, к литературному творчеству воспринимается с особенной болью души. Ведь всё это отражается и на состоянии нашей сегодняшней литературы, по праву считавшейся одной из ведущих в мире. Кому же, как не писателям, предстоит бороться за нашу национальную культуру?

Я, конечно, понимаю, что вряд ли все мои замечания и советы будут полностью приняты не только Андреем Антипиным, но и многими начинающими молодыми прозаиками и поэтами. Но если мы, литераторы, будем отрешённо писать так, как нам нравится, не отдавая себе отчёта, что этим самым продолжаем процесс падения нашей общей культуры, деградации населения, особенно молодёжи, то этого нельзя оправдать никакими обстоятельствами!

ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА

Когда сорвётся времени стрела

О «НЕСОЮЗНЫХ» ЛИТЕРАТОРАХ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Поэзия. Проза. Драматургия

Может быть, советское книгоиздание страдало излишней строгостью к тем, кто рискнул «замарать» бумажные листы своими свежеиспеченными мыслями, нерастраченными чувствами, разрывающими душу знаниями... Многие из членов СП СССР вспомнят, сколько стараний и страданий пришлось испытать, прежде чем назвали их писателями земли Русской, сколько рекомендаций требовалось, чтобы книга пошла в печать в государственном «Восточно-Сибирском книжном издательстве, тем паче в московском «Современнике» или в «Советском писателе».

Ныне вступающий на эту стезю зачастую даже не догадывается, скольким критериям должно отвечать написанное им произведение!

*О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают
Нахлынут горлом и убьют.
От шуток с этой подоплёкой*

*Я б отказался наотрез.
Начало было так далёко,
Так робок первый интерес...
.....
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба.
И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба.*

(Б. Пастернак)

В наши дни, получив «революционное» право издаваться за счёт автора, нерцензированные, нередактированные книги заполнили страну. Имея время и желание узнать, о чём же и как пишут самостоятельные авторы, я внимательно прочитала несколько книг, принесённых в Дом литераторов на Степана Разина. И у меня возникло мнение... Видимо, книгорождение, как и деторождение, отложить нельзя, коли оно назрело. А что из этого получилось — должен судить читатель.

Первая книжка, что мне попала под руку, небольшая, 85 страниц, автор — Альфира Ткаченко, называется «Истории жизни», заключающая под мягкой белой обложкой 13 новелл детективного или романтического свойства. Написанные в 2011–2012 годах, рассказы вполне современные, ладно скроены, интересны сюжетно. Но, увы, плохо «сшиты»: книга полна пунктуационных, стилистических и прочих ошибок. Невозможно перечислить попадающиеся в тексте «шедевральные» фразы типа: «*Орёт, как корова на лугу, у которой кусок сена отобрали*»; «*Ольга поднялась по крыльцу и вошла... Кресла стояли у стены с оружием. Оружия были нескольких видов*» и т. д. и т. п. Есть вообще нелепости — нарочно придумашь: «*Шопен (найденный в компьютере. — Т.С.) закончил играть весенний вальс, а комната, наполненная звуками прекрасной мелодии...*» Вопиющая безграмотность, десятки ошибок на каждой странице, особенно в начале книги; повторение одного и того же

слова, как будто бы слов-синонимов не существует. Неправильное построение фразы — порою лишь догадываешься, что хотела сказать писательница! Что это — презрение к языку, на котором автор пишет, а может быть, и разговаривает? Небрежение к качеству текста почти свело на нет писательский труд Альфиры Ткаченко. А ведь могла бы появиться на свет и занять достойное место в сибирской литературе книга.

Разберём несколько рассказов. Вот «Яблоневый Спас». Это юмористическая новелла про... свинью. Несчастливая тварь, большая и тяжёлая, испугавшись грозы, передала кусты вишни, молодую яблоньку, чем наделала много шума в деревенском саду, много разговоров и эмоций — прямо гоголевская скотинка да и только!

В рассказе «Игорный бизнес» автор продемонстрировала знание этого самого криминального бизнеса — то знание, которое нам, «совкам», и не снилось. Какие-то «колёса», крысиные бега, хитроумные схемы, продажа картин — «деньги можно лопатой грести!» Попутно — «обслуживающий персонал» — проститутки всех мастей и категорий. Что ж, хочешь жить — будешь вертеться! Развитие событий логично — новая реальность, и несчастным молодым россиянам пришлось вживаться в неё!

Вот окончание рассказа: *«Через полгода Энтони (иркутянин, наверное, Антон. — Т.С.) сообщил о смерти частного коллекционера из Китая. Так, конкуренция... Оказалось, что он заболел. Не то лёгкие, не то печень. Но яд не нашли. Картина не вызвала подозрений.*

— Ладно, будем расширять наше сотрудничество в Америку и Европу... Работать, милые мои, на благо государства... Ты ведь знаешь, что первой задачей государства стоит воспитание поколения, молодого. Вот и держай. Всего тебе». Что называется, приехали.

Названия других рассказов: «Осколки прошлого», «Правила поведения для порнозвезды», «Отзвонил жёлтый звонарь» и другие. Чудесный рассказ «Святки на деревне» — ах, какое счастливое детство было у Альфиры в деревне Большая Елань Усольского района! С какой сладостью написан зимний праздник, со всеми подробностями русской жизни! Альфира любит описывать снег, лихой мороз, прекрасную зимнюю чистую ночь в родной деревне, запахи праздничной кухни... Темы, задевающие за живое. Справедливости ради надо сказать, что от первых рассказов к последующим качество текста становится всё лучше. Остаётся ещё раз посетовать, что автор не озаботилась отдать опытному корректору и умному редактору свои произведения. (А впрочем, не попробовать ли самим писателям освоить хорошенько наш великий и могучий?)

Из разговоров с такими авторами знаю, больше всего они боятся литературного воровства. Немножко смешно! Так же как и уточнение на обложке: «Проза». Книгу издала Москва, Городская организация Союза писателей, Союз независимых авторов.

В 2013 году выпустил свою книжку иркутянин Анатолий Баснин. Две небольших исторических повести «Легионер Квинт» и «Гладиаторы» под одной обложкой. Они поразили меня живостью рассказа о временах давно минувших, о событиях, происходивших в Древнем Риме. В первой повести рассказ ведётся от первого лица: «Я — Квинт Вапурий, солдат второго года службы, воин пятой когорты одиннадцатого легиона... Сейчас стою в карауле по охране холма... Пустой каменистый холм, чем-то похожий на лысый череп; из-за этого, как видно, и название своё получил: на языке местных жителей «Голгофа» — череп». Так начинается повествование о простом легионере римского войска, ставшего невольным исполнителем Христовой казни. Простой, как все на свете солдафоны, он гордится своей службой в легионе великого императора Тиберия, он участвовал в разгроме мятежа разбойника Варравы в деревне Овечий Ручей... Быт и нравы солдатской массы, почти детская радость по поводу прибавки к жалованию, бездумная исполнительность служаки, глухое непонимание толпы... Так произошло событие мирового значения. Явление, о которое затупились духовные и стальные мечи великих народов! И нет конца этой брани.

Во второй вещи — маленькой повести «Гладиаторы», дело происходит в Древнем Риме, в марте 74 года до н. э. (679 год от основания Рима, при консульстве Марка Аврелия Котта и Луция Лициния Лукллы) — время, предшествующее восстанию рабов под предводительством Спартака. Реальные исторические личности — гладиаторы Древнего Рима,

вынужденные дикой властью римской знати убивать друг друга в амфитеатрах и на рыночных площадях, — в основном абсолютно бесправные военнопленные, не считавшиеся даже людьми, в глубокой тайне готовят это восстание. Рабы Крикс, Гай Ганник и Каст, Эномай, Публипор, Гай Верес — действующие лица романа. Собираясь в римских тавернах и лупанариях в свободные от тренировок и боёв часы, они разрабатывают тактику и стратегию восстания.

В «Эпilogue» сказано: *«Так началось самое великое восстание рабов древнего мира, или, как называли его римляне, — «Спартакова война». Три года Спартак громил все войска, посылаемые Римом против него, прошёл со своей армией всю Италию до подножия Альп, а затем обратно... Ни один военачальник не мог справиться со Спартаком; все они, вступающие в боевые действия против него, были наголову разбиты благодаря блестящим полководческим способностям великого вождя... Судьба Спартака общеизвестна. О других же участниках изложенных выше событий сохранились лишь краткие сообщения античных авторов. Вот они...»* И дальше идёт подробная историческая справка обо всех героях повести, толкование незнакомых терминов и понятий.

Обе вещи написаны по канонам исторического романа, грамотно, увлекательно.

Следующий колоссальный исторический труд Анатолия Леонидовича Баснина — роман-эпопея из жизни Древней Греции под названием «Послание Фемистокла». Две с половиной тысячи лет назад разгорается тяжелейшая война жителей древней Эллады с неисчислимым войском персов. Воины крошечной островной страны, раздробленной в те времена на отдельные города-государства (полисы), героически сопротивляются нашествию врагов на суше и на море. Этот период известен в мировой истории как греко-персидские войны.

Фемистокл появляется в 492 году до н. э. как стратег-полководец и руководитель Делосского Морского союза греческих городов-государств с центром в Афинах. (Вместе с тем образовался и другой союз, во главе со Спартой.) Полководец Фемистокл был мудр и дальновиден, он призывал военачальников продумывать каждый шаг, прежде чем предпринимать военные действия, за что многократно был избран архонтом. Велик его вклад в победу над жестокими завоевателями. Опять-таки исторические личности, известные из произведений Плутарха и других писателей-историков, живут, действуют, любят свои семьи, дружат и самоотверженно сражаются в огромном повествовании Анатолия Баснина. Изучая историю Древней Греции, а попутно и Древнего Рима ещё с 4-го класса средней школы, в литературном кружке Иркутского Дома пионеров, Баснин познакомился с потрясающими событиями греко-персидских войн и уже тогда начал писать свой роман. Юный писатель настолько сжился, сроднился со своими героями, что судьбу каждого из них проследил и описал до конца, и писал, переписывал, дополнял роман буквально до сегодняшнего дня — ему сейчас около шестидесяти. Вряд ли есть ещё подобные примеры верности так рано избранному пути! (Как быстро проходит жизнь! Не успеешь дописать роман...)

Главное сражение, получившее название Саламинского, состоялось в 480 году до н. э. близ Афин. Война вообще шла при огромном превосходстве сил персов за жизнь крошечной, но великой духом Эллады, она потребовала страшных жертв. Покоренные народы, оказавшие сопротивление, персы жестоко подавляли: казнили воинов или делали бесправными рабами; девочек и женщин бросали как жертвенных животных под ноги своим солдатам; подростков кастрировали, и они тоже становились бессловесными слугами победителей. Народ исчезал. Однако это Саламинское сражение, так же как и Марафонское, окончилось разгромом захватчика. Греция была освобождена. И хотя лакомый кусочек земли в Средиземном море ещё не раз был завоеван теми же римлянами, однако удивительная культура Эллады, великие открытия древнегреческих учёных, представления философов о мире и человеке, многие слова и понятия вошли в языки и бытие европейцев как основополагающие. Теория музыкальной гармонии (музыкальный строй) была разработана школой пифагорейцев в 6 — 4 веках до н. э., что и стало основой европейской классической музыки... Невозможно перечислить всех «начал», данных нам древними греками!

Всё это органично вошло и в русскую культуру, и вот мы устраиваем Олимпиады, а время от времени собираемся на свои симпозиумы, чтобы решить какие-то задачи, и не только для этого... (Мудрые эллины придумали так, что во время Олимпиад прекращались все войны. О, если бы ныне европейцы помнили об этом!..) Вот почему страна, защитившая себя от гибели две с половиной тысячи лет назад, считается колыбелью европейской цивилизации. И неизвестно, в каком мире жили бы мы, если бы противоборство Греции и персов завершилось иначе. Такова основная мысль исторической эпопеи Леонида Баснина «Посланец Фемистокла». Автор восхищён героизмом и твёрдостью духа своих героев, их подвиги описаны пристрастно, со знанием дела. С особой любовью воссозданы образы греческих моряков. Сцены морских баталий описаны словно очевидцем событий!

Произведение состоит из восьми частей, каждая часть снабжена картой-схемой битв и подробнейшей исторической справкой. Не стоит повторять, что автор очень ответственно отнёсся к своему произведению: все события, все герои описаны в трудах Геродота и Плутарха, но они ожили только под пером писателя, стали почти нашими соплеменниками и современниками. Что особо порадовало — вещь написана грамотно. Увы, более чем тысячестраничная эпопея существует сейчас в виде рукописи. Найдись для неё издатель с деньгами — книгу можно было бы использовать как учебное пособие.

Следующий «внештатный» автор, о котором хочется сказать, поэтесса и прозаик Юлия Подгорбунская. Много лет посещает она литературную студию «Лист» при Союзе писателей России. За эти годы издала две книжки стихотворений: «По следам колесниц» в 2007 году и «Лестница в зарю» в 2010-м, обе в издательстве «Иркутский писатель». «Очарованная странница» в этом мире, философ, художница, керамистка, она обладает необычным зрением — видит всю красоту природы, человеческих чувств, она воспеваает красоту фантазии и поэзию науки. Её стихи наполнены ароматом черёмухи, под сенью которой прошло её детство на станции Кая, что значит «эхо», дыханием прекрасных лесов и вод, отзвуками всевозможных впечатлений, «отраженным светом любви»:

*Слышу я твои шаги
В тихом шорохе прилива,
Даже песен переливы —
Отражённый свет любви.
.....
Я буду сном, когда ты смежишь веки,
Рекой — в тот час, когда в неё войдёшь,
Звездой, в окно блеснувшей
В тёмном небе...
Ты горе знал, но не узнаешь ложь!..*

Как у всех поэтов Сибири, у Юлии сердце болит о гибнущей природе. В стихотворении «Железная рать» она пишет:

<i>Всё запряталось, скрылось зверьё, Нет нигде от прогресса спасенья. Человек ширит царство своё — Что ему правда рысья, оленья?</i>	<i>Не оставлено места живым, Город строй мироздания рушит. По ревуцим от шин мостовым Всё звериные мечутся души.</i>
--	--

Юлия причисляет себя к великому племени керамистов. Она знает множество легенд и смыслов этого древнейшего ремесла, этого вечного искусства, его истории и философии посвящены многие стихи первых поэтических сборников. «Керамика — не просто ремесло. // Единство формы, замысла и чувства. // Разборчивое время донесло // Апофеоз старинного искусства...» Это из большого, сложного, красивого акростиха «Я ПОДГОРБУНСКАЯ ЮЛИЯ КЕРАМИСТКА». Талантливый человек талантлив во всём — это, конечно, о ней.

Она настоящая патриотка России, и её тревожит навязчивое преобладание чужебесия в средствах массовой информации:

<i>Русский дух мы почти что изжили,</i>	<i>Мы приемлем наветы лобые,</i>
<i>Русских сказок забыли тепло.</i>	<i>Мы в плену непонятных затей,</i>
<i>И в степные свободные шири</i>	<i>И заморские сказки тупые</i>
<i>Грёзы детства давно унесло.</i>	<i>Нам баюкают нынче детей.</i>

Что удивительно, нередко поэтесса рассуждает на известные темы. Но душевная глубина и нравственные установки или просто особенность её таланта делают эти «общие места» как бы возвращёнными истинами, и читатель с благодарностью внимает им, как внимают древним книгам. На одном из обсуждений её книжки читатели-мужчины задавали ей серьёзные вопросы на научно-популярные темы, так как в великолепном стихотворении «Игра природы» легко и красиво доказано: всё в мире подчиняется законам математики, так называемому Ряду Фибоначчи, всё в живой природе построено по дивному закону совершенства:

*Так раковина, водами хранима,
Ревниво охраняет свой секрет,
И логарифмы завитка незримо
В её изгибе оставляют след...*

Вообще, в этом большом стихотворении поэтесса разворачивает всю картину мира, с его красотой и величием, восхищается природой как Божиим замыслом, сравнивает спираль галактики с изогнутым тонким стебельком цветка... И опять же возмущается бездумностью человека:

<i>А современный человек привык Весь мир считать своим игральным залом, Сложнее быт, зато бедней язык, И примитивней изреченье стало.</i>	<i>Скачай себе, как файлы, воды рек, И чёрный пульт не выпускай из рук.</i>
<i>Таков ты, современный человек! Всё отравив, срубив леса вокруг,</i>	<i>И подведи итог «успехов» скромных, Что ты везде уже так много смог... Как gloria мерцает в водах тёмных! Но не подумай — ты ещё не бог!</i>

Как видим, «поверить алгебой гармонию» вполне доступно нашей современнице. Удивительно, но Юлия Подгорбунская считает своим литературным мэтром старого французского тёзку — великого писателя-фантаста Жюль Верна. Вот откуда у неё эта романтика дальних странствий, философичность и стремление к познанию того, что писатели обычно не считают предметом своих интересов.

В 2013 году Юлия Подгорбунская выпустила в издательстве «Сибирская книга» фантастический роман «Замок Магжери, или Путешествие по диагонали». Писала его с 2009 года. Хотя начало положено ещё в детстве... «Вниманию читателей предлагается фантастическая сага. Масштабное эпическое полотно наполнено удивительными героями и яркими событиями, множеством характерных деталей и подробностей. Автор создал уникальный мир, в котором всё гармонично и достоверно, несмотря на фантастичность замысла и причудливость сюжета... Ясный стиль и четкость изложения способствуют хорошему восприятию текста. Для читателей всех возрастов». Так сказано в аннотации к 590-страничному произведению.

Первой части романа предпосланы в качестве эпиграфа следующие изречения: «Бойтесь своих желаний, ибо они сбываются» (японское изречение) и «Не оглядывается устремлённый к звезде» Леонардо да Винчи. К счастью, в нём нет ужасных монстров, ушастых уродцев с добрыми глазами, летающих мальчиков с деревянными лицами, нет даже страшных колдунов... Зато есть Алхимик и его ученики, создающие — о, да! — Машину времени в тайной лаборатории замка Магжери; есть разбойники и злодеи, юные художницы и керамистка; есть даже инквизитор и жертва, приговорённая к сожжению на костре, которой таинственным образом удаётся исчезнуть. Есть «Летучий голландец» в море, окружающем остров, чьё название становится известно лишь в конце романа, и даже великолепная скачка лошадей с чудесной остановкой прямо перед пропастью!

С помощью АКВАСОНГА в это средневековье попадают двое молодых учёных конца

XXI века. Они вынуждены принять участие в удивительных событиях, случившихся на острове, хотя это строго-настрого запрещено: ведь всем известно, что ничего нельзя исправлять в ПРОШЛОМ, ибо это может привести к катастрофе в будущем! Всё богатство человеческой фантазии автор, кажется, задействовала в этой книге. Нет в ней только космических приключений, зато люди прошлых веков живут и действуют так, что невозможно оторваться от чтения. Так интересно «закручены» сюжетные линии, так всё оправданно и умно!

Органично встроены в роман философские рассуждения о Времени, о красоте и великом значении Природы, о «таланте любить». Есть в нём и стихи.

<i>Когда сойдёт времени стрела И наши судьбы вдруг соединятся, Века смешает и поглотит мгла И ей, теснясь, мгновенья подчинятся.</i>	<i>И все века меж нами в миг один В туман тогда, наверно, превратятся...</i>
<i>Вдруг города восстанут из руин, В сухие русла воды устремятся,</i>	<i>А нить времён легла — за слоем слой, Виток к витку, в теории Евклида. Пробей моток незримо иглой — Со дна морского встанет Атлантида.</i>

В беседе героев романа ясно звучат удивительно современные мысли об отношениях между людьми: «Наклеить ярлык проще всего. Если человек какой-то не такой — значит, ничего не стоит. Не так одевается, не так смотрит, не так говорит... Или не говорит вообще, замкнулся в себе. В том числе, быть может, по вашей вине. О люди, как вы скоры в своём суде, как вам хочется смотреться лучше на чьём-то фоне. Всё равно на чьём, лишь бы выгодно отличаться от ближайшего соседа... или вон от того, странного, или того — непонятного, нелепого, не такого, как это принято в вашем понимании... Как люди любят презирать, лишь бы не презирали их... Бог хочет чему-то научить, а мы не учимся. У нас, наверное, нет на это душевных сил».

«Стихи только тогда и живут, когда их читают», — говорит один из героев романа. «Это можно сказать и о книгах вообще», — отвечает ему собеседник.

Невозможно «объяснить» огромную книгу Юлии Подгорбунской. Могу только уверить читателя, что эта книга «живёт» — живёт своей удивительной жизнью, которая в самом деле увлекает читателя любого возраста — лет от 12 и до... Написанная прекрасным языком русской классики XIX века, с чётко определёнными понятиями о «добре» и «зле» в этом мире, она радует читателя старшего возраста, будет поучительна для юных. Я бы даже сказала, что эта книга для семейного чтения. Во всяком случае, такое времяпрепровождение куда интереснее, чем кровавые разборки на нашем телевидении! Есть, конечно, недочёты и в этом тексте, но не стоит, наверное, говорить здесь о них. Пусть читатель прочтёт эту книгу и разберётся сам. Надо сказать, что корректором, а заодно и редактором этой книги явилась автор стихов и композитор множества бардовских песен, профессиональный корректор Инна Демеева.

Издание романа «за свой счёт» потребовало «круглой» суммы. Юлия Подгорбунская заработала её воистину подневольным трудом, печатая на компьютере документы. Поклонница всего прекрасного в мире, Юлия сама оформляет свои книги рисунками. Все её героини элегантны и красивы, даже отрицательные. Ну что ж, безобразия хватает в нашей жизни!.. В 2010 году, к слову, Юлия Подгорбунская вполне профессионально оформила мою книгу переводов с французского «Чудесные сказки».

Незаурядным явлением стала для меня книга Светланы Степановой «Знак судьбы». Причудливое исполнение художницей Дарьей Перфильевой обложки и иллюстраций к текстам вначале вызвало удивление и даже неприятие: настолько оно не традиционно! И надо было прочесть книгу, чтобы понять: только так и можно было оформить её. Она включает в себя четыре рассказа, пьесу в 9 действиях и не менее 60 стихотворений.

Рассказ «Прощай, безнадёга!» опубликован в журнале «Сибирь» в № 4 за 2012 год, и Светлана стала дипломантом литературной премии им. А.В. Зверева. Рассказ можно было бы назвать приключенческим, если бы он не был написан «с натуры» — о реальной

поездке автора на своей машине, немолоденькой уже «Ладе», через всю страну из Анапы в Иркутск, вместе с двадцатилетним сыном. Это было бегство от «счастливой» жизни, которая оказалась «не по плечу» молодой писательнице — все попытки мужа удержать красавицу-жену на благодатном юге не увенчались успехом. Тоска по Иркутску, по родным и близким, по бурной и сложной жизни вечно юной Сибири погнала её в путь. «... Сама жизнь в Анапе стала для меня ассоциироваться с мутной застойной водой, наводящей тоску-печаль», — пишет Светлана. Да и какое возможно творчество под прищипом влюблённого мужчины! И вот, в самый разгар зимы мама и сын покидают черноморские пляжи и едут «нон-стоп» по дорогам России и далее — по совсем зимней уже, заледенелой Сибири, где можно с лёгкостью соскользнуть в пропасть двум не спавшим две недели ездокам... Воистину, экстремальная история!

Рассуждения о материнском чувстве, гордость за сына, разделившего с нею всю тяжесть дневной и ночной езды, восхищение красотой и печалью русских просторов звучат в этом на редкость динамичном повествовании. И, несмотря на весь драматизм ситуации, в рассказе достаточно юмора: автор умеет видеть себя как бы со стороны. Это свойственно только умным свободным!

Интересны и три других рассказа из этой книги: «Взрыв», «Поколение обманутых надежд» и «Светланино купе, или Путешествие со звездой». Рассказы написаны в реалистическом стиле о нашей «удивительной» в некоторых местах жизни. «Врыв» также автобиографичен, как и «Безнадёга». Степанова рассказала случай из собственной жизни, точнее, редкий «рабочий момент» с предотвращением катастрофы. Этот рассказ опубликован в журнале «Северомуйские огни».

К литературному приёму смещения времён прибегла Светлана Степанова в своей неожиданно гениальной пьесе «Сон в зимнюю ночь, или Откровения для гения». За свою жизнь я наслушалась всяких размыслов о смерти и погребении Николая Васильевича Гоголя. Как-то даже жаль его... У Светланы Степановой он случайно становится нашим современником:

«Раннее утро. На роскошном диване спит Гоголь в одежде и ботинках 19-го века.

Гоголь просыпается, потягивается, сладко зевает. С недоумением разглядывает приёмную (в клинике пластической хирургии. — Т.С.).

Гоголь. *Чертовщина какая-то, куда это я попал? Вчера после приёма у Толстых, точно помню, почивать отправился, как всегда, в гостевую комнату. Экие шутники — завтра же заеду, не премину пожуришь, спектаклю мне устраивать — вот что надумали!..»*

Так начинаются «Сцены из жизни мегаполиса в 9 действиях».

Пьесе тоже предпосланы два эпиграфа:

« — Ну, как тебе Гоголь?

— Гоголь? Это где?» (из разговора старшеклассников)

и «Гений бессмертен, пока тень забвения не коснулась идеи, которой он посвятил свою жизнь».

Бедный Гений XIX века волей автора попадает не куда-нибудь, а в самый эпицентр страстей XXI века: в клинику пластической хирургии, далее — на молодёжную тусовку, где сталкивается с моделью («скелет головоногого в скафандре», как их называет Журналистка. Странно всё-таки звучит: «модель» чего? — модель человека!), с завсегдатаем тусовок банкиром Мошновым, с умницей Журналисткой... Но не в именах дело — в содержании и форме разговоров: никто не понимает других и никого не понимает Гоголь. Постепенно он начинает соображать, куда его занесло, и его моральные устои входят в противоречие с современной нам Русью. Диалоги его с Еленой Николаевной Присядовской, звездой гламура, и её окружением просто уморительны! Комедия положений развивается с места в карьер и уже не отпускает читателя. Элегантная речь и порывы Гоголя на дикие нравы нашего общества:

Завсегдатай *(о Леночке Присядовской).* Я бы тоже такую курочку и днём и ночью бы пас! Да только разве укараулишь! Стерва ещё та! Глупа, как пробка, — а туда же! Все прелести у неё — искусственные! Даже нос не свой! Увела любовника у своей подружки-модели, так она ей нос принародно откусила!

Гоголь (*возмущённо*). Но, позвольте! Как вы смеете честь дамы порочить?

Завсегдатай. Какой дамы? Это Ленка-то дама? Вот умора, ну, насмешил! Дама с Амстердама...

Гоголь хватает его за грудки.

Гоголь (*возмущенно*). Извольте извиниться! Иначе я должен буду вызвать вас на дуэль!!!

Завсегдатай. Ты чё, дядя, пургу гонишь? Из какого прекрасного далёка тебя откопали? Какая дуэль в двадцать первом веке — совсем комп бараклит?

Или вот как Леночка «заботится» о Гоголе:

Леночка. ...Нужно пресс-конференцию замутить... все ваши приколы рассказать: прошлое — будущее, уснул — проснулся в другом веке... Это сколько бабулек нарубить можно — не жизнь, а сплошной кайф!!! Не стрингуи, чувачелло, всё будет пучком!!! Мы таких дел забадяжим!

Гоголь (*в полном изумлении*). Чува чего?..

И так далее.

Поразительно чувство языка молодой писательницы: точна и естественна речь Н.В. Гоголя, а уж знание современного сленга, выработанного в среде этих самых «сливок общества», достойно восхищения. Причём постепенно речь Гоголя переходит на белый стих, он даже пишет письмо потомкам — в стихах. Возвратившись в своё время, Гоголь страстно рассказывает другу Анненкову о своих чудовищных «открытиях» в Будущем... Его устами автор проговаривает свои мысли о сложившемся положении дел в стране и мире. У С. Степановой есть право судить: натура деятельная и предприимчивая, она много лет работала во взрывоопасном цехе Иркутского МЖК, она никогда не мирилась с перспективой благополучного, но бессмысленного существования. Кроме того, у неё, возможно, есть особая связь с космосом, дар провидения, как замечают друзья. И вся пьеса написана на самом высоком напряжении, ярко, честно, без малейших попыток скрасить или смягчить позицию автора по отношению к персонажам и событиям.

Естественно, всё кончается трагедией: кто-то устраивает взрыв в клинике, где в этот момент находится Присядовская, и Леночка обгорает. Как раз тогда, когда Николай Васильевич понимает, что он влюблён в эту, в принципе, добрую девушку, одурченную «новыми веяниями времени», «странной», мягко говоря, ориентацией общества и т. п. Иначе и быть не может — здравый смысл, сама жизнь сопротивляется навязанному нам абсурду.

*Праздность, мой Катулл, для тебя зловредна,
Праздности ты рад, от восторга бредишь!
Праздность — чувств в тебе пробуждает буйство.
Праздность — и царей, и столиц много сгубила...*

Так увещевал сам себя древнеримский поэт ещё до новой эры. И то, что в наше время создали целую индустрию убивания праздного времени, ничего не изменило.

Со слезами на глазах мы расстаёмся с героями этой замечательной пьесы, необычайно своевременной, необходимой как альтернатива теле- и кинооргиям, прославляющим убийство («мочилово», «трупняк» — вот как характеризует эти «шедевры» молодёжь), глупым шоу и нудным сериалам по «ящику». Надеюсь, что эта умная трагикомедия скоро найдёт своего режиссёра, а талантливых актёров Иркутску не занимать.

Драматическая музыка и бескомпромиссность звучит в большинстве стихотворений С. Степановой:

<i>Никогда никому не плачу Ни монетой, ни пылкой любовью. Оттого и по жизни иду, Как по минами взрытому полю.</i>	<i>Никогда никому не плачу, С древней истиной тоже не спорю: Лучше смерть в равноправном бою, Чем фальшивая жизнь в подневолье.</i>
---	---

Хотя она — истинный и верный друг, если, конечно, вы удостоите её дружбы. Но купить её невозможно, а именно это и пытаются делать в наше время рыночной экономики (смотри телешоу о жизни и «разборках» шоу-бизнеса).

Много стихов посвящено матери: «Маме», «Смородиновый дождь», «Одиночество»... Сколько дочерней боли и любви в этих стихах! Вот потрясающее стихотворение «Последний день»:

*... Броней на сердце чёрный, чёрный лёд
Всё давит, давит тяжкой глыбой,
И запоздалой жертвой на окне лежит
Пакет с уже ненужной сливой...*

*...А в ночь, под ропот непогоды,
Хирург, смирившийся с уходом,
Испуганную душу вынет
И в таз кровавый под окном
Причину смерти метко кинет...
Руины тела дорогого
Защитают умельцы споро...*

Реалистка во всём, Светлана находит своим мыслям строгие и сильные слова. Как рыцарь без страха и упрёка, она обличает зло, напоминает об ответственности за всё происходящее, пророчествует о судьбах России:

<i>Актуален нынче грозовой пейзаж... Эй, включай, Россия, на всю мощь форсаж!</i>	<i>Пролети по небу грозною звездой, пусть враги заплачут над своей судьбой!</i>
---	---

Лирика С. Степановой звенит хрустально, в лучших стихотворениях и рифма хороша, и образы оправданны, а чувства и мысли не двусмысленны:

<i>Душа моя пуста... Любовь ушла, Забыв захлопнуть двери. В пожаре чувств сгорело всё уже дотла — На пепелище бродят звери.</i>	<i>Хозяйка-осень правит бал — Осенней грусти карнавал... Но вот беда — Меня туда никто не звал...</i>
---	---

Заметим, что поэтесса часто пренебрегает строгостью поэтических форм во имя смысловой чёткости строки. Как будто нарочно вдруг переходит на верлибр, хотя в стихах остаётся переключка рифм, музыкальный строй... Поэтому некоторые стихи напоминают мантры, некие заклинания, что, конечно, затрудняет восприятие её поэзии. Но к этому нужно привыкнуть, как привыкаешь к новым формам архитектуры.

Стихи С. Степановой по-хорошему цепляют за душу, заставляют думать, как и всё её творчество, заставляют спорить с нею, удивляют смелостью суждений. И это качество преобладает над неумелостью или нежеланием подчинить поэтический материал здравому литературному смыслу, набросить узду на сиюминутные мысли.

Хорошим поэтам свойственно быть пророками в своём отечестве. Порой они сами не догадываются об этом, но жизнь подтверждает. Стихотворение «Смертельное танго» С. Степанова написала незадолго до ужасных событий в Пермском крае, в ночном клубе «Хромая лошадь», где, напомним, на ночном празднике погибло более ста человек.

<i>...Мир теней и абсурд, Возведённый в экстаз, Никого никогда В этой жизни не спас —</i>	<i>Ярко-алый налёт роковой печатью На губах твоих лёг, Горький привкус миндальный, И в бокалах хрустальных Через пару минут Лёд растает прощальный...</i>
---	--

Как будто задыхаясь говорит поэтесса...

Есть ли у меня претензии к поэзии Светланы Степановой? Больше, чем достаточно! Главное — далеко не все стихи нужно непременно включать в книгу. «Но поражение от

победы // Ты сам не должен отличать», — сказал тот же Б. Пастернак, по своему, видимо, опыту. Что и случается с большинством начинающих писателей, и качество их первых книжек приносится в жертву количеству стихов. Придётся молодым выращивать в себе сурового редактора, если хотят быть классиками!

В заключение обзора новой литературы скажу несколько слов о книжке «Стихотворения» замечательного человека, водолазного врача Байкальской базы МЧС Михаила Шепеля.

*Он тем хорош,
Что от огня не убегает,
И жжёт меня
Глаголом песни первородной...
Свет обаяния в его стихах и жизни целой,
Даёт пример он, без раздела
Отдав себя поэзии одной.*

Так пишет Михаил в стихотворении, посвящённом *М.К.* Именно эти слова можно сказать об авторе этих строк, за исключением двух последних. Сам М. Шепель работал санитаром в психбольнице (в юности, до поступления в Иркутский медицинский институт), во всё время учёбы — медбратом в детской Ивано-Матрёнинской; и долгие годы он — водолазный врач в Центре подготовки спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Много лет он работает с водолазами, лицом к лицу с великим Байкалом и, нечасто, но пишет тонкие, светлые стихи о любви к Байкалу, к его соснам, чайкам, травам, о песке и солнце... Он является, может быть, самым культурным человеком в Иркутске, воистину, интеллигентом провинции — такое знание музыки, поэзии и прозы, живописи, словом, мировой культуры встречается редко.

Небольшая книга «Стихотворения», изданная в 2013 году, заключает в себе стихи, написанные в далёкой юности, в 70-е годы и позже, а также несколько стихотворений последних лет. Волшебство русского поэтического слова придаёт неповторимое очарование этой книжке. Речь идёт как будто о простых вещах: о дожде и листьях, об Огне и Ветре (Ветер, Сад и Дом он пишет иногда с большой буквы, как будто это живые существа), но за ними стоит нечто огромное и удивительное:

*Ангел мой, ты проснёшься одна на рассвете...
Когда Ветер откроет окно,
И письмо принесёт от меня тебе Ветер...
А в письме донесёт и Залив, и Волну,
Травянистый, песчано-холмистый,
Светящийся берег Байкала,
Горький запах травы, неизбежное чувство вины...*

* * *

*Остаётся печалиться тенью Весёлого Дня!
Мы из бездны одной,
Мы из времени года такого,
Где сгущается тайная нега огня,
Вырывая фигуры из пламени ветра ночного.*

И так все стихи — несут неразгаданную тайну бытия ли, человеческой ли души? «Легкокрылой волной на свечение, // Прорываясь сквозь облака, // Ясность мысли и ясность влечения // Приближается издалека...» Смысл стихотворений М. Шепеля надо искать не в самих строчках, а где-то между, в музыке, точнее, в лёгком шуме стиха: ведь самое главное глазами не увидишь, как сказал Маленький принц из сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Печаль его светла...

И самое удивительное, на мой взгляд, стихотворение-заговор, стихотворение-молитва, посвященное водолазам-спасателям Байкальского отряда, с эпитафией из «Книги скорбных песнопений» армянского поэта X века Григория Нарикаци:

*Я удивляюсь, Господи, Тебе...
Склоняю голову — Твой замысел понятен,
Где ветер дует — много белых пятен,
В ледовом поле — в горестной беде,
Где жизни пресекаются в минуту...
Сказать по правде, я и не забуду
Весь этот грозный час и Белый день.
Завьюжит Солнце и ложится тень
На наше поле...
Мы теперь в походе...
Клонится Солнце — в горизонт уходит,
Где блещет Майна тёмною водой...
Где девять нас и где сквозит бедой...
И я склоняю голову, покуда
Молю о помощи...
И жду, наверно, чуда.
Сказать по правде:
Господи, спаси!*

Братское море, п. Аталанка. 2002 г.

Стихи М. Шепеля читаешь, смакуя каждую строчку, каждую букву. Каждая — как самоцветный камень, как морская звезда или ветка коралла.

Итак, обзор самодеятельной литературы завершён. Радует сердце мысль, что молодые писатели пишут серьёзно, честно, имея целью, как минимум, найти своего читателя, как максимум, улучшить нравы нашего народа.

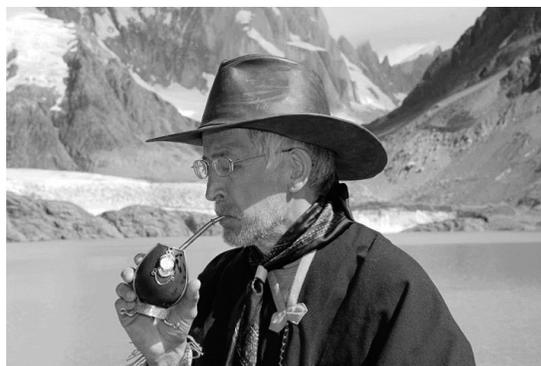
Из сказанного следует, что гибели русской литературы в обозримом будущем не предвидится. В отдалённом — тоже, так как есть и совсем молодые, пишущие очень неплохо.

Август 2014 г.



ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

Алданские скитники



Камиль Зиганшин

Камиль Зиганшин меня удивляет, и как человек, и как писатель. Это сразу три или четыре человека в одном. Башкирский публицист, общественный деятель. Крупный предприниматель, организатор различных производств. Путешественник и альпинист, экстремал экстра-класса, наряду с Фёдором Конюховым, не ниже.

И всё-таки, прежде всего — это талантливый русский писатель, автор великолепнейшего романа «Золото Алдана»*. Его прекрасная дилогия «Золото Алдана», скорее, отсылает к Влади-

миру Личутину, Всеволоду Иванову, Вячеславу Шишкову, Михаилу Пришвину, к давним романам Мельникова-Печерского. Этот роман переносит нас в мир русских староверов, в мир людей с совсем другим, почти не знакомым нам образом жизни, с иной уже непривычной для нас нравственностью. К тому же это не просто исторический роман, написанный человеком со стороны, других взглядов, другой истории. Нет, Камиль Зиганшин открыто воспевает и проповедует этот уже забытый многими из русских, скрытный и недоступный мир древлеправославия. Он видит в нём надежду на наше общее будущее. Его роман поразил меня глубиной и прочувствованием мира староверов.

Дело не в национальности, мог и обрусевший башкир уйти в русскую старую веру, стать даже староверческим наставником. Был же знаменитый старовер протопоп Аввакум чистым мордвином. Давно уже для большинства из нас башкиры такие же люди русского мира, как и мы сами.

Дело не в его жизни и его биографии. Камиль Зиганшин для меня давно уже сравним с норвежцем Туром Хейердалом, с нашим покорителем морей и океанов, православным священником Фёдором Конюховым, с Николаем Пржевальским, с Арсеньевым и его Дерсу Узалой. Он — из когорты героических людей, которым мало обыденной жизни. Естественно, от такого человека ждешь и прозы определённой: о вулканах и снежных бурях, о встречах с шаманами и буддийскими монахами, о жизни тигров и бегемотов, слонов и леопардов... Скорее, не удивишься его историям о «снежном человеке», его рассказам, как чуть не проглотил разъяренный бегемот, как он падал со скалы в пропасть. Впрочем, его первая проза и была «путевой»: «От Аляски до Огненной земли» и «Хождение на Камень»... Есть и яркие книги о путешествиях, о природе, о жизни диких зверей: «Щедрый Буге», «Лохматый», «Маха, или История жизни кунички», недаром его коллега Рим Ахмедов отметил: «Камиль Зиганшин пишет свои рассказы и повести как знаток природы, как

* Зиганшин К. Золото Алдана : роман : в 2 кн. М. : Вече, 2013.

бывший профессиональный охотник, и, сознательно ли, или сам того не замечает, что его персонажи — куницы, рыси и другие дикие звери, наделенные сугубо индивидуальными чертами характера, выгодно отличаются возвышенностью духа от нас, людей. В особенности это заметно на фоне сегодняшней деградации духовных ценностей общества...» Но не будем Зиганшина (как Пришвина в своё время) сводить к этнографической или анималистской прозе. Тесно ему там будет.

Рождённый в семье кадрового советского офицера, привыкший мотаться по небольшим военным городкам, раскинутым по просторам бескрайнего Советского Союза, от Кушки до острова Рыбачий, от уссурийской тайги до пустынь Кара-Кума, он и рос таким имперским всечеловеком, готовым объять весь мир. И в этом своём амплуа Камиль Фарухшинович охотно рассказывает всем об Аляске, о мысе Принца Уэльского в Перу, о чилийском озере Титикака и о бразильском Рио-де-Жанейро. Он может даже похвастаться своей коллекцией диковинного оружия — мачете, красочные пончо, головные уборы, лук и стрелы, духовое ружьё, томагавк, самое экзотическое оружие — меч инков из кости рыбы-меч. Он поднимался на вершины десятков вулканов, вот и недавно вернулся с покорённой им самой высокой горы Южной Америки, вулкана Аконкагуа — (6 962 метра над уровнем моря), венчающего горный массив Анд. Был главным инициатором экспедиции «От Арарата до Олимпа — путь к миру», проходившей в 2012 году в два этапа. Тогда в ходе восхождений на вершины знаменитых гор были водружены спортивные олимпийские стяги. Одно время был профессиональным охотником, как писал позже: «Став постарше, в экспедициях и на охоте я, конечно, встречал, наблюдал много диких животных, в том числе хищных (незабываемая встреча с тигром подробно описана в «Щедром Буге»)». . .» Такая проза всегда востребована читателями, мечтающими хотя бы краешком глаза приобщиться к суровым и дерзким путешествиям. Всё это круто, интересно, но для крупного русского писателя мало.

Его большая проза как бы вне его внешней столь экзотичной биографии. Одних своих читателей и поклонников Камиль Зиганшин пленяет путешествиями по Патагонии и Огненной Земле, покорением вершин Гималаев и Эльбруса, странствиями с буддийскими монахами и танцами с шаманами. И это прекрасно. . .

Других увлекает башкирскими легендами, таёжными историями, знанием языка зверей. Всё это замечательно, и сегодня журналы «Вокруг света» и «Наука и жизнь» не теряют свою популярность. И авторы их заметны. Среди них Зиганшин. Как писал башкирский классик Мустай Карим, «...читая произведения Камилы Зиганшина, будто сам иду по следам первопроходцев. Иду очарованный и одержимый. Я пленен первозданностью и красотой природы и нравственных истоков человека. Оттого и в меня вселяется гармония». И я очаровываюсь вместе с моим давним знакомым Мустаем Каримом.

Совсем другой мир раскрывается всё же в другой, не похожей на следопытную, пожалуй, вершинной его прозе, диалогии «Золото Алдана».

И на самом деле, в мир староверческой общины, так живо описанный в романе Камилы Зиганшина «Золото Алдана», погружаешься неспешно, вроде бы и наш, родной мир, но уже незнакомый, уже непривычно консервативный. У меня самого старший сын Григорий давно обратился к древлеправославию, так что какие-то правила поведения для меня были не новы, но своеобразный мир его героев сразу не воспринимался.

Такой роман написан Камилем Зиганшиным, минуя все его странствия и покорения вершин и погружения, его автор мог и не быть путешественником. Такой роман мог быть написан не обязательно башкиром, якутом, мордвином или русским, но, несомненно, он — русский по духу, по сюжету, по идеологии. Это роман человека глубинной русской культуры. Роман человека, прекрасно знающего русское староверчество. Не случайно же Валентин Распутин написал о Зиганшине и его русском романе: «Книга меня удивила сочностью и красочностью языка. Много чудес-кудес, но на это только в начале чтения обращаешь внимание, а затем все становится естественным и необходимым, появляется полное доверие к автору...»

Я спросил автора, может быть, он сам — старовер? Нет, но был хорошо знаком с ними. И это видно. Дело даже не в этнических или фольклорных описаниях быта староверов, всё это можно было изучить и по книгам историков и краеведов, он сам принимает внутри себя этот мир, эту пусть и суровую, но нравственно чистую жизнь.

Всё-таки главное в романе не сцены охоты, не хороводы и пляски, даже не своеобразный уклад старообрядческой общины, уже добрую сотню лет затерявшейся в глухой восточно-сибирской тайге. Главное — не то, что староверы-скитники ничего не слышали ни про революцию, ни про колхозы, ни даже про войны, главное — это сага древлерусского мира, это богатый мир староверов и эвенков, вдруг соприкоснувшихся сначала с затерявшимися в тайге белогвардейцами, затем и с советским обществом, сага о крушении чистого сурового природного мира людей и зверей. «В молодости у меня был случай, когда скитники спасли нас с другом от голодной смерти, помогли нам выбраться к людям, — вспоминает писатель. — Тема раскола церкви, судьба староверов так меня увлекли, что я стал собирать материалы, изучать ту эпоху».

Староверы не боятся лишений, не боятся труда, даже не боятся разрушений. Они привычно уйдут с насиженного места и создадут свои новые деревни, новые обители. Страшно, когда в них самих теряется былой уклад. Не золото губит таких стойких людей, не схватки с тиграми или волками, даже не стычки с захожими людьми. Увы, но даже в дальнем отрыве от большого мира, пусть не так быстро, как в столицах, но старообрядческая община даёт трещину. Люди уходят из скитов, возвращаются в города. Даже самый кремневый из них старовер Корней, влюбившись в женщину из иного мира, бросил семью, бросил скит, ушёл от близких людей. Вроде бы и осуждать грешно, большая любовь, писатель и не осуждает, но крушение этого мира убедительно показывает. При этом не лишая нас надежды на будущее...

Страшно не то, что главному герою романа Корнею волки отгрызают ступни, не то, что он несправедливо провел двенадцать лет в сталинских лагерях, вернулся бы, как возвращались его предки, и жизнь бы наладилась, дети подросли, скит ещё более окреп. Вот этого укрепления-то духовного в обществе нынче почти нет. И люди кругом изображены хорошие, даже среди добравшихся до скитов экспедиций, даже среди горожан. Нет в романе противопоставления плохого города хорошей деревне. Уклад, староверческий ли, дворянский, белогвардейский, и тот же советский, — рано или поздно рушится, а с ним и нравственный мир людей. А что дальше? — задумывается писатель. Спасение в семье, спасение в природе, спасение в терпении и мудрости.

К староверам своим Камиль Зиганшин добирался долго. Сначала был ряд встреч в тайге с самыми мудрыми из них, которые и покорили писателя своей стойкостью, суровой добротой и мужеством. Потом к пятидесятилетию была написана небольшая повесть «Скитники», ставшая позже первой частью романа.

«Не думал не гадал, — признается писатель, — а роман-эпопею Мельникова-Печерского о староверах Руси прочел после написания своей повести. И обрадовался, что похожесть в художественных приемах отсутствовала, но дух староверческих общин-скитов был все же одинаков...»

Эти разные встречи со староверами в разных местах, в разные годы вдруг соединились воедино, он понял, что их загадочный мир нужен, может быть, всему человечеству, как вариант спасения и развития. В ремеслах-то, в делах своих староверы всегда первыми были, не лапотниками необразованными. И грамотой все владели, даже когда остальная Русь неграмотной была. Вот это и есть откровение писателя Камилля Зиганшина. Мир древлеправославия как мир будущего развития России.

Главный герой проходит и через лидерство, борьбу, вражду, терпения и лишения, через любовь и потерю любви, к смирению, прощению и отшельничеству. Но к отшельнику и его семье льнут уже новые скитники. За мудрым наставником Григорием приходит наставница Дарья, а там набирает мудрости и сын Корнея — священник Андриан. Может быть, и ушли уже с Алдана скитники, но дух скитничества возрождается с новой силой. И потому неизбежен новый взлёт.

Роман многопланов. Это и достаточно закрученный детектив, это и семейная сага, и житие наставника Григория, и летопись якутского похода белого генерала Пепеляева. Среди героев романа и хищные звери, и птицы, сюжетом движут сами реки и леса. Его давний друг, Александр Филиппов, пишет о нём: «На одной из стен его деревенского дома висит какой-то не совсем понятный предмет. Камиль заметил мой любопытствующий взгляд и пояснил:

— Это бубен... Давным-давно мне подарил его в таежном стойбище шаман. Для меня — это ценнейший подарок... Шаманы во время своих ритуалов под звуки такого бубна лечат страждущие и больные души.

Он снял незамысловатый предмет со стены, пальцем стукнул в натянутую кожу. По комнате прогремели удивительные звуки: вроде бы и не музыка, не просто грохот барабана, а завораживает и чарует воображение. Получить из рук шамана такой бубен суждено редчайшим единицам из людей. И один из них Камиль Зиганшин».

Вот и нас всех лечит и враждует своим романом о русских староверах башкир Камиль Зиганшин. Дарит нам надежду на новую веру, на новую стойкость. Мой друг, поэт Геннадий Иванов, восхитившись романом, посвятил ему целое стихотворение:

*Душа устала от изъяна,
Кругом изъян, хоть помирай...
Здесь ЛЮДИ — золото Алдана,
Их вера. Там, где вера, — рай.*

Казалось бы, всё действие эпического романа проходит в далёкой алданской тайге, вне живого мира, но сколь насыщенно событиями действие романа. Здесь и блестяще переданная история жизни русских староверов. Пожалуй, так хорошо о них никто не писал после Мельникова-Печерского. Но переплетаясь с историей староверческой общины Алданского нагорья, рассказывается столь же живо и красочно о жизни якутов и эвенков. А рядом история уцелевшей в лесах белогвардейской колонии из Якутской дружины генерала Пепеляева, даже дневниковые записи её участников. Рядом — истории из жизни зверей и птиц.

Писатель не случайно был назван в год выхода его дилогии вместе с президентом Башкирии «человеком года». Это и впрямь большое событие во всей нашей русской литературе. Уверен, книга пришла к нам надолго и всерьёз, а староверы наши должны её выпустить в подарочном издании. Она того стоит!

АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

Таёжный хлеб поэзии и прозы Александра Никифорова

Александр Никифоров давно известен в Сибири как поэт, но в апреле 2014 вышла его первая книга прозы — повестей, рассказов «Таёжный хлеб» (Иркутск, издательский центр «Сибирь», редактор В.В. Козлов).

Нам кажется, что отход Александра Никифорова от поэзии был продиктован тем, что его захватила стихия ума. В прозе он часто выраженно скуп на краски, в проявлении чувств. В поэзии же, напротив, расточителен, щедр. Вот как он, к примеру, обращался к Анне Ахматовой: *Волшебные, неведанные звуки // Коснулись в тишине души моей. // Как будто знал я Вас // И был в разлуке, // А Вы меня манили всё сильнее. // Как страшно вдруг понять — // Всё безнадежно... // Я тихо жил, смиряя в сердце боль. // Господь в награду // Отворил мне вежды. // Я вижу Ваш божественный глагол.* Все признаки высокого стиля, пиететности молодой души, неизменно связанной с неосмотрительностью в проявлении чувств. В прозе он, похоже, бдительно следит за каждым своим словом: как говорится, слово что воробей... А в поэзии слово, словомысль его нередко превращаются в оружие, в возможность раскрыться, если можно так сказать, наотмашь: *Ночами напролёт // И днями быть в ответе // За Слово, что пойдёт // Батрачить по планете.* Ёмко, хлёстко, по максимуму, чего обычно и ждём от поэтов, которые призваны, известно со школьной скамьи, глаголом жечь сердца людей. Поэты — это трибуны, смутьяны, вообще, отчаянные люди.

Что ещё сказать о прозе и поэзии Александра Никифорова? В прозе он нам показался будничным, порой до скукоты, возможно, и для себя самого и, уж точно, для нас, его читателей. В поэзии же он зачастую парадоксален, предельно необычен в своих умозаключениях: *Нам дали жизнь, // Но не дали к ней лоций; // Вот потому мы все — // Первопроходцы.* Ей-богу, мысль достойна словаря афоризмов.

В прозе он редко и, подозреваем, неохотно обращается к инструментам метафоричности, вроде как не очень-то доверяет им. Возможно, побаивается излишеств, чтобы быть логичным, математически точным (стихия ума). А вот в поэзии, напротив, тропы и фигуры речи различных мастей теснят друг друга, стремятся заявить о себе ярче, словно бы даже соперничают друг с другом: *...За чёрною дранью забора // Сибирский проносится тракт. // Там где-то есть каменный город // Надежды её и утрат.*

Следует отметить, что к стихам Александра Никифорова читающая публика относится благосклонно. Не раз и не два отмечали его поэзию критики, и в Иркутске, и в Москве. «Стихи Александра Никифорова привлекают здоровой непосредственностью, естественным нетривиальным чувством природы, языковой полнокровностью, — писала московский критик Ольга Постникова, член жюри международного конкурса поэзии «Глагол». — Они полны точных свежих штрихов жизни, например, «двухтрубный пятистенок»... Стихи мужественные, темпераментные, органически оптимистичные без бодрячества; хотя автору доступно и глубокое понимание драматизма, касается ли это социальных явлений или одиночества...»

Но давайте внимательнее присмотримся к прозе Александра Никифорова, которую мы, и вольно, и невольно сравнивая с его стихами, уже назвали скупой на краски, даже сучноватой. Может быть, понапрасну, поторопились?

В издательской ремарке к «Таёжному хлебу» справедливо отмечено, что «герои повестей и рассказов Александра Никифорова — сибиряки, его земляки, люди, которых он

хорошо знает, и это помогает ему показывать их поступки правдиво и строго, не превознося мужество и не осуждая слабости...» Воистину, «не осуди...»

Повесть «Осень Никодима» — и заглавная, и стержневая в книге. Она о том, как Никодим Белов, «разведённый техник-механик», снова женился, на этот раз вполне и всецело счастливо; у него родился сын. Сыну уже шесть лет, жена намного моложе, дом, хозяйство, идиллия семейной жизни простого трудового человека. А собственно само действие начинается со сборов и поездки «по орехи» вместе с совхозными мужиками, среди которых, к слову, были и местные начальники. Здесь выпили мужики, там выпили — привычное дело. По дороге Никодим всё вспоминает жену, сына и, кажется, уже тоскует, хотя и нескольких часов не прошло, как расстался с ними. А тут ещё — дождь, сырость, «таёжная дорога окончательно раскиселась»; Никодиму пришлось добираться пешком. С горем пополам, наконец, все добрались до места промысла — стойба с зимовьем. Чредуются разные хорошие мысли и ощущения о том, что ты «чувствуешь себя не хозяином природы, а сыном её». По всему тексту рассыпаны мужичьи шуточки: «Никак без спиртного ехали? Трезвый, аж противно смотреть...» С начальством Никодим отчего-то суров: «Где вода, дед?» — строго спросил Королёв. «А мы что, уже на «ты» перешли?» — осадил директора Никодим». Но потом вполне мирно и чинно за столом в зимовье сидели, пили разведённый спирт, который «действовал серьёзно». «К утру спирт уложил всех». Проснулись, тотчас поступило предложение: «Надо бы «брызнуть»...» «Все согласились. Ещё бы! Спирт — не водка: долгого уважения требует». Тосты: «Чтоб дети грома не боялись, и он до старости стоял!..» Разговоры, что называется, за жизнь, и про политику не забывали: «Распустили народишко! Раньше попробуй опоздай или своруй — враз угодишь на нары»; «...мне с политикой не по пути... Говорить людям одно, а творить другое»; «...не хрен нарушать законы истории...» Это Никодим говорит. «Опасный вы человек!» Это один из начальников подытожил. Потом «били шишку», снова пили, спорили, играли в «тышу». Дождь «стал расходиться всё сильнее и сильнее». Никодим страшно заскучал. К зимовью подъехал трактор: оказалось, с другого стойба шишкари заблудились. Никодим прикинул: «Пока дождит, смотаться в банку, что ли? Ведь оттуда до дома — рукой подать». И — «Никодиму загорелось домой, хоть всё бросай и беги». Бросил и — убежал. И орехов, кажется, уже не надо было ему. Мотивировка поступка прослеживалась такая: «Остаться в орешнике, значит, придётся вольно или невольно быть втянутым в «глубокомысленные» разговоры о перестройке, об ошибках и просчётах государственных деятелей его родного Советского Союза, обо всём том, что было не по душе Никодиму. Ему ничего и никому не хотелось доказывать, тем более противостоять людям, живущим в других условиях, нежели он, и, соответственно, мыслящих другими категориями. Никодим же в последние годы полагался только на Господа Бога, свято уверовав в Его волю». Дома — любимая жена, смекалистый сынишка, баня, хозяйственные расчёты, виды на урожай, приятные разговоры. После бани муж и жена допили «оставшийся в бутылке самогон и заснули глубоко за полночь». Утром «на душе было благостно и спокойно». Заканчивается повесть мыслями Никодима: «Сено в зароде, и полна поветь, овощи в подполье. Варенья и соленья в достатке. Рыбу успею наловить. А орехи, так если и не набью нынче, велика ли беда. Побыл в орешнике, развеялся, и славу Богу!» Развеялся — узловое слово.

Вопрос: нужно ли было разворачивать повесть, что там! целое повествование, на восьмидесяти страницах (листов в 5-6 авторских) на столь незатейливый, мотивационно, мягко говоря, слабый сюжет и кропотливо ткать ковёр идейно-нравственного посыла бытового, в некоторых местах общественно-политического, а то и газетного уровня? Ладно бы, что-нибудь существенное, индивидуально-личностное было скрыто (сокрыто!), зашифровано в языке.

Несомненно, выводы в «Никодиме» дельные, поступки героев, не спорим, показаны — но частично, кусочками — «правдиво и строго». Однако всюду доминирует нейтральность автора к проблематике произведения, прошивает произведение скованность языка, а отсюда, видимо, вытекает какая-то одноходовость, холодная разумность в поступках героев. Словно бы чётко выполняется программа, частично изложенная в ремарке: автор должен

не превозносить мужество и не осуждать слабости. Конечно же, Никодим молодец — от дураков надо бежать, прятаться от них, петляя, запутывая следы! Бежать что есть силы, невзирая на преграды в пути! От дураков, с их суетной жизнью, примитивной, нередко хитро-мудро расцвеченной моралью, досужими разговорами (трёпом), времяпрепровождением (например, с попойками) вместо полнокровной *живой* жизни и т. д. и т. д.

Надо признать, хороши в книге рассказы: «Седая любовь», «Зелёная дорога», «Старшина в отставке», «Перкалевый самолёт». Там, где автор переходит на поэтические ритмы и колориты, он блещет, поёт подлинными голосами — голосами сердца, раскрывается неожиданными оттенками, деталями. Там же, где пытается быть строго-логичным, злободневным, острым, — теряет и блеск, и остроту, скатывается к умствованиям, а то и хотя и к лёгкому, но резонёрству.

Хороша, не надо замалчивать, и повестушка, давшая название всей книге, — «Таёжный хлеб», хотя концовка в ней не вполне прописана, и там и сям выползают, как сорняки, занудные длинноты. Ни сюжетом, ни мотивировками созревания героев не удивила она нас, однако, каков язык местами! Здесь мы снова имеем честь лицезреть Александра Никифорова поэтом, лириком, даже стилистом. Когда читал вступление к повести впервые, хотите верьте, хотите нет, — задыхался. «Чёрт тебя дери, Александр Никифоров, какой ты талантище!» — сказал бы я ему в те минуты, если бы он оказался рядом. Перед нами четырнадцать строк высочайшей поэзии, зачем-то, правда, облечённой в язык прозы! Слушайте, внимайте!

«Север мой, Север... Север дикий, студёный, бескрайний. Выморозил ты горячку молодости моей. Когда-то непокорные кольца огненных кудрей выправил временем и обкорнал. Остатки выбелил инеем бед, а затем и до бороды добрался, подарив взамен удивительную жизнь. Сколько светлых и жутковато-угрюмых пейзажей ты открыл мне в местах, где не ступала нога человека! Сколько горьких, сколько счастливых судеб переплелось с моей судьбой на твоих необъятных просторах! И хотя я расстался с тобой, мой любимый Север, с мужественными твоими жителями, тьма забвения не застит главного, скорее наоборот, чем дольше живу, тем дороже память о тебе.

Это было давно, это было давней давнего, на заре моей зрелости...»

И потом, перечитывая, снова задыхался я. Может быть, ещё и потому, что сам — северянин: родился и жил на Таймыре, потом жил и работал в Якутии, на Колыме, бывал по служебным делам на Русском Севере. Задыхался и — грустил. Чудесно!

В конце мы только лишь можем повторить, что отход Александра Никифорова от поэзии был продиктован тем, что его захватила стихия ума. И — уточнить: отход прошёл не без урона, и прежде всего для нас, его читателей. Но Александр Никифоров — бывалый литератор, а потому с нетерпением ждём от него новых книг, в которых он зримее и ярче явит себя в наиболее выигранных *самородных* ипостасях своего дарования.



АЛЕКСАНДР ОБУХОВ

Бамовские встречи-2014

Около года назад я был в Нижнеилимском районе. Творческие встречи с прекрасными северянами остались в памяти, а обещание «Приеду ещё» хотелось выполнить. Этот район соседствует с Казачинско-Ленским, туда-то я и был командирован Иркутским областным Домом литераторов в мае нынешнего года.

Окончены организационные приготовления. Пожимаю на прощанье руку директору Дома литераторов Юрию Ивановичу Баранову и подытоживаю:

— Еду я на БАМ, переполненный любовью к милым моему сердцу жителям.

— Желаю успеха! — прозвучал ответ.

...На станции Киренга раннее-раннее утро, первые лучи солнца расстилаются по небу, светят в лицо, и параллельно им, столь же ярко-лучисто, светят голубые глаза встречающей меня Ларисы Юрьевны Левашовой, директора МКУК Казачинско-Ленского района. Искромётное знакомство, садимся в машину, и вот уже — частная гостиница. Полусонный хозяин гостеприимно распахивает двери, показывает комнату. Домашний уют. Как легко дышится в деревянном доме!

Лариса Юрьевна знакомит с программой встреч и заключает:

— Я знаю, у вас по плану две встречи в нашем районе, но писатели столь редки у нас. Пожалуйста, проведите три...

Как отказать нашим друзьям — подвижникам-библиотекарям?!

...Класс полный. Вместе с учениками — учителя и приглашённые взрослые. Светятся глаза ребят. Чувствую оценивающие взгляды взрослых: по одежке встречают. Здесь и при последующих встречах, пока внимание детей не перегружено, начинаю с «серьёзных» стихов о деревне, военном детстве, дружбе. Прерываюсь, делаю паузу, она заполняется аплодисментами. И вот пошли стихи о кошечках, собачках, зайчиках. Снова пауза, и, конечно же, полюбившийся ребятам — мастер-класс: вместе сочиняем стихи. Легко и просто! А вдруг эта мимолётность разбудит в ком-то дремлющий талант. Как короток школьный час... На очереди — посещение районной библиотеки. Печаль, печаль: горечью, болью сопровождается знакомство, фонды библиотеки не пополняются, а в детском отделе — даже без воды заплакал бы Бахчисарайский фонтан. Положительного отклика на запросы библиотеки нет. Отрадно то, что рядом с ветеранами библиотечной работы много молодых начинающих библиотекарей. Прощальные грустные улыбки, и вскоре водитель Андрей мчит нас по опрятным, чистым улицам посёлка Магистральный. Видно, жители любят своё поселение. Он, некогда гремящий, сегодня не производит впечатления процветающего. Тем не менее в уютном месте установлена стела в честь 40-летия первого десанта строителей. Площадка перед стелой ещё не оформлена, лежит разбросанная щебёнка.

Небольшой по численности населения Казачинско-Ленский район живёт богатой духовной жизнью: мне подарили сборник стихов «Родники откровений», в нём 60 авторов — из сёл Казачинское и Тарасово, из деревень Ключи, Карам, из посёлков Магистральный, Окунайский и Улькан. В районе сильное общественное движение «Моя Земля», руководимое В.И. Добрыниной.

— Спасибо вам, Александр Иванович, за встречи! Спасибо и министру культуры Барышникову — сдержал-таки слово: направляет к нам литераторов, — говорит на прощание ведущая Лариса Юрьевна.

— Спасибо вам за тёплый, сердечный приём, — отвечаю. — Ожидайте новых встреч с писателями Приангарья.

Направляюсь поездом в Железногорск-Илимский... Вот и прославленная на весь мир Коршуниха — богатейшая железорудная кладовая. Здравствуй, славная моя знакомая Татьяна Афанасьевна Губа! Она ожидает меня на перроне.

Небольшой по численности Железногорск-Илимский (30 тысяч жителей) известен и славен многими гранями. В этом районе родился дважды Герой Социалистического Труда, лауреат многих высочайших премий Михаил Кузьмич Янгель — выдающийся конструктор двигателей космических кораблей. Это ему принадлежит разработка и воплощение межконтинентальной баллистической ракеты, которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Величественный памятник, музей его имени — достойная память самородку северной земли. Здесь были рождены Герои Советского Союза и России... По единственному в Иркутской области Музее просвещения ведёт меня энтузиаст, подвижник этого дела и руководитель заведения Е.Г. Ушакова. Сколько экспонатов! Как бережно хранится история в поблекших листочках ученических тетрадей, в фотографиях школ, ушедших на дно искусственного моря... А вот и атрибуты славной пионерии: алеют галстуки, просятся в руки горны и барабанные палочки... Обмениваемся памятными сувенирами: мой стих-посвящение бамовцам, копии моих значимых документов. Ответно вручают мне ценнейшую книгу — «Два века просвещения». На её страницах запечатлены имена выдающихся земляков-героев, учёных, династии прославленных учителей, фотографии школ, ушедших под воду... Какой титанический труд впитала в себя эта книга!

Пересекаем коридор, и вот ещё — нас встречает собиратель-подвижник, создатель литературно-художественного музея Александр Дмитриевич Кузнецов. Позволю себе небольшое отступление: не первый год маститые и знаменитые писатели Иркутска вкупе со всевозможными министерствами и ведомствами обсуждают вопрос о создании в Иркутске литературного музея. Но воз и ныне там. Нет энтузиаста... А.Д. Кузнецов, работая учителем литературы, собирал книги, брошюры, буклеты, картины — всего не перечислить. И сегодня его литературный музей представляет собой очень приличное хранилище духовного наследия Нижнеилимского района. Трудно управлять этим хозяйством инвалиду по зрению, но человек работает. В дополнение к музейным занятиям Александр Дмитриевич пишет стихи. Те, что подарил мне автор, очень и очень даже своеобразны: темы заданы скульптурами и живописными полотнами гениальных авторов, эти шедевры воспроизведены на лицевой стороне открытки, а стихи — на обратной. Александр Дмитриевич с большой любовью и талантливо передал словом дух и сущность зрительных образов. Двадцать восемь открыток! Безусловно, автор мечтает об издании стихов отдельной книжкой, о признании его таланта писателями-профессионалами, о публикации в журнале «Сибирь». Дай Бог его мечтам осуществиться! Следует добавить, что его стихи продолжают линию, заданную Пушкиным, у которого есть строки, посвящённые скульптурам, например, «На статую играющего в свайку», «На статую играющего в бабки». На сегодня нет издания, подобного кузнецовскому, как по количеству стихов, так и по их качеству, и в этом он, несомненно, оригинален.

Тихая музейная тишина сменяется бурной встречей с членами городского литературного объединения. Пишущая братия везде похожа друг на друга: засыпает вопросами, бросается в полемику с гостем. Ершистый народ! Зашёл разговор о снобизме некоторых известных литераторов: местный автор описал мне ситуацию, когда один иркутский писатель в Иркутском Доме литераторов уделил ему, приехавшему издалека, считанные минуты и распрощался, сославшись на занятость. Мой ответ, что писатели действительно занятые люди, а порой перегружены чрезмерно, не удовлетворил собравшихся. Безусловно, надо согласиться с тем, что пишущий, приехав из глубинки, хочет не только получить консультацию профессионала, но пообщаться с ним, ощутить его духовный мир, приоб-

щиться к высокому слову, выслушать аргументированную критику, чтобы более требовательно относиться к своим творениям... Собранным было важно получить от меня ответ на вопрос об уровне духовной жизни их города в сравнении с другими городами и поселениями области. Выше я уже сказал, город богат подвижниками в области культуры. К этому следует добавить, что Железногорск-Илимский имеет мощное градообразующее производство, музей выдающегося М.К. Янгеля, и этим создаётся материальная база роста духовной культуры населения. В этом плане, к примеру, почти что равное Железногорску-Илимскому по численности Усолье-Сибирское заметно уступает: город потерял все мощные химические предприятия. Усольский район не породил ни в прошлом, ни в настоящем ярких личностей. Известным поэтом стал только Юрий Аксаментов. Музеи — истории города и краеведческий — теплятся на энтузиастах-подвижниках. Городу и району не повезло в течение последних лет с руководством: главы уходили с постов под следствие, как-то отмывали своё не очень светлое пребывание на высоких должностях, а один вообще получил срок заключения. Какая тут забота о процветании культуры города и района!

Также побывал я в Нижнеилимском районе на интереснейшем мероприятии «Ночь в музее», проведённом в посёлке Новая Игирма. Провела его заведующая филиалом музея имени М.К. Янгеля Татьяна Микулич, женщина весьма расторопная, можно сказать, крылатая.

...Татьяна дала последние наставления волонтерам-экскурсоводам, представила меня многочисленной публике, собравшейся в музее.

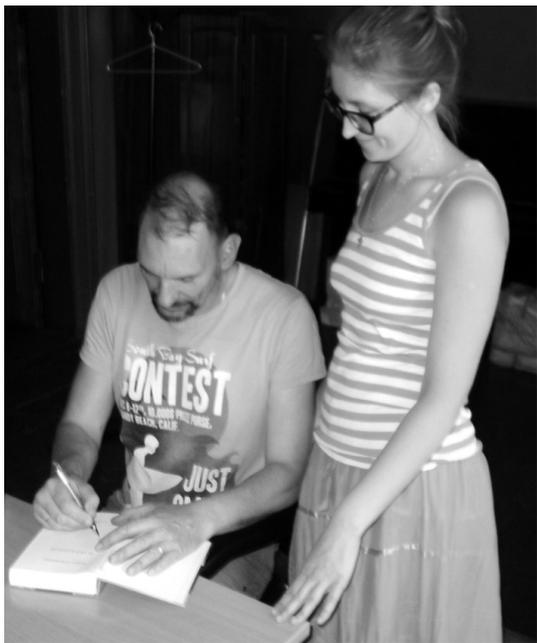
— Первые — пошли! — скомандовала она.

И с 20 до 24 часов группы из 10 человек входили в музей с интервалом в 10 минут. Все они также — и мои слушатели: проводил с ними литературные беседы. Прошло три встречи за 4 часа! Детям, помнится, хотелось убедиться, живой ли перед ними поэт. Поэтому как в их понимании все поэты убиты (шучу!). Трогали меня за рукава, протягивали для пожатия руки. Убедились — живой!

Я сердечно благодарен всем, кто обеспечил чёткую организацию встреч, благодарен руководителям, отметившим мою работу грамотами и благодарственными письмами.

До новых встреч, дорогие читатели!

«Есть русский мир, и он огромен!»



Михаил Тарковский с женой Татьяной

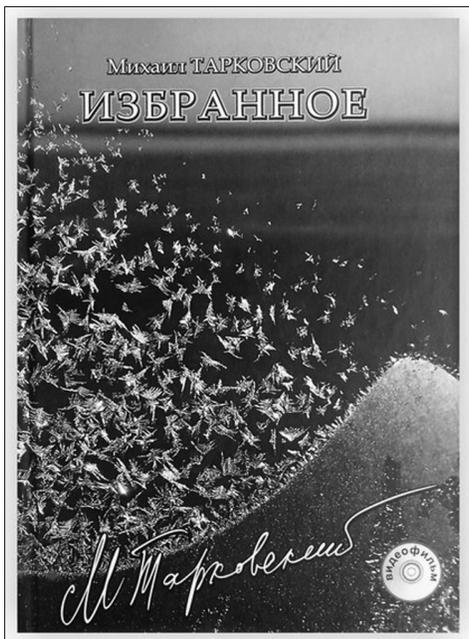
26 июня 2014 года редакцию «Сибири» посетил руководитель журнала «Енисей» Михаил Тарковский. Он вместе с семьёй — двумя малолетними детьми и женой Татьяной, известной поэтессой, — этим летом путешествует на автомобиле из Красноярска в сторону Тихого океана. Семья остановилась на денёк-другой на берегах Ангары в Иркутске; далее — Байкал, Ольхон, Слюдянка. А сегодня — встреча с иркутскими писателями, которую организовал приятель Михаила Тарковского, член совета «Сибири», известный писатель Анатолий Байборodin.

Из энциклопедической справки — а она весьма любопытна! — мы узнаём, что родился Михаил Александрович Тарковский в 1958 году в Москве и что он внук поэта Арсения Тарковского и племянник режиссёра Андрея Тарковского; его отец — ки-

норежиссёр Александр Витальевич Гордон. Окончил педагогический институт в Москве по специальности «География и биология», а затем работал на Енисейской биостанции в Туруханском районе Красноярского края. С 1986 года — штатный охотник, позже — охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, потом перешёл на прозу. Рассказы и повести публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Литературная учёба», «Согласие», «Ветер», «Октябрь», «Новая Юность», «День и ночь». О своём писательстве он однажды так сказал: «Способ жизни — охота. А писательство — это рефлекс».

По пути к океану он представляет свою недавно изданную в Новосибирске книгу «Избранное». В неё вошли предпочтённые самим автором произведения из книг «Замороженное время» и «Енисей, отпусти!», а также — ранее не публиковавшееся, в том числе стихи, поэмы, очерки. К книге прилагается диск с документальным фильмом о Михаиле Тарковском «Замороженное время» (режиссёр В. Васильев). «Его проза — точная, образная, ёмкая по языку, — недавно отметила интернет-газета «Newslab.ru». — Она необычна ещё и тем, что разбивает привычный миф о том, будто современный читатель интересуется исключительно любовно-криминально-приключенческой литературой. Герои произведений Михаила Тарковского являют собой собирательные образы. За ними угадываются реальные люди, проживающие на берегах Енисея, в Бахте, которая для коренного москвича Михаила Тарковского является вторым домом. Уже — и первым».

Открывая встречу в «Сибири», поэт и председатель правления Иркутской писательской организации Союза писателей России Владимир Скиф отметил, что Михаил Тарковский «сам по себе самодостаточный человек и писатель. Среди современных литераторов царит разнобой, — продолжил Владимир Скиф. — Мало хорошей литературы, мало достойных имён, на которые можно ориентироваться. Одно из таких — Михаил



Тарковский со своей честной, интересной по языку прозой и поэзией...» Вспомнил Владимир Скиф о Викторе Астафьеве, 90-летие которого отмечает страна: «Вокруг Виктора Петровича держались писатели. Была строгость и честность и в литературе, и в жизни...»

«Номер первый «Енисея» за этот год полностью посвящён Виктору Астафьеву, нашему великому земляку», — поделился Михаил Тарковский. Зашёл разговор о проблемах издания литературных журналов, в частности, о их хроническом недофинансировании. «Енисею» местное министерство культуры выделяет в год средств лишь на два номера. С изданием «Сибири» положение не лучше.

Сотрудники «Сибири» любопытствуют: виделся ли наш уважаемый гость с Андреем Тарковским? «Нет, — отвечает. — Только несколько раз говорили по телефону».

Что привело в охотники? Почему покинул Москву? «С девятого класса мечтал попасть в Сибирь и жить здесь. По 500 соболей за сезон брал с другими промысловиками! — не без гордости сказал Михаил Тарковский. — Людей, которые навсегда и решительно покинули город и попали в тайгу, во многом привела туда русская литература, в особенности, наша богатейшая литература о природе, о бережном к ней отношении. И вообще, я хочу сказать, что русская литература нас ведёт!.. Есть Русский мир, и он огромен!» — взволнованно подытожил гость.

Александр ДОНСКИХ

Поздравляем со славным юбилеем —

80-летием!



А.С. Гурулёв. Рис. С. Бурчевской

Не упускать из виду гармонии мира

О НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛЬБЕРТА ГУРУЛЁВА

Первой книгой, которая заставила молодого прозаика поверить в себя, был роман «Росстань». Поверили в автора и читатели — в 1968 году роман получил премию им. И. Уткина, учрежденную Иркутским комсомолом.

Альберт Гурулёв обратился к редкой для начинающего писателя теме — исторической, и это не было случайностью. В 60-е годы советская проза отважилась расширить границы классового подхода к событиям революционной эпохи, тем более что современность требовала ответа на вопрос,

почему кровопролитная борьба за блага трудящихся не принесла тех плодов, о которых мечтали. Мечты были разными, как выяснилось. Вот и один из героев «Росстани», молодой казак, бросившийся в революцию и ожидавший от неё свободы на грани с анархией, недоумевает: «Победили мы. А теперь того нельзя, другого...» И бывший красный партизан становится контрабандистом. Другие персонажи романа — Алёха Крюков, Северьян, Сила Данилыч, Устя — также имеют свои представления о новой жизни, и все вместе они передают настроение той части народа, что зовётся забайкальцами.

Говоря о писателе Гурулёве, необходимо сказать и об иркутском творческом содружестве, что образовалось в середине 60-х годов. Речь идёт, нетрудно догадаться, о знаменитой «иркутской стенке», история которой ведётся от знаменитого Читинского семинара молодых 1965 года. Помимо него поспособствовали её появлению и филфак Иркутского госуниверситета, где учились несколько будущих писателей, и альманах «Ангара», где они публиковались, и Восточно-Сибирское книжное издательство, выпустившее первые книжки А. Вампилова, В. Распутина, Г. Машкина, В. Шугаева и Ю. Скопа. Но особенно — газета «Советская молодёжь»: именно там все проходили литературную практику. Гурулёв оттуда, из «Молодёжки» тех лет.

Один из немногих оставшихся, он и сегодня несёт в себе дух поколения, стремившегося следовать лучшим традициям русской литературы. Такое стремление требовало отказа от идеологической конъюнктуры и воспитывало взыскательность по отношению к литературному мастерству.

Критика не раз отмечала неторопливое письмо А. Гурулёва. Его книги выходили промежутком в три — пять — восемь и более лет. Удачливый в самом начале, он не приобрёл самоуверенности. Причиной тому и склонность характера, и склонность таланта, который интуитивно нащупывал свой путь на «большаках и просёлках» «деревенской» прозы, к которой принадлежал изначально. Эта проза поставила во главу угла нравственный подход к самым жгучим проблемам XX века. В ней сошлись и обличение оборотной стороны технического прогресса, и боль за землю-кормилицу, за леса и воды, и крик о помощи «неперспективных деревень», обречённых на умирание.

На первый взгляд, ничего удивительного нет в том слиянии человека с природой, которое стало для Гурулёва едва ли не главным мотивом. Но к этому «слиянию» просится

слово «гармоническое», а в конце хочется добавить «и людьми». Но лучше послушать самого писателя.

«В деревне я снова вспоминаю, что туманы обещают грибные дни, июльское парное тепло — хороший урожай, а ясные закаты и высокий полёт ласточек — ведро. И всё имеет смысл. И всё имеет отношение ко мне. Поднимется ветер, пойдёт снег, разыграется море, полетят гуси — всё это определяет там мою жизнь.

Всегда с радостью приезжаю в этот дом. Трудно подобрать слова, точно передающие это ощущение, слова прозрачные, лёгкие, ускользающие. Быть может, всё в том, что люди, живущие в этом доме, давно стали частицей моей судьбы, частицей моего я...» («Осенний светлый день»).

И вот когда писатель находит этот общий лад с природой и людьми, тогда и берётся за перо, улавливая «ускользающие» слова, чтобы изобразить близкий сердцу мир. И здесь надо отметить естественность языка Гурулёва, его ненапряжную образность, предпочтение простоты и точности слова погоне за оригинальностью, что хорошо видно даже из этого маленького отрывка.

Гармония не означает благообразности и покоя. Повесть «Чанинга» на первых страницах грозит бедой: в тайге тяжело заболел охотник, товарищ пытается его спасти единственной дорогой, по которой пройдёт конь с волокушей — по замёрзшему ручью. На последних километрах спасатель выбивается из сил. Он «потерял представление о времени и способность удивляться тому, что он ещё жив и что он ещё идёт. Мозг у Касьяна уснул, и лишь какая-то часть его мучительно бодрствовала и не давала Касьяну упасть в снег, забыть, что на волокуше лежит Гришка».

Ни в Беренчее, куда добрались, ни в Чанинге, где жили, никто не будет говорить о поступке Касьяна как о подвиге — такое поведение в порядке вещей. От Гришкиной жены Касьян и вовсе всё скроет. Дескать, управляющий отправил Гришку в район бумаги какие-то отвезти «и за попутным врачам показаться». Зато как по эстафете: сначала охотников подхватит случайно наткнувшийся на них возле посёлка директор местной школы, больного немедля отправят на вертолёт в районную больницу, сделают срочную операцию, Касьяна примут и обогреют в доме брата Семёна.

Доброта в мире Гурулёва естественна как всё живое, без неё невозможна полнота жизни, невозможно и творчество. Именно в этом пространстве предстаёт перед читателем расставание с Чанингой её последних жителей.

Назвать таёжную Чанингу «неперспективной деревней» было бы натяжкой. Это заимка о восьми дворах, три из которых уже опустели. Пятьдесят километров до ближайшего Беренчея, где есть хотя бы школа, магазин, фельдшер и вертолётная связь. Чтобы учить детей, жителям заимки надо в семь лет отрывать их от себя в интернат.

Автор хорошо показывает, как переживают неизбежность переезда Касьян и его соседи. Чанинга словно вживлена в тайгу вместе с её охотниками. Маленький, затерянный в зелёном океане островок, он тем и роднее для любящего сердца. Касьян не просто обрывает связующие узы, но настраивает себя на принятие нового места, он постарается полюбить и его...

Писатели обычно противопоставляют гармонию в природе несовершенству человеческих отношений. Гурулёв же, описывая жизнь своих героев, довольно часто не может обойтись без слов «тепло, уютно». И если кто-то подумает, что речь идёт о благоустроенном, замкнутом, «мещанском», как раньше говорили, уголке, то ошибётся. Человек ищет и находит уют и в зимовье, и у прибрежного костра и, конечно, в доме на своей земле.

Одна из повестей так и называется «Дом на своей земле». Эта повесть историческая, с одной стороны, и романтично-мечтательная — с другой, если взглянуть на неё сегодняшними глазами.

...Картина заселения места, которое назовётся Широкой Падью, крестьянами «из Ра-сеи» не для слабонервных. Семьи двух братьев Храмцовых (с детьми!) пробираются с проводником по тайге, через болота, к месту своего поселения. Лица намазаны дёгтем — от гноса, путь для телег прорубается топором, тяжёлый домашний скарб вроде сундуков и бочек привязывается к жердям и перетаскивается через хляби на плечах. Но и это ещё не всё. Коня не идут через болото — «почувствовав зыбун и провалившись по брюхо», они просто «валятся на бок». И как их переправляют: «Облепляли кормильца люди, об-

хватывали волосяными вожжами, цеплялись за хвост, за гриву, с нутряными надсадными вздохами, стопами, падая на карачки и до ушей обмакиваясь в болотную жижу, тащили коня через болото на твердь».

Но вышли на берег чистой речки с «широкими раздольными плёсами», «сочными луговинами», нетронутым сосновым лесом и — «лучше места на всём свете не найти!» — начали строиться.

Они прочно укрепились на сибирской земле, хотя и пережили немало потрясений: Гражданская война, раскулачивание, Великая Отечественная... Повесть помечена 1980 годом. К этому времени подоспели новые головоломные заботы. Директор совхоза «Широкопадинский» Иван Петрович Дятлов почувствовал себя медведем, обложенным со всех сторон собачьими стаями: «вроде только отбилась от одной псины, как две другие подскочили тихой сапой и вырвали из бочины по куску». После затопления в связи со строительством ГЭС перенесли на другое место и объединили несколько деревень. В Широкой Пади, центральной усадьбе совхоза, появилось несколько новых производств и контор. Людей из совхоза стали переманывать зарплатами повыше, новыми квартирами. Леспромхоз «отсосал» рабочую силу из двух деревень, в одной из которых только что была построена животноводческая ферма. Директор, как мог, старался удержать людей. Кстати, Иван Егорович — несчастный для прозы тех лет положительный образ сельского руководителя.

Состояние села 70–80-х годов теперь тоже история, и она отражена в этой повести. Но имеет ли к ней отношение тема возвращения из городов бывших деревенских жителей? Да, такие случаи были, но масштабным явлением они не стали. Требовался призыв как на целину с ударной пропагандой и государственной финансовой подпиткой такого «проекта». Не случилось. А так называемые реформы 90-х только усугубили положение. Результат известен: разор и запустение.

То, как Кириллу Храпцову всё удаётся: директор совхоза идёт ему навстречу, однокашник Геша оказался прорабом и готов помочь, легко приобретается лес, находится бригада плотников-умельцев, родной дед помогает советами — всё это скорее мечта, чем реальность. Даже если оно и так, не факт, что приживётся семья Кириллы на селе после города. А если болезнь к Кириллу вернётся, понадобятся городские доктора? Да и мы уже знаем, какое время надвигается: через десять лет развалятся все хозяйства — и сплавная контора, и леспромхоз, и совхоз не уцелеет.

И всё-таки. Идея возвращения к земле дорога писателю. То, с какой любовью выписывает Гурулёв строительство дома, как серьёзно относится к этому все вокруг, вызывает уверенность в необходимости именно такого поворота в сюжете. Ведь если охватить историю Широкой Пади единым взглядом, перебрать в памяти все подъёмы и спады, которые пришлось ей преодолеть, то совершенно логичным и естественным для писателя Гурулёва представляется выход: возрождение села трудами внуков и правнуков первых поселенцев. И для читателя тоже, добавим. Просто иногда жизнь приобретает противоестественный ход. И пусть останется хотя бы в литературе эта мечта о будущем, до которого, казалось, рукой подать.

Кризис сорокалетнего возраста переживает герой повести «И был день...» журналист Алексей Лахов. Развод с женой, разлука с любимой дочерью, одиночество. Желанный отдых с рыбалкой на Байкале не приносит ожидаемого удовольствия — некого порадовать хорошим уловом. Меняя на машине места своих стоянок, Алексей получает неожиданный подарок судьбы — встречу с Ксенией, которая нравилась когда-то, но союза не получилось — он был несвободен. Теперь препятствий нет, и Лахов почти уверен, что «нашёл ту единственную женщину, которая предназначалась провидением именно ему». Отношения завязываются, но прекращаются вместе с отпуском.

История о том, как человек не может быть один и не может отказаться от мнимой свободы, не нова. Но у Гурулёва свои оттенки. Грустно, а нет ощущения безысходности. Невозможно поверить, что Алексей «не сумеет из своего одиночества вновь пробиться к другому человеку», потому как уж слишком его тяготит уединение, а его сострадательный интерес к соседям по коммуналке говорит о том, что судьбы людские ему безразличны. Похоже, герой сопротивляется авторской идее о нём. Писатель отдал дань времени, решив сказать своё слово о человеческой разобщённости, однако... Развод где-то за кадром (был

ли он?), и порой кажется, что Алексей просто примеривает к себе судьбу человека свободного, и свободного не для жизни вообще, а для... творчества например, ведь читатель знает, что газетчик Лахов затевает повесть и, очевидно, имеет в виду писательскую стезю. Но в любом случае такой человек не может быть один, просто Ксения — «не его половинка».

Догадку о невозможности для героя Гурулёва смириться с одиночеством подтверждает один из недавних рассказов «А снег идёт...». Прав писатель Ст. Китайский, который в своём очерке о творчестве собрата по перу (послесловие к книге «Дом на своей земле») размышляет об одной из его повестей, называя её «главой единой книги, которую пишет Альберт Гурулёв с самого начала своего творчества», и делает важное замечание: «...Это книга о том, говоря словами поэта, как прекрасна земля и на ней человек».

У такой книги, у таких глав должен быть хороший конец. Не искусственный хэппи энд, а естественный, идущий от мудрости самой жизни, которая, кто что ни говори, всё продолжается и продолжается.

Но вернёмся к рассказу — простому и необычному. По первому впечатлению, его герои ведут себя безрассудно.

...Заходит как-то навестить своих знакомцев-односельчан Фёдор, неказистый, с корявой судьбой мужик, что называется, не первой молодости, бобыль, не заведший семьи неизвестно почему (молва не исключала изъяна по мужской части). И попадает в застолье: приехала к хозяевам не то родственница, не то знакомая — молодая, красивая. Понравилась Фёдору... Выясняется: не приехала, а свалилась на голову, да ещё с тремя малыми детьми. Видно, другого выхода для неё не было. Время на дворе непредсказуемое, пересторечное... Когда заговорили, что тесно придётся, Фёдор вдруг голос подал: «А хошь — живи у меня». (У него дом, от родителей достался.) И услышал в ответ: «А я согласна».

Опомнился мужик, испугался, да делать нечего. На всякий случай скрылся на неделю в свое зимовьё. Возвращается: двор не узнать, дом не узнать, чисто, тепло, ужин на столе и банька протоплена.

Наталья оказалась хозяйкой разворотливой и Фёдора вдохновила: огород подняли, корову завели... А потом и новые детки пошли.

Рассказ как притча — подробности опущены. Как жила эта Марья-искусница раньше — неизвестно, почему не смогла применить своих способностей до встречи с Фёдором — непонятно, и даже не вполне ясно, от него ли следующие трое детей. Он поначалу засомневался, но Наталья каждый раз: твой это, твой, и первого сына Фёдором назвала... Не стал Фёдор доискиваться, не кинулся своё здоровье проверять, детей признал своими, и зажили они доброй, работающей семьёй.

Эта история о том, как жизненные невзгоды лечатся любовью и благодарностью за любовь. И ещё — согласной, дружной работой.

Рассказ «А снег идёт...» уже обрёл признательного и читателя — он опубликован в журнале «Сибирь» в 2011 году, в сборнике прозы «Бег времени» в 2013-м, — и зрителя. В этом же году был взят для постановки молодёжным литературным театром «Слово», созданном при Иркутском Доме литераторов (режиссёр В. Просекина). На конкурсе любительских театров «Алые паруса» спектакль имел успех. Удивили исполнители, принявшие близко к сердцу неожиданное счастье простых людей, но ещё больше удивил зал (Иркутский драмтеатр, камерная сцена). Он был заполнен, во-первых, молодыми зрителями, во-вторых, городскими. Казалось бы, что им деревня, герои, плывущие по течению жизни, этот странный роман, приусадебный... Но стояла тишина, взгляды от сцены не отрывались, а в конце долго не смолкали аплодисменты. Что красноречиво говорит и в пользу писателя, умудрённого годами, и в пользу молодого зрителя.

Так работает в сибирской прозе Альберт Гурулёв, достигая согласия с самим собой и противоречивой действительностью, и это происходит благодаря одной черте его таланта: ни при каких обстоятельствах не упускать из виду гармонии мира, к которой стремится каждая душа.

Валентина СЕМЁНОВА